



# НЕВА

11

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

2011

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

**Глеб ГОРБОВСКИЙ**

Стихи • 3

**Александр МЕДВЕДЕВ**

Неизвестный роман Достоевского. *Повесть* • 7

**Елена ШОСТАК**

Стихи • 67

**Михаил ПЕТРОВ**

Семейные фото. *Рассказы* • 71

**Изяслав КОТЛЯРОВ**

Стихи • 79

**Исаак ШАПИРО**

Женщины, ангелы, дети. *Рассказы* • 81

**Галина ГАМПЕР**

Стихи • 96

**Виталий ЩИГЕЛЬСКИЙ**

Технологический элемент. *Рассказы* • 99

### ПУБЛИЦИСТИКА

**Борис МИРОНОВ**

Экономическое чудо и революции  
в России начала XX века • 108

**Александр БЕЗЗУБЦЕВ-КОНДАКОВ**

Спящий режим • 124

**Александр СТАВИЦКИЙ**

Финские заметки • 136

## КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

**Ольга ПУССИНЕН**

Славное море — священный Байкал,  
или

О видах современной ностальгии • 153

**Феликс ЛУРЬЕ**

Медици на службе Ренессанса • 166

## ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

**Гений места.** Игорь Сухих. Михаил Васильевич Ломоносов 1711–1765. — **Правда художественная и историческая.** Константин Фрумкин. Приезжий из столицы — самый главный русский герой. — **Забывтая книга.** В. С. Дороватовская-Любимова. «Идиот» Достоевского и уголовная хроника его времени. Публикация *Маргариты Райциной*. — **Пилигрим.** Архимандрит Августин (Никитин). Сполето — город Фра Филиппо Липпи; Витербо — столица Папской области. — **Пошла писать губерния.** Публикация *Бориса Давыдова*. — **Дом Зингера.** Публикация *Елены Зиновьевой* • 193–255

---

---

*Издание журнала осуществляется  
при финансовой поддержке Министерства культуры  
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации  
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена  
Электронную распечатку рукописей присылать  
на потовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9)  
Рукописи не возвращаются и не рецензируются*

---

Главный редактор

**Наталья ГРАНЦЕВА**

---

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Наталья ЛАМОНТ**

*(ответственный секретарь,  
коммерческий директор)*

**Александр МЕЛИХОВ**

*(зам. главного редактора)*

**Игорь СУХИХ**

*(шеф-редактор гуманитарных проектов)*

**Андрей СТОЛЯРОВ**

*(шеф-редактор аналитических проектов)*

**Ольга МАЛЬШКИНА**

*(шеф-редактор молодежных проектов)*

**Борис ДАВЫДОВ**

*(отдел публицистики)*

**Елена ЗИНОВЬЕВА**

*(редактор-библиограф)*

**Маргарита РАЙЦИНА**

*(контент-редактор)*

---

Дизайн обложки **А. Панкевича**

Макет **С. Булачевой**

Корректор **Е. Рогозина**

Верстка **Л. Жуковой, Н. Ламонт**

© Журнал «Нева», 2011

## Глеб ГОРБОВСКИЙ

### НИЧЕЙ

По утрянке, лучше по утрянке —  
под игру рассветную лучей,  
не по долгу, но и не по пьянке,  
на момент я делаюсь — ничей.  
Не для славы, даже не для корма,  
не стирая мысли в порошок, —  
не творю, не выполняю норму:  
извлекаю из башки стишок.  
Нет, не как зубастую занозу  
и не как из раны — нож тупой:  
как благоухающую розу!  
...А шипы? Останутся с тобой.

\* \* \*

Под осень сплошняком желтеют листья,  
но есть, которые до срока — мертвецы.  
Так и меж нас: так только ветер свистнет, —  
и чаще гении, меж прочих, — не жильцы.  
Речь не о листьях-людях, речь о сроках,  
не о тюремных сроках, о судьбе.  
О равенстве судеб! Не о пороках,  
не о дарах, отпущенных тебе.  
А значит, люди, даже перед Богом  
и перед алчной пастью сатаны,  
не в чём-то малом, а увы — во многом —  
неповторимы сплошь и неравны.

---

Глеб Яковлевич Горбовский родился в 1931 году. Поэт, прозаик, автор многих книг стихов и прозы, в том числе «Сижу на нарах» (СПб., 1992), «Флейта в бурьяне» (СПб., 1996), «Окаянная головушка» (СПб., 1999), «Распутица» (СПб., 2000). Лауреат Государственной премии РСФСР. Живет в Санкт-Петербурге.

### БРАНЬ

На поле брани — брань звучала:  
не матюгальные слова,  
а звон секущего металла, —  
взмахнул! — и где ты, голова?  
Когда не помогали латы,  
отваги дерзкая броня,  
то выручала слов заклятых,  
слов бронебойных трескотня!  
Мы все бранимся, кто как может,  
вплоть до могилы, с детских лет.  
...Но стих мой пусть не искорежит  
словцо, в котором Бога нет.

### ФОТОГРАФ

Нет, он — не с фотоаппаратом,  
не с «лейкой» старенькой в руке,  
а со своим всеядным взглядом,  
весь в хлопотах, не налегке.  
Нет, он — не лица, не предметы —  
он ищет новь, он ищет ложь,  
он тянет дым из сигареты  
и ощущает в сердце дрожь.  
Церквушка, люди-человеки,  
над тихой речкой — ивы плеть...  
Он хочет сущее навеки —  
не зачеркнуть — запечатлеть!

### ТИШИНА

Вокруг — ни души.  
Тишины захотел, недотепа?  
Вот и ешь ее, и дыши  
тишиной — была бы утроба.  
Иногда прошуршит авто,  
иногда — ругнется ворона.  
Вот и пей тишину. А что?  
Будешь трезвым до слез, до стога.  
Днем и ночью забота одна:  
не напиться и не откусать,  
а чтоб сгинула тишина  
и не стали мертвыми уши.

### ЖИЗНИ ШУМ

Шумят соседи через стенку,  
шумит полночная гроза,  
шумит деяний пересменка,  
шумит вертушка-стрекоза...

А днем и вовсе шум несносен,  
но я к нему давно привык.  
Тебе приятнее шум сосен,  
мне — выхлопной машинный крик.

Шум — это выхлоп нашей жизни,  
и пусть он — в уши! — сквозь невроз.  
Желаньям поперек капризным —  
шуми, Земля, наш сердцевоз!

### КРЕСТ

Носить на шее медный крестик,  
как бы продляя крестный путь  
Христа, пропавшего без вести...  
И не прожечь распятием грудь?

Через Христа мы верим в Бога,  
а через крест — зовем Христа.  
И нам Он — вера и подмога  
от входа в явь и — в навсегда...

Но далеко не все в народе,  
крестясь на лик, вникают в суть:  
кто носит крестик так — «по моде».  
...А есть и те, что крест — несут...

### ОДА СМЕРТИ

Я видел смерть... Но — не свою.  
Я разминуться с ней — не мыслю.  
Но я ей оду сотворю,  
пока мыслишки не прокисли.

Привет, костлявая, я — твой,  
но дай побыть чуть-чуть на свете,  
под новогодней вьюги вой  
дай пробубнить еще куплетик!

Присядь, покуда я стою,  
защелкни челюсти стальные...  
Тебе я песенку спою  
про те «фонарики ночные»...

### МУРАВЕЙНИК

Не убоюсь, откроем карты:  
мы строим храм для душ и тел.  
Я — муравей. Нас миллиарды.  
И копошиться — наш удел.  
И всяк — чужак и соплеменник —  
пусть по хвоинке, по зерну  
неся — возводит муравейник,  
осуществляя цель одну:  
построить умными руками  
Храм бытия, несущий свет, —  
дабы навеки в этом храме  
избавить сущее от бед!

\*\*\*\*\*

*Редакция журнала «Нева» поздравляет  
Глеба Яковлевича Горбовского  
с восьмидесятилетием со дня рождения,  
желает автору здоровья,  
творческих успехов и надеется  
на дальнейшее сотрудничество.*

---

---

Александр МЕДВЕДЕВ

# НЕИЗВЕСТНЫЙ РОМАН ДОСТОЕВСКОГО

## 1. В половине двенадцатого

Анне, стенографистке, *ангелу*, назначено на полчаса до полудня, и она скоро будет. Достоевский по-молодому возбужден. Новая сорочка тонкого полотна добавляет приятного чувства. И бывший заговорщик, каторжник еще раз глядится в зеркало, придвигая лицо к стеклу, и лицо освещается улыбкой. И он подмигивает *гестному зеркалу*. «А ты, поручик, нешто влюблен? Так и есть. Ну, иди покажи свои владенья. Небось и Наполеон Буонапорте своей, как ее — Жозефине? — не мог предъявить такого. О да, конечно, полмира у ног и все богатства его...так ведь не создал, не построил ничего, лишь только завоевал, силой отнял. А ты пером, вот этой рукой...» Он поднял правую руку, будто собирался давать клятву. Но мотнул головой: «Что это я? В Наполеоны себя, как Раскольников, честное слово...»

Еще секунду-другую, и ФМ бы вспомнил: А! Да ведь Катков... журнал окончание ждет. Преступление есть, и хвалят много, а Наказание-то, Искупление где? Третья часть не написана еще ведь. Но не расслышал в себе этого ничего. Это потом, потом выплывет, вскоре. И опять они, он и она, вдвоем станут радостно, горячо работать.

Тут брякнул звоночек. Робко так. Она. Она! И ФМ опять забыл про свой роман, может, лучший в мире роман.

Он любил толковать сны, сам себе их рассказывал, преображал зыбкие контуры в слова. А что те противились уловлять видения снов, выскальзывали, мучило — и он, раз за разом, уже приобвык рассказывать сны своей чудной сотруднице.

Чаю прислуга приносила два стакана и ставила на малый стол. Да, тонких стаканов было — два. И этот пустяк тоже нравился, и ФМ взглядом, обратной перспективой забирал все самое сокровенное. Аутический взгляд: не изучающий, не острый, напротив, глядящий как бы сквозь, иных он повергал даже и в оторопь, и было такое чувство, что время замерло и, как бывает во сне, одно входит в другое и преобразуется.

Вот и сейчас так. Юное, еще чуть детское лицо проступает из полутьмы, светит своим собственным светом.

— Вы уж простите мне опоздание мое. Я помню, в половине двенадцатого, **не** раньше **не** позже.

---

Александр Дмитриевич Медведев родился в 1945 году в сибирском городе Колпашеве. Автор восьми книг: лирика, роман в стихах, проза. Лауреат двух литературных премий. Живет в Москве.

НЕВА 11'2011

Она чуть передразнила, подпуская строгую нотку и комически насупив прелестные — о, да, в ней все прелестно — брови. Даже и то, что не вполне красива, — тоже ведь нравится.

— Да вы слышите ль меня?

ФМ обнаруживает себя стоящим в передней перед нею. Он прижимает ко груди накидку ее, обрызганную легким дождичком. Как он открыл дверь, как принял в руки накидку с башлычком — не помнит. Как случилось, будто незнамо какое чудо произошло. А впрочем, чудо и есть, и каждый раз все чудесней чудо.

— ...Зашла в Гостиный двор по дороге, карандашей прикупить, карандаши все исписались. Во как мы с вами лихо гоним!

— Сколько уж написалось? Как вы, Анна Григорьевна? — Он хотел сказать «прелестная», да школярски заробел. Но она все равно услышала: и споткновение, и нежную нотку в его глухом, с отзвуком эха, голосе. И сердечко стукнуло в ответ, дало подсказку. Ее недосуг разгадывать, потом, вечером или ночью, перед сном и во сне. А теперь к делу.

— Да я не думаю, не думать надо, а считать.

— Уж вы прямо по-купецки рассуждаете: не думать надо, когда считать. Да ведь верно. Надо запомнить. И сколько насчитали?

— По моему счету выходит пять листов печатных, даже, наверное, побольше. Но ведь лучше в большую сторону ошибиться? Получается пять листов... *с походом*; так прислуга говорит, когда с базара вернется.

— Осталось, стало быть, два листа. Успеваем к сроку. Не выйдет у Стелловского поймать нас.

Так и сказал: «нас». И не заметил оговорки.

Достоевский уже ничего не слышит. Уже Игрок и все другие лихорадочные — не персонажи, а люди, — просто люди, очнулись от *замри* и вновь живут, действуют, и чем больше действуют, тем вернее подвигаются к концу. И сами, без авторской подсказки и воли, понимают, что изначально пойманы обстоятельствами, сами же и сотворили их и увязают в них, как мошки в янтарной смоле.

Начали *урок*. ФМ, вышагивая, диктовал:

«— Бабушка, зего только что вышел, — сказал я, — стало быть, теперь долго не выйдет. Вы много проставите; подождите хоть немного.

— Ну, врешь, ставь!»

ФМ кричал так громко, что Анна подняла голову. В глазах у Достоевского метались желтые искры.

В дверь просунулась нечесаная, буйная шевелюра пасынка.

— Разбудили, папаша. Пугаете, — буркнула голова и скрылась.

«С пробужденьем вас, Пал Саньч, — хотела сказать Анна, да промолчала. — Уж за полдень, пора», — с неприязнью мелькнуло в уме. Мелькнуло, забылось.

Диктовка шла все шибче:

«— Извольте, но он до вечера, может быть, не выйдет, вы до тысячи проставите, это случалось.

— Ну, вздор, вздор! Волка бояться — в лес не ходить.. Что? проиграл? Ставь еще!

Проиграли и второй фридрихсдор; поставили третий. Бабушка едва сидела на месте, она так и впилась горящими глазами в прыгающий по зазубринам вертящегося колеса шарик. Проиграли и третий. Бабушка из себя выходила, на месте ей не сиделось, даже кулаком стукнула по столу, когда крупер провозгласил «trente six» вместо ожидаемого зего.

— Эх ведь его! — сердилась бабушка, — да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до зéго! Это этот проклятый курчавый крупе-



ришка делает, у него никогда не выходит! Алексей Иванович, ставь два золотых за раз! Это столько простишь, что и выйдет зего, так ничего не возьмешь.

— Бабушка!

— Ставь, ставь! Не твои».

Анна твердо помнила: она — стенографистка, и только. Все внимание поглощено делом. Не доучившая стенографический курс, она прямо в работе учила сама себя, придумывала свои особые значки — и напрягалась поначалу страшно. Даже боялась, что руку судорога сведет. А пуще пугалась, что с ним, с Федор-Михайлычем, случится падухая, про которую он откровенничал в первый же ее приход. Однако тут не выдержала, сказала восторженно:

— Эта Антонида Васильевна, *ла бабулинка*, как живая. Вижу, всю вижу! Как будто здесь старуха. И славная такая, прелесть что за бабулька!

— А Алексея Ивановича не видите? То есть как живого, вот здесь, среди нас?

— Видеть-то вижу, да...

— Да не нравится он вам?

— Н-нет, не нравится. Простите...

— А уж Полина, интересантка, — ту и вовсе небось не любите?

— Не люблю...

А про себя: «Ненавижу! Ненавижу!» И потупилась еще пуще, как виноватая школьница.

Но автору романа, что еще не написан вполне, ее откровенный ответ был по душе. Даже что Полина, которую он отчасти списывает с изменщицы Аполлинаруи, инфернальницы, — то, что Анне она не нравится, ему почему-то любо.

Он и всегда любил откровенность, даже когда откровения бывали страшные. Вот в каторге, в Мертвом доме, один татарин, огромный, с большим лицом и весь на ката похожий, в лазарете (а там и лазарет был ведь) разоткровенничался сильно. По-русски он говорил порядочно и даже выказывал некоторый ум. Только вот спокойный был как-то нехорошо. Ровный рассказ, только глаза косят — или, может, нация такая... рассказывал, как малых мальчишечек конфетками заманивал, а потом резал их спокойно. И складно рассказывал, как про дело обычное. И спал рядом безмятежно, а ФМ не спалось. Думал даже: вот встанет ночью да и зарежет, горло перережет. Но лазаретный сосед был тих и днями все старался услужить. Большое впечатление сделал. Да уж потом, когда в поселение вышел, как и было назначено приговором, он, отставной поручик, близко сошелся с комендантом, добрейшим де Греве, которому было лестно, что под его ферулою — так и сказал, жарко, с чувством пожимая руку, — такой знаменитый петербургский сочинитель оказался. «А уж я как рад!» — было молвлено в ответ, но обиды не сделалось, а только посмеялись оба. И пересказал «знаменитый писатель» про того татарина. «Как, говорите, фамилья его?» — полковник только и спросил. И в другой раз, посмеиваясь, дал почитать листок из дела, где все вины того арестанта написаны. А их у него, бывшего в солдатах, и было-то: частовременные отлучки из казармы, пьянство, кражи. И никаких зарезанных мальцов. «Ишь ведь, — похмыкал отставной поручик Достоевский, — тоже стало быть, сочинитель, то есть — выдумщик! И как складно, доподлинно выходило — я и не усумнился, верил...»

— Ну, и дальше? «Ставь, ставь, не твои...»

Тут Достоевский очнулся, чтоб вернуться «из мест не столь отдаленных» — именно так и в приговорах было: отдаленных не столь. То есть отбывать в Сибири, но Западной; а Восточная, что куда как суровой, в казенных бумагах значилась: «места от-

даленные». Но и Омский острог был куда дальше, чем Рулетенбург выдуманный, чем доподлинные Баден с Гамбургом. Сибирь, и каторга — все это другая вселенная — вот как далеко. И он никогда оттуда весь, вполне не вернется...

— Продолжим. «Я поставил два фридрихсдора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубринам. Бабушка замерла и стиснула мою руку, и вдруг — стоп!»

Она записала: «хлоп». Так и осталось.

«— Zero, — провозгласил крупер.

— Видишь, видишь! — быстро обернулась ко мне бабушка, вся сияющая и довольная. — Я ведь сказала, сказала тебе! И надоумил меня сам господь поставить два золотых. Ну, сколько же я теперь получу? Что ж не выдают? Потапыч, Марфа, где же они? Наши все куда же ушли? Потапыч, Потапыч!

Бабушка, после, — шептал я, — Потапыч у дверей, его сюда не пустят. Смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте!

Бабушке выкинули запечатанный в синей бумажке тяжеловесный сверток с пятьюдесятью фридрихсдорами и отсчитали не запечатанных еще двадцать фридрихсдоров. Все это я пригреб к бабушке лопаткой».

ФМ закуривает новую папиросу, уж не сказать какую по счету. Выкуренные, недокуренные грудой в огромной пепельнице, и верхние еще дымятся.

Вот тут и остановиться бы, на выигрыше — Аня опять отникает от листов, на полминуты. Но ФМ и тут не остановился, как многие годы не останавливался в игре на выигрыше. Несло его, вперед, вперед, к яме. Ах, это потом, потом ей, уже вполне Анне Григорьевне, предстоит вкусить со слезами...

И вот часы по-стариковски одышливо бьют два. Он как раз и назначил покончить работу к этому времени, и потом обед, а потом... Что за дело такое? Все и дело-то — пройтись, не беря извозчика, с барышней. Э, не так просто. Он будет как Дантов Вергилий. Ну, как-то пафосу многовато — осадил себя ФМ. А все ж уподобление понравилось. И он улыбнулся и стал так усердно помогать своей помощнице одеваться, что был неловок, как стусевавшийся юнец.

Свалена с плеч долой работа, подневольный роман, что был каторжным долгом, назначенным лукавым заимодавцем. Рассчитывал поймать в долговую яму, да они поспели. Да, именно «они». ФМ уже и про себя приучился звать ее Анной Григорьевной, хоть и в нежных она летах. В последний день того тяжкого урока сочинение сдано под расписку приставу. Чтоб уж никаких возможностей не было у подлеца утверждать, что контракт не выполнен.

И ФМ решает сделать подарок, который никто не делал никому: он вдруг надумал показать своей чудной помощнице свой город, «умышленный Петербург». Ах, верно, верно написал критик: наказание прежде преступления изначально в человеке живет. И самому любопытно поглядеть другими глазами, ее глазами, на улицы, где кабаки, да толпы, да нищета, да хлопанье разбитых лошажьих копыт по брусчатке улиц, улочек, переулков, по мостам. Он осознает вдруг, что стоит перед зеркалом. Полутьма в дубовой раме, и из зеркальной полутьмы на него смотрит двойник. Строго, хмуро смотрит. Взгляд как бы вовнутрь, зрачки — один больше другого. В припадке упал, и один глаз немного поранил. Доктор назначил ему капать атропину в зрачок, и зрачок расширялся, и опять сужался, и в последний раз так и остался огромный, будто ужас увидел и застыл. Много народу любопытствует: что это у вас с глазом, ФМ? А он скажет: атропин капал. Так кивают, со знанием, будто все профессора медицины. Магическое слово. Мало кто помнит, как зовутся обыденные снадо-

бья, все скопом порошки да капли, а это отчего-то всяк знает, кто и не пользовался ни разу. Атропин будто знак судьбы.

Он оглядывает себя. Прилично ли одетый? Не пора ли бороду подравнивать? Очень привык к чистому белью. Даже и в каторге себя соблюдать исхитрялся.

Тощая лошадь тянет водовозную бочку. Споткнувание — и Анна ждет, что водовоз тотчас примется, как Раскольникову наснилось, хлестать клячку по впалым бокам, да и дырн уж готов он схватить, охаживать насмерть. Но и кляча была кормленная, и водовоз хоть и пьяноватый, так лишь разве самую малость. И жуткий сон из недавно читанной книги развеялся, слился с сыростью. Слабый ветер обычного дня порывался ретушировать свет и тени. Остатки задержавшегося вдруг тепла и осенний холодок в воздухе — наособицу. Ветер сминает планы и принимается заново за свое дело. Он, ветер, — вольный художник, рисовальщик перспектив, переулков и мостов, что горбятся над водой. Вода сонно чмокает гранит своих берегов и тычется в пузатые барки, будто ищет там материнских сосцов.

Двое их — отделенных от уличной суетни. Тут пропасть трактиров, подвальных кабаков. Вот выходят двое ухарей — то ли мастеровые, а может, извозчики, а может, и разночинцы, даже и студенты, те, что *грамоте знают*, но, наверное, *выключенные из угеья*. Много стало такого народу — не скажешь сразу, кто такие. Может, даже и офицер либо чиновник, тоже *выключенный*. И платье на нем таково, что и не признаешь сразу, какому сословью предназначалось, а на Сенном рынке, что по соседству, всё перемешалось, и все перемешались. Как крепостного права не стало, так и пошло бродить народное сусло.

ФМД хищно выхватывает себе поживу. Поводит глазами туда-сюда, складывает в память разный вздор жизни — впрок; что пригодится, что нет — того никакой сочинитель знать загодя не может. Вот и приходится быть, как тот скопидом, что мшелоимствует, собирает на чердаке и в чуланах давно читанные газеты, обкусанные трубки, надтреснутые чашки и заношенные халаты да сапоги. Так и память собирает все — и вдруг какая-нибудь заваливающая вещь оказывается драгоценной...

Из кабачка вывалились два гуляки. И, ничего не сказав друг дружке, припадая, побрели в разные стороны. Один прямо на них. В поддевке, чуть не цыганской, в шляпе широкой, кособокой, в когда-то бывших армейскими сапогах. И пел он: «А как на речке было, да на Фонтанке. Стоял извозчик, стал быть, молодой. Ох! Он был в розовой, стал быть, рубашонке, в синтитюревых, стал быть, штана-ах!»

И широким, жестом, отчасти даже театральным, смахнул с кудлатой башки свою шляпу и растопырил руки, будто хотел обнять их двоих.

— Позвольте, господин любезный, испросить на мерзавчик. Отставному пор-р-ручику потребуется чрез полчаса — уж я-то свою натуру подлую знаю.

И он слегка наискось уронил главу, будто ждал аплодисманов.

Достоевский захотел подольше поразглядывать не совсем заурядного просителя. Тоже отставной, и тоже поручик. До чего ж статуарен. И усы с гусарскими подусниками — только топорщатся, как жабры у ерша. Он ведь задумывал роман «Пьяненькие» писать, и там Мармеладов должен был быть герой заглавный; да замысел рос, клубился, сам себя строил, и вот написалось другое совсем. Но, может, вернуться к изначальной мысли? Материалу — тьма, и вокруг почти готовые персонажи, типы и типажи. Проситель почуял, что на шкалик раздобыча будет, а может, и поболее, и на него нашло вдохновенье.

— Я уж того... в Бахусе. Нынче я граф Бутылкин, да вы и сами видите... физиономия правду выражает... пьян, как швед...

И что-то еще хотел прибавить для украшения слога, да ФМ не понадеялся на его скромность, побоялся — как бы не ляпнул чего, из репертуара, что девицам слушать не след — и уж *Анне Григорьевне* тем паче. И поспешил нащупать в кармане вместо гривенника полтину — и поспешно вручил просителю, и тот с достоинством удалился.

— А вот сейчас покажу-ка я вам, сударыня, тот камень...

— Где Раскольников добычу свою запрятал, как процентщицу убил?

— Верно. Вы помните все?

Авторское самолюбие польщено.

— Ну, не все, но помню. На днях читала. Да и раньше, как номер журнальный приходил, так и читала. И много помню.

Прошли переулок, свернули на недлинную то ли улицу, то ли тупик. Долгая, некрашенная, в трещинах, стена в половину улицы. Высокая, будто за ней — тюрьма либо сумасшедший дом. И только куст перерослой сирени растет из-за стены и, перевалив, уныло поникает.

Анна услышала, что у нее громко колотится сердце, — и глотнула судорожно воздуха, да так, что он услышал и повернул в ней лицо, но ничего не сказал.

— Вы часто бедным подаете? Может, всегда?

— Подаю. И мне однажды девочка, махонькая крестьяночка, грошик подала. Она с мамкой приехала издалека к отцу, что каторжный был. А он уж помер. И вот она у мамки взяла денежку, копеечку, и подала мне. «На, — сказала, — несчастный, Христа ради». Махонькая, прелестная. Ангельчик. Я долго ту копеечку хранил, потом заделалась куда-то. Такая жалость. И вот другое было, уж позже — я после каторги в солдатах состоял, а потом на поселенье. И был там, на каторге то есть, плац-майор, Кривцов — скотина, пьяница, изверг редкий. Про то рассказывать нечего, а вот было потом. Оказался я по одному делу у коменданта и иду в трактир обедать. А рядом какая-то куча тряпья шевелится и мычит.глянул на лицо: он! Да, это тот Кривцов и есть, вконец ничтожный. Я знал, что его за многие дела судили и разжаловали. И вот он спился вконец, и на дне. И на меня глаза пьяные поднял. Признал. Как падучая после экзекуции, шпигрутеноев то есть, что тот плац-подлец назначил, возьми и случись, — так я ему памятный стал. Вот и признал, хоть нас, каторжников, много было.

И вот он уж не мычит, — молчит и смотрит, и вдруг плакать стал. Плачет, головой мотает, кричит: «Бог меня покарал за покойника Жоховского (это поляк был в каторге, умер после плетей, в лазарете), за всех вас покарал. Простите, простите меня!» Ну, я ему и подал.

— Много? Небось тоже полтину?

Анна глянула вопросительно.

— Рубль дал, — отчего-то смутился ФМ, глядя в сторону.

И пошли далее.

«— Деревянный забор в глуби двора, а потом поворот влево» — так, кажется?

Спутница наморщила лоб:

— Не поворот. Как-то по-другому написано у вас...

— Перелом.

— Да, перелом!

— Ой, страшно-то как: перелом!

ФМ хотел было сказать, как он увидел тот перелом. Шел он себе, гуляючи, после ежеденных трудов, после *урока*, но задумался по обыкновению и вдруг почти наткнулся на толпу, что окружила кого-то. Протиснулся и увидел тело, что лежало на камнях брусчатки. Крови было не видать, но одна нога сломлена и вывихнута неес-

тественно. Бабы всхлипывают, дворник в дворницком фартуке налаживает себе сигарку, чиркает спичкой. Раскуривает. Самокрутка тоже изогнутая.

— Ах ты, Господи! На последнем этаже жил жилец. Давно уж за фатеру не платил. Все говорил: потом, потом! Вот тебе и потом! Теперь уж никому ничего, разве Богу только...

Хотел ФМ рассказать про то происшествие, да покосился на спутницу свою, совсем еще в нежном возрасте, умилился ее строго ровным пробором и умолчал.

А дальше — он. Камень тот. «Большой неотесанный камень, примерно, может быть, пуда в полтора весу», как и означено. Камень тут как тут. Они постояли вдвоем над ним, как над маленькой могилкой. Ах, не она и даже не он, знающий так много, еще ведать не ведают, что доведется им стаивать и вместе, и порознь над другими скорбными камнями, в других местах и временах. Но и сегодня, вот тут, над выдуманной, но подлинной юдолью, над камнем, где никто не упокоен, да и золотишка нету и не было. А все ж волнение и гулко-глухие стуки сердца.

Анна, еще не Достоевская, Аня Сниткина, после той большой ходьбы по *Преступлению и наказанию* легла спать ранее обычного и разом провалилась в сон. Да спала беспокойно. И Раскольников наклонялся над ее смятым сном и глядел на нее неодинаковыми очами, и расширенный один зрачок все увеличивался и увеличивался, и она, опираясь на мужскую руку, поднималась ввысь долго-долго и считала ступени. Их было томительно много, и эхо то ли биения сердца, то ли шагов отдавалось в тишине. И она считала ступени, хоть загодя знала: их будет тринадцать. Да! Так и есть. Страх объял спящую, и сердечко сжалось, будто не желало биться снова в захоловнувшей груди. Спутник, медля, обернул к ней лицо и оказался не Раскольников, а Федор Михайлович. Она обрадовалась такому преобразению, и сердце побежало дальше жить, и сделалось легко и спокойно.

Так и впредь будет: и трудно, и тоскливо, невыносимо, но поглядит она на него, поглядит на нее и он — и спокойствие, силы жить и трудить труды...

«Я с восторгом рассказала маме, как откровенен и добр был со мною Достоевский, но, чтобы ее не огорчать, скрыла то тяжелое, никогда еще не испытанное мною впечатление, которое осталось у меня от всего этого, так интересно проведенного дня. Впечатление же было поистине угнетающее: в первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем сердце...»

День тот, «интересно проведенный», так и остался светить сквозь всю жизнь, как денежка, брошенная на дно источника, чтоб возвращаться туда снова и снова. День, начатый «ровно в половине двенадцатого, не раньше, не позже», как назначил Федор Достоевский.

И вот она, уже пожилая, усталая, очнулась от дум и принялась за грудку корректур. Нужно сдавать к сроку, опять, как и всегда, гонка, гонка и гонка.

К книгам, к изданиям собраний прибавилось множество воспоминаний. Вот извольте визировать манускрипт почтенной дамы, нечуждой авторства: «Год работы со знаменитым писателем».

И переводят всюду, и присылают издания в дар. Вот и ладно, и славно. Уже век девятнадцатый кончился, и новое время позванивает трамвайными звонками сквозь шлепки лошадиных копыт, крик авто за окнами.

Анна, дама пожилая, очнулась вполне, взяла большую лупу, без которой читать стало трудненько. И подумала с отрадой, что не досадует она, что вовсе нету времени ощущать — как это в романах поется? — лет летучий бег! Коль бы еще глазами не слабла да спина б не ныла... И она обрывает сама себя, сухо поджав губы.

Ох, в том ли дело, юная барышня. Впрочем, уж не вовсе юная, но еще *жизни не знавшая*... Это мы по привычке так говорим — мол, жизни не знает, кто знает только молодость, да уют, родительский дом, благополучие, да здоровье. А вот как пойдут выпадать карты — все дальняя дорога, казенный дом да хлопоты, пустые, как нищенская сума — вот это настоящая жизнь, ее козыри, истинная правда ее... И ведь всякий так думает. Даже и не думает — знает инстинктом. Всякий — и всякая: и такой, к примеру, ученый человек, что и слово простое гнушается сказать, а все латынь да греческий. Кто думать думает по-французски, гешефт делает по немецкому маниру, и только водку пьет... Ах, ему мадам Клико подавай — столь различен с народом своим православным. Или вот та баба, торговка, что сама народ, его весомая, до тучности, часть; что *семазки* лузгает, и плюет шелуху семо и овамо, и рот крестит — чтобы анчутка, черт то бишь, не взапрыгнул туда, прости, Господи... Да хоть на кого укажи — все как-то понимают, в чем настоящее, подлинное, то есть таимое до срока, — и вот тот разночинец, и студент (верно, с «направлением», что до добра не доведет) или мастеровой, что уж выделяет камаринские антраша у заведенья, означенного: «роспивочно и на выносъ». Или, напротив, барышня тургеневского сорта, или... да кто угодно-с! Все ту правду жизни чувят, едва покидают совсем нежные, беззаботные лета. Знают кровью своей: правда жизни — она такая, и жизнь такова. Даже и редкий, редчайший случай взять: всю-то жизнь у того человека, почти фантастического человека, вовсе не типического, какого и в дамский роман не вставишь — кто до старости дожил, со всех боков обложенный шелковыми подушками, кто и чулок сам себе не надевал, а токмо посредством слуги, у кого если и досада какая — то не более чем несчастливая охота, вздорная гоньба за прытким зайцем по озимым полям. Ну, так ведь то не помеха, чтоб был пир горой, и тосты во здравие, и вольные, в благом отсутствии дамского пола, гусарские шутки с солью-перцем, и охотничьи враки. И вот так жизнь протекает, а все ведь и такое существо знает: все, мол, вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы. Даже если, по нети своей, не читывал виршей этих, да, пожалуй, и никаких.

В том ли дело, юная барышня... — это кто сказал или только подумал? А это сама она себе сказала. Совсем не юная, и уж не жена — вдова. Разбирала старые записки — вот и набрела на записки, еще другим почерком писанные. Прочитала, улыбнулась, как мать восторженному, наивному захлебу юной дочери и ... и оставила все, как написано тогда. Давно, очень давно.

У литератора Достоевского, господина в потертом синем сюртуке и безупречно белой сорочке, впечатление от того дня, когда он ей показывал *свой* город, было не чудесное, а напротив. Недаром туча затмила небо, в тот день, начатый осенним теплом и солнцем. С угрюмым надзирающим любопытством глядела туча в оба окна на человека. А его томила другая хмарь, нависала над ним другая туча. Знал из газет, что на Смоленском поле нынче казнь. Так же и он стоял в холстинной смертной рубахе — как сейчас другой.

ФМД весь, всем существом перенесся туда и снова стоял на помосте. Так ясно все: и барабанная дробь, и сердце в груди заколотилось бешено — и враз замерло. И полетело дальше жить... Какие, однако, набираешь ты, судьба-история петли на спицы свои! Только скучно тебе делать мягкое, теплое. Даже и желаешь простого, управив другие дела по домашности, и принимаешься за рукоделье.

А выходит все больше кольчуга, да власяница, да рубаха смирительная, да арестантская роба.



## 2. Останется, как было

Анна сразу увидела его глаза, глядящие куда-то во внутреннюю даль. Сколько раз в такие минутки, когда он находил слово, переходил к таким безмерным смыслам, что провеивало сквозняком по душе. ФМ зажигался торжеством. Он хмыкал как бы иронически и посмеивался.

И тогда уж сочиненье летело и летело лихорадочно, так, что она не вникала в его диктовку, некогда было вникать. А только заполняла страницы стенографическими значками, что стлались поземкой по листам. Она не слышала, не понимала слов, что посылались в работу руке, еще когда «Игрок» писался. Роман сочинился к спасительному сроку, дав удержаться — еще не им — они еще не были воедино — а только ему — на самом краю кабальной ямы. Тогда и после случались даже судороги в письменной руке. Она потом, за перепиской или еще позже, перечитывая, была застигаема этой магмой, что супруг ее, Достоевский Федор, сотворил.

Все это пронеслось в единый миг. А живой свет взгляда остался маячить перед ней. Она отникла от голоса-виденья — думка пришла странная: а что он *там* (а спросить, почему-то решила, нельзя!) — может, в ангельский чин возведен, сопричислен по выслуге лет и трудов, по купным заслугам?

И заробела, и стала креститься. «Согрешаю небось помыслом. Какой уж он ангел — небось человек был, следственно — грешный. Грехов, правда, она не припомнила, не могла приискать в памяти. Рулетка? Ну, да. Конечно. Только давно оставлена и, кажется, прощена. Вот и ею вчистую, тогда еще — прощена. Ну, грехи-то бывают забытые и, пуще того, несознанные. Но то свои грехи, а другое дело — чужие... Чужие? И рассердилась на себя. Как — чужие? Наши — вот как. А бывают ли такие, двуединые?

И раба Божия Анна постановляет, что запуталась совсем. Тут как раз случись исповедоваться перед причастием. И она, путаясь и спотыкаясь, хоть была в речах тверда, проста, обсказала свое смятенье.

— Н-да, — раздумался соборный настоятель, духовник и ее, и Феодора, что и соборовал его, когда настал *канун*. — Да, вопрос.

И он стал наматывать седую бороду на палец, как семинарист на трудном экзамене.

— Тут нелишне и спросить кого, кто поученей. А впрочем — так. Коли и грех, где-то там, в вышних — то несмертельный ведь грех, незлостный. Не от таких прегрешений души наши погубляются. Это как молочка в пост попить. Ну, что еще, матушка?

— На прислугу, на Федосью, утром кричала, и зря кричала — сама бумаги свои припрятала. Да и забыла — думала, опять она на столе прибиралась сдуру. Под руку подвернулась, вот я и...

Но батюшка уж слушал вполуха, вспомнив своего небывалого, незабвенного прихожанина, похожего на пророка. Но очнулся, наскоро перекрестив вдову. И со вздохом, про себя: «Постарела».

## 3. Эфир обиды

Анна Григорьевна снова, уж в которую тысячу раз вспомнила их первую встречу. Случилась она так давно, что память о том снова стала как жизнь сущая. Строгое черное платье, она была в трауре по отцу. И вела себя строго.

Федор Михайлович предложил ей «не стесняться, курить». Она конечно, ответила, что, мол, не курю. Но он еще раз или два предлагал ей закуривать и на следующий день тоже.

Ах, вот почему — догадалась она спустя столько времени — не поверил он, будущий муж, ни ее строгости, ни сухости, какую она изо всех сил на себя напускала, ни «деловому» дамскому портфельчику, который она специально для своей работы

купила в Гостином дворе перед их встречей! Коленкоровый, жалкий — но досада какая, что не сберегся. Он «романически» решил, что, мол, в тихом болоте черти водятся или что-то там такое.

А тогда как раз юные нигилистки запоявлялись, и для пушного нигилизма иные взяли моду курить, даже и в обществе, при мужчинах, что, согласитесь, ужасно.

Не одна только забывчивость была тут, в настойчивом предложении закуривать. Папироску, правда, не предложил, хотя и тогда, и всегда на столе лежала жестяная коробка с папиросными гильзами и две пачки табаку...

А та работа и по сию пору не кончается. «Материалы к творчеству» все множатся, со всех концов России, да и не только, шлют и шлют письма, черновики — и вздор, и ценные свидетельства.

Вот мадам Гусева прислала — могла бы и у себя оставить — письмо к ней Федора Михайловича.

Однако Анна Григорьевна и про себя заприметила, что назвала «Федичку» по имени-отчеству, что было с ней редко, если не говорила, а только думала про себя.

— Тяжеленок же ты, Федор Михайлович, — говорила внутрь себя обиженная «Анька, ангел-сокровище», держа на коленях листок с письмом от неведомой «поклонницы таланта» — видно из давних, верных. — Небось портрет твой держит на стене и книги в особом шкапчике, на заветных полочках... Да Бог с ней, она-то при чем, а вот ты, Федя... Вот ведь дата стоит: пятнадцатое октября и, главное, год-то восьмидесятый, самый, может, счастливый... Правда, самый последний. Но ведь и долги розданы, и уже не торопимся у Каткова деньги выбирать — лежат, мол, там четыре тысячи, и пусть себе лежат, как в банке... Здоровье после Эмса поправилось, и ты себе еще десять лет жизни давал и список составил — какие романы надо еще написать. Ну, а уж мы с тобой как раньше — душа в душу, так и до последней секунды. И что же? А вот, оказывается, как тебе это все казалось.

И пожилая, ухоженная, но истомленная трудной жизнью дама снова читает, приставив лупу к дрожащему листку: «...если есть человек в каторжной работе, то это я. Я был в каторге в Сибири четыре года, но там работа и жизнь были сноснее моей теперешней. С 15-го июня по 1-е октября я написал до двадцати печатных листов романа и издал «Дневник писателя» в три листа...»

Вот, оказывается, каково это было, наше позднее счастье-то. Да, ладно, ладно, ворчу; это я — старею. Я уж на семь годочков старше тебя, Федя, с тех пор как ты... как жилка порвалась.

Подумала она так — и обида, как с ватки эфир, улетучилась...

...Когда ты мне диктовал — мне, уж прости, страшно делалось — метался как безумный, все, что твои персонажи... твои фантомы вытворяли, все ты сам делал, даже и жестами показывал. Недаром тебя все к игре, к актерской то есть, тянуло. Не так сильно конечно, как к другой, рулеточной. И играл иногда, и твое актерство хвалили.

А и у меня, был грех, ты его не знаешь — так знай, к той игре, к рулетке тоже... дватри разочка я тихонько за тобой пустилась и за другой стол встала. И начала выигрывать. Понемножку выигрыш подрастал — но я сумела сказать себе: стой, Анна, стоп! А ты не мог. И я поняла, что это мне бы надо в рулетку-то играть. У меня голова холодная. Это, конечно, легко сказать — в меня-то зараза не заползла. Хотя это была не игра, не любопытство — нам уж и обеды перестали давать, и только чай носили. Помнишь? Как мантильку мою в заклад не взяли — помнишь? Вот я и решила поиграть. Новеньким, говорят, везет. Тебе в первую игру только раз и повезло, и сильно повезло. Да потом еще раз или два. А так десять лет ада адского. Впрочем, если б тебе дать вторую жизнь — ты все бы повторил. Может, только в петрашевцы бы не пошел бы... Да и то не наверно. Я верила, ты не для позы говорил, от сердца — и вра-



чам, и мне говорил, я помню — мол, будь падучая лечимая болезнь, не стал бы лечить. Такой у тебя азарт.

Анна Григорьевна истово, трижды покрестилась на надвратный крест. Шея стала с болью изгибаться, а надо бы на храм креститься, но он за спиной. И пожилая женщина, но еще не старуха встала, тихонько побряхтывая, и все ж обернулась на храм и зашептала молитву, чтобы отвратиться от раздраженья. Она и сама всегда была нравная, раздражительная, но держала себя в крепкой узде. Да получалось не всегда. Вот ведь беременная была тогда; и про беременность забыла, хоть как смела забыть! И как это возможно? а разум затмило — пришел доброхот, сказал: в газете про болезнь Достоевского. Так вот он, дурак такой, пришел справиться, жив ли наш знаменитый романист, нет ли?

Я бегу, буквально бегом бегу, в курорт, в зал, где курортные ванны: там газеты. Хватаю, читаю. И вправду, в «Ведомостях»: известный писатель Достоевский захворал. И все. А так как хворый он почти всегда... был значит...

Я уж вообразила, что это значит, и кричу — надо успеть! Проститься! Скорей мне билет! А куда билет-то, куда ехать? А в Германию, в Эмс этот, куда ты ездил воды пить, и в то лето поехал. А это ведь через всю Германию почти, а я на седьмом месяце уже, готовиться рожать пора — а я: я! — забываю! Помню только — ты, Федя, при смерти, может. И представляю себе тебя — голова на подушке, струйка крови изо рта течет сквозь бороду.

Через пять лет все в точности так и было, когда ты и вправду... когда жилка порвалась. А тогда ты, во мне, в воображении моем, между жизнью и смертью, и я едва слышу, что кто-то меня утешает, кто-то держит, Поляков этот, услужливый дурень, и вправду за билетом побежал. Как не скинула Алешечку раньше срока — Бог миловал. Ах, он помер в три года... Что-то у меня все одним клубком путается. У тебя, Федя, в романах тоже так. Все в один вихрь завивается. Ты часто в отчаянии прямо криком кричал — мол, художественность страдает, времени нету художественно отделать... Что отделать-то? Бурю причесать, выстроить, как солдат строят? Вот теперь критики целые книги пишут — и выходит, что так и надо, так и оригинальнее всего, когда герои твои — нет, не так, персонажи... опять не то, сгустки эти — выламываются из сюжета, вообще забывают про «течение событий». Хорошо ты говорил: и про меня, про автора, забывают, творят, что хотят!

Помнишь, молния шаровая в окошко влетела, а ты шепнул: замрите все! А тут Прохоровна с самоваром входит. И баба на пороге замерла. Глупая, а и она поняла. И молния в окно обратно и уж на улице бабахнула. Помнишь?

А ты сказал: это хорошая вещь. И сел к столу, и стал писать ту сцену в «Идиоте». Переписывать наново, я помню. А ты помнишь?

Анна Григорьевна замерла: вдруг услышит ответ. Но — молчанье.

— Ну, насили тогда, когда в газете прочитала ложную ту вещь, догадалась — а может, кто надоумил, телеграмму дать. И от тебя пришла — что здоров ты... то есть болел не выше обычного, и почему я спрашиваю. Тогда уж ты решил, что у нас что-то неладное, и написал длинней обычного, и еще на следующий день — мол, скрываю от тебя что-то... Какой это год? Она не сказала себе — был. Время остановилось — нет, не так; закольцевалось, все семидесятые годы и шестидесятые, со времени их женитьбы и даже раньше, с диктовки «Игрока» — все они всегда с ней и при ней.

Женщина вздохнула снова, как всегда делала, принимаясь за бумаги, за ворох — но из портфеля, отнюдь не дамского портфельчика, а большого такого портфеля, с какими ходят адвокаты, вынула оттуда плотный конверт, где были письма их, переписка, и она привыкла называть эти письма романом и вместе с ее дневником, писанным ее стенографической тайнописью, никогда не расставалась с ним. И порт-

фель стал тяжеленек, и дел все прибавлялось. Но она забыла все дела и стала искать в их романе тот год.

Вот. Она держала свою лупу, с которой теперь уже тоже не расставалась, но в строчках, многожды раз перечитанных, нужные находились сами. Даже если закрыть глаза, то даже и лучше читать: «Милая Аня, сегодня, в час пополудни получил от тебя телеграмму. Она меня очень удивила и измучила. С чего ты взяла, что я болен? Значит, ты совсем перестала получать мои письма... Теперь уже девятый час, и она уже должна прийти; но я продолжаю ужасно беспокоиться. Перевернут и мою телеграмму, и что, если не дойдет в Руссу или пошлют ее в Руду? И вот, если не дойдет до тебя телеграмма, мне и мечтается все теперь, что в пятницу или субботу ты вдруг отворишь мою дверь и вбежишь сюда ко мне в Hotel Luzern. Ты не согласишься, Аня, как это мучительно! Как можно лечиться в таком расположении духа. Давеча я помертвел, получив твою телеграмму, и упал на стул. Я написал в телеграмме: Ich bin ganz gesund, и теперь клянусь, зачем написал ganz: ничего не стоит в Берлине перевернуть ganz в nicht gesund. Судя по тому, как перевернута твоя телеграмма, все возможно. Теперь всю неделю буду в страшном беспокойстве... Ты понимаешь, что со вчерашнего письма, которое ты верно уже получишь перед этим письмом, со мной нового ничего не могло произойти, кроме того разве, что роман мой совсем не движется и не пишется. Жду покоя, когда-то будет. А здесь до того тошно, до того тошно жить, что буду долго вспоминать этот адский месяц.

Не забудь черкнуть мне хоть что-нибудь в письме про детей».

Анна Григорьевна улыбнулась, вытерла две слезы — она их называла предательские — и сказала вполголоса:

— Знаешь, Федечка, ты прости меня. Я раздражилась. Я тоже сердилась — тебе только редко о том говорила. Вот гляди — говорила-думала, она, будто муж может глянуть из-за плеча. Будто и теперь она жена, не вдова. Вечная жена своего вечного мужа. Как я тебя назвала? Вечный муж?

Женщина усмехнулась.

— У тебя есть такой роман, почему-то назван — рассказ. Ну, уж чего не было у нас, так этого — измен. Ты и в последнюю минуту так сказал мне: Помни, Аня: никогда не изменял тебе. Даже мысленно — это я так написала в воспоминаниях. Прости уж — в первый раз редактировала тебя без совета с тобой. А ты ведь сказал: «разве только в мечтаньях». Наверно, во сне — тебе ведь разное снилось. Я так и написала в стенограмме. Но потом решила: каждую ведь строчечку будут рассматривать, толковать так и сяк. Не только твою, но даже и мою! Вот, идеальности ради изменила словечко. Ах, начала об одном, да на другое соскочила. А ишу я письмо... это год будет семьдесят девятый... Вот, гляди... вот оно: в Берлин ты приехал третьего августа, чтобы дальше в Эмс ехать... в последний раз... И с вокзала письмо твое — третьего августа. Значит, получить я его должна шестого. И предполагал, что именно шестого и получу — в Преображение как раз. А не поздравил с Преображением. Ведь знал всегда, как я люблю этот праздник. Забыл? Забыл. Впрочем, ты никогда и не помнил праздников. Говорил: я всегда со Христом, а Христос — со мною. Дальше тут про шаль какую-то... Анне Гавриловне... это кто такая? Ах, да, хозяйка старорусского дома... Нет, вздор, вздор.

И она, Анна то есть Григорьевна, не желая уходить домой из погожего, не жаркого дня, стала размышлять, какое приискать себе еще не часок занятие. Самое приятное — расшифровывать дневник. Только тысяча восемьсот шестьдесят седьмой, первый год замужества. Она тогда напридумывала разных условных крючочков, значков, чтобы, попадись дневник даже тому в руки, кто стенографию знает, не смог бы прочитать. Теперь она стала бояться обратного: умри она, и никто не прочтет.

Дама с портфелем, по-мужски объемистым, разбирает, изредка прибегая к помощи своей верной помощницы — лупы, свои же «тайные» письма. Иные места — виденья, полные света, мелких подробностей, а из них-то дневник молодой «жён-ки» и состоит — из мелочей, которые теперь кажутся драгоценными — да они таковы и есть! Прошедшее-непрошедшее впускает ее в свои полные золотого света пространства. Ах, как хорошо там, как прекрасно.

«Нечего делать, хоть и дождь, а следует идти обедать. Сегодня опять пошли на «Бельведер» на террасе. Видно, уж такая судьба». Знать бы, какая она предстоит, эта самая судьба! Впрочем, и тогда бы ни единой помарки, будь воля, не вычеркнула. Нет, вру. Сонечку, Алешеньку оставить жить... Да на то воля Божья...

А вот — что за радость, прелесть: «Шляп у меня было не слишком-то много, из них самая лучшая была та, которую я выбрала (простая, белая, из грубой соломы, с розами на полях и около щеки, с двумя бархатными лентами сзади)».

И вот это — тоже и радость, и прелесть. Даже и тогда было смешно. Так ли? Точно — смешно: «Федя проснулся не в духе. Сейчас же поругался со мной, я просила его не так кричать. Тогда он так рассердился, что назвал меня проклятой гадиной. Это меня ужасно рассмешило, но я показала вид, что разобиделась, и ни слова не говорила с ним. Это его, видимо, раздосадовало. Потом я оделась и, сказав ему, что пойду к Zeibig'у». Кто таков? Ах, это профессор, стенографию развивал в Германии. И к нему у нее было от Ольхина письмо.

«По дороге я зашла в один магазин антикварских вещей». Ну, тут я привираю. Зашла в несколько лавок, потому ушла рано из отеля, чтобы показать Феде, что обижена — дабы помучился. Он и мучился, виноватил себя. И к возвращенью я получила стол, уставленный фруктами и Федю в придачу в виноватом лицом, и он даже немного заискивал, что было уж вовсе с ним редко, даже после казино, откуда он обычно возвращался... ну, это уж чуть не все знают, как и с чем».

Старость ходила кругами вокруг нее, приближалась крадучись. Ей было недосуг стареть: музей надо обустроить, книгу за книгой редактировать, комментировать, принимать издателей, которые, кажется, размножались делением и даже утомляли. Но виду не подавай, трудись, трудись. Как Федя — он и в последний день вычитывал статью в свой «Дневник»: метранпаж Александров принес и не ушел, пока дело не было сделано...

Но стала она проваливаться в мгновенный сон — посреди разговора, где угодно. Вот и сейчас заснула, но и во сне крепко держалась, как птица за ветку, за свой заветный портфель шагреновой кожи. И во сне Настасья Филипповна размахивается пачкой денег, чтобы бросить в камин. Мои? — кричит — мои? — Рогожину. Мои деньги? Но вместо Рогожина в поддевке — Горький, тоже в простонародной, но шелковой рубахе, хватая за руку inferнальницу, которая только зовется Настасья, а сама-то ведь Сулова-змея, и Горький глухо ухает: «Не твои они, народные, верни». Тут и Толстой, и тоже в какой-то простецкой рубахе, гудит сквозь бороду: «Народные, народные», — бормочет, как пьяный, и отражается в зеркале, но зеркало звонко разбивается — ах, это не зеркало, это ваза, это князь Мышкин локтем ненароком — такой неловкий, и взгляд у него, как у Феди, внутрь себя... И звон звенит, и будит усталую женщину, что прикорнула на уличной скамеечке. И она разлепляет усталые, ставшие выцветать глаза. Трамвай брякает своим колокольцем, а почти нос к носу с трамваем — мотор, который уже стал зваться авто — новая утеха скоробогачей, что нажились сказочно, вдруг, на военных поставках. Война с японцами еще не закончилась, но богачи гуляют. В «моторе» с откинутым верхом — веселейшая компания: офицер в огромной маньчжурке, две легкомысленные дамы в шляпах-клуббах и... Рогожин, ни

дать ни взять. И шоффэр, весь в коже. Вот такая компания; они запоявлялись и в Питере, и в Москве тоже, кутят. Авто пятится назад, компания протестует, велит шоффэру не уступать — пушай трамвай пятится. Потихоньку собирается на шум толпа, и смех уже переходит в ропот. Слышно: «шлюхи», «бляди», «зажрались», «кому война, кому мать родна...» Подходит однорукий, в солдатской шинели и в маньчжурской же папахе, но без кокарды человек, и сразу он — центр толпёшки, и что-то говорит, взмахивая одной своей рукой.

Мальчишки хватают с дороги конские шарики и кидают в седоков самобеглой коляски.

Анна Григорьевна в одобрением наблюдает, как справедливость устанавливается с помощью навоза, и думается само собой: они еще и булыжников дождутся, и... Дальше ей думать страшно.

И она возвращается в свои прошлые годы. Там было много худых дней, но и все плохое мало-помалу затопляет свет счастья, которым судьба ее наделила — она точно знает — сполна.

Анна Григорьевна не хочет вспоминать, да само всплывает. Она уж была в интересном положении, и вот на эту пору и пришлось самое тяжкое — проигрыш за проигрышем, когда спустили все, и продавать было нечего, и в заклад уж ничего не брали эти немцы. Когда ж на самое дно спустились?

Когда ж это, где?

«Вечером Федя сказал мне, что привязался ко мне, как ребенок, и что меня сильно любит и боится меня огорчить. Я его утешала, говорила, что у нас еще очень много денег осталось; осталось еще 50 золотых...» Нет, не то. «Федя сказал мне, что здесь, в «Stadt Paris», за вином, где он уже познакомился с хозяйкой, она, увидав букет, сказала ему: «Какой великолепный букет!» Федя отвечал: «Я несу его моей жене». Все немки, бывшие в лавочке, были чрезвычайно этим довольны, то есть этим вниманием к «жене». Букет действительно, великолепный; в середине были желтые и розовые розы, кругом фиалки и гвоздики, так что был удивительно красиво составлен. Мы сели обедать. Обед наш был, как нарочно, тоже очень хорош. Вообще они за наш флорин...» Это уж тем более — не то.

Дальше, дальше. Ни золотых, ни серебряных, ни бумажных денег не будет, а будет — вот: «Федя показал ему свое теплое пальто коричневое, которое очень хорошее, но только с плохой подкладкой. Немец предложил за него 8 гульденов; это просто смешная цена, потому что оно стоило ему рублей 70, если не более. Потом про мое пальто он сказал, что даст за него 6 гульденов; а когда Федя предложил ему купить старое платье — старый сюртук и старое пальто, то тот даст нам всего только 2 флорина. Но разве это возможно, разве это нам может помочь? Мы показали ему сапоги, он их приложил на свою ногу и даже надел шапку на голову и сказал, что если мы хотим, то он даст нам 3 франка».

И запись того же дня: «Потом легла спать и отлично спала. Когда прощались, Федя был так добр и нежен со мной. Как я счастлива, и какой у меня прекрасный и добрый муж, и как я его люблю. Сегодня Федя видел во сне, что Катков ему пустил кровь. Что это такое значит?»

Анна сказала-подумала: «Да, Федя дорогой, кто еще так бы сказал — не изрек, а записал в тайный дневник после всего — такие слова?»

И она гордо выпрямила спину, довольно прихмыкнула. А тогда, помнится, и спину ломило, и тошнило — была на сносях. Сонечка... бедная моя детка. Не пожила ты на свете...

А Катков — ангел-хранитель, правильно приснился и вовремя. Пришло из «Русского вестника» письмо — не от Каткова, а от Любимова, правой руки в редакции, что роман принимается, и его ждут, и аванс вышлют. И Федя, еще более проигравшийся, (в дневнике стоит: но «бодрый») принялся за писание романа.

И «Бесы», и «Преступление...», и «Идиот», все они — зего той рулетки. Вот в какой вихрь все у него... у нас завивалось из года в год — всю жизнь. Как тяжело было и как... ах, и слова не приберешь.

Женщина немного успокоилась и стала читать, перелистывая книжки своего дневника, где первая запись на первой книжице была еще совсем девчоночья: «Куплена 11 апреля 1867, перед отправлением за границу, с целью записывать все приключения, которые будут встречаться на дороге». Да, по дороге... Надо просмотреть, нет ли каких интимностей, что публике читать не следует.

«Дорогою Федя начал меня поддразнивать, спрашивал, скоро ли ты родишь. Я, разумеется, краснела и просила его замолчать. Он говорил, что это очень хорошо, что я буду матерью, что он страшно счастлив, что если будет девочка, то как ее назвать, не нужно Аней. Я сказала тоже, что не Аней. — Так назвать ее Соней, в честь Сони его романа, которая так всем нравится, и в честь московской Сони, а если мальчик, — то Мишей в честь брата».

Ну, это прилично. А вот тут уже зачеркнула. «Я забыла: когда он спал, я подошла и поцеловала его ногу — зачеркнуто — в голову, он, однако, услышал и проснулся». Когда зачеркивала? Сразу же, тогда? Нет, пусть и то, и то — остается.

Пусть все остается, как было.

Пошли дни лихорадочные, вовсе сумасшедшие. Проигрыши совсем перестали сменяться выигрышами. И уж никаких фруктов, совсем ничего. И вот наконец все проиграно.

И он решил засесть писать роман, «чтобы вернуть все». Это, верно, его собственные слова, когда он пришел с последней игры. Записано: «бодрый, освеженный». И написал роман.

#### 4. Лишние слезы

Есть миг, когда перед отправленьем поезда суета вдруг куда-то исчезает, и те, кто уезжает и кто остается — разделяются и уже смущенно сознают, в тайном нетерпении: скорей бы свисток, и черно-красные колеса локомотива сделали первый тихий оборот — и прощай, прощай, пиши чаще, целую, кутай ноги-пледом-там-дует-следи-за-детьми-смотри у меня... а колеса уже сделали и два, и три, и десять оборотов.

Паровоз, сознавая свою значительность, распушил белые усы пара, и замечательно похож на старого генерала, коего молодежь, не без тайного умысла, опять уговорила предаться воспоминаниям «времен Очакова и покоренья Крыма».

Федор Михайлович уговаривал жену не томиться ожиданьем. Отправленья слегка задерживаются — видно, ждут какого-то важного пассажира или почту.

Оба стоят вполоборота к поезду. Анна Григорьевна знает, что она особо нравится своему супругу именно в такой позитуре — вполоборота, ибо не утратила стройности, хотя, конечно, годы, годы... высокая шея и прическа, составленная из собственных, достаточно пышных волос, делают полуоборот особо выигрышным — а какая женщина, даже такая умная, как она, в чем супруг с годами уверяет ее все жарче и чаще... Одни словом, она как бы дарит ему на довольно долгое прощанье свой портрет на память неосознанно (может, полуосознанно), выбирая лучшее положение, в добавленья к букету полевых цветов, какие он любит более прочих.

Оба думают: не броситься ли еще раз друг другу в объятия, но удерживаются, и сладость противления порыву слегка пьянит — и тоже будет блаженно вспоминаться.

Но вот свисток, и паровоз убрал свои генеральские усы, машина мощно фукнула пузатой трубой, и дым заполнил стеклянную арку перрона, которая хороша была, когда Варшавский вокзал еще был нов, а теперь стеклянный овал адски черен от гари.

Федор Достоевский щегольски взпрыгивает на подножку последним, машучи букетом так, что два-три цветка вываливаются из него. А другой букет, из роз, обернутых в тисненую магазинную бумагу, сунут, как веник, под мышку.

Анна Григорьевна наклоняется за выпавшими цветками с улыбкою. А когда распрямляется — видит уж только красные фонари последнего вагона.

Пассажир дальнего (о, весьма дальнего!) следования наспех бросил саквояж на сиденье, хотел отказаться от чая, по передумал и кивнул, подняв один палец и отвернулся к окну. Все быстрее, все скорей потянулись скучные по отдельности, но, облагороженные движеньем, такие волнующие картины. Крашенные тоскливой краской придорожные сараи, потом желтый домик дорожного стража и сам страж с развернутым желтым флажком, палисадничек у его каменной избушки промелькнули и минули, вдруг открыв огромное фабричное здание, где множество людей, невидимых за красными, покрытыми копотью стенами, за огромными окнами мануфактуры монотонно творили свое действие, раздробленное на мелкие части, но грозно-стройное вместе.

Еще немного — и уж и окраинные купы дачных садов, малые домики и большие усадьбы ближних петербургских окраин в киновари заката.

Вот и Гатчину проехали, и другую какую-то станцию, Никольское, что ли, где отсановки их поезду нет. И запечатлелись, как на фотографической карточке, неподвижные фигуры на платформе. Все глядели на поезд — и несколько зипунов, и офицер, прижимающий к бедру саблю, будто опасаясь, что вихрь движения сорвет ее с пояса. Мелькнул на малый миг и исчез прочь из глаз, но и мгновенья хватило, чтобы заметить улыбку из-под офицерских усов, неучтивое налеганье на даму, которой усач шептал на ухо. Верно, сплетню или анекдот. Дамочка закинула голову в модной шляпке, смеясь. Ничего не будет записывать наш пассажир. Они сами явятся из памяти на зов сюжета, буде понадобятся.

Скоро Луга, где поезд стоит недолго, и здесь сядут только в вагон первого класса, а он, по недостатку средств, следует во втором. И ФМ отходит от окна и устало садится на вагонную лавку.

Ход поезда стремительно-весел. Вот уж и царство Польское закончилось, и широкая русская колея вместе с ним.

И началась собственно Европа. Германия. Здесь, на узкой колее, колебанье вагона будет шибче — но это ничего, иногда это укачивает, доставляет возможность придремать. Только вон немцы и немки громогласны, гогочут на своем гремучем языке, галаганят про свои гешефты и всякий вздор. И даже про деток своих рассуждают, как офицеры про солдат, — кто какое непослушание учинил и был ли наказан за то. Но уж дети, особо маленькие, Лилиного возраста, очаровательны до слез. Наряжены все, как куклы. Башмачки не навырост, и платица, и все — чистенькое, со всякими рюшечками, или как их там, и бантиками — даже и с пересолом, ну, да пускай малые сердечки порадуются. Мальчики в детских цилиндрах, оттого немножко клоунски выглядят, и белых чулках по колено, как в России не одевают.

В Эйдкунене меняют колесные пары под европейскую колею. Потому остановка особенно долгая, и как раз обед. Ресторан блещет чистотой, кельнеры не делают ни



единого лишнего движенья. Только гляди в оба — горазды мимоедущих торопыг об-считать, и хорошо обсчитать. А ты за жизнь столько денег потерял, понапрасну про-тратил, даже и не считая рулетки, что уж теперь... Но вот теперь как раз стал несколь-ко даже прижимист и тщателен в пересчете сдачи, и торгуешься, как скряга, и даже нравится, что скряга. Что ж делать! Цену себе знаешь; она — в мильён, да только не скопил ничего, хоть и работал всю жизнь. Только и отдохнул, что на каторге! Благо-даря Богу и Врангелю, Александру Егорычу. Он забирал к себе — имел право — «для особых поручений». И вот он, молодой еще совсем, такой молодой, что сейчас и представить дико, работал у него на даче, в обширном саду, земляную крестьянскую работу. В первый и последний раз в жизни трудил труды простые, природные. А сладостно это, такая отрада — цветы-саженцы сажать, деревья да кусты обкапы-вать, срубить сушнину с плодовых дерёв. Да-с, господа европейцы (и он оглядел с вызовом залу, где ни единая душа не интересовалась никем, кроме как своими супру-гами да детьми, — впрочем, деток было совсем мало). Сибирь, господа, говорил он воображаемым личностям, обширнейшая страна, и в южных ее местах, где и назна-чена была ему каторга, даже и яблони, сливы растут, а еще южнее, в Минусинском крае, иные умельцы и арбузы возвращали. Ну, конечно, созревали-то они обычно уж на теплых полатях — все-таки Сибирь, хоть и южная.

А там, на даче у Врангеля, — просторной, на прекрасном месте, на берегу Иртыша, была благодать. Разденешься до поясу, даже и загорись за работой, как в детстве. Копаешь землю — а земля благодарно дышит, как женщина, когда... ах, это не вове-ря! Еще не приехал, а впереди как бы не больше месяцу-то быть разлуке с «жён-кой». Так что и грешных сновидений успеет насниться.

А хорошо, вольготно было там, на иртышском берегу. Александр Егорыч, конечно, не за ради хозяйственных работ призывал знаменитого петрашевца — не петрашев-ством знаменитого, а ведь писатель — редкая птица в здешних краях. И офицер Кривцов, вечно пьяная сволочь, по той же причине — что писатель, поручик отстав-ной столичный, и растянул на плацу, его, солдата — и высекли за какое-то пустяко-вое нарушение устава. Тогда первый тяжелый приступ, после порки, и случись.

А у Врангеля, что был из остзейских то ли немцев, то ли датчан, — он, хоть и по приказу, да вольного был вольней. Вот сейчас прислуга принесет самовар, наставит закусок, напитков разных, из коих невольник по своей воле будет пить только квасы — их ставится несколько, разных, на сибирский манер приготавливаемых. И начнутся разговоры про изящные предметы, философствования — то будет отрада русской душе. А Александр Егорович давно уж обрусел, и даже, так сказать, осибирел.

Говорили про разное. Иногда касались церковных тем.

— Не люблю попов! — кричал Врангель.

— Ну, да вы ведь, кажется, в лютеранскую веру крещеный, ваш-бродь. А где тут лютеранский храм?

— Да есть. Бывал. А вот вы, сударь, православный, да что-то в церковь-то не от-прашиваетесь. Тоже попов не любите?

— Христианин я, Христа люблю, — отвечал Достоевский и чуть сморщился.—Я всегда с ним, в его церкви.

Твердо сказал, глаза в глаза.

И остзеец более никогда этой темы уж не касался. Только годы спустя напишет в своих мемуарах о том, с кем ему выпало счастье вольготно общаться, много гово-рять. Только одной фразой заметит: «Попов не любил, особенно сибирских».

А поезд, свистя и пыхая кислым дымом, распушая паровые усы, мчал отнюдь не на восток — на запад, все дальше и дальше в Европу, в Германию.

ФМ задремал, и в дрему опять пошли давние виденья. И отчего-то острые, тамош-ние, никогда потом не испытанные запахи ни с того ни с сего затопили сознание. И они привели с собою мир давний, навсегда забытый — да видно, не навсегда!

И вот он снова — там, снова каторжник. Растянулся приотдохнуть на сосновых, нет — лиственничных горбылях. Вбирая грудью горячий дух свежепиленых досок, нагретых солнцем, принялся в уме сочинять стихи, в которых был неискусен, — да уж больно была хороша та поселанка, встреченная на базаре. У них были встречи, укромные, страстные, и он мечтал даже взять ее с собой — ну, в Петербург, в Москву дозволения ему не будет, так в Тверь либо Орел...

И тут раздался зык, такой грубый, почти нечеловеческий: куда прикажете доски-то свалить? Говорил невидимый по-чалдонски, то есть на полурусском. Но и в словах, роняемых в землю, «куда прикажете» и «слушаю, хозяин» не то что искательности не было, а чуялась угрюмая дикая воля — будто вот вытащит из-за пояса нож да и зарежет беззлобно, как режут скотину.

Солдат Достоевский повернул голову, взгляделся. Двое дремучих лешаков стояли подле повозки на дороге, заросшей травой, по ту сторону забора, склонив по-лошажи лохматые головы. Только раз сказали, что надобно, и ждали, уверенные, что услышаны. И вправду Александр Егорович услышал их и сам вышел. «Второй этаж думаю переделать», — весело крикнул Врангель. И эти два лесных существа быстро, ловко сделали дело, молча, без благодарности приняли плату — и исчезли вместе с повозкой, будто приснились. Привезенные доски пахли удушающе-пряно.

Тут ФМ очнулся от краткой дремы, какая всегда настигала его, едва он садился в поезд. Да и в дороге, едучи на извозчике, часто задремывал — видно, движенье действовало наркотически. Только откуда этот острый дух, запах пиленых свежих досок, что еще сочатся живицей? Такое въяве было там, в другом мире, от которого он сейчас будет отдаляться все дальше, дальше.

Ах, это букет роз, подаренный доброй мадам Рохель, пресуществился причудой сна в давнее воспоминание. Далекая Азия, Семипалатинск, берег Иртыша. Где он, как он, добрый барон?

Через другого остзейца, графа Тотлебена — видно, российские немцы имеют кредит друг в друге и исполняют просьбы один другого — добрейший Врангель похоталтайствовал за Достоевского перед добрейшим ли — невесть, но весьма влиятельным единокровцем, и вот он, кому были запрещены Петербург и Москва для жительства, в Петербург допущен — о чем он и мечтать не смел. Думал, что так и жить ему в захолустной, скучной Твери.

Розы, однако, любительницы вовсе пахнуть — даже и дышать трудно. Достоевский взял их, несчастных, и выбросил в окошко.

Происшествие пустяковое, но и оно отразится в письме. «Надо копить, Аня, надо оставить детям, мучает меня эта мысль всегда наиболее, когда я приближусь к коловращенью людей, и увижу их в их эгоизме, например, в дороге...» Потом про доктора, друга какого-то Тицнера, потом про заботливого немца «колоссального росту», который опекал ФМ в дороге, и, наконец, не забыт и тот «великолепный букет», который «до того пустился пахнуть ночью, что у меня голова даже разболелась: «...подъезжая к Чудовой, я его бросил их вагона в лес». «Поцалуи» деткам и самой женке, жалобы на дорожную дороговизну — и: «поклоны всем. Про букет Рохельше не говори».

Письма ФМ обычно длинны, полны всяких пустяков — чувствуется, что Достоевскому наслажденье общаться с женой и так вот, письмами. Ответы АГ короче — не от меньшей любви, а просто характер иной, человек другого ритма. Не раз пеняет ФМ на ту лапидарность, выпрашивает, как «любовник молодой», описания «интимных снов» — и АГ изредка, как награду, шлет такие же признанья, чаще придуманные.



Выситя огромная, просто нибелунгового росту фигура, и та фигура что-то спрашивает по-немецки, учтиво принаклонившись. Наверно, не первый раз спрашивает — а он задумался, ушел в себя. Он-то про себя знает: рассеян необыкновенно, отчего много забавностей было в жизни, много невольных обид нанесено знакомцам и знакомицам.

А однажды было... Зная свою привычку одаривать всех, кто ни проси, хоть гривенником, он не выходил из дому обыкновенно без горсти мелочи в кармане. Иные ушлые обегали по другой стороне улицы и по второму и третьему разу просили подать — и чудак со странным взглядом снова и снова подавал. Так вот он шел по Старой Руссе, думал уж пересечь площадь, а тут встретиться трое — женщина в платке по самый нос, с двумя детками. «Подайте, господин добренький, детям хлеба купить...» — и все такое, да так жалобно, что он к двугривеннику, который уже был уловлен в кармане, прибавил еще пятак. И услышал смех. Что за стих? И Достоевский поднимает глаза, принуждает взор к «обыкновенному зрению лиц», а перед ним — его Аня и Федя с Лиличкой.

— Как не совестно, да еще при детях, насмехаться... Не надо мной, над нищими да убогими смеетесь? — осерчал, но сердился недолго — уж больно весело дети смеялись — и над ним, «дорогим папенькою», и над растерявшейся мамашей. Но дело уладилось тем, что пошли в съестную лавку Плотниковых, и было взято сладостей поболее обыкновенного. Федя-младший, любитель коняшек, сразу подбежал к лошади и дал ей сахару с ладошки, как научили мужики: «а то вместе с хлебушком пальчики отхватит», и приник к лошажьей ноге. Крестьянская изработанная лошадь катала меж длинных своих зубов гостинец и, изогнув шею, ласково косила глаз на счастливого мальчика... Ах, да, немец. Стоит напротив. Улыбается, педантично ждет ответа. Что? Плед? Ja wenn Sie bitte. Dank, o, der viele Dank.

Запас немецких слов скудноват, а по-французски немец почти не говорит, так что приходится играть лицом, улыбаться. Но зато великан все время готов ко услугам и, судя по всему, любит опекать. Это хорошо, если не замучит своими услугами. Нет, оказалось — у человека чувство меры. Чувство меры — это и есть деликатность. Запомним. Хорошая фраза.

Подумав это, пассажир, едущий знакомым путем, уж который раз проделанным: лечить свою эмфизему, подтыкает под ноги плед, выпрастывает бороду из-под лацканов, раскрывает книгу и тотчас захлопывает ее — взятый ради дорожной скуки французский роман раздражает своей глупостью с двух строк.

До Эмса еще далеко, и день-другой придется отходить от дороги. И только потом шибко работать — Катков в «Русском вестнике» ждет. Нельзя подвести, а то будет неудобно просить прислать денег вперед.

Перед отъездом читал студентам, при большом их собрании. Его все чаще стали звать — чтеца отменного. Редкостного даже, хоть и голос у него слабый, а слышать в любом зале, самом большом.

Особо льстило даже не то, хоть и это тоже грело, что в царское семейство звали, и великим князьям читал — а то радовало, что студенчество стало к нему приятенно, а раньше многие манкировали. В заключение был, как всегда, излюбленный пушкинский «Пророк». От этих стихов в его исполнении слушатели неизменно входили в восторг, и даже истерический.

И вот после того чтения, подходит к нему, выделившись как-то легко, не продираясь чрез кучку провожающих «поклонников таланта» (позади коих маячила, терпеливо ждала Аня, полюбившая сопровождать своего дорогого писателя на его «триумфы», как она звонко выговаривала это слово), подходит молодой, низенького роста человек, в очечках, как у господина Победоносцева, но в лице ни спокойствия,

ни смирения. Впрочем, и у Константина Петровича все его учтивое безмятежье на лице — железное забрало только. А этот подошедший студиозус, перед которым его товарищи как-то сами расступились, спокойно овладел вниманием и тихим голосом, без единой ошибки и запинки стал ему же, автору, декламировать сцену из «Идиота», хотя в аудитории читалось совсем другое. И вот этот низенький, но не щуплый читает ему его же строки:

— Вот у вас, мэтр,— это стало входить в моду: мэтр, — такая сцена на даче, вы помните — ах да, конечно, помните, pardon: «Тут был, наконец, даже один литератор-поэт, из немцев, но русский поэт, и, сверх того, совершенно приличный, так что его можно было без опасения ввести в хорошее общество». А впрочем, к черту приличного поэта, я пропускаю. Вот князь ваш, дорогой наш мэтр (снова вставил он своего «мэтра», не слишком учтиво отвесив нечто вроде поклонца). Там дальше, дальше соль. Про католиков и народ русский, позвольте привести — я на память, может, и ошибусь, так вы поправите. И продолжал, ни словом не ошибшись: «Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже еще! Но вот до чего доходила тоска!.. Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег Нового Света, откройте русскому человеку русский Свет, дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским богом и Христом, и увидите, какой исполнин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор, и это чем дальше, тем больше! И...»

Ну, дальше ваш Мышкин — отменно выписан, как живой, замечу вам — вазу уронил. Такую толпу народу разного вы увязали воедино, все со всеми сообщаются — это здорово, отлично!

— Благодарю, — чуть наклонил голову Достоевский, и с языка чуть не слетело даже и «польщен». Собеседник был примечательный, из тех, у кого свое энергетическое поле, а у этого, низкорослого, лобастого, оно было явно с противоположным зарядом — так ведь потому и притягивал.

Даже Анна Григорьевна, не слышавшая разговора, почуяла какую-то не то чтобы тревогу, а так... Да и ехать было отсюда пора, обедать и отдохнуть, а вечером еще мадам Штакеншнейдер, и там опять заставят Федю читать — он стал нарасхват прямо. Но ФМ, хоть и устал изрядно, не торопил закончить разговор. Этот тип был интересный тип.

— Федор Михайлович, а вы не находите, что тут получилась автопародия — и отменная, замечу вам, автопародия, вы не находите? Я такой и не встречал даже, пожалуй.

— Вы, мой юный друг, прямо захвалили меня всего. — Достоевский ослабил, но тут же сделался строг. И спросил: — Вы небось католик? Коли так, я ведь никого не желал тут обидеть. Напротив, меж католиков знаю...

— О, не трудитесь. Будь я не атеист, я был бы, наверно, протестант, уж наверно не католик.

Расстались сухо, но прилично.

Зернышко, однако, тот не католик, в очках с крошечными окулярами а la Победоносцев, в ФМД заронил. И он решил кое-кого из богословов католических почитать. С Константином Петровичем советоваться не стал отчего-то. Взял в дорогу Аквината, Фому Аквинского — и потом только понял, отчего его, а не другого: тот жил всего-то через века полтора после отложения католичества от православия, то есть именно

кафолической, то есть вселенской православной веры. То время текло медленно, как большая река. Не махонькая Нева, забитая торговлей, суетой и мусором, но Волга, допустим, либо Нил, который как бы хорошо увидеть...

Но поначалу отчего-то раскрыл французский роман, прихваченный им для снотворных целей, для заполнения дорожной скуки. Прочитал абзац-другой — и аж затошнило отвращением. Какая-то дама тоскует, видите ли, ждет виконта, а тот, подлец, не пишет писем из своей Америки. И книжонка резко захлопнулась.

И он достал из кейса другой том, от которого даже и пахло достойно: старой кожей, воском и сосной — видно, долго лежал на некрашеной столешнице, прежде чем оказаться, быть может, случаем печальным, на книжном развале, где Анна Григорьевна книгу и нашла. Она часто стала там бывать, исполняя заказы своих «иногородних», которые иногда запрашивали такие диковины, что приходилось рыться в развалах подолгу, заводя много знакомств среди книгознатцев.

И их клиентура — а по ней видно было, что больше народной, стала мало-помалу меняться. Конечно, по-прежнему требовали любовных романов, французских и иных, Жорж Санд, которую он и сам любил, грешный человек, почитать, и разных Ричардсонов, Грандисонов, которых и Пушкин небрежно сочетал рифмою в своем «Онегине»... Но теперь понадобилось, и все более, такое: «Женское образование», «Журнал полезных изобретений» и даже «Журнал для акционеров», требовали все выпуски. Ну, конечно, всякие книжонки «Как быстро разбогатеть» и тому подобные, коих развелось множество. Но и «Почвы среднерусских губерний», и «Землеведение», и «Как бороться с оврагами», и по разным ремеслам издания, порой роскошные, с массой рисунков, которые и сам он, ФМ то бишь, рассматривал.

Какой-то нижегородский, кажется, «Курьер» вдруг похвалил его за то, что «Г-н Достоевский первый из наших сочинителей, не желающих знать низменных предметов и простецов, сими предметами занятых, употребил слово "слесарь"». Анна принесла ему «Слесарное дело», каковое вскоре и было запрошено кем-то из клиентов.

Воображение долго не желало расставаться с образом трудящейся «капиталистки» Анны Григорьевны. Но вот старинная книга раскрыта. Ее-то он и почитает — Фому Аквината. Да, его. Длиннейшее предисловие оставлено безо всякого вниманья, и глаза упали на слова, которые завлекли, и сразу не стали слышны ни стук колес о стыки, ни железные звуки немецкой речи, ни звон чайной ложки в стакане.

Впрочем, обрывки, эхо надуманных за день мыслей еще прорывались в читаемые строки. Кто это сегодня ему? — мол, чужая душа потемки. О, скорее — своя. Не тьма, именно потемки. А вот душа народная — свет, Христов свет! Верую — так.

Не большой любитель стаивать в храмах, так и не заведший не единого доверенного друга, истинного, не по обряду исповеди, конфиденнта среди попов... Исключая, конечно, Победоносцева, Константина Петровича, — но тот ведь не поп, и вообще совсем особь статья. Однако, приискивая на съем квартиру, непременно выбирал, чтобы рядом был храм, и Анна Григорьевна горячо его в этом поддерживала. Ей бы, по крови, лютеранкой быть, а она православная до истовства.

А их, квартир, перебивало много, ох много. В той, что сейчас живут, он уже жывал когда-то, в молодости, недолго. Но не об этом сейчас думать надо. Фома Аквинат наконец захватил вниманье всецело. С чем заснешь, то и будет господствовать над сознанием. Это он давно заметил. Сонный разум — работает, да еще так хорошо, что просыпаешься — и только успеешь записать.

Он читал: «Как бесплотные существа действуют в нашем трехмерном мире? Ангел входит в соприкосновение с данным местом единственно посредством своей силы. Стало быть, перемещения ангела сводятся к последовательному приложению его

силы к разным точкам». И дальше: «Ангел перемещается в прерывном времени. Он может появляться то здесь, то там, и между этими точками не будет никакого временного промежутка. Нельзя назвать начало и конец движения ангела двумя мгновениями, между которыми существует временной промежуток; точно так же нельзя сказать, что начало движения охватывает отрезок времени, завершающийся мгновением конца движения. Начало — это одно мгновение, а конец — другое. Между ними вовсе нет времени. Можно сказать, что ангел перемещается во времени, но не так, как перемещается тело».

Достоевский заволновался и захотел курить. Вышел в тамбур, где железо и ветер вели свой ритмический разговор, но сознание уже было захвачено только что читаемыми словами.

«Ежели душа человеческая наделена ангельским избытком умственного, духовного света, стало быть, всякий раз, как мы интуитивно постигаем первопринципы, мы в тот же миг постигаем и все следствия из них: интуиция позволяет нам мгновенно узреть все то, что мог бы вывести из этих первопринципов рассудок... В душе человеческой свет духовный сияет тускло. Но этот свет в полной мере сияет в ангелах, каковые, по словам Дионисия, суть чистые и сверкающие зеркала»

Глаза его уже летели по строчкам, как перо по бумаге. Казалось, и поезд летит с какой-то сверхвозможной скоростью. А это мысль человека из давнего времени, пронизывая века, мчалась, опережая не только поезд, но и, может быть, сам свет. Ох, как... Славно как: чистые зеркала. Право-славно. Впрочем, ведь с века одиннадцатого, когда христианство раздвоилось на два русла, до века четырнадцатого, когда Аквинат жил на свете, для мысли человеческой — миг один. И католичность Фомы Аквинского — все равно что пылинка в глазу — сморгнул ее со слезой — и нету.

Достоевский глянул на титульный лист, где был портрет Аквината. Старинный гравер откровенно изобразил Фому мужем изрядно тучным, больше похожим на сборщика податей либо маркитанта, нежели мудреца.

...Когда ж два потока христианских сольются воедино? Бывало, даже и на письменной истории так, что река вдруг меняет русло свое и роет себе новый ход либо раздваивается на два рукава. Тектонические силы в глубинах земных поднимают поверхность земли, как глубокий вздох поднимает грудь — и вот уж река, извека назначенная течь своим путем, протекает иначе. И еще ни разу, кажется, не бывало так, чтобы вернулась в старицу. Но, даст Бог, случится. Христианство еще такое молодое. Двадцать веков — для вселенной меньше мгновенья. Буди! Буди! Он прошептал это, как молитву.

Великанских статей нибелунг спал напротив и, несмотря на мощные тела, не храпел, чего ФМ боялся, а только деликатно присвистывал. А жена его, маленькая и, видно, покорная, привыкшая жаться в пространстве, чтобы дать поболее места своему огромному супругу, спала вовсе тихо.

Сознание вошло в сон единым разом, как поезд в тоннель. Сон у него, человека больного, беспокойного, был полон видений. Свитые из образов, позывов, инстинктов, они пролетали мимо закрытых глаз его. А перед утром сны его были полны такими субстанциями, каким нет названья на человеческих языках.

Эта ночь была — ночь, где спящему среди иных спящих его сон выстроился тоннелем, полным света. Но то был не свет катастрофы и тревоги. Свет затапливал его всего, вбирал, влек вперед. Так в осенней аллее, в полусфере, образованной деревьями парка, ветер гонит листву — и идущий в том отдельном пространстве уж не шел неспешно, а спешил, почти летел вослед огненной листве, понуждаемый ветром.

Спящий удивился — но слегка, ведь во сне все легко. Даже смерть. Так отчего же стоявший в центре светоносной перспективы облачен не в хитон, не деликатное по-

крывище обнимает Его, а плащ, как воина. Но ведь возвестившему: не мир принес Я вам, но меч, и подобает быть готовым к дороге и битве. К пути бесконечному и к битвам многим.

Но только нет меча в руках, ничего нету. Длани раскрыты простым дружеским жестом, с каким идут навстречу тому, кого не видели долго, но видеть рады. Или же просто ладони указывают на землю? Возможно ли подойти поближе — или то будет непочтительно? Или пасть на колени? Но никакого знака нет, нет и побуждения — такого непреодолимого, чтобы его возможно было нелукаво принять за сигнал — как быть должно?

Спящий — верней, летящий в том светоносном тоннеле давно уж — не поле битвы; он-то сомнения и страшные свои сомнения победил, как архангел Михаил, хоть и ни разу не сиживал на коне, как Рафаэлев ангел-воин. Теперь он уже — поле засеянное... И неутомимое отделение знаков от плевел закончится с последним дыханьем. Да, вот только дышать все труднее, и пятна эмфиземы делаются то поменьше, после эмских вод, то разрастаются вновь... Ну, да и прилежный исполнитель докторовых предписаний не заблуждается ничуть о плодотворном действии вод, что Kesselbrunnen, что Kraenchen, именуя их «пальятивами» даже и в письмах жене, хоть и старается писать больше хорошего, обнадеживает ее всячески...

Но сей миг не этими пустяками занято его сознание. Он идет навстречу неземному свету, полуоткрытым объятьям. И то ли слышит, то ли видит письма: еще не пора. И обрадованный, но вместе и огорченный, проваливается из светлого сна в сон темный...

Достоевский давно уже на ногах, уже умылся, уложил саквояж, выкурил сигарку и принялся тотчас за другую. Он ужасно много, при хворых-то легких, курит. Жена насилу, с помощью доктора Кошлакова, уговорила перейти хоть на сигары. Но во время ночных своих писаний он все равно прибегает к папиросам, набивая их в помощью вставки. Как славно стоять у окна и глядеть на городки, хуторки в маленьких, для русского взора, полях. Кругом порядок и следы прилежного труда народных поколений, из веку в век. Словно и не бывало здесь войн. А ведь одна из них была аж столетняя. И еще будут? Или — успокоилась Европа? Но вспомнил слова из какой-то статьи своей: «У нас — русских — две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами (пусть они на меня за это не сердятся)». И другие слова, недавние: «Будущее, близкое будущее человечества полно страшных вопросов. Самые передовые умы, наши и в Европе, согласились давно уже, что мы стоим накануне *последней развязки*».

## 5. Шаль, просто шаль

Пассажир, коему до Эмса еще ехать и ехать, останавливается в Берлине — для чего? А ради закупки неизменных подарков — вот для чего!

Быть может, вы удивитесь, но в этом деле он дока, за что удостаивается от жены особой похвалы в ее «Воспоминаниях», писанных через порядочное время после кончины ФМ. Особенно ему удавалось удачно купить ткани, шали и тому подобные вещи, каковые лицам мужеска пола обыкновенно даже и не дозволяют покупать. Но ФМ любил общество женщин, выходящих или уж совсем вышедших из «возраста соблазнения», как себя честно и отрекомендовала одна из «поклонниц таланта». Он более всего любил оказаться един среди, так сказать, цветника.

Итак, мы застаем нашего героя в галантерейных лавках Берлина, — города, преизобильного разным модным товаром. Об этом вояже ФМ подробно напишет жене: «Я отправился покупать Анне Гавриловне (это жена хозяина дома в Старой Руссе, который Достоевские снимали на лето.—А. М.) шаль, которая стоила мне много хло-



пот. Искал-искал магазин. Магазинов в Берлине бездна, товаров бездна, но добиться долго не мог: или не понимают, или показывают очевидно не то. Наконец в одном магазине дали мне адрес в другой, и там хоть и не было шалей, но за ними послали, и я наконец купил. Думаю, что хороша очень и даже, может быть, материя лучше твоей, потому что цвет чернее, самый черный, какой только может быть, а твоя ударяет в рыжеватый оттенок. Они уверяют, что качество цвета очень ценится. Велика, как твоя, без всяких вышивок, но с легкой бахромой (иначе не бывает). Спросили 22 талера. Я торговался, уходил из магазина, и наконец-то согласились отдать за 19. Была тут и другая шаль, которую отдавали за 18, но цвет был не так черен. Я решил взять, в отчаянии найти другую. Когда я их уверял, что была куплена шаль (твоя) с вышивками и дешевле, то они спросили, давно ли это, и когда я сказал, что 5 лет назад, то они засмеялись: «С тех пор, — сказали они, — почти все товары поднялись процентов на 25». Так как Анна Гавриловна дала 14 руб. серебряных, то по курсу это было бы талеров 16, значит, я переплатил лишку не более 3 или много что 31 рубль с полтиной. Эту переплату, голубчик Аня, уж мы лучше подарим Анне Гавриловне (они так любят тебя и детей), и ты, наверно, на меня за это не станешь сердиться. Теперь эту шаль буду таскать с собой в чемодане, потому что переслать по почте дорого возьмут...» И т. д., и т. п.

Радуюсь, отдыхаешь душой от описания череды невзгод, читая про все это: и какой курс рубля в Эйнкудене, Петербурге и Эмсе, и какой «Федечка» ловкий в «промене» денег — выменял лишних аж 22 талера с половиной! Ай да умница, ай да ушлый ФМ. В рулетку бы так... Кстати, о казино. В Эмсе оно имелось, но незадолго до того времени, как автор «Игрока» стал езживать сюда на лечение, казино высочайшим указом прусского короля закрыли, а вскорости после последнего визита писателя, к тому времени уже прославленного, открыли снова. Ай да король! Решпект тебе от русской литературы, Твое Величество! Теперь в буклете этого курортного городка имеется и реклама игроцкого заведения (уж как хотите, а греховного). Реклама сомнительного увеселения звучит так: «Hier hat Dostojewski nichts verspielt!» («Здесь Достоевский не проиграл ничего!»).

И еще одно замечание, d'ailleurs. Целебные воды Эмса рекламируют и поднесь, но... уже помогающие совсем от других болезней, каких у ФМД, кажется, и не было.

Зачем-то захотелось пересечь вокзальную площадь. Возможно, он соблазнился, празднично переживая время, нарядными окнами кафе, где прилично отобедать. До Эмса, точнее, до Бад-Эмса ехать на другом поезде, ближе в вечеру, время как раз есть. Однако, площадь заполнилась солдатской колонной. Односложный взлай команд — и шеренга единым мигом остановилась и повернулась лицом — именно единым лицом — к командиру, офицеру в каскетке о острым наверху. И сразу отряд солдат сделался как плотная фашина. Еще команда, и — айн! цвай! драй! — винтовки, оперенные плоскими штыками, взлетели, замерли над плечами. От колонны отделились люди с красными флажками. Достоевский, со своим саквояжем в руке и свертком под мышкой, почувствовал себя слабым, беззащитным перед этой стройной массой. Он повернул голову в ту сторону, куда двигалась колонна. Там стоял поезд в несколько вагонов, воинский эшелон.

Вспомнилось другое, уже отдаленное время, Дрезден, где они были с Анной, уже женатые, но еще бездетные. И они тоже увидели такую колонну солдат. Он, по привычке своей, стал вглядываться в лица идущих мимо одинаковых людей — и вот они уже были для него, искушенного наблюдателя, каждый наособицу. Но было нечто, объединяющее этих молодых немцев. Было видно, что им нравилось быть солдатами, глаза светились отвагой и, кажется, нетерпением. Дамы восторженно вопили,

тянули шеи, стараясь получше разглядеть героев, «и в воздух чепчики бросали». Флаги, венки на решетках. Многоцветие, впрочем, происходило большей частью не от знамен и чепчиков, а от мундиров, представляющих саксонские, шлезвиг-голландские, прусские, вюртембергские, баварские и прочие княжества, которым еще предстоит стать единым государственным телом. Пока же зеленые куртки и белые лосины, лосины красные и куртки синие, кивера, аксельбанты, кожа сумок и поясов, букли и косицы, широченные обшлага и высокие воротники разновсякого фасону — все вместе создавало праздник, волнуемый карнавал. День выдался теплый, с легким ветерком. Белые облачка стояли над островерхими крышами и множеством шпилей. Голуби носились стаями, словно тоже радовались действу. В раскрытых окнах виднелось множество обывателей, и они махали платками и шляпами.

Федор Михайлович искоса глянул на Анну, молоденькую свою жену, которая тоже восторженно блестела глазами в толпе. «Разобьют их французы, а потом война и к нам припожалует», — глухо бухнуло ему в сердце тогда. Он был, один из немногих, мрачен в ликующей толпе.

Аннапоглядела на «своего дорогого мужа» и увидела его аутический, глядящий неведомо куда взгляд — и уж и ей не захотелось ликованья.

Они пошли, как и порешили с утра, в картинную галерею. По дороге слегка заблудились. Муж обратился к господину, по-видимому, интеллигентному, с вопросом:

- Wo ist Gemalde Gallerie?
- Was?
- Wo ist Gemalde Gallerie?
- Gemalde Gallerie? —
- Ja, Gemalde Gallerie.
- Konigliche Gemalde Gallerie?
- Ja, Konigliche Gemalde Gallerie.
- Ich weiss nicht.

(Где картинная галерея? — Что? — Где картинная галерея? — Картинная галерея? — Да, картинная галерея. — Королевская картинная галерея? — Да, королевская картинная галерея. — Я не знаю).

Прошло много лет, а они все вспоминали того педантичного немца и при случае, дурачась, обыгрывали его солидный ответ.

Время ныне другое. Военные люди перестали быть нарядные, как в цирке, но их стало больше. Время, хоть по одному этому суди, завивается в крутой вихрь.

И Москва, и Петербург, и Рига, и иные большие города в России стали пахнуть не только печным дымом, дегтем, конским навозом, как исстари, но и угольной гарью. Достоевский не любил тот дух: он знаменовал что-то враждебное прежнему укладу. Железные дороги вспарывали своими двойными лезвиями настоящую тишину. Прошло два десятка лет, как Александр Освободитель отменил своим монаршим указом крепостное право. Первые года после этого были дурные, взбалмошные. Крестьяне, ушедшие в города на заработки, не спешили по осеням «вертаться» в свои семейства, в деревни свои. Народ разлился в поисках незнамо чего по городам, шлялся целыми ватагами из города в город, и разбойничьих шаек стало не в пример больше, чем бывало всегда.

Многие ж, понятно, никуда не порывались, а находили и счастье, и волю, и забвенье в сине-зеленых бутылках «казенки» и грязными кучками безнадежно грудились прямо возле кабаков, под мостами, в окраинных лесочках. Враз много людей русских преобращались в цыган — только без гитар и плясок, а угрюмо, опасно и зло.

Бабы ждали их по деревнюшкам и селам, умножался и крестьянский промискуитет по стогам да сеновалам, а то и «во поле широком». Тут как раз, как в нынешнюю пору бают, «попали в нерв» «Коробейники» все того ж господина Некрасова — вот как вспал на память, пристал, теперь долго не отстанет!

Распрямись ты, рожь высокая,  
Тайну свято сохрани!

Да какое там. И тайна не сильно свята, да и всякая другая в деревне за зубами живет недолго.

И во всем другом, до любовей не касаемом, сдвинулось, струнулось, стало преобразаться. И тот оказывался прав, кто говорил, что в русском народе, в глубине, в толщах народных силы, таятся немереные, вот и ФД о том чуть не во всяком своем «Дневнике». А вечно угрюмый господин Леонтьев — ну, у него и Победоносцев порой попадает в вольнодумцы! — тот мрачно изронил: «Надо подморозить хоть немного Россию, чтоб она не "гнила"».

Ну, гниет, положим, то, что уж отжило — а иное цветет. Только вот слишком раннее цветенье, когда еще заморозки впереди, тоже к неурожаю ведь. А мы, хоть и на камне петербургском живем, камнем от земли и неба отгораживаемся, а все, вплоть до гимназисток, великие знатоки в земельном вопросе и «видах на урожай», который сеют и жнут другие, а мы только... Впрочем, они-то уж, а Федичка (тут АГ нежно улыбнулась) особливо, не чужой хлеб заедают, а свой, горький хлеб едят.

И смятенье в умах необычайное. И самые либеральные либералы — не все, а кто умеет быть задумчив и «среди шумного бала» — вдруг стали переходить с галопа на иноходь, а другой «лагерь» — у нас всё ведь лагеря, чуть не баррикады по любому поводу и шум, война, — те затрубили победу, будто всю жизнь только и пели «песнь освобожденья». Разговоров надолго хватит. Впрочем, отвлекают и иные важные важности. Вот самые отчаянные нигилистки взяли моду косы обрезать, стричься накоротко. И что тут поднялось! Будто черти из преисподней, завопили «охранители», радостно возопили «либералы». Ну, это ладно — там, где женщины, там всегда шумно. И даже не сами дамы шумят, хоть и не без того, а мужчины возбуждаются необычайно, и «женский вопрос» шибает, как шампанское, в головы. Однако же о чем стали зубоскалить газеты! — иные девицы и даже дамы будто бы цветочные подношенья отвергали, уверяя, что цветочки да душки их унижают, мешают видеть в женщине человека и т. д. И будто бы даже бросали в лицо воздыхателям те фиалки. И, говорят, одна такая девица «с направлением» остроумно прибавила: ведь я не пришла к вам, сударь, с сигарками!

Ну, это, может, только «тру-ла-ла» фельетонистов, которым построчная оплата, и надо ж чем-то заполнить колонку, не покидая своего убогого жилища.

Ладно, вздор. А вот и она, Анна, стала отмечать другое. Их «книготорговле для иногородних» заказывают все более и более разные специальные книги да журналы — по сельскому хозяйству, ремеслам всевозможным. Иной раз и они с Петрушкой-приказчиком по развалам и книжным лавкам рыщут, нужную книгу ищут, даже Федор иногда, страстный любитель читать газеты, присоединяется к поискам. И, к гордости и пользе «фирмы», редко, все реже, терпят афронт. Зато и основной товар уходит шибче. Тут АГ поймала себя на том, что она стала по-купецки относиться к чему — ко книгам! Это она-то, которую в нежных годах звали Неточкой, поскольку она читала-перечитывала тогда только вышедшую книгу того, кто оказался ей мужем — раз браки, и верно, заключаются на небесах.

Да, на небесах. А на земле — тут все, что ли, товар. Ну, раз книготорговля, пусть и «Ф. Достоевского», то почему бы и не товар?



## 6. На сломе

Так бывает всегда, когда власть или история (или та по велению другой — и кто тут сверху, пойдя разберись!) вдруг единым махом переключивает галсы, и громадный левиафан государства меняет ход, и «бурные волны моря житейского» прокатываются по палубам, и многих сметают в пучину. Иные ж, немногие, ухватываются за снасти, а бывает, что и за руль, и если удастся перетерпеть накаты и крепко устоять, то возвышаются необыкновенно.

В то время, которое мы тут «крадем из тумана забвенья», как сказал бы какой-нибудь поэт, как раз заповялялись тоже люди новой складки — то есть как тип появились и вышли на авансцену, хоть пьесы про них пиши. Господин Островский, впрочем, так и поступает.

Возникли, словно народ — это дремучий лес, крепконогие, разлапистые, как медведи, отчего-то больше рыжебородые люди — хозяева. Они и раньше были; случались даже крепостные с миллионными капиталами. И вдруг явились ссыпщики, подрядчики, мастеровые, способные и сами делать что-нибудь, и даже много, своими могучими ручищами, но при этом крепкие и умом — умом, свободным от интеллигентских рефлексий, часто в грамотешке пошедшие не далее двух церковно-приходских классов, но умевшие к деньге прибавлять деньгу, грести деньги лопатой — вот как этот мужичок, несколько татаристого вида, что знай себе затаривает один шестипудовый мешок за другим. И ставит их ловко так, что они стоймя подпирают друг друга. Вот насыпал мужик мешки и стал быстро-быстро зашивать их крепкой бечевкой.

Анна вылезла из брички и пошла поближе к пристанской постройке, к ссыпщицкому то есть амбару. «Машинальный человек» (как определила Анна, и мелькнуло: надо записать словцо, может пригодиться Феде) только на миг зыркнул из-под потных и пыльных бровей на даму и не стал тратить время на размышление: чего это она тут, где и бабам-то не место, а уж барыням и подавно.

А Анна не сразу поняла, что ее так привлекает. А вот что — игла, какой этот человек ловко орудовал. Игла была не простая, каких много копится в дамском хозяйстве. Большущая, кривая, с огромным ушком, сквозь которое не то что дратва, а и тоненькая веревочка пролезет.

Мужичок делал несколько стежков, и потом разом резко тянул бечевку — и вот уж один мешок зашит и другой, и третий. Ловкость мужичка производила впечатление. Работа мелкая, к которой женские руки больше пригодны, — а вот поди ж ты — у нее зашивать посылочные ящики в синюю почтовую рогожу так не получается.

Когда она задумала «книготорговлю Достоевских», дело казалось легким. Ан легких дел не бывает. Сперва и заказов-то не было. Хотя дали объявления в газетах. И «Дневник писателя» уже набирал подписчиков, да и вообще имя Достоевского стало не то чтобы греметь, но уже выделялось. Пока, правда, только чтобы не быть стиснутым среди имен, которые читательский ранжир назначил во властители дум: граф Толстой, Тургенев, Гончаров, которым и платили по пятьсот рублей за лист, а ее Феде только по сто, иногда, в виде особой милости, по сто пятьдесят.

Счастливая мысль — кажется ее, Анны, мысль (впрочем, она уж давно не разделяла ничего с ним наособицу) — сделать «Дневник писателя». Небывалый допреж журнал одного автора оказался живуч и своевременен. Не то что несчастные «Эпоха» и «Время», которые только наделали долгов, из коих по гроб жизни, наверное, не выпутаться.

А потом появилась эта вот почтовая книготорговля. Уже в одиннадцать губерний нужно посылать посылки с книгами — и в каждую в особой коробке, обшитой не-

ременной синей рогожей. Потом на извозчике до почтамта, и за всем проследить, и не перепутать адреса, и за все платить, платить. Но все равно получалась выгода — настолько, что порой она выходила на первую роль, особенно когда за прежний роман уж все деньги выбраны, а новый только еще в планах, в Фединой голове, где спят эпилептические молнии, борются тьма и свет, и сонмы лиц и рож толпятся и просятся быть явлены. Планов бывало множество, до трех десятков на новый замысел, и это была самая мучительная пора. Бывало, что Достоевский, уже утвердившись на каком-то из этих планов (они, впрочем, больше были подобны тучам в пору перемены погоды: клубились, метались, терзаемые верховыми потоками стихии), вдруг понимал, что роман не течет, как река в русле, и безжалостно рвал порядочную стопку исписанных и перебеленных страниц. А до сдачи очередных трех листов в очередной журнальный номер оставалось несколько дней, неделя. И Анна Григорьевна думала: хоть бы падучей не случилось. И вот он, понуждаемый сроками (а почти все время так и было — писание к сроку, наперегонки со временем), и редко когда не успевал. Зато и господин Катков охотно — то есть не выказывая недовольства — выдает авансы.

Но зато уж потом только успевай, госпожа стенографистка, за лихорадочными бормотаньями и вскриками этого человека, который метался по диагонали, и когда мах шагов слишком уж ускорялся, Анна Григорьевна, наученная страшным опытом, решительно вставала со стула. Это был сигнал, и муж покорно сходил с маршрута и присаживался к столу, где высился большой самовар, стояли стаканы в подстаканниках и сладости в блюдцах. Федор Михайлович сладенькое любил, сам выбирал в лавке «по фунтику, полуфунтику» разные разности. И много курил, хоть и было ему никак нельзя, с такими-то легкими.

Так они и жили.

Вот как мир устроен. Даже такое малюсенькое предприятие, торговлишка эта махонькая — и то была твердой пядью, а не палубой корабля в море, всегда беспокойном.

Когда-то давно он написал своему брату Михаилу, давно умершему: «Мое имя стоит миллион...» Тогда — в пору размышлений о том, дерзнуть ли издавать новый журнал или продолжать держать маленькую фабрику сигар, которую все убеждали удержать, поставить «на ноги» и жить в фабрикантском довольстве, — Федор убедил, на его и, пуще того, на свое несчастье, что фабричку надобно продать, а издавать журнал.

К концу того же года стало ясно, что подписка резко упала даже у прославленных, укорененных в публике журналов, а начинать новое дело — в смысле издание журнала — безнадега и глупость.

— Чем могу служить-с, сударыня?

Только тут Анна Григорьевна видит перед собой господина наружности не то чтоб приятной, но внушающей впечатление силы — такие нравятся женщинам, и АГ спокойно и без лишних околичностей объяснила, чего она тут, в месте, чуждом дамских интересов.

— Мне, видите ли, часто случается делать почтовые отправления. А вы, может быть, знаете: по новым правилам их надлежит обшивать казенной рогожею. Так вот, моя... моя помощница замучилась. Самая большая игла, какую мы могли сыскать в галантерейных лавках, все одно мала и неудобна. А я вот смотрю, как работник ваш этой иглою орудует — ловко! Никогда такую кривую иглу не видывала — прямо как крошечный кинжалчик. Мне бы такую. А то пальцы у помощницы болят.

Собеседник скользнул полувзглядом по рукам Анны Григорьевны — и увидел на них следочки небарской натруженности. И АГ почувствовала этой взгляд, и наивно спрятала руки за спину, и покраснела.

— Позвольте мадам, одну сентенцийку. Никакой труд не зазорен никакому сословию. Вы, верно посылочной торговлей заняты? Кружева-ленты, духи-пудры, так?

— Угадали, но только наполовину. Книгами торгуем.

— О! Bravo! Прошу принять от меня подарок — я не главный тут хозяин, но такая мелочь... Махмудка, иди сюда. Впрочем, стой там, я сам подойду.

И он подошел к работнику и выдернул из нагрудного кармана фартука две иглы.

Анна чуть подробнее оглядела мужи... господина, сочтя, что теперь, после разговора, это прилично. Невысок, чуть косолап, как и Федор. Такой любит рядом с возом ходить, даже ежели и дальний путь держит: чтоб лошадку на затомить, а может, затем, чтоб иметь удовольствие на поклажу поглядывать — хороша, мол, ржица да пшеничка об этом годе удалась! Вспомнился Анне Разумихин, что в «Преступлении» бросил Лужину, Петру Петровичу: «Деловитость в сапогах ходит». Вот о таких, кто крепко, вразлапицу на земле стоит и на своем настоит, о таких новые обстоятельства жизни гласят больше прежнего. Нежданный знакомец стал Анне определено нравиться.

— Вот, прошу вас. Презент. — Он сказал *прэзэнт*. — Такая игла в народе еще прозывается цыганская игла. О, вы ничего не должны, цена им грош, и буде. А продаются такие вещи не в галантерейных лавках, а там, где всякий припас для сапожников, шорников и тому подобных господ. Все-таки не стоит вам там появляться. Но вообще-то на Сенной я видел такую лавочку. Но вам туда не надо ходить.

— Это отчего же?

— А народ там сильно грубый. А у вас, извините, нежность чувств, обоняние...

И Анна тихонько пробормотала про себя: «Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную; там били женщину кнутом...»

— Крестьянку молодую, — закончил собеседник.

И Анна прищурилась на него повнимательней, даже и голову склонила набок. Разумеется, и сразу было видно, что одет сей господин «по новейшему маниру», как уже пошутковал юмористический журнальчик, какие муженек, страстный любитель читать газеты, иногда прихватывал заодно. У него и теория насчет таких пошлых журнальчиков и листков была — мол, в кривом зеркале самое характерное и выступает. И народные запросы будто бы выказываются в том, что издают издатели, у которых особый «нюх», и они что хошь напечатают каким надо тиражом...

Однако господин, который стоял перед нею, терпеливо ждал, когда взгляд у незнакомой дамы, с коей захотелось поговорить — такая она необычная какая-то, когда взгляд у нее перестанет быть отсутствующим. Не напоминать же о себе, как «человеку» в трактире. Не шибко красавица, а серьезная, и свое торговое дело есть: как-то чувствуется, что в нем не она при муже, а муж при ней. Такие дамы запоявлялись в Петербурге, чего ранее совсем не было.

И Анна Григорьевна навела наконец внимание на человека, терпеливо стоявшего напротив. Его можно было счесть и звать господином, а можно и мужиком, «любезнейшим». Сюртук на нем был вполне разночинный. В таком и чиновники, если не сильно важные, ходят в свои «присутствия». Сапоги не модные, но вполне новые и приличные. А что запыленные — так на пыльной работе человек, а не променад тут делает. Вот только картуз никак не комплектен со всем остальным, а темный шейный платок и вообще придает ему вид слегка нерусский. Таких мужиков она много видывала в Европе.

— Господина Некрасова читывали?

— И всегда читаю. Как жаль, что рано умер. Другого такого уж нету. Я и на похоронах его был, и речи над гробом все выслушал. Разное говорили — ну, что хвалили, так ведь так над покойником и полагается. Один господин говорил, к примеру, что

Некрасов сразу за Пушкиным и Лермонтовым идет. А мы, только несколько впрочем, закричали: Некрасов — выше, выше! А тот господин строго так: не выше и не ниже, а рядом. Как же его фамилия, кто говорил? На «ский» как-то.

— Достоевский.

— Точно! Он! Он еще на каторге был, я читал где-то. А вы, сударыня, откуда знаете?

— А тоже в газетах отчеты читала.

Анне Григорьевне на мгновение подумалось: не назваться ли, не порасспросить книгочея из народа, читывал ли он мужа? Но передумала: если ничего не знает, выйдет неловкость. Да и пора, пора. Вполне можно успеть на почту отправить готовую порцию заказов — тогда можно завтра побольше отдохнуть. В том смысле отдохнуть, что только детками заниматься. Это никогда не отдых, конечно, но всегда отрада.

Чувствовалось, что поклонник Некрасова еще бы рад поговорить — но это уж начался бы разговор о литературе — нескончаемый русский разговор. Да и неприлично замужней женщине с незнакомым... господином, который даже и имя не назвал — впрочем, и она тоже не назвалась, — беседовать так долго.

Анна Григорьевна слишком сухо и поспешно кивнула на прощанье, боясь, что раздастся какой-нибудь вопрос или человек пожелает развить какую-нибудь «сен-тенцийку», и будет неучтиво обрывать на полуслове. Потому что, во-первых, человек оказал любезность, оторвавшись от нешуточных своих занятий, во-вторых, совсем неважно, что картуз, а в-третьих, потому что... потому что — человек, и никаких первых-вторых не требуется. Дай-то Бог, чтоб Петька не убежал куда-нибудь, чтоб все приготовил к отправке — и тогда... тогда! — она целый завтрашний день только с Федичкой да с Лиличкой... Да с Федором — она будет тенью лететь с ним в вагоне... Хм, можно ли лететь в вагоне? Так ведь незримо... нет, не то. А вот как перо летит по бумаге. Так она уж сколько лет летит своим стенографическим письмом внутри того вихря, который ее диковинный и даже, прости Господи, страшный ее суженый сотворяет округ себя.

Извозчик покорно ждал — да и куда он денется. Довольно еще не старый, он, слышав ее шаги, обернулся. На обветренном, с пятном обморожения лице его погасала виноватая улыбочка, будто был он застигнут за чем-то нехорошим. Ямщикок поспешно сунул под скамью нечто, но АГ успела заметить, что это книжка, небольшая книжица. Анна Григорьевна улыбнулась, и вот какой мысли.

Некогда, уже довольно давно, Федор дал в газете, кажется, в «Гражданине» «какие-то «маленькие картинки» — всякую мелочь уличных наблюдений. Так в то лето получилось, что дела держали ФМ в Петербурге, когда «приличная публика» разлетелась по дачам, насладиться «благорастворением воздуха». А в городе жара, пыль, кучи известки, которые при налетах ветра курились тонкими вихриками. Вдоль по опустыневшим улицам шлялись мастеровые и жили, при почти полном отсутствии господ, жизнью свободной. И многие даже были трезвы и ходили с детьми по гостям или просто так, пощелкивая семечки.

Достоевский, газетный автор, поминал «название одного нелексиконного существительного», так что весь язык иных простецов состоит из одного только слова, чрезвычайно удобно произносимого. Однажды в воскресенье (повествовал репортер), уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому ж немногосложного.

Картинка народного быта, одна из многих в сем нехитром «физиологическом очерке», написанном писателем лишь потому, что в кои-то веки выдалась передышка между писанием огромных, как толщи земные, романов.

ФМ тиснул эти заметки да и забыл бы напрочь — ан не тут-то было. Вскорости московская газета сотворила уж из этой газетки, принявшейся от времени было желтеть, порядочный костерок. И вот получилось, что иные романы ФМД были обойдены молчанием, и откликнулся какой-нибудь «Харьковский телеграф», «Весьегонский курьер» или что-нибудь в этом роде, да и так откликались, чтобы уж лучше бы вовсе не клацали своими литерами: «Сие пространное сочинение, каковое дочитать до конца вряд ли когда либо кто-либо същется, местами недурно и даже веселит, а было бы и того занятнее, не будь оно, то есть вышеупомянутое сочинение — сами понимаете, с прологом и эпилогом, как и полагается в благородных литературных домах обеих столиц, — не будь оно слишком подряд чредой лекций о психиатрии...», и тому подобные разборы, кои присылали «газетные подруги», как она зло и отчасти ревниво именовала корреспонденток — иные, самые опламененные, залетали даже и в Старую Руссу. Поклонницы аккуратнейшим образом прикладывали к своим восторженным возраженьям сами эти «статьи». Анна их старалась прятать, но ФМ сам бегал на почту и отлавливал посланья.

Он был тщеславен, желал бы лавины статей, но были лишь ручейки, да и грязноватые.

А тут первопрестольная исторгнула на ерундовую газетную статейку целый трактат, и презабавный к тому ж. Там было: «То-ись ума не приберу», — пишет учитель, рассказывая об эффекте моего фельетона в Москве. А ФД мог и поязвить, и бывал изрядно ядовит.

А тут случился повод.

«Что это за диковинка такая, какой спрос на этого «Гражданина» вышел», — удивлялся один из газетных разносчиков на мой (то есть московского репортера. — А.М.) вопрос о спросе на газету «Гражданин». Когда я объяснил ему, в чем дело, разносчик побежал к Мекленбургу и Живареву — нашим оптовым торговцам газетами, чтобы взять оставшиеся нумера; но их и там расхватили: «Все-то из рядов да из Зарядья спрашивают...» Дело в том, что до Гостиного двора дошло сведение, что в «Гражданине» написана целая статья *об нем* (то есть о том, что означает «крайне односложным существительным»), и вот гостинодворцы, вместо того чтоб покупать «Развлечение», кинулись на «Гражданина».

Московский учитель мой оканчивает обо мне в своем фельетоне с чрезмерною, почти сатанинскою гордостью. «Я воспользуюсь примером почтенного коллеги (то есть моим), — говорит он, — когда мне случится писать фельетон, а матерьяла никакого не будет, и постараюсь тогда заняться тоже *картинками*».

ФМ на то развеселился и, ловко приняв подачу, не без удовольствия поерничал: «Да ведь это вовсе недурно, послушайте, это известие, и напрасно ж вы стыдите меня гостинодворскими читателями. Напротив, очень бы желал приобрести их расположение, ибо вовсе не так худо о них думаю, как вы о них думаете. Видите ли, покупали они, конечно, для смеху и из того, что скандал вышел. На скандал всякий человек набрасывается, это уже свойство всякого человека, преимущественно в России (вы, например, вот набросились же); так что гостинодворцев за это, я думаю, нельзя презирать слишком-то специально. Что же до забавы, до смеху — то есть разные забавы и разный смех, даже в самых соблазнительных случаях. Учитель мой, впрочем, оговаривается; он прибавляет: «Я уверен, что пером автора «картинки об нем» руководили самые добрые намерения, когда он писал этот гостинодворский фельетон», то есть учитель делает мне честь, допуская, что я не имел непосредственно и главную целью, упоминая о нем, развратить народ».

И уж понеслось перо — не остановишь. Век бы писать фельетоны, проказничать, зубоскалить — и горя не знать! И ФМ, «почтенный романист», полетел: «Вот так

мысль! Вон оно как у нас в Москве-то! А мне-то, мне-то какой урок! А знаете что, учитель? Мне-то вот и кажется, что вы нарочно подхватили у меня о нем, именно чтоб сделать и ваш фельетон занимательнее. Может быть, даже позавидовали моему успеху в Зарядье? Это очень и очень может быть. Не стали бы вы так копаться и размазывать и столько раз поминать об этом; мало того что поминали и размазывали, даже нюхали...

Все же мы доросли до того по крайней мере, чтоб разнюхать, когда нам подносят что-нибудь уже очень бьющее в нос, и умеем ценить это помимо намерений автора...

Ну так чем же пахнет?»

Фи! — подумала целомудренная «жёнка» — но некоторая игриво-здравая мысль мелькнула у ней, и она посоветовала напечатать это не в газетке, а прямо в «Дневнике писателя». И точно: так же этот выпуск стали спрашивать, и пришлось допечатывать тираж, ибо быстрее всего ветер метет пыль и вздор. Разнеслось, что вот, дескать, вышла книжка, где «про это», «запрещенное при дамах существительное» — прямо печатным текстом, да еще и про «господские развраты». Гостинодворье, Сенная, Зарядье и тому подобные людные места сделались возбужденны. Оказалось вдруг, что усердные читатели небольших дешевых книжек — как раз ямщики, потому как чем-то надо быть занятым, пока ждешь-пождешь седока. И едва только разнеслось, почудилось, что «пахнет» чем-то таким, полетели, как мухи, любители занять себя каким-никаким чтивом.

А мыслишка у Анны Григорьевны была здравая, да лукавая: коли «Гражданин» искали, то и «Дневник» поищут, и упростила метранпажа не рассыпать пока набор. И ведь угадала! Пригодился набор-то, и не надо было платить за повторный, а только пару синеньких типографщику Александрову дадено. И еще шесть, что ли, тысяч книжек было допечатано и распродано. Эмилия Федоровна, вдова, которую АГ не любила иногда до ненависти, даже больше, чем мужнина пасынка Пашку, тотчас явилась — ласковая по обыкновенью, когда чуяла запах денег. Но Анна Григорьевна ничего не дала. Можно было в оплату долгов пустить — не пустила, а накупила детушкам игрушек, одежды и даже себя побаловала: взяла в Гостином дворе себе отрез на платье.

Приятные эти воспоминания цеплялись одно за другое, и Анна, вообще-то не склонная, как супруг, вступать в разговоры с кем ни попадя, тут чего-то захотела поговорить с ямщиком, тем более что и духом сивушным от него не веяло.

Любопытно сделалось, что это он читает. А вдруг как раз «Дневник писателя» — ведь она уже видывала его у разных людей в руках. Даже и приказчик однажды в лавчонке, видела, читал, пока не было никого у прилавка, и с такой же сконфуженной гримаской прятал книжицу под прилавок.

— А что это ты... вы читать изволите? Ежели не секрет, конечно. Коли непотребное для дамского глазу, то и не отвечайте совсем. Это я ведь так просто.

— Отчего же не показать-с, барыня. Чтение мое простое, крестьянское. Я ведь тут только на заработки приехал, да вот призастрял в ямщиках-то. А читаю нынче вот чего. — И возница вынул из-под скамьи, где было, верно, какое-то место для разных надобностей.

— Вот, извольте видеть. Чтение, правда, не дамское, но благочестивое. — И он подал Анне тонкую книжку — не книжку, журнал «Русское сельское хозяйство». Был он весь замусоленный, пахнул дегтем, а страницы загнулись капустными листьями. Но Анна Григорьевна раскрыла наугад и стала читать: «Самое важное и наиболее требовательное продажное растение, т. е. озимая пшеница, получит в севообороте соответственное место, так как она один раз идет после удобрения навозом кормовой



вики, а другой — по клеверу. В подстилке и навозе также не должно быть недостатка. Соломы от озимых хлебных растений будет для этого достаточно, а если бы оказался излишек навоза, то последний мог бы пойти под кормовую репу». На репе Анна заскучала и вернула ямщику его, и вправду благочестивое, чтение.

— Был крепостной, а сейчас вольный. Так? И на землю хочешь?

— Истинно так.

Анна отметила, что к ответу не прибавилось ни ерса, ни «барыни», и это ей почему-то понравилось.

— Землицы... — а чего это я под народный говор подлаживаюсь? Ишь, «землицы»!

— Пашни небось больше стало?

— Эх, кабы. В шестьдесят первом стали землю делить. И вдруг окажись, что крестьяне-то у нас не безземельные, и у многих даже лишку. И ушло много земли помещикам в отреза. Мы меж собой много об этом говорим, и в разных губерниях по-разному. В иных чернозем получался выкупать много дешевле, чем суглинок да супесь, ежели земелька близ Петербурга али Москвы. Баре-то, вишь, те места дорогими сочли, где у них дачи да подгородние именья. А вот хохлам да бульбакам — тем, стало быть, повезло. Только об этом долго надо говорить, да я и сам не все знаю-понимаю. Думаю, прости Господи, что и царь-батюшка не все понимает. Тут ямщик испуганно оглянулся, будто царь-батюшка мог пристроиться на закорки его пролетки, как мальчишка, и подслушивать.

Анна знала о пореформенной катавасии немало. Но не стала выказывать свою осведомленность, странную для «дамского сословия». К тому ж подъезжали.

— Вот тебе, братец, денежка, но ты погоди. Мы, наверное, еще на почтамт поедем с тобой.

Петька оказался на месте, и все одиннадцать посылок были готовы. Молодец какой. Даже в том порядке составлены на лавке, как далеко от Питера те губернии, куда пойдут ящики.

— Я тебе, Петруша, подарок привезла: иголки особенные. Пальцы меньше болеть будут. Но это потом. А сейчас поехали на почту, как раз успеем. И на завтра я тебя отпущу отдыхать. Хочешь небось с парнями да девками побегать? Ты же еще почти как дите. Господи, ведь тебе пятнадцать всего. Всего пятнадцать. И уж небось устал... А уж я как устала...

Она повалилась на стул во внезапном изнеможении, и руки сами сложились так, как женщины складывают, подходя к попу за благословеньем: будто водицы зачерпывают, чтобы умыться. Устала, устала, — думала Анна. И закрыла глаза в мгновенном обмороке-сне, как с ней бывало. И в том сне увидела Федю, своего супруга Федора — почему-то тоже в рясе, будто священнической, в какой он никогда не бывал, конечно. И он, инок, карабкался по тропе, идущей больше вверх, нежели вперед, витой горным туманом. И уже порядочно прошел того пути, а над ним... Господи, громады какие — ледяные, снежные, и облака, будто Саваофова седина. И вот он, кому она назначена быть супругой и спутницей на всех путях, вот он оборачивает к ней лицо свое. Испитое, с негустой бородою лицо — и улыбается, и рукою манит.

Да куда уж. Даже ей, за ним — по этим стезям редко чья нога человеческая ступает, ей ступать не дано. Порой ведь целыми столетьями на этом пути — никого. Там, пониже, на взгорьях, даже и на лугах духовных, туда достигают некоторые, немногие. А далее, в те Гималаи... Туда сил человеческих нет идти. А он идет, Федя-то, мучимый кашлем и многими напастями похуже. Вот он-то как устает — невозможно и вообразить, хотя она всему свидетельница, соучастница — а все равно дивится... и не понимает. Вот у него какая усталость набралась. Только что это виденье такое *блзнится* (вдруг вспомнилось словцо Прохоровны-кухарки). Все ли ладно с Федором Михайловичем? Телеграмму надо! Телеграфировать! Ох...

Женщина пробуждается, «испуганной орлицей» — в следующий миг иронически подумала сама о себе, судорожно хватая воздух, аж всхлипывает. Юный Петруша, чуткий не по летам, взметнулся:

— Что с вами, Анн-Григорьяна?

Она раз и навсегда запретила величать себя барыней и хозяйкой, вот он и звал ее по имени-отчеству, глотая слоги.

— Да нет, это так. Быстрей, быстрей на почту!

Вот как славно все получилось. Весь денек славный. И соседки у Федечки в вагоне две дамы. Надеюсь, не болтливые и не храптивные. И уже вышли из возраста обольщения, как выражается про себя одна поклонница мужа, верная его читательница-почитательница, дама знатная и острая на язык, но не злая. Федор таких любит. Он вообще любит женщин постарше. Вот и ее с годами стал любить больше. И даже желать. Пройдут годы, и супруг будет всемирной молвой возведен в канон, и потребуют публиковать все дневники и письма, печатать как «драгоценные свидетельства», по выраженью одного «веда». И тогда она, уже дама тоже далеко не в возрасте обольщения, будет зачеркивать в его и даже своих письмах всякие «пикантности», а особо рискованные места вытирать до дыр резинкой. Многие из тех интимных признаний «ведатели» все равно прочтут, специально призвав на тот случай криминалистов, — и «благодарные потомки» будут знать, что их кумир, быв отягощенным множеством болезней (с какими и до сорока-то лет не дотягивают многие, а он на седьмой десяток едва не ступил), почти до самой кончины был по части «мужского здоровья» — ого-го.

И вот почта вся отправлена, а завтра она сядет писать большое письмо, хоть новостей никаких, но сами письма для них — новость и радость. Приедет, небось устанет, запылится, озлится — а тут письмо. Тогда и немцы ему будут милее. А то он на немцев ругаться мастер. Верно, в душе их любит, вот и ворчит. И Европу тоже любит — но костерит устно и уж того пуще — печатно. Коли б матерился — матерно бы, верно, ругал. Однако лечиться все в Эмс ездит из раза в раз. Что-то доктор Орт про эмфизему скажет... Впрочем, и здешний доктор, профессор Кошлаков то же говорит. Но глаза в последнее время что-то прячет так, будто в карман желал бы их упрятать, кабы можно. Но не надо, не надо хоть сегодня об худом, а то душа так изболелась, будто и там, в душе у нее, тоже эмфи... Прочь, прочь, черные мысли!

Сочтем-ка лучше, что случилось хорошего. Долги не прибавляются, а тают. Печатают Федю уж куда как охотно. Читателей-почитателей, «бумажных подруг» и друзей, и из числа молодежи тож, прибавляется. Даже и при дворе ценят и приглашают «что-нибудь почитать». Его уж и пророком называли прилюдно. А это, пророк-то, почище гения будет.

«Братья Карамазовы» подвигаются с концы. Огромный романище. Федя и на курорте будет писать и писать, бедный. Всю жизнь так — гонка и гонка, и нужно успевать к сроку, каждый месяц по три печатных листа. И помочь там ему некому. Раньше она стенографировала, потом, в последние годы, только перебеляет, на почту бегаёт. Да еще от родни отбивается. Федя чужих щенков (это она только про себя так говорит) кормит целую ораву. Один Паша-пасынок чего стоит. Пальто у него, видите ли, стало немодное — давай ему денег на новое. А у Феди-то, истинно каторжника пожизненного, — что? Вот в последнем письме (а она все письма наизусть помнит и, грех сказать, письма Федичкины больше его романов любит) из Берлина пишет: «Ожидаю холодных дней, особенно в конце лечения, а в летнем пальто моем шелковая подкладка висит лохмотьями. До свидания, ангел мой...» И это при том, что книг написал — цельная полка только первоизданий. Но и по сию пору платят по сто пятьдесят, по двести рублей за лист, а Толстому — по пятисот. Конечно, сиятельству



нужды нет, он и в другой журнал роман отдаст. Ему-то что, ему именье, говорят, двадцать пять тыщ ежегодных приносит. Вот Катков, Михайло Никифорыч, дай ему Бог здоровья, впрочем, и держит при своем «Русском вестнике» графа гонорарами огромными.

Анна Григорьевна уже давно, не сознавая того, сидела в пролетке, поджимая ноги, чтобы не наступать на посылки, которые ловкий Петя, человечек золотой, уж погрузил и на почтамт путь наладил, поминутно вынимая часы из кармашка — не чтобы время узнать, а на часы серебряные, на серебряной ж цепке полюбоваться — матушка на днях подарила, в честь того, что «Униженных и оскорбленных» самолично издала и без посредников книгопродавцам продала с хорошим прибытком. «Матушкой» юный приказчик ее вслух не величал, а только тайно, про себя, и с любовью своей не лез, деликатничал. Но Анна Григорьевна и сама понимала, отчего у мальчишки та щека, какая с ней обращена, чуть розовее другой. Да и глаза влюбленно глядят, как на родную мать.

Петя еще раз вынул приятно отягощающую серебряную луковицу — на сей раз по делу. Времени в обрез. Две самых больших посылки он уж подхватил и ногу из пролетки выставил. Самую маленькую из посылок отдельно — уж знал, что «матушка» все равно, хоть он и просил не раз не делать того, возьмет с собой и пойдет за ним с ношей.

Так и случилось, когда довелось нести три последние из одиннадцати посылок в одиннадцать губерний, где образовались клиенты.

Очередь была, но невеликая. Успеваем. Анна перестала лететь, спешить внутренне, огляделась вокруг и даже на застекленный в центре потолок поглядела. Туча там клубилась, и солнечное око, промигнув, погасло. И раздался глухой, но очень внятный, особенный голос Федора:

— Аня, как твоя фамилия?

— Достоевская Анна Григорьевна, мой милый.

— Понимаю, — раздраженно, совсем немилостиво отозвался ФМ. — Девическая как фамилия?

— Сниткина. Уж забыл? Забыл, как свою единственную... сотрудницу звать?

Одно из любимых ее воспоминаний. Это они визы получали (на почтамте! — время еще было простое) в первый свой вояж за границу — думали, что на месяц, на полтора, оказалось — на четыре с лишним года. Свадебное путешествие получилось долгим не из барской прихоти и больших капиталов — о, напротив. Медовый месяц — но и побег от Фединых кредиторов, от родственничков, жаждущих помощи от того, кто сам в ней нуждался отчаянно, — вот что такое было то долгое путешествие. Было много счастья и несчастья. Счастья, впрочем, было много больше и в те, уже отдаленные годы — да только немногие женщины на земле выдержали бы его. Например, ночные его диктовки, которые она, уже беременная первым ребеночком, что потом помрет во младенчестве, стенографирует, иногда не поспевая за его полетом в тех безднах, где даже света и тьмы нету и которые иногда заканчивались припадком «священной болезни».

Вскорости стенографистка уяснит себе, что она стала женой не только эпилептика, но и игрока в рулетку. Сначала он играл «по маленькой», потом случилось несчастье — выиграл. И порядочно выиграл — хватило бы на год скромной жизни за границей. Ну, или полгода нескромной, но, конечно, вдали от Гамбурга и Баден-Бадена. Но «Федичка», во всем доходя до края, делал еще шаг и летел в пропасть — и то была не «психологическая» бездна, а заклад в ломбарды сперва даренных на свадьбу драгоценностей, потом всех прочих, потом платьев и, наконец, какой-то мантильки, каких в Европе уже не носят — и не взяли. Федя занимал где мог, всем рассылал мольбы о деньгах и все проигрывал. Иногда выигрывал — и снова надеялся «взять все» и проигрывался еще больше.

Так было и прежде — еще до женитьбы, когда он тоже играл, и проигрывал деньги «инфернальницы» Суловой, и наконец достиг дна. И там, на дне отчаянья, замыслил «Преступление и наказание». Так что мы, читатели, благодарные, так сказать, потомки, взяли зего. Из того же дна был извлечен и другой роман — «Идиот». То есть это *нам* опять — зего.

Потом ФМ напишет «Братья Карамазовы». Он уже не играет. Совсем. Она же — только перебеливает утрами написанное за ночь, и главная ее забота — дети. Их трехлетний Алешечка внезапно, в одночасье умер — эпилепсия ведь передается по наследству, и много еще других злосчастий было, но Федечка и Лиличка (Люба) болеют только как все дети, не более, и репутация укрепляется, укрупняется стремительно, деньги получаются исправно, и приварок от книготорговли и издательских проектов тоже получается достаточным, стараниями Анны Григорьевны — словом, жизнь нормальная, насколько понятие нормы приложимо к ФМД.

Анна Григорьевна стоит посреди петербургского почтамта, освещенная светом стеклянного потолка, за которым клубится туча, и пребывает в сладком сплине. «Что пройдет, то будет мило». Ах, славный Пушкин, как ты прав!

...Итак, молодожены в Германии. Лето 1867 года.

«Потом пришли вечером на почту и здесь получили письмо от Майкова. Федя все меня пугал, распечатывая письмо, говорил, что, ну, вероятно, отказ, вероятно, не придет. Тогда ведь мне бы пришлось опять писать к бедной мамочке, опять ее беспокоить. Федя только и говорит: мама должна нам теперь помочь. Положим, что у нее нет, но ведь не умирать же нам с голоду. Вот ведь всегда так, когда у нас денег нет, таким образом и говорит, что мама должна нам помочь, отчего же он не требует от тех лиц, которым сам помогает, пусть бы и требовал, чтобы доставала ему Эмилия Федоровна, которой он помогает. Вечером мы пошли на почту и получили письмо от Аполлона Николаевича. Что за прекрасный, чудный человек, он пишет, что получил наше письмо, говорит, что хотя у него самого нет денег, но он непременно постарается нам достать. Господи, как я ему благодарна, тем более еще, что меня спасает это, не придется писать к маме и просить ее опять достать нам денег, бедная мамочка, вечно-то мы ее мучаем, а вот не придет же ему в голову мысль послать ей что-нибудь в подарок. Это ужасно несправедливый человек! Как я теперь вижу, он думает, что мама непременно обязана для него хлопотать и решительно не ценит ее хлопот».

«Очень весело распевая, мы пошли через мост. Но тут мне случилось поскользнуться, но так сильно, что я было чуть не упала; вдруг Федя раскричался на меня, зачем я поскользнулась, как будто я это сделала нарочно, я ему отвечала, что зонтик не панцирь и что он дурак. Так мы дошли до библиотеки, где Федя отдал книги, но потом мне сделалось так досадно, да и было неприятно идти под руку с человеком, который на меня сердит. Я и пошла без зонтика, а он под зонтиком. Потом ему показалось, что какие-то торговки смеялись, видя, что он идет покрытый, а я нет, и он перешел на другую сторону улицы, я решительно не знала, к чему это и отнести; и когда он вздумал пройти нашу гостиницу, то напомнила ему, что у меня денег нет и обедать я одна не могу. Он перешел на мою сторону и, идя по улице, ругался».

А еще холод в комнате, которую они наняли как раз над кузницей. А немцы начинают работу сызрану, так что утренние неги в прогретейшей за ночь постели тоже изымаются из довольно скудного реестра благ той молодой, той давней жизни.

Но АГ наслаждается воспоминаньями. «Ах!..» — вздыхает еще не старая даже и по тогдашним понятиям, весьма жестоким к женскому возрасту, дама приятной, но отнюдь не ослепительной наружности: ее портила сероватая, неровная кожа на лице. «Ах» — и более ничего. В ней сильнее сказывалась шведская кровь, Мильтопеусы, а

не полтавские Снитко, не прадед хохлацкий, перекроившийся, как перебрался в Петербург, в Сниткина. Но, видно, гены северной рациональной нации чаще брали верх.

Поэтому вздохов было умеренное количество, никакой «бури чувств», как пишут во французских романах. Да и дождь прошел, и она двинулась к коляске. И ямщик, притомившийся ожиданием, так бодро развел в стороны вожжи и хлопнул по мокрому лошажьим бокам, что округ брызг обозначилась маленькая радуга и вмиг исчезла. Анна улыбнулась этой маленькой радужке, словно подарку.

- На Ямскую, к собору Владимирскому.
- За ожиданьице изволите прибавить, барыня.
- Да прибавлю, прибавлю, ты поезжай.

И про себя: «Уж такая барыня. Труды тружу всю жизнь. Ну, да так и лучше».

Солнце рассверкалось, освободилось от туч и ну скакать по лужам, по брусчатке, окнам и зеркальным витринам. Повернули на Обуховский мост. Тут и вовсе праздник! Солнце било в глаза, приставало к барышням, и те щурились и улыбались, как будто им кто шептал на ушко шалости. Витрины, умытые дождем, тоже заявляли себя наперебой. Стало весело душе, и Анна безотчетно привстала, будто захотела из-за спины возницы и лошадиного крупа, который тоже блестел невысохшим дождем, увидеть что-то в клублении света — по-питерски серебристого, пронизаемого лучами со всех сторон.

— Ты вот что, любезный. На Кузнечный мы успеем, а едем-ка на Казанскую, на угол со Столярным.

Вот и Казанская, и Столярный. И как же тут все изменилось. А вот этот дом. Надстраивают этаж, и маляры висят на веревках. Анна, как завороченная, пошла к дому, с которым так много связалось в жизни...

Огромный шматок известкового раствора, плющась в полете, полетел сверху и упал на шляпку.

Из подъездных дверей вышел — нет, выбежал человек и испуганно, извинительно стал оглядывать женщину.

— Что вы так, мадам, неосторожны-то, видите ведь, ремонт тут, грязнотца, извините. А если бы что потяжелее сверзилось — даже и думать страшно.

Сверху донеслось:

— Родион Романыч, как прикажете — замесить другую бадью, или уж пошабашим сего дни, ась?

Родион Романович...

— Не извольте беспокоиться, не знаю вашего имени...

— Анна Григорьевна... Анна Григорьевна Достоевская.

— Ах, вот как оно. А я нынче, прямо с самого утречка, как пробудился, так и вспало на ум — думаю, непременно встреча будет... Только я на другое лицо подумал, на другого... господина.

— Я, кажется, понимаю... — сказала шепотом Анна. — Вы Федора Михалыча желали б видеть, верно?

— Именно, именно так, — вскричал, «незапу одушевляясь» этот господин, учтиво подавая Анне руку, которая, сама того не сознавая, как во сне, взбиралась в экипаж.

— Вы давно... оттуда, Родион?

— Недавно, с полгода назад возвратился — новые, видите ли, обстоятельства открылись. Наконец, власти предержавшие поняли, что не убивал... не убивец я. А что вину на себя взял — так в бреду был, в болезненном, так сказать неощущении себя-с. И даже выходную сумму выдали, искупление, Так сказать, за преступление, какового

(он проповеднически подъял палец) не свершал! И я вот вложился в дело. Выгодное дело — ремонт, или этажик прибавить, мансардочку там художнику... художников нынче развелось...

— А кто ж? Кто Лизавету-то и старуху?

Повозка тронулась, хоть Анна и не велела ехать. Раскольников шагал рядом.

— Да кто ж тогда?

Анна знала, каков будет ответ, тихо прозвучавший некогда на том же месте, где было сказано: «убийца».

— Он.

— Так это он выдумал ведь, сочинил.

— Вы полагаете, мадам?

— Постой, постой. Яшка, да стой же!

Но ямщик не оборачивался. Фу, какие сегодня невежи все.

Коляска встала. Родион Романович — так его, во всяком случае, окликнул голос откуда-то сверху — стоял, потупясь, как виноватый, и глядел несколько в сторону.

— А, простите, как здоровье Сонечки, то есть...

— Софьи Семеновны? Болела долго, померла. Три уж года как...

— Простите — и прощайте.

Но хотелось еще спросить.

Конек меж тем, молодой еще, не привыкший до конца к покорству, подвинул коляску еще не два-три шага, и Анне пришлось полуобернуться, чтобы спросить.

— А как поживает?..

Но никого уж не было рядом. Исчез, будто и не было, почудился.

И ей про себя мелькнуло: «Больше сюда не осмелюсь уж. Странное стало место. Может, и нехорошее». И Анна, женщина набожная, даже перекрестилась.

Ямщик наконец обернулся:

— Вы шляпку, извиняюсь, хотели приглядеть.

— Хотела. Останови.

В шляпном заведении вокруг нее, мотыльками вокруг лампы, закружились двое — курчявый толстячок, видно, хозяин, противно пахнувший духами, и девица-приказчица. Шляпы в виде клумб, шляпы с лентами, вуалями, птичьих гнезда вместе с птицами.

«Такой шляпой можно и пообедать», — подумала с усмешкой А. Г. Купец был дока в своем ремесле и сразу же предложил товар поскромнее — впрочем, не дешевле.

«Но тут я в последний раз», — подумала она, чуть приуспокоив сердцебиение. Помощница внимательно посматривала на реакцию чем-то то ли удрученной, то ли занятой дамы, чьи думки были, похоже, весьма далеки от всего этого вздора, который «намедни из Парижа получили-с». И потихоньку стала подвигать рассеянную покупательницу к полкам, где были не клумбы и гнезда, а простые уборы.

И все-же выбрала нечто, довольно мило собранное из шелкового платка, скрепленного в двух-трех местах заколками и тоненьким обручем, машинально расплатилась, не глядя взяла сдачу и позолоченную визитку.

Только тут Анна, прилаживая обновку к прическе, подумала: «А я ведь не говорила, кажется, что в эту лавочку хочу зайти. Или сказала, может, себе под нос?» Питерские ямщики — они народец особенный. Спиной слышат. Один такой говорил им с Федей — за секунду, мол, чую, коли ездок надумал в проходной двор утечь, не расплатившись. Анна обещала занести это в книжку записную, которую с собой взять не случилось, да забыла то, что хотела запомнить. После уж всегда брала с собой.

## 7. Умышленный город

Петербург еще не сделался, по Достоевским лекалам, «самым фантастическим в мире городом» и, сказано в другом месте, «умышленным» — но это вскоре случится, уже за чертой, когда Анне Григорьевне придется держать корректуры собраний сочинений покойного мужа, множества других книг, исследований, с которыми будут подъезжать к ней сочинители тех статей, а потом уж и книг, целых томов, в толщину его романов. И из-за границы повалят переводчики — сперва из Германии, потом отовсюду. Споры на дело американцы умудряются начать переводить и печатать «The brothers Karamazov» еще при жизни автора! Только поляки долго поджимали обиженные губы, но потом и они стали переводить «обидчика» — а куда денешься, коли слава очень быстро, лавиной, стала европейская и даже мировая.

А не любил поляков, вечно именовал их «полячишками». Ну еще, конечно, «жидишки». Хотя он и давал «объясненья» на этот счет — да нелюбовь была неизменная и торчала шилом из мешка... Но евреи — «народ Книги». И хоть иное тут имеется в виду — но, как бы то ни было, пренебрегли этим к себе отношением, и многие из них полюбили русского мистика (мистики сами), и с восторгом бесповоротным полюбили, что только делает им честь.

А почему нелюбовь у нашего мистика-психолога самого первейшего?

Для Достоевского русский народ был — именно православный народ, страдальчеством своим конгениальный Христу. Вот за то и любимый до слез. А тут другие — не инородные, а иноверные. И вот инстинкт писательский сработал, на вторжение *иного* — и ФМД стал тому, как он полагал, вторжению, противиться нутром. О любви или хотя бы нейтральном отношении речи быть не могло, хотя в отношении с конкретными имяреками — «ничего личного».

Анне ж Григорьевне, приобретшей обновку на углу Казанской и Вознесенского проспекта, в премиленьком магазинчике, где и хозяин, и приказчица, хоть и получали товар «прямо из Парижа», картавили не по-французски, было все равно — она своему Феде порою в его фобиях даже поддакивала, но быв и сама лишь в малой части человеком русских кровей, к этому всему равнодушна.

Кроме того, в делах коммерции, в издательских «проектах» она все более точна сделалась «предпринимательским» нюхом, и было недосуг разбираться, кто там в какой храм ходит после трудов праведных — а с господами неправедными, хоть они наирусских кровей будь, дел старалась не иметь. А хищников вокруг много. Перекупщики долговых расписок, всяческие посредники, искатели бедных вдов, у которых за две-три синеньких готовы сочиненья купить, на которые положено сколько трудов, а еще ведь и таланту... ну, у кого он есть или был.

Она забылась сейчас во сне, полном тревог.

Больной супруг ее, в поезде, тоже обнимаем сном, полном видений, сотканных из света, отвоеванного от той темноты, в какую не надо смотреть.

Воздух трудно втискивается ему в грудь. Прожилки в легких — слишком многие из них — все трудней забирают живые силы из воздуха, который сминается приступами кашля, как скомканная бумага, когда написанное отвергается как ложь.

Грудь этого человека (что и поныне ставит в прошениях и таможенных листках: «отставной поручик»), грудь его больным-больна. Мозг же его, тоже больной, но исполненный мощи, — он и во сне продолжает труды свои. И будет, будет выстроен и населен тот умышленный город-мир... Сколько раз он был поражаем молниями припадков (его жена, ангел-хранитель его, ведет реестр и знает их точный счет). Будь болезнь та излечима, ФМД — он сам о том не раз говаривал — не стал бы принимать от эскулапов их снадобий, ни горьких, ни сладких. Ибо молнии эпилептические от-

верзают такие дали, бездны такие, какие прочим смертным видеть по милосердию Божьему не дано.

Они, жена и супруг ее, оба спят. Она — кратким, внезапным сном, укачанная рессорами пролетки; он — сном железной дороги.

И пространство, что, усердно пыхтя, вырабатывает паровоз, увеличивается между ними с каждым ходом кривошипных шатунов. Однако единенье двух столь разных, счастливо сочетенных душ, не прерывается.

Итак, больной наш герой, ФМ, покинул лечения ради Петербург.

Супруга его осталась в городе и полна разнообразных забот и хлопот. Оставим их обоим ненадолго, а посвятим-ка свое внимание другому герою нашего повествования. Уж как хотите, а он достоин того — сам город: и велик, и полон разнообразнейших поводов дивиться ему во всякие времена, в какую хотите погоду.

Весна в северной столице государства нашего, обширнейшего, но которое и само то не юг, холодная она и короткая. Отчего ж коротка? Да оттого, верно, что она в большей своей части, в холодно-медленном длении мыслится жителями ее, прячущими носы свои в воротник, как все та ж зима. И вот она проходит, как короткий ледоход по кратчайшей своей реке, тихая, как говор людей за похоронными дрогами, где в восковом веночке покоится, будто безмолвная свирелька в футляре, какая-то молоденькая девушка, почти девочка. Такова ж и весна: тихая, кроткая, как говор шепотом за теми дрожками. Одна провожанница выдавит сквозь слезы: «Мало пожила. Вовсе и не жила, почитай». А другая ей в ответ, сморкаясь: «Отмучилась». Вот и весь почти разговор. Да и то верно — что уж тут скажешь...

И вот оно, лето, наконец.

Итак, вы идете по известному вам адресу, и *огутывается* (по слову ФМ) не на улице, а на *линии номер N*, спотыкаясь о плиты... И вот вы, внимательнейшим образом взирая себе под ноги, вдруг поднимаете глаза как раз напротив точно такого же проема, что миновали прежде. Один лишь миг посвятив мысли, что, может быть, вы и не двигались никуда, а так, стояли, застигнуты внезапной догадкой, воспоминанием ли — или ж размышленьем, в какую ж сторону вам надобно и зачем. И вот, допустим, вы поднимаете очи — и что же? Проем кажет другую улицу — а может, линию. И там — он, кого вы только что видели в том, другом проеме. Это господину Голядкину легко было приподнять — что: цилиндр, котелок? — дабы обозначить благородную учтивость. А коли ни котелка, ни цилиндра, то как прикажете изъяснить ответную учтивость? Впрочем, нет никакого Голядкина, или неважен он, как почти безразлично, какой цифрой означена линия в белом призрачном свете.

Да и какой такой Голядкин? Нет никакого Голядкина, а просто прохожий, зевака, как и вы. Да, может, и Достоевского-то никакого не... Ну, это уж слишком, это морок попал. Вот Гоголя, пожалуй, наверняка не было — а если и был, то промелькнул мышью летучей или полной луне — или не мышью, а тем, кого к ночи, даже и белой, поминать грех. Мелькнула крылатка, цилиндр, долгий нос, какой ни с чьим другим носом попутать нет решительно никакой возможности... А нашего ФД если б не было, допустим, в реальном существе-веществе, и это все фантомы коллективного бессознательного... или, наоборот, сознательного, что сгустилось и встало этими каналами, домами, дворами. Особенно дворами — и даже многими дворами. О, дворы! Мучительно ступать в эти изломанные кубы, квадраты, как бы вывернутые наизнанку. Так рукав пальто либо сюртука остается нывыворот, коли вбегает, допустим, «недостаточный студент» или чиновник в дом свой — непременно в подвал либо на чердак — и бросит шинель, сюртук нетерпеливо. А кто ж из достоевских-то героев не нетерпелив? Даже если вовсе некуда и спешить, и никто его, бедолагу, нигде



не ждет. Ну, разве господин Мармеладов, любящий обращаться к случайному соседу по застолью с «разговором пристойным». А всякий иной бросает платье свое, промокшее под вечным, будто и впрямь вселенским, дождем. Бросит шинелишку небрежно, будто у него цельный гардероб. Вот каковы, как рукава навыворот, эти дворы. Заходишь в них с стесненным сердцем. Быть может, так приговоренный впервые вступает туда, куда его присудили на долгие годы, а может, и навсегда. Дворовые пространства, а верней будет сказать: малые квадраты, вроде тюремной шагальни. Есть, впрочем, верный способ избавиться от этого ужасного чувства: запрокинуть голову да и глянуть в небо. Но что это за небо? — изломанный кусок цвета старого мрамора, белесая желтизна. Кривоугольные либо загнутые стены. Краска на стенах, на их буграх и трещинах. Будто неумелый подневольный маляр шваркал туда-сюда квачом, жуя сигарку, да и не *возвертался*, дабы покончить клятое дело.

Дом этот, как и множество иных, строился изначально Покоем, то есть литерой **П**. Да ведь дом-то доходный, и постройтель дома сего, какой-нибудь обогатевший купец, ссыпщик либо мануфактурщик — он то ли сам сообразил задним умом, то ли надоумил кто, то ли дела стали таковы, а они, дела-то, стесненные обстоятельства (например, пока баловался в картишки, жена, супруга законная, возьми да нарожай одних дочерей, и вот старшенькие уж на выданье... О, такие превратности — лучшие советчики: как быть, что делать). И вот «Покой» перестраивается так, что уж точно-точно походит на **Ша**, только прозираемую насквозь. И квартир, сдаваемых внаем, прибавляется, а с ними и доход. Дом-то, повторяем, доходный, не для барской красы. А здесь еще пристроечка, и из **Ш** вышла **Щ**, только кончик загнут вовнутрь, как если бы лапка крысиная попала в ошип, да вырвалась живучая тварь — а ведь всем жить-то до смерти хочется, не так ли? Впрочем, это я молчком сказал... Словом (последнее прибавленьице), эта будка назначена — дворнику.

Мы сей миг стоим (или торчим, коли честней) на некоей линии — и вдруг захотелось попасть на Шестилавочную улицу. Зачем, кто нас там ждет? Да и есть ли такая, либо то только выдумка сочинителя, выдумщика известного? Кого бы спросить? Но никого кругом.

Однако мы о другом. Тихая белая ночь ли, мозглая ли осень, либо вовсе зима. Идет ли снег, льет ли дождь, а часто они вместе, как бедные влюбленные, — так или иначе, а каналы грациозно непрямы, и мосты вторят один другому, как зеркала вагонных купе — и те мосты счесть невозможно, как отражений в зеркалах.

Перспективы каналов грациозны в своих медлительных извилах. Гранитные парапеты их тверды — но мягко-послушны, будто талии записных танцорок.

Легкие, длинные изгибы. Следить их, продлевая взгляд, пока парапеты и мосты не скроются вдали, — наслажденье. Вот только немного кружится голова, что ясно дает понять: ты, брат, декадент, то есть пока что «лишний человек» в достоевском мире. Но скоро, десяток-другой лет такие личности на некоторое время (впрочем, недолгое) будут, как скажут в еще более отдаленном будущем, «держат масть».

Время — мы разумеем время года, именно белые ночи, бред «умышленного города», имеют некое свойство: непогодь редко посещает эти достославные места. И воздушно-призрачные Настеньки, Неточки, Наташи, Кати и много, много еще... Все они призрачны, белые на белом. Под стать им и молодые люди, меж которыми они и сами разрываются, мечутся и летят куда-то, куда отсылает их нежно-жестокий «любимый» предмет». С тою же скоростью они бросаются обратно, ах, туда, где она, но где ее уж нету!

Они взбегают на мост — как бишь его? Измайловский? Семеновский? Да не все ли равно! Вот Вам томы энциклопедий, «лексиконов», справьтесь сами, автор же спешит,

спешит... Итак, влюбленные избегают на тот ли, другой ли мост и тянут друг к другу руки, обливаясь слезами, и клянутся в вечной любви и... расстанутся навсегда.

Автор же, как уже сказано, спешит. Впрочем, никуда не торопится — более того, посиживает себе на берегу го ли Обводного, то ли Карповки, куда невесть как попал он. И мыслит вот чего: мосты отстоят один от другого на такие стадии, чтобы, мчась (или, скажем по-достоевски, летя) по разным берегам, герой и героиня могли иметь время изказниться виною, ужаснуться своему решению, переменить его на противное (то есть как раз чаемое тем и ли той, кто там, на другом берегу — и тут мосту оказаться как нельзя кстати, чтобы эти двое, которым любовь дает такие силы, что и противоположные стороны города оказываются рядышком. Но... разве эти пространные романы могут позволить им сочетаться законнейшим браком — благо храмов, церквей, церквушек, часовен, слава Богу, кругом, куда ни глянь... И не князь Валковский либо господин Свидригайлов, и уж тем боле не старуха процентщица (самая могущественная из сей малопочтенной троицы, хоть и мертва: убита) могут помешать благому делу? А что! — тогда бы, в предназначенные природою сроки, пошли детки, и бедный чиновник получил бы вдруг из N-ской губернии наследство от престарелой тетки, совершенно им забытой, но она-то, не губерния то есть, а тетушка-помещица, что, хоть и дожила до мафусаиловых, коли уместно так сказать о даме, лет, помнила премиленького сорванца-племянника и отписала ему завещанием некую достаточную сумму.

Мало ли у нас губерний, и тьма в них теток и дядьев, иные ж даже и князьями прожили жизнь свою, чей долгий закат был изрядно попорчен превосходительным недугом — подагрой. И вот... Сами понимаете. Что дальше? А дальше дела житейские: строится один «домок» в четыре, допустим, этажа, сперва покоем, потом — *см. выше*, прикупается именье, и в нем выращивается крыжовник... Ах, это уж из другого сочинителя, да и город вовсе другой... Нет, Настенька (или Наташа, сделавшись дородною Натальей Николаевной) собственными своими ручками, выращивает — что? А вот хоть редиску, и, веля помыть оную тщательнейше, собственноручно же подает к столу, за которым протекает разговор самый пристойный и жизненный, как и сама та редиска или укроп...

И вы все это с упоением читаете? Не верю! Не верю я вам, любезнейшие читатели! Знаю верно: существа вы жестокие до кровожадности. Вот запутанные препозиции, треугольные, как петербургские дворы, любви — вот что вам мило! Ну, а уж если топор да Сонечка Мармеладова (ведь пуще всего ее-то и полюбили, э? Автор, то есть не ФМ, а я, гуляка праздный, рассеянный, полюбил).

Стало свежать, и листья охалками бросает ветер. Что, откуда ветер, осенний, пронзаемый струнами дождя? Неужто осень? Осень и есть, весьма некстати. А впрочем, отчего ж и не осень. Вполне законное движение природы, какое и город ни камнем своим, своей громадностью не в силах отменить. Даже и, страшно молвить (это между нами), высочайшим указом — никак.

А мы еще ни слова о *фантастических титулярных советниках*. Да и многое иное не поставили *на пункт*, как сказал во вчерашних «Ведомостях» один составитель «мелочей петербургской жизни».

Скоро, однако, припожалует не мелочь, вовсе не мелкий факт, будь вы не то что в енотах, а... даже и в бобрах, коли уж сказать совсем смело. Да-с.

Снег, перестанет наконец обвиваться вокруг дождевых струй, вия из тех и других веревки, будто кто властительно повелел приготовить все к казни. А Семеновский плац готов всегда.

Но вот и зима. Время метелей, что сыплют на полости саней (ну, или прямо на сидюков). Словно саваны покрывают... ах, нет, это уж слишком. Да и старомодно донельзя. Но автор, «частию по глупой честности, частию по простоте» не убирает слов сих, похожих на замерзающих воробьев.

А тут и Рождество. Катанья, гулянья, балы и даже катки на Неве. Приведу-ка лучше описание самого автора — впрочем, из повести грустной: «Были уже полные сумерки, когда Аркадий возвращался домой. Подойдя к Неве, он остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром кровавой зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с загнанных насмерть лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами — отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу» и т. д. Ах, и тут грусть, грусть, и грусть. И не искупает ее ни «волшебная греза», ни и другие цветы красноречия (на которые Достоевский, впрочем, был скупенек).

А теперь лето, и в душе Анны — солнечный послегрозовый покой. И она, едучи мимо мостов, вспоминает. Где ж это было? Где-то в Германии и было, и как они повздорили глупо, и вели себя как дети. Федя вдруг возьми и пробурчи: отчего, мол, у тебя перчатки такие дурные, даже и со следами штопки. А она ему: если б ты не проигрывал в проклятую рулетку... — Сама ты проклятая! А она рассмеялась на это, но, конечно, стала показывать обиду и даже перешла на другую сторону набережной. Они переругивались через узкую речку. И тут дождь, а зонт остался у Федора. Так и шли — она под дождем, а он под зонтом, а потом он с треском, сердито закрыл его, чтобы, значит, мокнуть с нею заодно. Немки это видели, и, как трескучие сороки, обсуждали этих странных, диких русских на своем трескучем языке — думали, их не понимают. А тут как раз мост, и они, не сговариваясь, сошлись и, забыв и про дождь, и про зонт, все вокруг, стали целоваться. Матроны были этим еще более фразированы и загалдели громче. Ах, как давно это было! Как мило...

Приятные впечатленья от дня, избыточного событиями, потихоньку вытесняются — уж такова она природой своей — другими мыслями: удалось ли няньке уложить деток спать, на что они не всегда соглашались в материно отсутствие. И — как там муженек. Удобно ли устроился в вагоне, удачные ли подобрался соседи. Тревожных сигналов не ловит ее душа — значит, верней всего, Федичка почитал, по своему обыкновению, перед сном, да и задремал. Небось, уж и Россия минула, и Литва, и началось царство Польское.

## 8. На Столярном

Наслаждение от покупки, и, кажется, удачной, еще жило в ней, но стало мешаться с мыслями иными, каждодневными. Кормлены ли детки, улеглись ли на дневной сон? Конечно, конечно, и покормлены, и уложены, нечего тревожиться. Да разве сердцу-то прикажешь...

А тут еще вычитывать последнюю порцию для Каткова, какую Федя насилу поспел перед отъездом написать. Почерк у него ясный, сказывается еще закваска инженерного училища, да и привычка упражняться в каллиграфии была у него всю жизнь. Он и рисовальщик был самолучший из всех писателей. Это Анна по справедливости судит — она ведь не только марками увлекается, но и автографы собирает. Муж ревнует к другим знаменитостям, кроме как к Пушкину. Честолюбив — для пророка, пожалуй, сверх меры.

Тут Анна повертела головой, украшенной новой шляпкой-платком, будто испугалась, что муж ее, существо необычайное, вдруг как-нибудь услышит и раздражится.

На Столярном она, юная еще слушательница стенографических курсов Ольхина, встретилась с автором «Неточки Незвановой», книги, которую она знала еще подростком, став усердной, как и ее папенька, читательницей сочинителя Достоевского, даже бредила его романами так, что в доме ее стали звать Неточкой.

Не понравился ей сначала живой писатель — комок раздраженья, с глухим голосом, впрочем, заполнявшим весь объем комнаты, потом она услышит не раз, что и любой зал, самый большой, он будет легко заполнять — но это потом, потом, А сейчас-то ей хотелось попасть в самые первые дни, самые первейшие — когда Федор убегал от долговой каторги, какую ей приготовил тот хищник Стелловский. Уплатил три тысячи Федина долгу — и вот извольте: в невозможно малый срок представить новый роман, и не менее чем в семь листов. Мыслимо ль? А не будет романа — на девять лет сочиненья печатает, где хочет и сколько хочет безвозмездно.

Но Федору присоветовали нанять стенографистку. Стенография была еще в новостях, только входила в моду. И Ольхин, директор курсов, послал ее, Аню Сниткину.

И вот они избегли западни. И она сделалась невестой, а вскорости и женою.

Ярмарка солнца не желала заканчиваться. Куда ни поворачивали, всюду солнце. Переехали по Фонарному мосту Мойку, полную солнечных рыбешек. Дунуло свежим надводным ветерком. Анна засмеялась так, что закинула назад голову, и на колени упали из ее богатых волос две шпильки.

— А ну, давай пошибче гони. Как звать-то? Давай, Яша, наддай!

Яков, которого впервые кто из ездоков спросил, как звать, заразился веселым настроением и стегнул лошадку — но та и сама уж почувствовала, что надо прибавить ходу, и стала выкладывать зеленые катыши из-под хвоста.

Федичка, Федор-младший без ума от лошадей. Как завидит — так подходит, но всегда к передней ноге — обнимет и замрет от счастья. А конь, изогнув голову, ласково глядит и понимает, скалит в улыбке свои длинные зубы и шевелит губами.

Все вокруг наводило на мысли радужные, и Анна была довольна, что в кои-то веки осталась наедине и... обнова. Написать непременно Федору, чтобы тоже приоделся — он теперь знаменитый и везде принят, и даже при дворе, чем он, сделавшись монархистом, гордится, и неумеренно. Анна даже тихонько его в том окорачивает, хотя сама рада дружбе с Софьей Андреевной — не той, другой Софьей Андреевной, но тоже Толстой и графиней — остренькой на язык, хлебосольницей, любительницей собирать петербургских и заезжих знаменитостей, особо — литераторов.

Мысли скакали воробьями с одного на другое, и если попадала мысль на что-нибудь мрачное, тяжелое, худое, то это худое разом преображалось в частицу радости — ну хотя бы тем, что прошло, миновалось.

Вот уж и Фонарный, и надо здесь поворачивать на Казанскую — ну, да ямщикок и сам знает. Да, давно уж здесь не бывала — аж сердечко колотился, как у молоденькой... ну, да она и не старая совсем еще. Правда, не сказать — мол, все впереди. Хотя, с другой стороны, все ведь в руке Божией. Анна по привычке очнулась, подняла очи

горе и поискала храм Божий — перекреститься. На виду было два, вот на оба и покрестилась. Из-за угла в переулке показался и третий. Перекрестилась и еще раз. Как все ладно сегодня складывается. Вот и Раскольникова повстречала... Она и это событие причла к числу обыкновенных. Законных. Столько лет она, сперва стенографирова, потом переписывая с утра написанное за ночь, привыкла, что диковинные люди возникали — не как в зеркале, куда реальнее. Даже, по правде, бывали настоящей, чем те, что во плоти.

Когда стенографировала... А стенографистка она была недоученная, и пришлось самой придумать кой-что для скорописи. Когда она записывала, то думали только руки, и возникающие люди и события были не видны ее воображенью. Но уж утром, когда Федор в изнеможении укладывался наконец спать в четыре, в пять утра, в свои права вступала она: читала, ужасалась, восторгалась вволюшку — и переписывала своим четким, художественным, но без лишних завитушек почерком, который так любили типографы и редакторы и слали, бывало, ей особенные поклоны.

Скоро уж Германия, а пока еще польские земли — и как-то он там, дадут ли поспать?

Вот уж и Загородный почти весь миновал, и вот Ямская, по которой подкатывает к дому Анна Григорьевна. Сейчас из ее сознания улечиваются эфиры всего, что не «детки» — как там они, что? Надо в зеленую зайти — вот как раз и она, изюмцу взять, груш, да еще и в кондитерскую забежать. Все у ней в доме сладкоежки. И Федя сердится, когда она «блюдет талию» и не ест вместе со всеми пастилок и прочих разностей...

Вот и дома наконец. И усталость разом гнетет. Тихо — значит, спят. Прислуга Поля — и та заснула.

Или та звалась Федосья?

## 9. Купец и капиталистка

Как он принес домой «торговое свидетельство», без чего «Книготорговлю Ф. М. Достоевского» вести было нельзя, так изулыбался весь. Прямо с порога стал этак хмыкать, будто бы сердчая, а на самом деле довольный:

— Вот офицером был? Был. Каторжником был? Был. В солдатах... И поднадзорным тоже. Даже чиновником, — правда, недолго. Ну, литератор был и есть — так это что? Это — шелкопер, тьфу, ниже сапожника. А теперь я кто? Я теперь — шалишь — купец! Я не могу дурной обед, мне подавай лучший обед! — и, потирая руки, оглядел приличную сервировку стола — и вправду «лицу купецкого званья» впору.

Тут и Прохоровна с супницей вкатилась.

— Прохоровна, рюмочку!

Это, впрочем, была уж заведенная традиция. Но по особому случаю ФМ взял рюмку побольше, пузатенькую, и налил до краев.

— Благодарствуйте, батюшка, — подхватила тон Прохоровна и с поклонцем не спеша выцедила настойку.

ФМ, по счастью, «до пития хмельнаго» был не охоч, в отличие от младшего брата, который совсем спивается.

Шампанского ему вовсе было нельзя ни капли — отчего-то эта шипучая французская гадость вызывала падучую — уж раз, давно, и очень не вовремя так случилось. Легонького ж винца по-чуть ему даже доктора прописывали.

А вот водочки, настоечки ровно две рюмки за обедом «за ради апекиту» выпивал.

— Ты купец теперь, поздравляю. Все лучше, чем разночинец. А я-то у тебя кто, сообрази?

— И кто же?

— Так это ты у нас гений — вот и скажи. Виновата. Ты теперь, бери выше, пророк. Вот и реки слово.

Но пророк внедрился ложкой в духмяную ушницу, которую любил, и угадайку манкировал.

— Ладно. Я теперь капиталистка. Первая на Руси дама-капиталистка, вот кто я.

— Да ну? А где патент?

— А меня так твоя Рохельша назвала. И еще мадам Жаклар. Я им рассказывала, как я посредников, кровопивцев наших, убрала и на этом одном нам, дорогой мой пророк, четыреста рубликов *огистила*. А еще новое веянье — хочешь, скажу?

— Ну? — ФМ принахмурился: что-то многовато новин для одного-то дня.

— Вот газеты пишут, что в России теперь тоже прогресс вовсю, и уже первая женщина-врач объявилась. Фамилией Суслова.

Анна уткнулась в тарелку, но несколько секундочек паузы были, и в сердце кольнула ревнивая иголка.

— Нет, это не Аполлинария! — Достоевский произнес имя с расстановкой и сердито. — Я эту женщину знаю. Не тот характер. Вот написали бы: стреляла в кого — это вполне может быть, а что врач — нет. Это другая Суслова.

— Верно, другая, человековед ты мой. Только она зазнобе твоей сестра. Надеждой звать.

— А, эта вполне. В Швейцарии училась. Это она, да. У нас почему-то нельзя дамам учиться.

Потом Федор перешел на обсуждение кушаний, что у него в обычае не было, да и вообще обычно плохо замечал, что перед ним на тарелке.

Жена видела, даже и слышала его смятенье и что про Полину свою зловредную раздумался. Ревность взыграла в ней до боли, но виду подавать нельзя. Рука, однако, сама потянулась к графинчику с наливкой. Нет. Заметит, прочитает всю ее до дна.

За окнами потемнело — надвигалась туча с дождем. Словно какой режиссер вздумал из смиренного семейного обеда сделать драму, и потому переменялись декорации.

Однако обед и застольный разговор продолжались.

И вдруг ФМ угрюмо, не в тон всему, что говорилось допрежь:

— А вот возьму да и помру, — и улыбнулся, будто сказал шутку. — Чем жить-то? Ведь ничего не скопилось. Долги тают и скоро, даст Бог, покончатся совсем — а жить вот вам, Лиличку с Федичкой поднимать — как будешь, Аня? Книжонками торговать?

— Ну, зачем ты так — «книжонками»? Большею частью вашими книгами, ненаглядный писатель, и торгуем-с. И успешно. И права на твои сочинения не уплыли из рук — а могли ведь. Помнишь, как мы с тобой можно сказать, в четыре руки «Игрока»-то гнали...

— За двадцать четыре дня роман написался...

— За двадцать шесть, Федя!

— Да? Все помнишь?

— Да как забыть! От Стелловского убежали — а то бы он за девять-то лет столько твоих книг понаиздавал, что всю Россию бы завалил изданиями. Не получилось у него.

— А у меня и роман написался, и жёнка образовалась. Ай да Стелловский, подлец. Он у Глинки, у композитора вообще какие-то ноты за двадцать пять рублей купил!

— Он и твои долги через подставных мазуриков скупал. Я это верно узнала. Я теперь тебя сама и впредь издавать буду. Ты пиши спокойно. Ну, про спокойствие я так сказала, в известном смысле...

— Да, я вот план себе составил. Много еще написать надо будет. Карамазовых скоро покончу, уж немного осталось, листов шесть. А потом... — вот погляди.



ФМ, не разгибая спины до окончательной прямизны, метнулся к письменному своему столу и вернулся с записной своей книжкой.

В ней значилось:

«Memento. — На всю жизнь.

1. Написать русского Кандида.
2. Написать книгу об Иисусе Христе.
3. Написать свои воспоминания.
4. Написать поэму «Сороковины».

(Все это, кроме последнего романа и предполагаемого издания «Дневника», то есть *minimum* на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет)».

Тут толстая, с завернувшимися по краям листочками книжка сама собой закрылась, и ФМ потемнел лицом. Или это от наплывшей на Петербург тучи потемнело?

— Вот сколько тебе еще перебеливать моей писанины предстоит. Аня, Анька, бедная...

Анна Григорьевна с сияющим лицом подняла глаза на мужа, который стоял обочь. Борода у ФМ стала много длинней, чем обычно, и даже гуще. Уж не с того ль, что началось с пушкинских торжеств величание его пророком некоторыми экзальтированными почитательницами. И присовокупились к той осанне уже и мужские голоса, и их станет больше, но тогда уж иной хор будет он слышать... А пока они оба стоят живехоньки, как на старинных семейных фото, и грозовой сумрак заливает своей сепией их двоих, и стол, и посуду, и все, все.

Достоевский снова сел на стул свой и стал мешать ложкой в стакане, где сахар давно растаял и так. Тонкий звон серебряной ложки о стакан в серебряном же подстаканнике. Словно они ехали в поезде, и тот звон отзывался на рельсовые стыки.

— А пока не покончу этих романов, то и помирать никак невозможно, — и опять улыбнулся и хитро выкатил глаза из глубоких черепных ущелий.

Тут как раз и прогремел гром, и завершился долгим шорохом и шуршаньем, словно разрывался лист бумаги, большой лист, как тот ватман, на которых военный студент Федя Достоевский чертил свои чертежи и без жалости рвал, чуть ему что не нравилось, даже если дело уж почти сделалось, и на последней линии тушь соскользнула с пера, что неосторожно черпнуло слишком много.

Еще с год назад (или уж два года прошло? — вспоминал Достоевский мучительно, будто от этого что важное зависело) в такой же вот дождь он принужден был бежать в аптеку, за лекарством захворавшим деткам. Погода была жаркая уже вовсю, даже и в дождь, а летнего пальто не было. В теплом же, весьма старом, однако еще «в пределах приличий», но толстом, теплом не по погоде пальто полетел он в аптеку, мучимый мыслями, что вот... всю жизнь как проклятый... а на обнoвы денег нет и нет, и Аннушке на салоп еще надо собрать... Вернулся мокрый, раздраженный и в ночи заболел и сам. Ну, да болеть не привыкать, и то забылось, а вот пальто не по погоде и взгляды прохожих и рачьи буравчики «жида»-аптекаря запомнил — хотя, наверное, сам и придумал те взгляды в спину-то, а?

\* \* \*

Достоевские впервые остались на зиму жить с Старой Руссе. Анна же Григорьевна едет в Петербург улаживать дела с бумагой, типографией, книгопродавцами, а главное — с кровопийцами кредиторами, среди которых настоящих заимодавцев-то к тому времени, считай, и не было, а были гешефтмахеры, перекупщики векселей и те, кто пользовался беспорядком в ведении дел давно покойного брата.

АГ в своих «Воспоминаниях» сердито и справедливо отчитывает оптом всех литературных сподвижников ФМ. За долгие годы никто не помог почти ничем, никогда

ему, не умевшему вести дела, сорившему деньгами, которых почти всегда и самому не доставало. Плюс сторонние жулики да куча родственников и их родственников.

Когда какой-то пьяный мужлан ударил сзади по голове Достоевского и тотчас был схвачен, присужден к отсидке или штрафу. Достоевский дождался его на лестнице и... дал этому «зипуну», который «выпимши был», требуемые шестнадцать целковых для уплаты штрафа...

Из множества литераторов, связанных с Достоевским, был все же один, кто и в делах понимал, и рвение имел не только к собственным заботам. Хоть и был поэт, Аполлон Николаевич Майков.

Достоевский находился в это время в Германии, в Дрездене и, аккуратно заверив в консульстве и уплатив пошлину — «1 талер, 2 гроша», послал доверенность на ведение своих судебных тяжб.

И поэт Майков столь удачно повел эти самые тяжбы, что после суда (а дело тянулось долго) Стелловский в 1873 году расстался-таки с суммой в три тысячи рубликов. Это не просто хорошие, а порядочные деньги: за русский рубль в те достопамятные года давали шесть североамериканских долларов.

Ну, еще и Некрасов Николай Алексеевич. Редактор и к тому времени владелец «Отечественных записок». Этот был из немногих, кому удалось сделать на литературном труде и журнале большие деньги — чуть ли не с полумиллионом закончил жизнь. Играл — но не на рулетке, а в карты, проигрывал лихо, но в итоге умел оставаться в барышах. Но этому поэту судьба приготовила другое испытание. Умирал долго, мучительно.

Однако же сам нанес визит ФМ, несмотря на годы кипячливой полемики, и напечатал с хорошим гонораром. Еще был Плещеев, обещавший с внезапного наследства сосудить ссыльного литератора тысячей рублей, но потом речь пошла о пятистах.

И, конечно, Александр Егорович Врангель много споспешествовал, в том числе и деньгами, а главное — хлопотами о возвращении «заблудшему» офицерских и дворянских прав. Так он не литератор — офицер.

Ну, еще милейший Кони, Анатолий Федорович. Как вспомнялся он, так и проехали как раз здание гауптвахты, где Федору Михайловичу пришлось отбыть под арестом. Нет, не тем, по делу петрашевцев — то была тяжелая, давняя история, в другой жизни, до нее. А этот арест был — кусочек счастья. Как так? А вот так. ФМ был в то время, недолго, редактором в журнале «Гражданин», что издавал князь Мещерский, малоудачливый, мягко сказать, литератор. Он приискивал редактора, что тянул бы весь журнал, а Федор соблазнился хорошим жалованьем. Но оказалось, что редакторство забирает все время, а он ведь Достоевский, и ему надобно писать, а не править чужие статьи, повести и даже стихи, переписывать чуть не наново писания самого князя. Даже квартиру пришлось переменить, чтобы жить поближе к редакции. Квартира оказалась неудобная, работы по журналу было много, Мещерский, настоящий барин, ни в чем не помогал — да и мог ли?

И вот однажды ФМ допустил, по незнанию, ошибку: привел какие-то государевы слова из речи перед «киргизскими депутатами», не согласовав с царским двором, как полагалось. И за это был присужден к наказанию — штрафу в двадцать пять рублей и двум суткам ареста на этой вот гауптвахте, что на Сенной.

Долго откладывалась эта двухсуточная отсидка — не то чтобы сам ФМ тянул — что ему эта маленькая тюрьма! Государство решило поставить его в угол, как провинившегося ребенка. А просто срочные дела по журналу, который он тянул почти в одиночестве, потом простуды. И вот наконец Кони договорился где следует, и в конце марта в квартиру на Лиговке припожаловал, как положено, пристав, и в его сопровождении Федор Михайлович, смешливо похмыкивая, будто его ведут на пи-

рушку, а не на гауптвахту, отправился — оказалось, даже за казенный счет была подана пролетка. Год шел семьдесят четвертый, спокойный.

А тогда получилось и свидание, и отдых, такой редкий у них обоих. Анна собрала чемодан с бельем и все, что может понадобиться — и отвезла на Сенную. Только несколько ведь часов прошло, а он уже скучал по детям и все расспрашивал, как они там да что. Условились, что двухдневное отсутствие деткам, коих велено «цаловать», будет объяснено так: «папа ездил в Москву за игрушками».

Вечером, уложив детей спать, она снова, как влюбленная девчонка, помчалась на Сенную и по причине позднего часа не была впущена вовнутрь маленького нарядного зданища, вовсе не похожего на узилище. И «стала под окном гауптвахты и увидела мужа, сидящего за столом и читающего книгу». Память сердца сохранила и название той книги: то был роман «Les Misérables» («Отверженные») Гюго, который Достоевский давно хотел перечитать.

Анне Григорьевне хочется, чтобы и другие люди поучаствовали в сюжете счастливого ареста, и потому пошла к Майкову, жившему вблизи, на Садовой, и тот «был так добр, что уведомил об аресте В. С. Соловьева, и тот тоже навестил мужа на завтра». Помянут и сокамерник, «какой-то ремесленник, что целыми часами спал днем» и не мешал. Верно, и не храпел.

Эта глава воспоминаний АГ называется «Арест Некрасов». Арест как благодать. Давний друг, с которым долго были в контрах по причине разнонаправленных «направлений», пригласил печатать роман (это был «Подросток») в его журнале «Отечественные записки» и предложил двести пятьдесят рублей за лист. Достоевский согласился, поскольку прежде ему платили по сто пятьдесят. Согласился, но с условием, что «последнее слово» скажет через неделю. ФМ чувствовал себя обязанным Каткову — и сам поехал в Москву для разговора с глазу на глаз. И Катков был готов платить такой же гонорар, но не мог дать денег вперед. А Некрасов давал. Михаил Никифорович сильно поиздержался, покупая права на «Анну Каренину» — уже по пятьсот за лист. Достоевский был рад, что и между ним и Катковым не образовалось недоразумения, и старинный друг Некрасов, которого он в высшей степени к тому же ценил как поэта, будет удовлетворен.

## 10. Непустые хлопоты

А что ж Анна-то Григорьевна? А она не столько занята закупками столичных гостинцев, сколько ездит по «хищникам» — один другого зубастей. И что же? А все нормально. С твердостью «финских хладных скал» она торгуется, выбивает лучшие цены, предварительно выведав разницу меж розничной ценой и оптовой и, главное, за какие наименьшие деньги типографы берутся печатать тираж.

Как обращаться с кредиторами, она сама себя обучила еще раньше, когда из долгого вояжа по заграницам вернулись. В «Воспоминаниях» — об том лучшие страницы ее записок, сочиненных гораздо позже кончины мужа. Но та давняя нежеланная встреча, как оказалось, запечатлелась, будто прочертилась граверной иглой на меди.

Дело было так. Однажды какая-то газета оповестила публику о возвращении писателя Достоевского из-за границы. Раньше ФМ (грешок честолюбия за ним водился, так и вился вослед, как пыль по дороге) сетовал — вот мол, Гончаров икни или чихни, и газеты тотчас: наш маститый романист икнул, чихнул. А ты большущий роман написал, и еще другой уже печатается — и хоть бы что. Лучше б и сейчас газеты помалкивали. Ан нет.

Кредиторы, доселе молчавшие, сразу явились с требованиями об уплате долгов. Первым и очень грозным выступил некий Гинтерштейн, сам того не сознавая, что вляпывается в историю русской словесности.

— Вот вы литератор, ваше имя в газетах, а я только немецкий купец, и я хочу вам показать, что могу литератора упрятать в долговую тюрьму. Будьте уверены, что я это сделаю.

АГ пишет:

«Я была возмущена подобным отношением к Федору Михайловичу, но понимала, что мы находимся в руках цепких и предвидя, что Гинтерштейн одними угрозами не ограничится, я решила сама попытаться уладить дело и, не сказав ни слова о своем намерении мужу (который бы, наверно, мне запретил), отправилась к Гинтерштейну. Встретил он меня высокомерно и объявил:

— Или деньги на стол, или через неделю ваше имущество будет описано и продано с публичного торга, а ваш муж посажен в «Тарасов дом» — то бишь долговую тюрьму.

— Наша квартира нанята на мое имя, а не на имя Федора Михайловича, — хладнокровно ответила я, — мебель же взята в долг, с рассрочкой платежа, и до окончательной уплаты принадлежит торговцу мебели, а поэтому описать ее нельзя, — и в виде доказательств я показала ему квартирную книжку и копию условия с мебельщиком.

— Что же касается вашей угрозы насчет долгового отделения, — продолжала я, — то я предупреждаю вас, что если это случится, то я буду умолять моего мужа остаться там до истечения срока вашего долга. Пребывание должника в «Тарасовом доме» погашало долг. За 1200 рублей приходилось сидеть там от 9 до 14 месяцев. Сама я поселюсь вблизи, буду с детьми навещать его и помогать ему в работе. И вы таким образом не получите ни единого гроша да, сверх того, принуждены будете платить «кормовые». Такое есть правило. Даю вам честное слово, что вы за свою неуступчивость будете наказаны!

Гинтерштейн принялся жаловаться на неблагодарность Федора Михайловича, не желающего уплатить долг, который он так долго на нем терпел.

— Нет, это вы должны быть благодарны мужу, — в негодовании говорила я, — за то, что он выдал вексель вашей жене за долг, может быть, давно уплаченный. Если Федор Михайлович это сделал, то лишь из великодушия, из жалости. Ваша жена плакала, говорила, что вы сживете ее со свету. Если же вы осмелитесь привести в исполнение вашу угрозу, то я опишу всю эту историю и помещу ее в «Сыне отечества». Пусть все увидят, на что способны «честные» немцы! Я была вне себя и говорила, не разбирая выражений».

Впрочем, и в ФМ прорезалась практическая жилка. Порой и он участвовал в делах — и не мешал, а помогал. «Но торжество мое было полное, — вспоминает АГ историю первого издательского успеха, — когда к нам приехал книгопродавец Кожанчиков и предложил купить сразу триста экземпляров на векселя на четырехмесячный срок. Уступку просил ту же, то есть тридцать процентов. Предложение Кожанчикова было заманчиво, так как он брал для провинции и, следовательно, не мешал нашей городской торговле. Смущало, что он брал на векселя, и Федор Михайлович пришел ко мне посоветоваться по этому поводу. Я тогда не имела понятия о купеческих векселях, а поэтому предложила мужу побеседовать с покупателем, пока я съезжу к типографщику, жившему неподалеку. К моей удаче, я застала одного из Пантелеевых, и он посоветовал не упускать такой солидной продажи; уверил, что векселя Кожанчикова можно учесть и что он согласен взять их в уплату за долг наш по типографии. С такими вестями вернулась я домой, и Кожанчиков (как опытный коммерсант, всегда имевший при себе вексельные бланки) тотчас написал нам три векселя на семьсот тридцать пять рублей, а Федор Михайлович выдал ему записку для получения книг из типографии».

Но обычно АГ просто прятала своего мужа, ибо посланцы от магазинов знали, что его легче уговорить на большую скидку или вовсе взять без оплаты наличными, на комиссию.

Думаю, АГ не забыла похвалить своего «дорогого мужа», автора «кошмарно-гениальных», как она однажды определит, романов.

Великий «человековед» был куда как хорош в писании, то есть, другими словами, был отменный теоретик и никудышный практик, как часто и бывает. Какой там немец-купец! — когда Паша-пасынок, нагловатый хитрован, мог его обжулить и делал так многожды.

В первые месяцы после женитьбы, когда, чуть не ежедневно, собирались к молодоженам разного рода и сорта гости, Паша, как и всегда, садился за общий стол, стараясь очутиться рядом или близко от молодой Достоевской. И пока за столом «отец», то есть Федор Михайлович, Паша — сама любезность: то салфетку, уроненную молодой женой, с пола поднимет, то скажет ей какую-нибудь любезность. Но вот ФМ отличается: пришедшую на ум мысль записать, немножко отдохнуть в кабинете на диване. И Паша тотчас начинает подпускать свои язвы-шпильки. Любил выговаривать еще неопытной в хозяйских делах АГ за напрасную, излишнюю будто бы трату денег, хотя сам ни зарабатывать их, ни тратить с толком не умеет и не желает уметь. И так из вечера в вечер.

В этом месте своих «Воспоминаний» АГ, и через годы помнившая обиды, отравлявшие ей начальную пору супружества, единственный раз позволяет себе раздражительный укол, укор мужу: «Я с искреннею грустью замечала, что я негодую на Федора Михайловича, зачем он, «великий сердцевед», не видит, как мне тяжело живется, не старается облегчить мою жизнь, а навязывает мне своих скучных родных и защищает столь неприязненно относящегося ко мне Павла Александровича». Тогда помог случай — ФМ вернулся раньше обещанного времени и застал молодую жену горько плачущей. Она, прежде не позволявшая себе ябед, «открыла» мужу, каково положение дел в доме, — только тогда «великий сердцевед» увидел и осознал, что даже и сам их брак под угрозой.

Молодые уехали в Москву, к родственникам ФМ, и жизнь наладилась.

Вернемся, однако, к немцу, купцу.

«Моя горячность на этот раз помогла. Немец струсил и спросил, чего же я хочу?

— Да того же самого, о чем просил вчера мой муж.

— Ну, хорошо, давайте деньги!

Я потребовала подробную расписку нашего условия, так как боялась, что Гинтерштейн впоследствии отдумает и опять начнет нас мучить». Действительно, Анна Григорьевна, обладавшая хладнокровием, хотя бывала и горяча, гневлива, углядела, среди несомненных, много фальшивых долгов. «Почти никто не представлял тому доказательств, да Федор Михайлович, веривший в людскую честность, их и не спрашивал. Он (как мне передавали) обыкновенно говорил просителю:

— Сейчас у меня никаких денег нет, но, если хотите, я могу выдать вексель. Прошу вас только скоро с меня не требовать. Уплачу, когда будет можно.

Люди брали векселя, обещали ждать и, конечно, не исполняли обещаний, а взыскивали немедленно».

«Приведу случай, — продолжает АГ, — правдивость которого мне пришлось проследить по документам.

Авторы уже давно не существующего «Времени» и «Эпохи», зная, как небрежно вел дела покойный Мих. Мих., приходили (особо запомнился некий Х.) к Федору Михайловичу с просьбою уплатить ему якобы невыплаченный гонорар. По обыкновению, наличных у него не оказалось, и он предложил вексель. Человек этот горячо

благодарил, обещал ждать, когда у Федора Михайловича поправятся дела, а вексель просил дать бессрочный, чтобы не иметь надобности по наступлении срока его протестовать. Каково же было изумление Федора Михайловича, когда через две недели с него потребовали по этому векселю деньги и хотели приступить к описи имущества. Федор Михайлович поехал к Х. за объяснением. Тот смутился, стал оправдываться, уверять, что хозяйка грозила прогнать его с квартиры, и он, доведенный до крайности, отдал ей вексель Федора Михайловича, взяв с нее слово, что она подождет взыскивать деньги. Обещал еще раз поговорить с нею, убедить ее и т. д. Разумеется, из переговоров ничего не вышло, и Федору Михайловичу пришлось за большие проценты занять деньги для уплаты этого несуществующего долга».

Тогда Анна Григорьевна, потратив уйму времени, перерыла все бумаги давних тех лет, нашла и расписку того Х. о получении им гонорара — и уж повторных уплат более не было. И «раздражительный» ФМ заметил только:

— Вот уж не думал, что Х. способен был меня обмануть! До чего доводит человека крайность!

АГ продолжает тему долгов, отравивших им жизнь. «По моему мнению, значительная часть взятых на себя Федором Михайловичем долгов была подобного рода. Их было около двадцати тысяч, а с наросшими процентами, к нашему возвращению из-за границы, оказалось около двадцати пяти. Уплачивать нам пришлось в течение тринадцати лет. Лишь за год до смерти мужа мы наконец с ними расплатились и могли дышать свободно, не боясь, что нас будут мучить напоминаниями, объяснениями, угрозами описи и продажи имущества и проч». Вряд ли АГ права насчет «значительной части», но фальшивые векселя и повторные выплаты действительно были.

Анна, сделавшись издательницей, уже давно прознала, что и бумагу брать, и печатать можно в кредит, — залогом в «случае чего» становился сам тираж. А «случаи» как раз пошли по всему Петербургу, студенческими — пока не бунтами, только волнениями (газетам было велено именовать их лишь *нарушениями общественного порядка*), даже и с поджогами, арестами и срочными заседаниями власть предержащих.

Тревожно, хлопотно, холодно и сыро. Анна Григорьевна, едучи с проспекта на проспект, продуваемые ветром, по такому случаю вынимает из муфты письма Федора и, блаженно улыбаясь, отдыхает душой: «Милая Аня, у нас все благополучно. Детки пока еще очень умны...» — «То есть тихие, папочке не мешают; погоди, папенька! Еще разыграются!» — с женским злорадством думает АГ. «Я встал в 2 часа — никто не будил, видно, от слишком ревностного с тобою прощанья». Тут Анна, еще не вышедшая «из возраста соблазнения», а по мнению своего супруга, не желающего *остыть*, так только в женское цветенье входящая, слегка покраснела и окунула носик в мех муфты. Уж как она ни уговаривала своего «ловласа», чтоб он не слишком куртуазничал в письмах, муженек не только сам подпускал вольности, но и от нее прямо требовал, чтобы ответы были «не так сухи».

«Лиля премилая, Федя тоже, но немного отбился от рук». — «То есть дает понять папочке, каково с детьми-то», — усмехается про себя заботливая мать, спеша на «фабрику тряпичной бумаги Варгунина». И еще одно письмо, и тоже славное: «Федя немножко слишком буянит («знаем мы это немножко»), но очень невинно, Лиля очень мила. Заспорили о лопатках, и так как Федя не дал ей свою поиграть, то она объявила, что он «сестру не любит». А Федя отвечает мне: "Что она говорит, я ее день и ночь люблю"».

Дальше напрасные наставленья, как с кем из купцов-фабрикантов себя вести, про докторов, не-простуду и погоду.

И «достоевский» штришок: «Вчера прислала свое письмецо Прохоровна (бывшая прислуга, глубокая старуха — А. М.). «Ради Христа, отыщи ее и дай ей хоть что-нибудь, но не менее 3-х рублей».



Наконец все дела поделаны, и АГ, усталая, но довольная, возвращается в Старую Руссу, где они жили этим годом всю зиму — и не в последнюю очередь из «экономических» соображений — в Петербурге приличную квартиру стоило снять — тысяча в год, а в Руссе дачу Леонтьева-адмирала наняли на зиму, до мая, всего за 15 рубликов в месяц.

И вот Анна Григорьевна, подуставшая, возвращается из Петербурга.

ФМ, тоже усталый — от «премиленьких деток», но еще не знает, быть ли ему довольну от поездки «предпринимательницы». Она, Анна, кстати сказать, уже аттестована в кой-каких кругах как «прижимистая» — и те зоилы, верно, прибавляют: «баба». Пусть их.

Ямщик, взятый со станции, по самый трех нагружен нарядными кулками. Федор, выбежавший в одном сюртуке, суетится и только мешает. Один из кулечков падает на снег — и ФМ, бормоча: «Это знак. Твоим деткам, любезный! — протягивает кулек ямщику в подарок.

— Как у нас дела?

— В дом, в дом, а то простудишься.

— А ты не простыла?

— В дом! Не простыла.

Чай уже готов, что впору. Да и проголодались все. Но у Федора нетерпенье — и Анна Григорьевна прячет глаза, чтоб этот человекознатец не прочитал все, что ей захотелось предъявить с некоторой драматургией.

Но она не выдерживает характера, выпаливает все разом. За бумагу и печатанье — полный расчет. Кредитор подождет. Типография — даже часть платы книжками возьмет. Для нашей продажи очистилось семьсот экземпляров.

— А ты помнишь, как мы высчитывали, мечтали, чтоб три хоть сотенки осталось нам?

Федор Михайлович слушал «жёнку», потихоньку приподымаясь, но не замечая того, со стаканом чая в руке. Полусогнутый, он имел вид слегка забавный.

И тут она, как удачливый картежник, вынула из потайного кармана муфты нетолстую, но все ж пачечку кредиток и положила на стол. Хотела этак пробросить, чтобы бумажки разлетелись, точно карты из ловких рук, но сдержалась — будет манерно и может даже обидеть. А он ведь обидчив страшно.

— Еще и живых денег удалось взять.

— Ах ты, пчелка моя трудящаяся! Вон и живого меду принесла, крылышки твои ангельские.

Федор Михайлович был обрадован, огорошен, малость смущен.

— Слушай, друг мой сердешный. Раз так научилась дело делать, то никаким коммиссионерам в издание ничего не отдаем.

— Ну, вовсе без того, чтоб на комиссию не давать, не получится. Впрочем, посмотрим впредь. Чем строже с ними всеми, чем тверже, тем они мягшают. Как я сказала? Мягшают? Вот бы мамочка моя услышала!

ФМ впервые за все годы поглядел на нее с особенным прищуром. Все-таки финско-шведское в ней что-то есть. А уж в характере-то... Вот и славно.

— Таперича, — ФМ хмыкнул и подмигнул своей «капиталистке», — мы идем гулять...

— И к Плотникам! К Плотникам! — запрыгали дети, прилипшие в мамочке.

— Так привезен сладостей целый воз. Вы уж во все кульки, я вижу, позаглядывали.

— И попробовали!

— Да видно. Все мордашки в «сладкостях». Но в лавку Плотниковых, конечно, зайдем — как не зайти. Они вам небось и сюрприз какой приготовили.

— А что такое «сюрприз»?

— Вот сейчас и узнаем, спросим у братцев-кондитеров. Мы же не знаем.

Погода стояла как нарисованная. Ни ветерка. Деревья, все в золоте на фоне небес цвета серебра старого, чуть темного. Где-то лаяла собака — лаем звонким, радостным, будто смеялась. Клесты, дрозды перелетали с куста на куст.

Сюрпризом оказались шоколадные зайцы фабрики «Эйнемъ», наряженные в кукольные штанишки и платице. Отец семейства приготовил подарок — две коробки сигар, которых у него был запас после того, как жена одержала половинную победу над мужем, отчаянным «курякою» — во время работы, то есть по ночам, курить папиросы, так уж и быть. Привычка многолетняя, и бороться с ней — только время терять, отвлекаться, а это нельзя. Но уж днем — вот сигары. Все вреда поменьше. Папиросы ФМ набивал сам, письменной ручкой, которой и писал. Ручка звалась по-питерски «вставкой»...

К привезенным из Петербурга сладостям прибавились еще и фрукты, булки, крендели. Это в семье любили все. В обмен на обязательство курить днями сигары муж потребовал, чтобы Анна «не наблюдала фигуру», тем более что ей, дескать, полезно «для соблазна» поправиться.

Дети, набегавшись по прохладе, не заставили себя уговаривать спать.

И вот они уединились в кабинете и стали расчислять, что можно получать с изданий. Бумагу надо брать не самую дешевую: не любит публика, когда от книги газетой веет. Так. Продавать прямо с квартиры, по десятку штук минимум. Так уже Анна делала. Издала «Бесов» и продавала сама. Сначала по десяточку брали, потом и до сотни пошли заказы.

Достоевский по привычке взялся было набивать папироску, но под строгим взором жены закурил сигарку.

— А помнишь, Аня, как мы «Бесов» продавали? Первый твой опыт издательский...

— Наш, Федя, наш.

— Нет, твой.

— Давай по рюмочке за это дело. За тебя.

Пригубили. И завспоминали, посмеиваясь, как первый раз издавали. То были роман «Бесы». Название позывало посыльных именовать его нанятой девушке, выдававшей книги, то «вражьей силой», то «анчутками». Иной говорил: «Я за "чертями" пришел», другой: «Отпустите мне десяточек "дьяволов"». Старушка няня, слыша часто такие худые слова, даже жаловалась хозяевам и уверяла, что с тех пор, как завелась в доме «нечистая сила», маленький Федя стал беспокойней днем и хуже спит ночами.

Как начинали это дело, еще только задумывали — страх брал. Федор Михайлович объездил знакомых книгопродавцев и разных прочих знакомцев — и вернулся удрученный. Все подгреб под себя крупняк — Базуновы, Вольф, Исаков, Маркс, еще с пятток воротил, не больше — и не дают никому никакого шанса. Многие из литераторов, и порядочные авторы есть среди них, что и имя себе смогли составить, дерзали своевольно издавать сочинения — и... и что? Пшик, разоренье. Да разве только у нас? Вот, во французской газете статья попала. Про Бальзака, которого ФМ ценил высоко, и даже начинал, давным-давно, литераторское свое поприще с перевода «Евгении Гранде». И Бальзак, тоже истомившись писать роман за романом, которых насочинял тьму-тьмущую, намерился стать издателем. И — тот же результат. Жил во дворце, но на обед порой у привратника занимал! Француз!

Во-первых, сделал ошибку сам, веля набирать по-газетному, в две колонки. Оказалось — в газете так читать легко, а большая вещь — невпрочет. Ну, и бумагу ему под-

сунули дрянную. И сколько еще опасностей стережет издателя, сколько надо знать, уметь!

А какая Анна-то молодчина! Вот тебе и марочки. Это она в пику ему себе занятие придумала, еще когда за границей жили. И автографы собирает. Как будто ей его собственных мало. Он даже был недоволен этим, ибо ревнив, но исправно помогает собирать «почтенные раритеты».

Теперь же у нее такое занятье, что ай, да ну.

ФМ переступая с пятки на носок, подошел к органчику, купленному, понятное дело, детям, но и сам пристрастился бренчать на нем походя, и тогда дети плясали, и Анна, в детства не танцевавшая, была заодно со всем семейством.

Этот год они счастливо жили в Старой Руссе.

Погода стояла прекрасная.

## 11. Маленькое происшествие

Из предутренней тьмы поплыло: «Вкушая, вкусих мало меду, и се аз — умираю».

«Умираю? Да, умру сегодня или, может, завтра поутру, привык утрами засыпать после работы ночью, уж так получилось. Раньше все утрами, до полудня, а вот теперь против хода солнца. Вот засну... уж навсегда. Мало меда... Разве то мед был? Покушал ты вволю овса — у Некрасова сказано, давно покойника. Жил легче моего, сильно богато жил, и в игре карточной везуч, не то, что я в рулетку. Жил полегче, а умирал долго, трудно. Боли были адские. А у меня ничего не болит. Вот грудь болела, а теперь не болит... Да оба мы — тягловые лошади — так судьбой назначено. Стало быть, меда не полагается или только чуть».

Мысли цеплялись зубцами своими, шли в разные стороны, и больной человек приструнил себя: «Что это я? Собрать мысли не могу. Ведь не шутки! Верно, и правда, конец? Мало меда? Ах, не мед Ты мне дал, Господи, в участь! И ладно, и славно. В работе самая отрада, когда работа сперва строгивается, потом идет, а потом уже летит, как с горы... О, радость! Ничего прочего нет, и не надо тогда ничего. Господи, Господи! Слышишь ли меня? Еще бы овса Твоего... Дай мне еще сроку! Пусть мое время продлится. То и будет овес, и я потяну еще. Уж я приучился тащить тяжкую кладь, она посильна мне.

Я вот себе назначил работы — главные, может, труды, большие, замыслы есть — угловые валуны постройки, что целую жизнь строил». Он повторил про себя, вспомнил, что записал в книжку записную и Ане сказал, чтобы она, регистратор усердный, запомнила: «Жизнь Христа» написать. Это страшно тяжело, даже и думать — и то тяжело. Ну, да мне, может, посильно. Может, заслужил. «Кандида», «Сороковины» написать. Ну, и воспоминания... Вот это, воспоминания — это легче. Да ведь уже написал: письма мои и Анны... Аньки моей... да и ее письма — чем не роман!

Неизвестный роман. Он сам собою сотворился. Пожалуй, что и светлая вышла книга, хоть и трудненько жилось. Анна все хранит, все знает. Ничего не пропадет...»

Анна спала в спальне, рядом с детской, где стоял и деревянный Федичкин коняшка. Анна спала, — но образ ее возник туманно перед ним и участливо-спокойно глядел из тьмы, и тьма стала светла.

«Уже нет тоски, какая прежде была, С чем вас оставлю, на что жить будете? Пресуществленье лошадиного овса в мед пчелиный — хм, хм... все ж случилось. Я скудноватый был отец семейства, а стал — достаточный. Не Бог весть богач какой, да средств доставил семейству».

Из давнего вспомнилось — кому говорил? Майкову? Страхову? на вокзале, кажется перед дорогой, на какую и денег-то с трудом собралось. И с гордой обидой: «А

ведь мое имя стоит мильон! Ну, это с пылу-жару слово, а все ж, пожалуй... обеспечены будут. — И он глянул в будущее и не увидел там себя живого, но не испугался ничуть, покорился. — Да, видно пора». И, спокойный, заснул.

Он умирал без мук. Кто сказал?: «Легкой жизни я просил у Бога. Легкой смерти надо бы просить». Но навряд ли среди его молитв было нечто подобное.

Несколько последних месяцев припадки совсем кончились. Октябрь был легкий, счастливый, сентябрь был еще светлей, брагополучен был и декабрь. Вышли отдельным изданием «Братья Карамазовы» — и он сделался и знаменит, и совершенно здоров. До сего дня. Обремененный огромным числом недугов, он прожил все же достаточно долгую жизнь — почти шестьдесят лет.

В «Воспоминаниях» жены есть одно место, по мастерской точности далеко превосходящее ее скромные, признаем, литературные возможности. «Утром, двадцать шестого января, Федор Михайлович встал, по обыкновению, в час дня, и когда я пришла в кабинет, то рассказал мне, что ночью с ним случилось *маленькое происшествие*: его вставка с пером упала на пол и закатилась под этажерку (а вставкой, то бишь пишущей ручкой, он очень дорожил, так как, кроме писания, она служила ему для набивки папирос); чтобы достать вставку, Федор Михайлович отодвинул этажерку. Очевидно, вещь была тяжелая, и Федору Михайловичу пришлось сделать усилие, от которого внезапно порвалась легочная артерия и пошла горлом кровь».

Еще в каторжном Барнауле, таком далеком и давнем, что сейчас и не сказать наверное, было ли, не было — да нет, было. Что было-то? А вот что. И изо тьмы памяти вдруг ясно все явилось: именно в барнаульском доме Семенова, у которого потом будет необычная для русского тройная фамилия Семенов-Тянь-Шанский, с Достоевским случился сильнейший нервный припадок. Местный врач ставит диагноз: настоящая эпилепсия. Этот сибирский доктор («ученый и дельный», как уверил хозяин дома), у которого Достоевский выпросил подробную откровенность, буквально вверг в отчаяние, и оно запомнилось, навсегда поселилось в нем: я в один из этих припадков должен ожидать, что задохнусь от горловой спазмы и умру не иначе как от этого.

Припадков было множество — и спазмы бывали, но худшего не случилось. А тут какая-то жилка возьми и порвись, когда он всего лишь ручку нашаривал на полу. И в рулетку не везло, и тут не угадал. Достоевский усмехнулся во тьму.

Кровь прекратилась весьма скоро, и все вокруг воспылали надежами, что это не то, это не Она. Достоевский правду знал, но даже и он дал себя уговорить, успокоить — и заснул.

А проснулся — и жизнь пошла своим чередом. Приехал какой-то человек, Анной Григорьевной так и не поименованный, но мужу интересный, — и они стали много говорить, даже спорить, — и АГ, надо полагать, вытолкала не вовремя явившегося говоруна. Принесли детский журнал — и ФМ прочитал детям (верно, как всегда, «с выражением») стихотворение про незадачливых рыбаков, что сами себя в сети поймали. Сделалось повеселее. И тут Федор Михайлович приподнимается немного, молчит, слушая себя, — и Анна с ужасом видит две тонкие струйки крови на его бороде.

За докторами послано, и не за одним. Где ж они? Где Кошлаков? Как на грех, вызван к кому-то. Приезжает наконец Кошлаков. «Когда доктор стал осматривать и выстукивать грудь больного, с ним повторилось кровотечение, и на этот раз столь сильное, что Федор Михайлович потерял сознание. Когда его привели в себя — первые слова его, обращенные ко мне, были:

— Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и причаститься!»

Наконец остальные доктора являются все разом. Все «в уверенности», что лед поможет, образуется тромб и кровь перестанет течь... Анна заставляет себя не помнить, что сказал он ей, когда она рано утром, всю ночь проведя рядом, на постланном тюфяке, наклонилась к нему, видя, что он лежит к открытыми глазами.

Она хотела от себя голоса веселого, звонкого — не получилось, но обыденно-просто спросить — вышло:

— Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой? — спросила, наклонившись к нему.

И Достоевский ответил тоже просто:

— Знаешь, Аня, я уже часа три как не сплю и все думаю и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру.

И прибавил:

— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно!

И в это мгновенье, вспыхнувшее печальной, прощальной радостью, вдруг вспомнилось ей, еще не вдове, начало начал. Тогда она, Аня Сниткина, не невеста еще, невольно опечалила Достоевского, так верившего, как оказалось, снам, — она навсегда запомнит это. А тогда — что было-то? Знак, пустяк или это сейчас обморочное сознание рисует? Тогда он сказал, уж не вспомнить, в какой такой связи:

«— Видите этот большой палисандровый ящик? В нем я храню мои рукописи, письма и вещи, дорогие мне по воспоминаниям. Так вот, вижу я во сне, что сижу перед этим ящиком и разбираю бумаги. Вдруг между ними что-то блеснуло, какая-то светлая звездочка. Я перебираю бумаги, а звездочка то появляется, то исчезает. Это меня заинтриговало: я стал медленно переключать бумаги и между ними нашел крошечный брильянтик, но очень яркий и сверкающий.

—Что же вы с ним сделали?

— В том-то и горе, что не помню! Тут пошли другие сны, и я не знаю, что с ним стало. Но то был хороший сон!

— Сны, кажется, принято объяснять наоборот, — заметила я и тотчас же раскаялась в своих словах. Лицо Федора Михайловича быстро изменилось, точно потускнело.

— Так вы думаете, что со мною не произойдет ничего счастливого? Что это только напрасная надежда? — печально воскликнул Достоевский».

И вот та звездочка, оказавшаяся, видно, драгоценностью исполненного обета, просверкала снова.

Суеты, звонков в дверь было много — и мешало это, и отвлекало, и обманывало. Большой попросил Евангелие — еще то, что ему было дарено в Тобольске женами декабристов и оставалась всегда при нем.

Анна повиновалась.

Тут промашки не вышло. И страница открылась та, что и должна была открыться, и палец его указал на строки: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».

— Ты слышишь — «не удерживай» — значит, я умру, — сказал Достоевский. — Зови детей, — получилось не сказать, лишь шепнуть.

И закрыл книгу.

## 12. Незавершенное и продолженное

С тех пор прошли долгие годы, и сменилась эпоха, а после настала еще и другая. И прах Анны Григорьевны, которая умерла — то ли от тифа, то ли просто с голоду, как многие тогда... Ах, да не все ли равно.... Хотя, конечно, не все... И наконец упокоился ее прах, спустя полвека после утери могилки там, в Ялте, потом обретения. И вот она теперь перезахоронена и упокоилась рядом с дорогим своим мужем, как и было указано в ее «Завещательной тетради».

Питерская весна, бедная на тепло, отдает его скупые порции сначала камню темному, потом камню светлому, потом уж людям, деревьям, птицам.

Воробьи чирикают, ворона каркает, голуби любовно поклевывают пшено, посыпавшее из чьей-то старческой руки... Если слушать птиц, их мнимо нестройный гвалт — получаются даже слова — престранные, милые.

Воробьишки ловко снуют меж голубей, выхватывают крошки и зернышки, верещат: «... сегодня пять зильбергрошей... Вообще я нынче завожу драки. Пошли на почту. Писем нет... Была и моя коротконожка с своим кавалером... и тот сказал: «Это Сниткина». Но мы уже соединились с Федей... Stadt Waisenhaus... За звезду заплатила девять зильбергрошей, за гребенку — семь с половиною...»

На ветке, с которой падает последняя ледышка, похожая на сломавшуюся колбочку, сидит ворона. Она с любопытством глядит, как ледышка, что вылетела из-под ее цепкой лапы, летит, летит, разбивается. И каркает: «Я только маленький немецкий купец, и я хочу вам показать, что могу русского литератора упрятать в долговую тюрьму. Будьте уверены, что я это сделаю».

Голуби, птицы глупые, но любвеобильные, кружатся, что-то бормочут, — может быть, те строки, что Анна Григорьевна на склоне жизни вычеркивала, вытирала резинкой — небось с сожалением — из писем мужа. Кое-что можно понять в их голубином журчании...

Птицы тут все местные — это я вам точно говорю. Других гонят прочь — здесь они кормятся, здесь даже и птенцов выводят. Жизнь продолжается. Анна Григорьевна Достоевская, в девичестве Сниткина, завещала похоронить ее возле дорогого своего супруга — так и случилось, после перипетий... Впрочем, о том мы уже знаем.

После двадцать восьмого января тысяча восемьсот восемьдесят первого года, когда в последний раз Достоевский, уж не в силах более ничего писать рукой, продиктовал поправки последней статьи «Дневника писателя», который вел до последнего своего земного дня, Анна Григорьевна принялась за дела, за много дел сразу. Деятельно, вникая во все мелочи, вплоть до расстановки запятых, об чем и «ее Федичка» пристрастно радел, издавала собрания его сочинений. Да еще отдельные издания, да еще «материалы и исследования». С разных мест стали поступать воспоминания, письма, черновики. Много оказалось замыслов, набросков: были и планы романов.

Но — жилка порвалась...

Анна же все больше поражает энергией своей. Жизненная «жилка» в ней тверда необычайно. Просто привожу ее «Воспоминания».

«Высказав мне от имени графа его соболезнование по поводу моей утраты, чиновник сказал, что имеет для передачи мне сумму на похороны моего почившего мужа. Не знаю, в каком размере была эта сумма, но я не захотела ее взять. Я просила чиновника очень благодарить графа Лорис-Меликова за предложенную помощь, но объявила, что не могу принять ее, так как считаю своею нравственною обязанностью



похоронить мужа на заработанные им деньги. Кроме того, чиновник объявил мне от имени графа, что дети мои будут приняты на казенный счет в те учебные заведения, в которые я пожелаю их поместить. Я просила чиновника передать графу мою искреннюю признательность за его доброе предложение, но тогда же в душе решила, что дети мои должны быть воспитаны не на счет государства, а на труды их отца».

Анна запишет в дневнике: «30 января на дневную панихиду приехал гофмейстер Н. С. Абаза и передал мне от министра финансов письмо, в котором «в благодарность за услуги, оказанные моим покойным мужем русской литературе», мне нераздельно с детьми назначалась государем императором ежегодная пенсия в две тысячи рублей. Прочитав письмо и горячо поблагодарив Н. С. Абаза за добрую весть, я тотчас вошла в кабинет мужа, чтобы порадовать его доброй вестью, что отныне дети и я обеспечены, и, только войдя в комнату, где лежало его тело, вспомнила, что его уже нет на свете, и горько заплакала».

И потом долго она еще спешила к обеду, супруга кормить, заворачивала по пути в кондитерские за его любимыми сладостями — и, опомнившись, вставала посреди улицы.

Есть слово, одно словечко, какое не вспомнить, чтобы промелькивало в их беседах, даже и сокровенных, когда одна душа другой глядит в глаза. А сейчас оно поступало в сердце: впусти. Гармония! — да она. Была, во всем была. Не враз сложилась, составила — и уж только возрастала, как слабый росток обращается в сильное существо. А уж какие испытанья судьбой посылались, какие тяготы были превозможены.

И так ведь и есть: даже смерть не прервала связь. Жилка — порвалась, и кровь не остановилась, а остановилось дыханье. Но связь их — не прервалась. Анна Григорьевна сперва ни об чем таком и не думала — мало ли вдов — а у нее в подругах, их, вдов то бишь, делалось все больше, все больше — спешат к совместному семейному обеду и обмирают на пороге, вернувшись в правдоху, как сторож говаривал, что в Старой Руссе ночевал у них, когда Федя уезжал, чтобы дома она одна не была. Как его звали-то? Фрол? Федот? Нет... Фома! Вот как!

Народ в трамвае и новые «хозяева» коим не судьба долго куражиться — все они там, в девятьсот пятом годе, что мало-помалу приближается к «роковой черте», — подняли галдеж, и назревала драка, и городской свистел в свисток, но не спешил подойти ближе. И вся сценка вдруг враз стала для Анны Достоевской немая, будто накрылась колпаком.

Стареющая, теряющая зренье Анна Григорьевна слегка выпрямилась, горделиво помыслив о себе, что память не слабеет, держит все бывшее и даже самые малые малости, какие уж можно и забыть. И имя того человека, говорливого простолюдина, что любил презанятно толковать Писание, какое знал чуть не наизусть. Имя того старика вдруг обняло ее всю, легло на плечи мантией, обняло, унесло. И память ее, много и густо пожившей, стала как кино и увлекла, унесла далеко в прошедшее, что для нее осталось вечно сущим.

Меж тем где-то далеко, из-за Выборга, быть может, надвигалась гроза.

Воздух сгущался, и зачиналась та тьма и тишина, что не сможет не разразиться молниями, и теплое млеко летнего набрякшего дождя прольется с высот.

И она вошла как в укывище — в храм. Испитые, как и у супруга ее, не лица — лики страстотерпцев и пророков глядели с икон, из обратной, интравертной перспективы, уходящей куда-то — наверно, к лугам духовным.

И подумала она со страхом и надеждой: досталось ли ему, супругу ее, говаривать с Ним въяве, как он и делал при земной жизни, часто, часто, чуть не всегда. Мигающие молнийные порывы, словно строки, когда уловлена счастливая мысль, метались в забранных старинными железами оконцах, а свечи кротко, гордо хранили ровное струенье своих маленьких пламен, медленно-текучих, как мед.

В углу некто, пожилой человек, молился в одиночестве пред образом Христовым. Серый сюртук, негустые волосы. Сутулый, видно, много трудивший труды свои.

Так и он, — тот, чей прах лежит пол тяжким камнем, где вырезаны твердой рукой мастера: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода». Анна вдруг шагнула к тому уединенному человеку, вдруг фантастическая мысль явилась, и вдовая жена затрепетала вся. Ступила раз и еще — и не подошла, оробела.

Празелень грозового света обдавала колонны собора, позолоту, фрески, шарила в купольной тьме нефа.

Человек вздохнул, нервически подернул плечами. И повернулся и пошел прочь. Так же точно и он — искал молиться уединенно. Выбирал закуток в храме, отдалялся от всех — и от нее даже.

И вышел, обозначась столь знакомым силуэтом в проеме храмового входа, при вспышке небесного света — и исчез за дождевой завесой, сквозь которую прошел, будто и не замечая ничего кругом.

Много ли, мало ль прошло времени, или оно вовсе остановилось — не сказать наверно. Анна, стоящая посреди пустого гулкого храма, огляделась кругом и поняла, что она тут осталась одна.

---

---

## Елена ШОСТАК

\* \* \*

Во власти междометий  
Влюбленной мне — молчать,  
Мгновений и столетий  
Не стану различать.

Есть в мире отдаленность  
И сухость телеграмм, —  
Дождит моя влюбленность  
И память по утрам.

В запруде откровений,  
Восторгов, немоты —  
Столетий ли, мгновений  
Туманные мосты?

А к вечеру накопит  
Догадок и примет,  
И вечно — чай не допит,  
И не погашен свет.

Живу, не обрывая  
Листов календаря...  
Жива ли я? Живая,  
Живая, несмотря...

\* \* \*

Хорошо, если дом родной  
За дождливою пленой,  
Если шпорою за пятой —  
По паркету — час золотой.

Эту глину года отобьют;  
Там, под глиной — серебряный гуд,  
Там, под глиной — колокола,  
Журавлиный стержень ствола.

Если там — на часах нули,  
И не слышен полет Земли,  
Если дни, проведенные там,  
Как ракушки, прилипли к бортам.

Этот дом для тебя, как кора:  
Сердцевина его — вечера.  
Если зодчий, черту проведя,  
Представлял себе шум дождя,

Если там проведенный часок —  
Как к подошве прилипший песок,  
Если там проведенный год —  
Облепляет тебя, как зод.

Если зодчий заране пропел  
У подъездов ребяческий мел,  
И коросту с детских колен,  
И осенних теней гобелен.

---

Елена Леонидовна Шостак — поэт, живет в Санкт-Петербурге. Автор сборников стихов «Светом вечерним» (СПб.: 2008), «Весеннее солнце у входа» (СПб.: Русь, 2006), «Мы идем от лужи к луже» (СПб.: Русь, 2006). Стихи в журналах «Звезда» (2010, № 12.; 2009, № 4), «Новый берег» (в ближайшем номере). Детские стихи — в монографии Ольги Машталъ «Программа развития способностей ребенка» (СПб.: НиТ, 2007).

\* \* \*

Благодарю за синеву...  
Еще жива, еще живу.  
Без перемен, без новостей,  
Без скучных маленьких страстей.

Там богатырь, поросший мхом,  
По лесу дивному верхом  
Все едет, едет без дорог, —  
Морщинист лик его и строг;

Как долго длится это «без»,  
Непроходимое, как лес:  
Теньями майскими заплел  
И взгляд придирчивый отвел.

Заржавлен меч его и щит;  
Синица юркая тащит  
Упавший волос из браны;  
Водой заполнены следы;

И капли светлые дождей  
Его скрывают от людей.

### ПЕТЕРГОФ

О, этот взгляд похож на вдох,  
Когда ты вниз его бросаешь,  
Поверх перил, поверх эпох  
С толпою пестрой нависаешь.

И шум, и блеск, но — суеты  
Сюда не вносят торопливой;  
Здесь люди дышат, как цветы,  
И даже ходят — горделиво.

И сердце просит: «Отпусти!»  
Но перед тем, как вниз спуститься,  
Ты просишь сердце: «Умести!»  
Ты заклинаешь: «Уместиться!»

Тебя обуглили, сожгли,  
Ты был войною искалечен,  
Но снова — в радужной пыли  
Самсона яростные плечи.

Ступени эти для детей, —  
По ним — сбегать, а не спускаться.  
Петровских шуточных затей  
Ты хочешь в парке доискаться?

Пусть век барочный, кружевной  
Лукаво сердцу улыбнется,  
Нахлынет с финскою волной  
И через край перехлестнется.

\* \* \*

Как листья мокрые блестели,  
Как воздух был нетерпелив...  
Нашли скамейку и присели,  
Кусочек прессы поделив.

Все в этом городе найдется,  
Чтобы нас с тобою приютить.  
Мы просто сядем... где придется.  
И зонтик старенький дождется, —  
Его призвание — чертить.

О вы, прибежища земные!  
Ты веришь? Мокрая скамья,  
Прохлада, зонтики цветные  
И три-четыре воробья, —

О, лучшее из всех бесправий —  
Любви начальная глава!  
Весенний день и мокрый гравий,  
Впитавший нежные слова...

\* \* \*

Вместо многоточия ставлю «*многотипие*»,  
Наблюдаю прочие майские обычаи.  
Хмурится-рассеется, снова повторится,  
Надвое не делится и недолго длится

Что-то неразменное и необычайное;  
Все — одновременное, мудрое-случайное,  
И в квадрат не впишется, — оттого и дышится  
Светлыми репризами, майскими капризами.

И не называется, просто так — сбывается  
Что-то неконкретное, — майское-секретное.

## ДОМ

Т. Ш.

Опять я тебя возле булочной жду	Давно отзвенели звоночки в ночи;
В совсем непонятном каком-то году.	Волшебны панели, стекло, кирпичи.
О, как прихотливо движенье ума;	Я дверь открываю скрипичным ключом,
И ветер с залива, и эти дома, —	И я напеваю... Ты спросишь: «О чем?»
Я их ощущаю, как древо — кору,	О ватниках грязных, о тех мастерках,
И я обещаю, что <i>здесь</i> — не умру.	О милых и праздных сегодня руках.

Пускай без барочных деталей лепных,  
Без труб водосточных, без дымных — печных,  
Шинелью солдатской — кирпичным сукном,  
Мой дом ленинградский, весна за окном!  
Совсем не ампирный — загадочно-прост;  
Ты помнишь свой мирный и сказочный рост?

\* \* \*

Есть сотни маленьких неволь;	Есть сотни маленьких разлук;
Они даны во благо.	Разлука в каждом вздохе.
Но Богу — свет, поэту — боль,	Но Богу — свет, поэту — друг,
А первым почкам — влага.	Звучание — эпохе.

Есть сотни маленьких побед, —  
Живите же, живите ж!  
Ведь Богу — свет, поэту — след  
Во град волшебный, в Китеж.

### ЕВРОСЕТЬ

Снимаю напыление монеткой:  
Сто шестьдесят, двенадцать, триста три, —  
Ловлю тебя загадочную сеткой —  
Как рыбари.

Вот — звездочка тонального режима:  
Звучат мои поспешные персты.  
И все-таки — уму непостижимо,  
Что это — ты!

\* \* \*

Сердца бок лошадиный,  
Не ходи ходуном.  
Этой ночью, родимый,  
Подыши над зерном.

О своем Левитане  
Помышляют сердца:  
Запряженные в сани  
Постоят у крыльца.

Светлый замысел божий  
Весь из малых толик, —  
Сердце чувствует кожей  
Каждый солнечный блик.

Отмечать *Воробьины*  
Станет солнечный кум;  
Из-под ног лошадиных  
Брызнет мартовский шум.

Сердце в рамку не вставишь, —  
По весенним лесам  
Сам и едешь, и правишь,  
Ну а может, — не сам?

\* \* \*

Доводят уныние, осень и мрак  
Парней в деревнях до бессмысленных драк;  
Художник с досады порвет полотно  
И пьет в одиночестве мрак и вино.

Но стыдно, ей-богу, себя утешать:  
Мол, времени года нельзя помешать,  
Мол, так непреложны и осень, и мрак,  
Мол, трудно в деревне без пьянства и драк...

И тешится сердце нагонной волной,  
Какой-нибудь старой забытой виной,  
Дойдет до отметки своей роковой  
И спорит с кипящей и гневной Невой.

Затем и даны нам ветра и шторма,  
Чтоб осенью мы не сходили с ума.  
Но, может, нужнее нагонной волны —  
Сознание общей беды и вины,

И, может быть, в двух бескорыстных шагах —  
Такое же сердце кипит в берегах,  
Пусть будет нам легче хотя б от того,  
Что можно понять и утешить его.



---

---

Михаил ПЕТРОВ

# СЕМЕЙНЫЕ ФОТО

рассказы

## ПЕТУШИНОЕ СЛОВО

*Георгию Куницыну*

Восточные мудрецы и христианские монахи-отшельники всерьез считали, что животные знают язык человека, только виду не подают. Боятся, что человек догадается о том и заставит работать на себя. Наш дядя Ваня думал так же. Животных любил, и они отвечали тем же. Кошки, собаки, коровы слушались и доверяли ему. Летом заломится у Зорьки копыто, тяжело захромает, он один, без ветеринара, стамеской залом тот отрубит. И Зорька дастся, хоть ей и больно. Замерзающего в стужу жуланчика на улице подберет, в сенки согреться принесет. Сколько раз у Моряка вытаскивал занозы из лап! Всех жалел. И с войны принес очень смешные трофеи: чемодан цветных открыток с тропическими птахами, всякими колибри, павлинами. Мы с братом этими открытками потом всю школу снабдили. Простак был. И воевал, и в плену сидел, а курице голову отрубить не мог.

Мама, бывало, запросит его зарубить курицу. Тот ни в какую:

- Вот еще, стану я грех на душу брать!
- Ну, заруби, братец, не мне же, бабе, опять рубить!
- Сказано не буду, значит, не буду!

Рассердится на братца, поймает курицу — и на колоде, где хворост рубим, хрясь! Принесет и поставит в тазу перед дядей Ваней.

— Мужик, тоже мне! Щипли, раз не можешь!

Ощиплет чище женщины. А есть эту курицу не станет. Животных любил и всегда говорил с ними: с коровой, собакой, с кошкой. И нам с Колькой совершенно всерьез:

— Попомните меня, лет через сто собаки, лошади, коровы заговорят с нами. Не знаю как, но начнут они говорить. Недаром в сказках волки, лисы говорить умели.

- А куры?
- Между собой давно уже говорят! Наседка одним языком, несущка другим.
- А пчелы заговорят? — спросит потерпевший от земляных пчел Колька.

---

Михаил Григорьевич Петров родился в 1938 году. Окончил Литературный институт им. М. Горького в 1978 году. Писатель, лауреат премий им. Н. Островского, ЦК ВЛКСМ, Союза писателей СССР в 1982 году, Союза писателей РСФСР в 1989 году. С 1991-го по 2002 год — редактор и издатель литературно-художественного и историко-публицистического журнала «Русская провинция». В 1996 году коллектив журнала «Русская провинция» стал лауреатом литературной премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

НЕВА 11'2011

— Пчелы не скоро. С пчелами, может, лет через триста связь установим. Зарубите на носу: пчелы, куры, собаки без нас проживут. А вот мы без них нет. Ты думаешь, что лошадь тебе служит, а она думает, что ты. Ты за ней ходишь, кормишь ее, поишь, навоз за ней убираешь, а не она за тобой. Вот и смекайте, чё к чему...

Однажды летом собаки покусали Моряку холку. На холке собакам рану не заливать, в жару рана загноилась, зачервивела. Дядя Ваня углядел ее, плеснул в склянку керосина, навил марлю на лучинку, макнул в керосин и смазал Моряку рану. Моряк с визгом унесся за сарай и полдня просидел там в бурьяне. Мама поругалась даже: «Сжег собаке кожу!..» А Моряк к вечеру вылез из укрытия и через двор пополз, повизгивая, к дяди Ваниным ногам. Тот чуть не прослезился:

— Ты гляди! Сам лечиться приполз! Это надо!.. Да керосин лучше всякой мази!.. И рана очистилась. Вот у кого, племяннички, терпению учитесь. А вы баушке цыпки сметаной намазать не даете.

Моряку больно, но он покорно дождался конца процедуры. Повизгивал, хвостом по земле постукивал, но стерпел, не убежал за сарай. И через день все на нем зажило, как на собаке. Лекарю пришлось даже погоняться за ним по двору, чтобы сделать последнюю примочку. Едва поймал. Выздоровевший пес уже понарошку скалился на дядьку, мотал башкой и не давал лечить себя, мол, хватит издеваться, я здоров.

Был у мамы еще один брат, дядя Ося. Черные, как из овчины, толстые брови, под ними карие глазки, на лице улыбка, будто заранее хочет тебя в чем-нибудь уличить. Вечно всех осуждает, как бабушка говорит: «Все у Оськи в «г», один он в белой рубашке, а ребятишкам ни разу конфетки не принес, всё забывает». В гости приедет, вечно нас с Колькой стравит, с дядей Ваней перессорится.

В тот раз пришли дядья к нам в баню, сели за стол, отца ждут. Петух в клетке под кроватью как запоет! Дядя Ося и говорит:

— Иван, а хошь, я тебе фокус покажу, курицу загипнотизирую?

Ту зиму у нас стояли страшные холода. Мы две недели в школу не ходили, кур и поросят родители перевели в сарай к корове. Но куры и там гребни обморозили. Тогда дядя Ваня склотил клетку под бабушкиной кроватью, кур перевели туда. Куры у печи ожили, повеселели. Отогревшись, петух запел сначала по ночам, решил, должно быть, что весна пришла. В два часа ночи спел, потом в три, потом в четыре и так до утра. А потом и днем петь стал. Голосище у него — как труба иерихонская. Дядя Ося достал из клетки курицу, положил на пол, провел куском известки черту на полу через ее клюв, приказал лежать. И та лежала, пока бабушка ее обратно в клетку не унесла. Дядя Ваня ему:

— Ну, и что ты этим хочешь сказать?

— Нет у них ума, вот что! Один рефлекс!

Они давно на эту тему спорили. Дядя Ваня и напомнил ему:

— А вспомни, как тебе антоновка по темечку врезала, когда ты захотел ее срубить? Единственным яблоком! Венец природы мне нашелся.

Было дело. Только успел дядя Ося про топор ляпнуть, мол, пора яблоню в печь, как ему яблоком прямо по кумполу. Он считал это случайностью, а дядя Ваня утверждал, что яблоня услышала и с ним поговорила.

— Ты скажи еще, что яблоко закон тяготения открыло, а не Ньютон.

— Что ты все про яблоко? Яблоко еще ничего не смыслит. А яблоня этот закон тыщи лет знала, яблоки на землю роняла, она твоему Ньютону и помогла.

Дядя Ося толстые губы трубочкой сложил и, как один он и умел, издевательски захихикал: «Ухху-ху-ху-ху-у!.. Ньютон отдыхать может!..» А потом мазнул корку хлеба горчицей и кинул Моряку. Тот хапнул, проглотил и давай чихать, лапой нос тереть.

— Убедился? Ни черта они не понимают!.. И никогда говорить не будут.

Бабушка тоже не терпела его шуточек, Моряку в черепушку молока плеснула:

— Осип! Ты шути да оглядывайся!

И как в воду глядела.

Пришел с работы отец, сходили они в баню. После бани выпили по стопке, сидят за столом, беседуют. Петька поет — заливается. Взбрело дяде Осе в голову подшутить и над петухом, намочил в водке кусок хлеба, кинул ему. Да, видно, переборщил с дозой. Петух склевал мякиш и давай петь. Попел, попел, закачался, голову повесил, упал набок и затих.

Все сначала посмеялись его шутке, а потом отец присмотрелся и говорит:

— Оська, ты же угробил петуха. Сдох. Мать из бани придет, отвечать придется.

Петька у нас был редкостный красавец, любимец и гордость семьи. Сантиметров семьдесят ростом, черный с красным отливом, хвост золотистый, водопадом! Чужих петухов, забредавших в наш двор в поисках развлечений, насмерть заклевывал, бежали со двора, как с пожара. Не раз соседки искали на него управы у мамы. «А не шлейся по чужим!» — отвечала она таким тоном, что папа всегда сердился.

Дядя Ося, конечно, струхнул. Пошевелили петуха — тот лежит, как мертвый, не шелохнется. Дядя Ося к нам с Колькой:

— Ребятишки, за молчок полкило конфет. Если что, скажем, заболел.

— Дождешься от тебя конфет! Зачем ты его отравил?

Дядя Ваня чаем обжегся, так ему петуха жалко. Пришли из бани мама с бабушкой, головы полотенцами обмотаны, за стол к самовару ладятся.

— Mam! — заблажили мы. — Наш петух заболел, сдох, кажется!

Дядю Осю перекосило, кулак нам исподтишка кажет. Мама к клетке. Лежит петух. Вытаскивает его — огромного, с золотистым хвостом, ноги как у доброго жеребца, шпоры гусарские. Изумрудно-зеленая шея, золотисто-охристый воротник, багряно-красная грудь, белые пестрины по черным крыльям и спине. Только борода и гребень чуть обморожены. Лежит петух у нее на руках, голова вниз свисает, на шее, как на шланге, болтается.

— Господи! Петенька, что с тобой, красавец! Баушка! Да кто нас по утрам будить станет! — запричитала мама. — Как генерал был, кур около себя держал, и мы-то горя не знали, не одна, бывало, со двора ни шагу, следил за ними, неслись только дома. Да кто теперь цыплят от ворон стеречь будет, кур собирать и охаживать?

— Ну, заголосила, как по покойнику, — пришел на выручку шурина порядком огорченный отец. — Отрубить голову да в суп, пока не поздно! Иван оциплет.

— Где такого петуха возьмешь! Бородища как у попа, яйца куры несли как утичь! И с характером, его вон кот боялся. Вам все суп на уме! Бедненький! — мама погладила петуха по шее, потом принялась и подозрительно повернулась к нам:

— Ой, а чё от него водкой несет? Осип?

— А чё Осип? Чуть чего — сразу Осип. — Я знаю, чего от твоего петуха водкой несет? Мы помаленьку выпили, от нас, поди, и пахнет.

Петух будто внял сказанному, напряг шею, поднял тяжелую голову и открыл карий огнистый глаз. Пьяно уставился на маму.

— Гляди-ка, да он живой! Ребятишки, Иван, сознавайтесь, чего с петухом сделали?

— Никто ему ничего не делал, хоть у кого спроси. Вот те крест, никто его не трогал. Лопни глаза мои, пел, пел, а потом р-раз — и набок, — зачастил дядя Ося.

Мама положила петуха на бабушкину кровать, повернулась к нам, чтобы провести дознание, и тут случилось то, чего никто даже во сне не ожидал. Петух вдруг как вскочит на ноги, да как замашет своими метровыми крыльями, да как взлетит чуть не к потолку, да как ринется сверху на дядю Осю!

Брызнули во все стороны осколки новеньких чашек, зазвенели стаканы, полетела на пол распечатая бутылка водки, вскочил от неожиданности отец, накренил стол, медный самовар клюнул краном картошку в сковороде, хлынул кипяток, все вскочили с мест.

А дядя Ося отмахивается от пьяного петуха, кричит: «Держите его! Остановите!» Разъяренный петух беркутом взлетает над ним, бьет шпорами обидчика в грудь, в голову, клюет руки. Шум, крики, все носятся вокруг стола, бестолково машут руками, пытаются отогнать петуха от дяди Осипа. А тот вцепился ему в загривок, целит клювом в макушку и время от времени победно кричит, раскатывается:

— Ко-кок-ко-ко-ко! Ко-кок-ко-ко-ко!

Хорошо, дядя Ваня исхитрился-таки поймать Петьку обеими руками, прижал к себе и водворил назад в клетку, к курам.

Что началось после этого — не описать!.. Мы с братом свалились под стол и молотили пятками по полу. Отец катался по бабушкиной кровати. Дядя Ваня рыдал от смеха, обнявши печь, иначе упал бы тоже. Посрамленный, поклеванный петухом дядя Ося, держась за голову, сбежал в комнату. Схватил с комода мамину «Красную Москву», стал заливать перед зеркалом свои раны:

— И как только глаз не выключил, бандит! Бандит это! Или не адекват! Чугунок по нему плачет. Сам своими руками голову отрублю и ощиплю!

Тут бабушка ему и напомнила:

— Пошутил Мартын и свалился под тын!

Одна мама долго ничего не понимала. Встала посреди кухни, на глазах слезы: по полу капуста, картошка, хлеб разбросаны, в сковороде картошка плавает, новенькие чашки, купленные недавно в сельпо, вдрызг разбиты. А когда поняла, расхохоталась, да так, что и мы за ней. И сквозь смех дяде Осе чисто по-нашенски, по-деревенски выговаривает:

— А шашечки-то, братик, с тебя, шесть штук!.. Приезжай когда щаёк-то пить!..

И вострый на язычок Колька, хитренько улыбаясь, не удержался и подколот его:

— Дядя Ваня, а чё ему петух сказал? Ты же петушиный язык понимаешь...

— А вот наклюет тебе задницу, будешь знать, чё. Умник мне нашелся!

И как ни скупился, купил дядя Ося маме новые чашки. Но долго потом грозился отрубить петуху голову. Долго и Петька при виде дяди Оси принимал бойцовскую позу и издавал воинственный клич с клёкотом, как при виде коршуна в небе. И даже делал несколько предупредительных шагов ему навстречу, будто защищал кого-то.

Обиду помнил.

## ДЖИММИКИ

*Брату Коле*

После войны почему-то особенно остро не хватало детской обуви. И потому гвоздь, впившийся в ногу сквозь истлевшую протертую стельку, мне памятен и сегодня. Мы его тупили молотком на лапе, загибали по дороге кирпичом, а в лесу или на поле камнем, застилали сверху стелькой из картона и сложенных газет, ублажали толстой портянкой, а они настырно пробивались сквозь подошву и вновь калечили ногу...

Я храню блеклое семейное фото 1947 года. Отец в гимнастерке и галифе, рядом с ним молодая мама, справа старший брат в пиджачке и брючках, направленных в

стоптанные сапожки, слева я с грязными босыми ногами. Мы приехали в город за тридцать пять километров, чтобы купить мне на толкучке сапоги к школе, но на мою ногу так ничего не нашли. В школу я пошел в Колькиных в сапогах, а брату «обсоюзили» старые мамины, залатав их кирзовыми заплатками.

За осень я разбил братнины доноски вдрызг, сапожник даже не взялся ремонтировать, вздохнул и посмотрел в глаза матери. Родители задумались, в чем послать меня весной в школу. И вот отец очень расстарался, и кто-то из знакомых выкроил ему лоскутки кожи мне на союзки и задники. А на голенища материала не нашлось, и сапожник промкомбината, немец Яков Карлович, живший по соседству и хорошо знавший отца, предложил сшить их из сыромятины.

Сыромятина — это кожа, не прошедшая фабричной обработки, сапоги из нее — все равно что днище несмоленной лодки: плыть на ней можно, но лучше сидеть на берегу. Сыромятина идет на повод, вожжи, на подпругу и чересседельник, но путной обуви из нее не сшить. Она пропускает воду, плохо сохнет, не держит форму, гниет. Конечно, сыскаивались умельцы, кто краденными с завода химикатами выделявал кожу дома и даже кустарно прессовал подошвы, но власти за этим смотрели, умельцев примерно наказывали. И в сапожных мастерских строго следили, чтобы на коже, взятой на пошив, обязательно стояло белое фабричное клеймо. Без него даже частный мастер шить обувь не брался, мог угодить за решетку. Но уж очень хотелось честному немцу удружить соседу и обуть меня. Да и на обувь из сыромятины начальство, видимо, смотрело сквозь пальцы.

Маленький и всегда серьезный, он сидел у окна за низким сапожным столом. За ту серьезность все село, включая жену Марту, зовут его по имени-отчеству. Фартук до пят, трехногая табуретка с брезентовым верхом, руки налинованы черным варом от дратвы, в губах самодельные деревянные гвоздики. У него и так сильный немецкий акцент, а с гвоздиками во рту, мне кажется, он нарочно ломает язык:

— Но Крикорий Николаич, мы накроем их тёкоть, никакая дьявол не фосьмет. В вассер ходить не пудет, сто лет наносит. Вассер — сыромятни смерть. В вассер не наступнешь? Не наступнет... Он не глупи малишка. Он оччень умный киндер...

Мне лестно, что я понимаю иностранный: васер — это вода, киндер — ребенок. Немцев у нас в селе много, и я знаю наизусть русско-немецкие считалки:

Что такое — вас ист дас,  
Маслобойка — пудерфаст,  
Папа — фатер, мама — мутер,  
Плохо — шлехт, отлично — гутен...

Или вот эту, безалаберную, над которой все немцы громко смеются:

Ины, мины, тики, таки  
Тай на финны миси краки  
И, пи, рус, эпильпам,  
Пушкелёры, тунгелёры,  
Ессен мит, полянки ора!..

Меня разувают, снимают мерку с ноги, обводя стопу огрызком карандаша на бумаге. Рука у сапожника жесткая, мне щекотно, я перебираю пальцами ноги по листку, будто играю на гармонии. Закончив процедуру, Яков Карлович важно складывает листок и прячет портрет моей ступни в карман фартука. Когда мы приходим к нему через неделю, я замираю в восторге. На сапожном столе нас ждет чудо! Что рядом с

ним хрустальные туфельки! Яков Карлович на свой страх и риск почернил белую сыромятину, потом пропитал жиром и промазал дегтем. Сапоги испускали фабричный блеск, не верилось, что их сделал маленький, плохо говорящий по-русски человек грязными и корявыми руками. Померив их, я готов взлететь от радости, ноги так сами и вытанцовывали.

— Телал этих сапог по честни слово, — умилялся моим сапогам и сам Яков Карлович, — в них я наколачивал маленьки секретка. Они чуточка трепают языком!

Меня заставляют пройти по мастерской, усыпанной кусочками кожи, деревянными гвоздиками, стружкой. Сапоги при ходьбе действительно «трепают языком», поскрипывают! Мастер вставил под стельки бересту, и сапоги, мне чудится, поют! Каждый — своим голосом.

— Разве это сапоги? — похвалил довольный отец, рассчитываясь с сапожником. — Это, брат, не сапоги!.. Это — джиммики!

В молодости мой отец «бегал» на Алдан, на золотые прииски, и привез оттуда это непонятное и звучное слово. Означало оно красивые из толстой телячьей кожи желтого цвета американские мужские ботинки на каучуковой подошве. Джимми стоили очень дорого, отец пожалел денег, не купил их. Вернулся он в хромовых сапогах, с гармонью и новым словом, которое в его устах означало обувь самого высшего качества.

Ноги мои горят от нетерпения слинять на улицу в джиммиках. Жаль, обнову с меня снимают и убирают в ящик. Каникулы догуливал в бабушкиных пимах с галошами, с тоской дожидаясь, когда та управится с коровой. Но в последний день каникул родители сжалились и со строгими напутствиями разрешили мне погулять в джиммиках.

Утром я встал чуть свет. Обул новенькие, пахнущие дегтем джиммики, пулей выскочил с Морьяком на ядреный мартовский морозец. В джиммиках весь мир казался другим! Канавы, лужи, покрытые льдом, предстали одним блестящим зеркалом, в котором отражается все небо с облаками. Я разбежался и покатил к солнцу. Потом к облакам! Новенькие подошвы скользят коньками! А каблуки! Стукнешь по льду таким, и во льду под каблуком вспыхнет белая звездочка. Разве валенок выбьет такую? Да никогда!..

Однако скоро лед подтаял, предательски затрещал и запружинил под ногами, а из пробитых каблуками звездочек стали пульсировать фонтанчики. Вспомнив отца и наказания сапожника, я от греха ушел во двор. На ту беду, мимо нас бежала ватага мальчишек: Быня с тремя спичками и отломком от коробка, Вака, Кака и Чирва. А за Чирвой, стреляя голенищами бабкиных резиновых сапог, поспевал Понистый. Мои джиммики всех озадачили. Даже шестиклассник Быня зауважал меня. Предложил как равному: «А айда прыгать с берега в снег. Вчера прыгали, знаешь, как мирово!»

Все с восторгом поддержали его. Но мой брат охладил ораву:

— У Михи сапоги из сыромятины, ему в воду нельзя.

Но уж очень, видно, я был хорош в новых сапогах, все хором возразили:

— Там сухо. А не сходит прыгать, пусть ломает бурьян на костер. Айда!

Все в старых подшитых валенках, на Бынины натянуты самодельные галоши из красной автомобильной камеры. Брат сдался, и мы пошли. Снег лежал на выгоне грязно-серыми овечьими шкурами, мы с братом их усердно обошли. Берега котлована и впрямь обсохли, а котлован полон талого, рыхлого кристаллического снега. Все, кроме меня, с гиком прыгнули с высокого берега, весело вонзились в снег по колено. Никому не верилось, что еще две недели назад мы носились с этих берегов на лыжах и санках!..

Я наломал сухого бурьяна и принес на берег. Быня почесал головкой спички в волосах, чтобы вернее зажглась, и с одной запалил костер. Стало еще радостнее.



Подключился к игре и брат в старых рабочих кирзачах. Только я стоял в стороне от общей радости в щегольских джиммиках. Но общая радость поспраивания зимы скоро захватила и меня. Уж очень лихо прыгали в остатний снег мальчишки. Рассудив, что прыгну я не в воду, а в снег и всего разок, отчего с сапогами ничего не станется, прыгнул и я. Джиммики заблестели еще веселей. Я прыгнул еще раз и еще два. И опять ничего!..

И пошло, и поехало, пока, прыгнув однажды очень ловко и далеко, я не увяз в талом снегу. Видно, угодил я в место, где снег пропитался водой. Вытащу одну ногу, увязнет другая. Талый снег буквально приклеил мои сапоги. Подо ними захлюпала вода, а я стал похож на муху, попавшую в сметану: с каждым движением увязал в снег все глубже и глубже. Дружки насмеялись, стали давать советы. Вака с Чирвой подползли ко мне, пытаюсь вытащить меня за руки, но талый снег зажал сапоги намертво. Спасатели уползли назад, боясь увязнуть рядом со мной. Я снова остался один. Некстати вспомнился наказ Якова Карловича про сырмятни смерть. Я подергался и затих в отчаянии.

— Ты потихоньку, — советовали с берега, — шевельни ногой и потащи вверх.

Одну ногу по совету я вытащил. И даже с сапогом. А вот другой сапог не давался. Как ни старался, нога упрямо вынималась без сапога, будто кто-то держал его в глубине. Снова и снова совал я ногу в обледенелую нору, цеплял ногой раздавшийся сапог, кряхтя, тащил его кверху, но дойдя до какой-то черты, сапог всякий раз срывался с ноги и падал в снежную утробу. Вдруг и носок стал застревать в мокром сапоге, а нога выниматься босой. Все словно смерзлось в неведомой снежной толще, заледенело. Я умаялся до слез. Мальчишки свистнули на помощь Быню и брата. Совместными усилиями они выкатили меня из сугроба к костру: мокрого, измученного, в одном сапоге.

Я лежал на спине в одном сапоге, выставив босую ногу вверх, мучаясь от неизвестности. Побывавший в снегу сапог, подсыхая у костра, быстро утрачивал фабричный лоск. Голенище бурело на глазах и, казалось мне, удлинилось. Эту мысль я тотчас прогнал из головы, потому что за ней брезжила еще более страшная: каким же стал сапог, застрявший в снегу? Я старался об этом не думать.

Посыпались советы, как достать второй сапог. Кака предложил лопату, но лопатой можно было прорезать сырую размокшую кожу. Пробовали руками. Снег заледенел, руки его не брали, и охотники остановились. Я шевелил поднятой вверх босой ногой, чтобы не замерзла, и не знал, как быть. А тут еще, роясь в снегу, затоптали место, где увяз сапог. Начались поиски. Наконец, тыча палкой в сугроб, Быня наткнулся на него и даже ущупал руками голенище. У него одного были галоши таких размеров, что не проваливались в снег. Он ухватился за голенище и медленно потащил сапог вверх, радостно оповещая всех, что сапог подается. Быня тянул сапог, как дед репку, раскачивая то влево, то вправо, то строго вверх. Не тащил — корчевал. И каждое его телодвижение почему-то отзывалось во мне болью, будто он вытаскивал у меня зуб.

И когда Быня наконец-то выдернул сапог из сугроба и, упав на спину, бросил к моим ногам, я понял законность своей тревоги. Сапог превратился в огромный сапожище, в ботфорт, который охотники натягивают почти до бедер, отправляясь охотиться на уток. Сырмятное голенище растянулось до умопомрачительной длины! Все в ужасе притихли.

— Ты чё сделал? — спросил я, постепенно осознавая, что вытянут мой сапог и что, извлекая его из снега, Быня растянул размокшее голенище. — Это не мой сапог.

— Не его это, у него вон какой маленький, — закричали все. — А это великанский.

— Его! Это сырмятина растянулась. Надевай. Голенище высохнет и сожмется.

Нога провалилась в сапог, как в волчью нору, слезы брызнули из глаз. Джиммики были безвозвратно испорчены. Фабричный вид, нежный хромовый лоск, который

придал им Яков Карлович, испарились! Голенища даже на ощупь стали противно скользкими, как вареная свиная кожа. Явиться в таких домой нам было и представить страшно.

Мальчишки уважительно молчали, сердцем понимая нашу беду, никто не смеялся. Сам Быня позвал нас погреться, и хоть на чуток посушить великанский сапог. Чудовищно огромное голенище густо парило, но не уменьшилось ни на сантиметр даже у горячей печки, а когда прижимали ненароком мокрое голенище к дверце, оно шипело как сало на сковородке. Дождавшись спасительных сумерек, мы обреченно потащились домой.

Темнело. Весело, прислушиваясь к эху собственного голоса, лаяли собаки. На весеннем праздничном небе, дрожа от радости, разгорались ясные звезды, под ногами хрустел сахарный ледок. Но мои сапоги шли теперь молча, как и мы. Зная крутой характер отца, мы крались вдоль заборов тихо, как тати. Размокшее голенище сползло мокрым чулком вниз, хлопало по ноге великанским ботфортом Гулливера, я его то и дело подтягивал. Я отдал бы все, чтобы вернуть ушедшее утро, забыть этот кошмарный день. Почему, ну почему я не остался гулять во дворе, как велено? В чем завтра пойду в школу? Что скажет отец? На эти вопросы не было ответа.

На счастье, родители ушли в гости. Мы живчиком разулись и разделись, и пока бабушка, ворча, наливала нам щи, я по-шпионски тайно забросил свои промокшие джиммики на горячую печь в надежде, что за ночь сапоги придут в себя, усохнут и примут достойный вид и размер.

Утром, собираясь на работу, отец спросил, как бы между прочим:

— Ну, как твои джиммики? Дал, наверное, им вчера дрозда?

— Не, я их на печь посушиться положил, — ответил я как можно беспечней.

— Ты с умом ли? — он все понял и бросился на печь. Вслед за тем над нами пролетело и гулко ударилось об пол что-то бесформенное и, гремя старой самоварной трубой, покатило под порог. То были мои просохшие джиммики. Боже, во что они превратились!.. Особенно правый! За ночь он скукожился и ссохся на горячей печи до лилипутских размеров. Голенище жесткое и звонкое, как жель, сапог шершавый и легкий, как сухарь, смотреть страшно!..

Бедный Яков Карлович! Когда отец брякнул о его стол вчера еще пускающие зайчиков джиммики, холодное полярное сияние полыхнуло в стальных глазах старого мастера. Он метнул из-под белесых поросычьих бровей полный презрения взгляд и, униженный в лучших чувствах, сказал пространную речь, которую я и сегодня помню:

— Но я же не коспоть бох, Крикорий Николаич! Я делал приказ не макатся на люжа. Он, как малишка, команда забиль!.. Этих паразитни надо трать сырой толстый черезидельник и гонять учиться босой и раздетый, как Максим Корький! Пусть директор берет на завхоз Корького дедушку, чтобы выбиваль из этих парши-ви чёрт бестолочь. Иначе они загонят нас гроб и закопают под крест с этих дурачки шуточка!

Снова и снова просил его отец сделать с сапогами хоть что-нибудь, пока «честни немец» не сжалился надо ним. Три дня он размачивал и снова ставил мои сапоги на колодки, натягивал голенища на круглое полено, сушил у остывающей печки. И «кое-какое натвориль». Конечно, прежнего лоска сапогам не вернул и «ихни маленьки секретка» они потеряли, но я проходил в сырмятных джиммиках еще и весну, и осень...

---

---

## Изяслав КОТЛЯРОВ

\* \* \*

«Талант не зря зовется даром,  
хоть, кажется, дается даром», —  
я вдруг надумал пошутить,  
но шутки нет, не получилось...  
Всегда в таланте — Божья милость,  
а это надо ощутить.  
Он Богом дан, а мы забыли,  
вновь спутав небыли и были...  
Кому я это говорю?

Дышу в несказанное слово.  
Я знаю: новое — не ново...  
Кого, за что благодарю?  
Береза светлая в накрапах —  
сказать бы цвет, сказать бы запах,  
ни цвет, ни запах не назвав,  
но так, чтоб слово цветом стало,  
чтоб ароматом задышало  
и зазвучало, просияв...

\* \* \*

Там, где солнечно дрожал  
весь паром от скрипа, —  
криком совести кричал,  
сам не слыша крика.  
Хорошо, что никого,  
лишь течение мглился,  
лишь метнулась от него  
утренняя птица.  
Крик на дальнем берегу  
все не затихает...

«Даже криком не могу», —  
человек вздыхает.  
Сердцу стало горячо,  
а вода струится.  
Зачерпнул свое лицо,  
чтобы им умыться.  
И опять вдали от хат,  
прислонившись к стогу,  
«Виноват я, виноват...» —  
криком шепчет Богу.

\* \* \*

Вновь шорох станет листьями  
в обветренном саду,  
где я навстречу истине  
иль от нее иду.  
Ах, всё, как есть, останется,  
коль истина — из дней  
сама навстречу тянется  
к тому, кто шел за ней.

Я вязну в этих шорохах,  
в раздумьях медлю шаг...  
Я отдал жизнь недорого,  
вернее — просто так.  
За чью-то блажь идейную,  
а может, и свою,  
за эту суть смертельную,  
которую таю...

---

Изяслав Григорьевич Котляров родился в 1938 году в г. Чаусы Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Работал в газете летчиков гражданской авиации «Западная трасса», в светлогорской районной газете. Был директором Светлогорской картинной галереи «Традиция» имени Германа Прянишникова. Состоял в Союзе писателей СССР, а теперь — в Белорусском и Российском Союзах писателей. Автор 17 поэтических книг, вышедших в Минске и Москве. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Юность», «Смена», «Студенческий меридиан», «Нева», «Аврора», «Форум», «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Неман», «Немига литературная» (Минск), в альманахах «Поэзия» (Москва), «День поэзии» (Москва), «Встречи» (Филладельфия), «Поэтический Олимп» (Москва), «Дзень паэзіі» (Минск), в «Литературной газете», «Литературной России» и других изданиях. Живет в городе Светлогорске.

\* \* \*

Умом безумие поймешь,  
не разрешишь умом безумье.  
Вновь, как над пропастью, пройдешь  
в свое обычное угрюмье.  
Опять присядешь у стола,  
остановив собой мельканье  
стены, окна и потолка...  
Вернешь сознанию сознание...

Сумел безумие стерпеть,  
вдруг в тишине расслышал скрипку,  
ладонью с губ хотел стереть  
свою блаженную улыбку.  
Но в ней опять она сама,  
опять, опять одно и то же —  
безумие из-под ума  
и в ней выглядывает все же...

\* \* \*

Берем грибы, рыбачим...  
Какие здесь дела?!  
На даче души прячем,  
а вовсе не тела.  
Я забываю лица  
и думаю свое...  
Рассматривает птица  
меня, а я — ее.  
Как будто бы знакомы  
уже не первый год...

Ах, птица, где мы, кто мы?  
Хождение... Полет...  
Мгновение — мгновенью,  
молчанию — молчу.  
Ну вот, скользнула тенью  
по моему лицу.  
И что-то ею тоже  
сумела ты стереть...  
Хоть не об этом все же  
молчание и речь.

\* \* \*

Такая безъязыкость, будто смерть, —  
словами слышать, а сказать — не сметь...  
Он слуху улыбается блаженно  
и слышит, что неслышимо другим, —  
то вальс, то ораторию, то гимн  
иль то и то уже попеременно.  
А эта вот мелодия небес  
всю душу растворяет... Страх исчез.

Нет смерти, и забвенья тоже нету.  
Есть вечное движение времен —  
и он к нему всей жизнью приобщен.  
Вот облако звучит, вот синь распелась.  
Так просто все: живи, живи, живи...  
Есть музыка взаимнейшей любви  
и жизни безогляднейшая смелость...  
Ах, если бы не безъязыкость эта,  
он был бы лучше лучшего поэта.

\* \* \*

Спасибо, Господи, за то,  
спасибо, Господи, за это.  
Мне не помог бы так никто,  
мне б Твоего не видеть света.  
В «спасибо» слышу я «спаси».  
Да, благодарность тоже просьба...  
Прости мне, Господи, прости,  
что осознал я слишком поздно.

Мне надо милость оправдать,  
и оправдать, и оправдаться,  
чтоб мог словами все отдать  
иль самому словам отдаться.  
Ну вот опять мне светом — свет,  
хоть память все еще страшится.  
Но светит благостно в ответ  
иконным светом Плащаница.

---

---

Исаак ШАПИРО

## ЖЕНЩИНЫ, АНГЕЛЫ, ДЕТИ

рассказы

### ТОЛЬКО ТАМ

Начало пятидесятых.

Зима.

Снег хрусткий под ногами хрусткий, ломкий. Ветер заносит холод в рукава, срывает с губ белое дыхание.

Улица одевается, как может. Любое шмотье идет впрок, лишь бы согреться.

Но эта женщина выглядит беднее других. Рваные чулки, какие-то обмотки поверх них торчат из ботинок. Вязаный платок сплошь в дырах. У выношенного, когда-то черного пальто трепещет надорванный карман: туда явно ничего не кладут.

Привычная послевоенная нищета и одиночество.

Хотя насчет одиночества — не совсем верно.

Рядом с женщиной оттягивает ей руку малое существо в ушанке по глаза и в ватнике до пят. Кажется даже, что ватник движется по снегу самочинно.

В другой руке женщины зажата авоська, а там — три луковицы с фиолетовыми подпалинами и несколько зачитанных книг.

И сразу думаешь: такое можно увидеть только в России.

Надорванный карман, три луковицы и книги.

### БЕЛЬЦЫ

В двенадцать лет ее увезли из Бельц.

С тех пор полвека живет в Москве.

Но до сих пор она не говорит: Дед Мороз, говорит: Мирча Крэчун.

У нее однокомнатная квартирка с балконом. Конечно, она помешана на чистоте. Везде салфетки, дорожки. Из цветов — только маленький кактус: он не мусорит. Форточка всегда открыта, но даже мухам в кухне нечем поживиться: на столе, на полу — ни крошки.

---

Исаак Зиновьевич Шапиро родился в 1934 году в г. Виннице, по образованию и роду занятий — гидротехник. Печатался в журналах: «Грани», «22», «Континент», «Синтаксис». Автор книги повестей и рассказов «Черемош» (2009). С 1971 года живет в Израиле.

НЕВА 11'2011

Соседей по дому не видит в упор, и те в отместку зовут ее между собой *рыжая стерва*. Она действительно рыжая: надо лбом — волнистый вихор царственного золота.

Поразительно худая, она невольно подтверждает поговорку: нужно взглянуть дважды, чтоб раз увидеть. При этом анфас и в профиль — портрет ее выходит одинаковым, только в профиль — на один глаз меньше. Узкие кисти обвиты голубыми венами. В полусогнутых пальцах постоянно тлеет сигарета. А над ключицами такие впадины, что впору стряхивать туда пепел.

Ее темные рачьи глаза почти всегда пребывали зашторены тяжелыми веками. Начальство она выслушивала молча, снимала очки, чтоб смутно видеть его невыносимое лицо. На все упреки с готовностью покачивала головой в знак согласия и продолжала эксперименты на свой риск. Ее не сокращали: биохимиков такого уровня даже в изобильной столице сыскать было нелегко.

Лишь однажды сказала:

— Я в своей жизни съела много каки.

Можно ей поверить. Домучила кандидатскую почти перед пенсией.

В последние годы часто вспоминает Молдавию. Но так и не вырвалась туда ни разу. Да и родни, даже самой дальней, там, наверное, уже нет... Помнит пыльную околицу, серые деревья, осенью галоши вязнут в грязи, их отмывают в лоханях под водосточными трубами...

Убеждена:

— Все евреи — из Бельц. Даже если мы родились на Клязьме. Бельцы — это наша Киевская Русь.

Ей чуждо понятие: *прогулка* — по улице ли, по бульвару. Прямая, как нож, она пропарывает любую толпу: видна бессрочная школа очередей и трамвайных давок. И, видимо, нервы имеют вольтаж — всякий задетый таким телом получает ожог.

Но в то же время... Встречает знакомую с ребенком. Обнимет ребенка, прижмет к своему бесполому животу — и:

— Зяблик ты мой...

## ОДЕССА

В Одессе, в доме своего папы, росла девочка Люся.

Знакомые восхищались:

— Куколка! Чтоб не сглазить! Поверьте, за ней будут ухаживать приличные люди.

Знакомые уверяли:

— Иметь эти два глаза! Она станет артистка! Сара Бернар будет подавать ей пальто!

Насчет уникальности глаз знакомые были правы лишь отчасти: через несколько лет такие же глаза, две черносливины, заполучила Лайза Минелли. И не прогадала.

Но вернемся в Одессу.

Под небом юга Люся созревала так стремительно, что папины знакомые говорили про сдобные булочки на хорошем сливочном масле, многозначительно подымали брови и кивали сами себе носами.

Глядя на эти округлости, не только стройные фраера и пажоны тормозили свои бежевые штiblеты, но и публика другого калибра поворачивала седеющие виски вслед Люсиным каблучкам.

А у Додика тем временем в голове была катастрофа. Плавильсь последние мозги.

Каждый вечер в белых отутюженных брюках, в парусиновых корочках, крашеных зубным порошком, он являлся к Люсиному дому и насвистывал модное танго.

Но стоило Додику в окне бельэтажа увидеть овальный подбородок и черную челку, ему вдруг не хватало воздуха, и танго замолкало в одурелой улыбке. А когда вспоминал про гладкие коленки...



Однако Люсин папа был человеком строгих правил. Правда, он никогда не жил на Молдаванке, но сказал приблизительно так:

— Доця, чтоб твой малахольный под окнами больше не возникал. Иначе я его тонкие ножки разделю на двоих.

Папа сказал:

— Так и передай. Слово в слово. Этот свистун нам не пара.

Люся, конечно, выплакала избыток слез. Но папа — твердый орешек, своего добился.

Люся вышла замуж за бухгалтера и стала толстой мамой.

А свистун Додик стал Ойстрахом.

## ЛЕНИН НЕ НА МЕСТЕ

### 1.

Двадцать пять рублей с портретом Ленина называли «четвертной». Деньги были немалые, особо когда их нет. А для нас, пацанов, двадцать копеек — уже капитал.

У меня с этим портретом такая история вышла.

Должен сказать, учился я старательно. Науки грыз до посинения. Домашние задания и контрольные всегда списывал аккуратно. И на подсказки слух был абсолютный. Но в отличниках не числился, гордостью школы не называли. Учителя мне попадались скупердяи: выше тройки не ставили, да и то со вздохом. Правда, была в табеле одна пятерка — за поведение. Значит, заслужил.

После восьмого класса родители решили в техникум устроить. Зубной. Денежная, мол, специальность. У человека в среднем две руки, две ноги. Нос — тот вообще сирота, в одиночестве дышит. А зубов, говорят, штук тридцать. А если посчитать по всей стране — белых и желтых, с дуплом и кариесом, кривых и выбитых — это тихий ужас сколько получается! И любой из них болеть может. Вот и рвут врачи зубы налево и направо. За каждый зуб — отдельная цена. Надо же — какая профессия!..

А многие взяли привычку золотые коронки монтировать. Наверно, чтобы речь была блестящая. Мама говорит: хотя молчание — золото, но лучше, когда слова не железные, а золотые.

### 2.

Нашли родители в этом техникуме нужного человека, договорились чин чинарем, чтоб документы принял.

Пришел я к тому дядьке узнать, какие бумаги нужны.

— Принесешь, — говорит он, — папку с Лениным. А еще — табель и справку о здоровье. Все понял?

А чего непонятного? Я, конечно, не Конфуций, но здесь дело яснее ясного.

В магазине канцтоваров спрашиваю папку с Лениным.

— Нет у нас такой.

— А когда будет?

— Вот-вот, скоро напечатают.

В следующем магазине — тот же ответ.

### 3.

Заметался я по канцтоварам. Есть папки с пионером-трубачом, в правом углу, с пограничником и овчаркой, с микроскопом, с крейсером «Аврора», с комбайнами на полях. Папки с Лениным нет.

- Может, возьмешь Джамбула в тюбетейке?
- Не могу. Сказали — папку с Лениным.

Рыскаю по городу, как чумной, все склады обшарил, заглядывал, даже в буфете при бане интересовался — говорят, нет. Продавщицы в магазинах уже смотрят поверх головы, не отвечают. Ничего, думаю, выучусь, буду вам зубы лечить, вы меня тогда запомните...

Наконец повезло! В газетном киоске нашел папку! Высший класс! Даже лучше, чем я надеялся!

#### 4.

В техникуме нужный дядька встретил меня приветливо, в кабинет завел.

- Как дела?
- Полный порядок! — говорю. — Весь город облазил, но достал.

Открыл он папку, потрогал мои документы. Слава богу, оценками не интересовался. Только улыбаться перестал. Смотрит мне в глаза с серьезным видом — вроде не понимает чего-то...

Я ему объяснил:

— Папку с Лениным просили, а эта ж лучше! Здесь Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин — полный комплект. Все в профиль, как декабристы...

Потом добавил:

- Которых повесили...

Он завязал тесемки, вернул папку:

- Поздно, молодой человек. К сожалению, прием закончен. Приходите в следующем году. ...Вот так никогда и не довелось мне клепать зубы. Обидно.

## ДВОЮРОДНЫЙ ЛЮСИК

### 1.

Двоюродного Люсика следовало убить. Это не составляло труда: он был младше меня и слабее. Ему уже минуло пять лет, пора бы понимать, какое мизерное место занимает он на земле, и не напоминать постоянно о себе писклявым голосом. Но он беспрерывно хныкал, размазывал сопли по щекам и пялился на людей заплаканным взглядом.

Мне кажется, Люсик родился в *самый нелепый день* столетия. С момента его появления на свет любой гвоздь искал пятки Люсика, каждый осколок стекла норвил черкануть его до крови, и каждая пчела точила на него свое жало.

### 2.

Возможно, у него действительно что-то болело, но смотреть в его сторону не хотелось никому. Даже его маме. Она сбагрила младенца своим родителям вместе с его ползунками и пеленками. Как говорили тогда: нежеланный ребенок — это брак от первого брака. У мамы Люсика глаза были цыганской черноты с загадочным блеском — те, которые классики именовали агатовыми. А Люсику достались отцовские буркалы — блекло-голубые, неулыбчивые. Заезжий офицер с красивой фамилией Полонский не стал дожидаться появления сына, уехал безадресно, канул в шуме предвоенных событий.

Единственным человеком, оберегавшим маленькую тень Люсика, была бабушка. Преданность ее этому существу не имела меры. Но и бабушка не могла совладать с его непрерывным нытьем. Даже во сне он канючил, капризничал, жаловался неве-

домо кому. Видимо, организм Люсика подспудно угадывал, какие злополучья ожидают его в будущем.

Вскоре я уехал из этого захолустья в другое, не менее дремучее, а то, что происходило с Люсиком далее, знаю по рассказам родных и его самого.

### 3.

Примерно через год после моего отъезда бабушка разрешила Люсику гулять во дворе. Конечно, двора при аптеке не было — но была улица. Машины, к счастью, появлялись здесь крайне редко, а от цоканья лошадей Люсик прятался за дерево.

Соседские пацаны в свои игры его не брали, но из-за деда-аптекаря разрешили присутствовать, смотреть, и это было большой уступкой. У него даже появилась дворовая кличка, обычная по тем временам, — Геббельс.

Севка, заводила, сразу спросил:

— Деньги есть?

Но по виду этого шибздика было понятно, что он совсем не сечет, о чем речь, и Севка махнул на него рукой. И все махнули. У них были свои заботы. Одни играли в чики или в пристенок, другие наловчились правой ногой по сорок раз подкидывать «ляндю». Играли в ножики, в кости, конечно, на деньги, по десять копеек. И все это было настолько необычайно и привлекательно, что Люсик не мог оторвать глаз и забывал про свои болячки.

Однажды Сева решил:

— Хватит! Играем в суд. Сейчас везде судят фрицев. А в Берлине — самых главных. Кто «за» — поднять руку. Чтоб по-честному.

Люсик тоже поднял руку. Севка его заметил:

— Ты не поднимай. Тебе не надо.

— Кого будем судить?

Все хором заорали:

— Геббельса!

Люсик обрадовался: его берут в игру.

### 4.

Прошагали до конца тихой улицы и гуськом вошли во двор Одноглаза. Он работал почтальоном и днем редко бывал дома. Одноглаза в городе сторонились: он мог принести похоронку. И вообще, черная пиратская нашлепка на левом глазу да еще черный шнурок через голову не предвещали ничего доброго. Одно хорошо: Одноглаз собак не любил — двор был спокойный.

Севка отомкнул засов сарая. Внутри держалась прохлада. Сквозь прореху в крыше врезался столб света. Где-то протяжно гудела пчела.

Люсику велели стать у стены, с поднятыми руками, а сами пацаны выстроились в ряд напротив.

Севка командовал:

— По фашистам, батарея, ого-о-о-нь!!

Долго бабахали из невидимых пистолетов и автоматов, кричали: «Падай! падай!»

Севка подвел итог:

— Это мы кончили его помощников. Теперь надо судить самого Геббельса.

В ворохе тряпья он нашел веревку. Люсик смотрел на эти приготовления и впервые — с тех пор, как бабушка разрешила ему гулять, — улыбался. Он был в центре игры. Все ребята стараются для него: вот — перекинули через балку веревку, вот —

надели ему на шею петлю — только ему! — другие ее не заслужили! Исполнители приговора ухватились за свободный конец веревки и, выкрикивая: «Взяли, взяли!», стали подтягивать Люсика вверх.

Люсик почувствовал боль в шее, попытался разжать веревку, но не получалось... не получалось... Больше ничего он не видел и не слышал...

## 5.

— Вы что это здесь!.. — гаркнул Одноглаз.

Пацанва, как мыши, бросилась в открытую дверь. А Люсик свалился наземь...

Одноглаз приволок его в аптеку. Увидев мокрую голову, прилипшую мокрую рубашку, бабушка ужаснулась: что это за новость? где ты был? я тебя спрашиваю!

Люсик плаксиво кривил рот.

— Так я на него из ведра плеснул, — успокоил Одноглаз.

— Вы в своем уме?! Ребенок простудится!.. Он имеет хвори от мелкого ветра... А это что?! — бабушка заметила на шее Люсика свежий багровый шрам.

— Макс! Макс! — истошно звала она деда.

Одноглаз пытался вклинить свои междометия.

На гвалт сбежались соседи.

— Мало нас немцы... так теперь...

Бабушка ойкала, била себя по щекам, дед принес какую-то вонючую мазь и осторожно обработал Люсику поврежденную кожу.

Потом дед ушел с Одноглазом в другую комнату, где они выпили по мензурке разбавленного спирта за благополучное спасение.

— Дети... — вздохнул дед. — Дети не лучше взрослых...

## 6.

Каждый вправе считать, что опыт приносит пользу. С Люсиком произошло обратное. Когда его били в школе, он прятал лицо и сдачи не давал. Иногда он при этом отчаянно размахивал руками: было похоже, будто учится плавать. Правда, били его только до седьмого класса: больше он в школу не ходил.

Довольно темным путем удалось его устроить в училище речного флота. И был бы речной порядок, и реки текли бы в нужном направлении, но на практических занятиях однажды спросили:

— Какие фонари на бакенах: белые или красные?

И оказалось, что Люсик не различает цвета: дальтонизм.

## 7.

В армии дальтонизм не был помехой.

Там долговязый Люсик повисал на турнике, долго думал, потом подтягивался на три сантиметра и снова висел, пока не звучала команда:

— Вернись в строй, несчастье...

Удивительно, что разобрать оружие у него получалось отменно. А собрать не мог. Его оставляли в классной комнате без обеда, но оружие не складывалось. Наконец являлся старшина. В широких ладонях старшины за считанные секунды каждая деталь плавно, без усилий входила в родовое гнездовье, будто спешила занять свое место. Оружие ставилось в «пирамиду», и Люсика отпускали в казарму. Старшина уносил в кармане новую пачку сигарет и непременно напоминал солдату: курить вредно!

Только однажды каким-то чудом Люсику удалось привести карабин в должный вид. Правда, одна железка все же оказалась лишней. Он спрятал ее в рукав и, прохаживаясь по территории, перебрался через глухой забор.

В тот же миг раздался звон стекла и протяжный поток красноречивого мата. Как говорил старшина: если не везет — триппер на родной жене прихватишь!

С другой стороны забора двое солдат несли в дом полковника огромное, окантованное бронзовой рамой зеркало. Железка Люсика не пролетела мимо. Правда, рама осталась целой.

За сокрытия оружейной детали полагался трибунал. Но полковник поостерегся, не желал засветиться своим венгерским трофеем, и Люсику повезло: с удовольствием отсидел на «губе» — жаль, всего пять дней.

## 8.

Одним из тех, кто нес зеркало, был сержант, комсорг взвода.

Встретив Люсика наедине, шепотом пообещал:

— Бить не будем. Но я тебе устрою такую службу — до конца жизни не забудешь.

И сдержал слово.

От неистовой муштры Люсик валился с ног, выглядел ходячим скелетом, в его глазах застыл туман.

Но со временем Люсик окреп. Даже осилил марш-бросок на пять километров с полной выкладкой. Правда, последний километр его несли: дышалка кончилась. Солдаты, кто держал носилки, всерьез обсуждали, где его утопить — в общем сортире или в офицерском, чтоб меньше подозрения.

Он слушал, закрыв глаза, и в мозгу копошилась единственная мысль: умереть бы до финиша...

## 8.

Вернувшись из армии, Люсик выучился настилать паркет. Это он так считал.

После его работы квартиру пришлось перекладывать заново. Паркет у Люсика получился волнистым. Выглядело симпатично, но ходить было рискованно.

А на заводе ему рост помешал. Подъемный кран, так называемый «паук», переносил бетонный блок — и слегка задел Люсика по краю черепа. Будь Люсик ростом пониже, обошлось бы. А так получил инвалидность. Временную.

## 9.

Я знаю первопричину его детского испуга перед людьми. Уверен: это я виноват.

Потому и начал рассказ словами: он был младше меня и слабее.

...В углу дедушкиной аптеки стояла бутылка, литров на двадцать, одетая в плетенку из ивовых веток. В горловине бутылки туго сидела стеклянная пробка.

Взрослые на кухне готовились ужинать. Я подозвал Люсика.

— Слушай: я сейчас открою бутылку, а ты подойди и понюхай. Только сильно надо нюхать. Покажи, как ты сделаешь. Молодец!

Пробка не поддавалась. Я с трудом, двумя руками, все-таки ее выкрутил.

— Беги сюда! Нюхай!

Люсик послушно воткнул нос в бутылку. При этом он сделал такой сильный вдох, что плечи его вздернулись.

И тут же рухнул на пол.

Я быстро закрыл бутылку и бросился в кухню:

— Там Люсик...

И вот бабушка держит его на руках и кричит:

— Макс, что это?!. Господи...

Дедушка с ходу определяет: это нашатырь...

— Макс, он не дышит! Помогите!..

Дедушка, припадая на ногу, уже спешит к аптечной стойке. Моя мама несется с кружкой воды. Бабушка мнет тельце Люсика, словно мочалку:

— Макс, быстрее, он синееет! Люсик...

Под этот крик я смываюсь из дома и пропадаю два дня.

...Прошла жизнь.

Но, вспоминая тот случай, всегда вижу синее вздутое горло... И думаю: какой же я был гаденыш!..

## БАРХОТКА

### 1.

Мама плакала навзрыд, кусала губы — и вдруг схватила мокрое полотенце, стала стегать меня. Было больно и страшно. Я вопил:

— За что?! За что?!

Но мама не слышала, продолжала клепать по чем попало.

Прибежала Настя, прикрыла меня своим широким телом. Теперь удары доставались ей.

Потом, наверное, мама устала. Сидела с опущенной головой, вытирала слезы, а Настя рядом, гладила ее по плечам:

— Не беріть до серця! Прошу вас! — А мне грозила кулаком и повторяла всегдашнюю приговорку: — Він закінче тюрмою!

Тюрьма меня не пугала. Вон дядя Стас: работает в ней — и постоянно веселый. По утрам, умываясь, мурлычет песенки, посвистывает не хуже птиц. Значит, тюрьмы бояться нечего.

Меня трясло от недоумения и обиды. По лбу стекали капли воды, повисали на кончике носа, смешивались со слезами.

Если послушный, но, по словам Насти, *кволий дитина* наказан, если его лупцуют мокрым, скрученным полотенцем — из-за пустяка, ни за что, — конечно же, он думает о смерти. Представляет себе, как лежит в гробу, а родители рыдают над ним, и все такое: колотятся головами об стенку и швыряют в костер все полотенца, какие есть в доме.

У Насти привычка: всегда клянется *святым угодником*. Не знаю, кто он, этот *угодник*, но тоже клянусь им: я не сделал ничего плохого.

### 2.

Мне захотелось иметь сапоги.

Папа не одобрил эту затею: у ребенка растут ноги, через год дорогая обувь станет мала.

Мама была согласна, что ноги у ребенка растут. Но думает она наоборот — осенью сапожки придутся в самый раз: осенью ребенок постоянно простужен. Тем более Акулыч сделает на вырост, добавит стельки — можно будет ходить два-три сезона.

— Нет, — поправил я маму, — Акулыч сказал не «ходить», а — шлёндрать.

Папа не стал спорить:

— Ладно, если Акулыч сказал...



3.

Назавтра я с мамой пошел в соседний дом.

Акулыч разогнал рукой махорчатый дымок, снял мерку с моей ноги и, посплюнув карандаш, что-то записал на отрывном календаре.

— Для нашего героя надобно хром искать. Думаю, за две недели управлюсь. Готовься!

Я спросил:

— Их надо клеить?

— Нет, парень, сапоги тачают.

— Это как?

— Будешь сапожничать — научишься.

— Буду! — заверил я, глядя на инструменты, на коробочки с мелкими гвоздями...

Акулыч называет их — *тепсики*.

4.

На следующее утро я собрался проверить, как продвигаются наши дела, но мама запретила:

— Подработки не показывают. Никому. Закончит — позовет. Он же сказал: две недели. Имей терпение.

И я терпел.

Вел себя как паинька. Выучил наизусть «Бородино». Такое длинное! Покорно выпивал стакан молока. Безропотно съедал яйца всмятку — а ведь от них кишки подступают к самому горлу.

И по несколько раз на дню задавал вопрос: уже кончились две недели?

Главным врагом стали часы. Их тонкая стрелка прыгала от одной цифры к другой, будто проверяла, на месте ли цифры. А вот толстые стрелки совсем не шевелились. Маятник качался впустую. Время застыло. Дни уныло тянулись в квартире, пока не наступала ночь.

5.

Мне снилось, что у солнца длинные ноги, а на них — мои сапожки. И стоят они в грязной луже. Я кричу: отдай, это мои, ты их испортишь! Но солнце-то без ушей, а ноги у него — тонкие, высокие...

Я рассказал Насте про сон. Она сразу определила:

— Калюжа — це на сльози...

У папы я спросил:

— Можно ли сделать, чтобы день пробежал незаметно, как ночь?

И папа сразу ответил:

— Можно. Делай то, что тебе интересно.

Я пошел в сад. Но мама позвала:

— Вернись! Там сыро.

У крыльца из мокрой земли я долго вытягивал дождевого червя. Он становился все длиннее, длиннее, выскальзывал из пальцев, не хотел наружу. Когда я принес его на кухню, Настя замахала руками:

— Ты шо, здурів?!

Я объяснил, что он не вредный. И добавил:

— Папа сказал: делай, что тебе интересно.

— Ось і віднеси своєму татові.

6.

Дни плелись, как волы, — в кино таких видел. Дождь не выпускал меня во двор. А взрослые не разрешали за калитку. Собаку не обещали. Гостей давно не было. А про две недели и вспоминать нечего — наверное, они заблудились в лесу...

Неожиданно мама обрадовала:

— Сегодня пойдем к соседу.

Я запрыгал, готов был перелезть через забор, но мама строгим голосом одернула мою попытку: «Веди себя прилично».

Я знал: сапожки будут отличные. Как у папы. Еще бы! Ведь их мастерит тот же Акулыч.

7.

Мама вошла первая, а я замер на пороге. Увидел — не поверил глазам. Забыл, что надо дышать.

...Они стояли на тумбочке: гладкие, блестящие, будто сделанные из темного стекла. Казалось, такое невозможно слепить руками. Да как в такой красотище *шлёндрать* по пыльной улице — и даже по росе?!

Мама сказала:

— Смотри: подошва — бежевая, загляденье...

Акулыч постучал по ней согнутым пальцем:

— Подошва в спирту мочёна.

Он впихнул в носик каждого сапожка по клочку светло-серого войлока.

— Ну-ка примерь.

Внутри голенищ были приделаны по две широкие петельки.

— Это, братец, чтоб натягивать легко. Берешь пальцами...

8.

Мы возвратились домой. Я — в матроске, коротких штанишках и сапогах. Настя, увидев, всплеснула руками:

— Клопик ты мій гарнесенький!..

Прижала к себе. Как мил, уютен мне ее запах...

Потом строго посмотрела со стороны и грозно сказала:

— За нашого парубка в базарный день дадуть добру ціну. Продамо?

Мама улыбается. Мама ей все прощает. Говорит, что Настя меня выкормила.

9.

В нашей передней, недалеко от вешалки, стоял коричневый шкафчик: в нем держали обувь. Рядом с папиными сапогами мои выглядели лилипутами. А ведь мне уже минуло шесть лет и несколько месяцев!

Зато мои сапожки блестили лучше всех. В них можно смотреться, как в зеркало. Только ждать им здесь придется до самой осени. Мама свое слово не меняет.

Еще в шкафчике есть особая полка: там разложены в привычном порядке круглая коробочка гуталина, разные щетки и папина бархотка. Папа ею наводит на своих сапогах блеск. Жаль, что она совсем потертая.

Понятно, для новых сапожек подходит только новая бархотка. И приготовить ее надо заранее. До осени еще далеко, и сапожки обязательно покроются пылью. Но ведь мама требует чистоты...

Я взял большие ножницы и уселся в шкафу, где висели мамины вещи. Сначала было трудно: внизу материал был сложен вдвое и ножницы лишь давили его, но не резали. Я старался изо всех сил, пальцы не слушались, одеревенели. Наконец пошло легче, и я вырезал нужную полоску. Бархотка вышла — чудо! Волоски на ней были короткие, мягкие, точно на заказ.

## 10.

Я хотел положить ее в шкафчик — и как раз проходил мимо кухни, когда мама окликнула:

— Что это у тебя?

— Бархотка для моих сапог. Сам сделал.

— Покажи.

Я ожидал, что она похвалит. Мама осторожно провела по бархотке рукой. Задумалась. И бросилась в спальню...

Настя подняла бархотку, подула на ворсинки:

— Дивна річ! От це майстер!..

И вдруг — как сейчас слышу — мамин вопль:

— Котик!! мой котик!!.

А я не мог взять в толк: при чем тут какой-то кот?

...Потом было мокрое, хлесткое полотенце... Настя гладила, утешала маму... На полу валялась мамина шуба...

А я всхлипывал, задыхался — не от боли, от обиды — и повторял, повторял прерывисто:

— Ма-а, никто не увидит!.. никто не увидит... Это же ведь сзади, никто не увидит!..

## ДВЕРЬ

### 1.

С Невского, в солнечный день, Спас на Крови виден двояким. Один — явь и твердь, в позолоте и завитушках, сплошь византийское великолепие. Другой — опрокинутый в воде канала, и купол колокольни желтым огоньком плывет, не уплывая, в медленном течении.

Не вспомнить точно, когда это было. Да и какая разница? В любом случае — было давно.

### 2.

...Помню: по каналу Грибоедова двигаются острова льдинок, щербатые от копоты и тепла. В прогибах чугунной ограды по-кошачьи дремлют снежные холмики.

Спас на Крови светит в небе звонницей. К боковому крыльцу собора через колючую проволоку ведет тропка. Она упирается в дубовую дверь, закрытую наглухо.

Вблизи видно: дверь испещрена надписями. От верха до нижней кромки, вкривь и вкось. Строчки теснятся, рискуя стать непонятными, слова наползают друг на дружку, сплетаются закорючками, словно чтоб удержаться на этой двери.

«Господи, прости, все равно удавлюсь...»

«Мамонька, родная, чего покинула...»

«Боже, награди Леньку сифилисом...»

«Мить, клянусь, я тебя кончу. Иван».

«Ванька, харил я твое шобло. Митя».

Писано чернильным карандашом или краской. Накарябано гвоздем, осколком стекла или финкой — и как можно глубже:

«Прощай, сынок, живи долго. Мне 30 лет. Клава П.».

«Нехай он печень пропьет, не зарплату».

«Кто там есть, молись за меня, грешного. Саня».

Надписи выискивают крохотный пяточок, узкую полоску, чтоб примоститься на деревянной странице. Так оставляют младенца на господском крыльце — там приютят.

## ГОСТЬ

### 1.

Тетя Варя работала уборщицей в небольшой кофейне и была очень этим довольна. Всего шесть столиков — по правде говоря, не утомишься: посуду собрала, протерла насухо столик, то да се, а время течет.

Работа, конечно, главный прибыток, но то, что остается на блюде, тоже навар: бисквит или надкусанный пирожок, пара леденцов или даже нетронутая долька плавленого сырка в серебряной упаковке. И все это добро тихонько оседает в глубоким кармане передника с оборочками.

Тетя Варя придерживалась заповеди: выбрасывать еду — великий грех. Но есть такие, у кого память куца, забыли про блокаду. Люди силу тратят, чтоб пища в доме держалась, да и воробышку надо бросить, и кошке...

### 2.

Кафешка называлась «У Петра», по имени хозяина. Тому лет тридцать с хвостиком. Бритоголов, скрывает обильную лысину, но по росту и размаху плеч ему в пору хоккей гонять, а не дежурить возле кремовых булочек. Тем не менее он самолично стоял на раздаче, с клиентами был почтителен, даже приветлив. Неизвестно, кто его этому обучил — может, в загранке узнал правильное обслуживание.

Своих родичей Петр чурался, считал их непробудным жлобьем. Тете Варе он доводился внучатым племянником, и отношение к ней у него было особое, но не из-за родства. По молодости случилось у него несколько приводов в милицию. А тетя Варя, бездетная и вдовая, по собственному почину определила его в ремеслуху: она там заведовала культмассовым сектором. Заодно втянула в самодеятельность — на балалайке бренчать. И вообще держала на нем зрачок, чтоб компания была не из отпетых. Благодаря этому надзору Петр без приключений окончил на фрезеровщика, отслужил во флоте, отработал по вербовке на Севере.

Вернулся в Питер — тетя Варя уже пенсионерилась. При той пенсии бывали дни, когда только соль в доме имелась: крупная, сероватая. А Петр привез ей в подарок копченую рыбину, килограмма на три, консервы с иностранными наклейками и пышную меховую шапку — все ей одной, остальным же — тяжелый кукиш.

3.

Северные сбережения он вовремя вложил в полуподвальное помещение: четыре ступени вниз и сводчатый каменный потолок. От штукатурки до электрики все самолично привел в порядок. На стены пришпандорил деревянный якорь, виды парусников. Тете Варя платил больше, чем сменщице. А возле дальней стенки поставил особый стул для нее, чтоб могла отдыхать в свободные минуты. Это было крайне важно, поскольку топалки варикозные у нее отяжелели, да и года...

Каждое воскресенье шла она в церковь и молилась за Петю, своего благодетеля.

4.

В то утро, о котором речь, посетителей было немного.

Но тетя Варя не огорчилась: такое случается. Тем более не огорчилась она, потому что в кармане у нее уже успел приютиться «Мишка на севере». Обычно клиенты оставляют леденцы, помадку, но «Мишка на севере» — редкостный подарок.

Живут же люди, жируют...

5.

Длинноволосый парень с рюкзаком на плече не выглядел работягой, хотя под мышкой держал связку свежеструганых метровых досок. Он расположился в дальнем углу, вблизи личного стула тети Вари. Доски положил вдоль стенки, рюкзак поставил на стол, а сам, выжидая, то и дело посматривал на стойку.

Тетя Варя несколько раз глянула в его сторону. Наконец не выдержала:

— Уважать надо святость стола.

Казалось, парень не понял.

А тетя Варя продолжила:

— Там, где едят, пожитки не ставят.

— Извините...

Парень поставил рюкзак на пол. Спросил:

— У вас есть черный кофе?

— У нас самообслуживание. Там получишь.

Парень пошел к Петру. А рюкзак, бесхозный, остался возле ножки стола.

«Нездешний, — мысленно осудила тетя Варя. — Наш человек разве так оставит!..»

Она села на свое место, чтобы поклажа парня была на виду: мало ли что... шустрых много...

6.

Парень вернулся с чашкой кофе, на блюде сушки с крапинами мака. Светло-рыжеватые волосы парня касались плеч. Чтоб не мешали пить, он заправил пряди за уши. Мелкими глотками попробовал питье, помедлил и одобрительно кивнул головой.

— Ты откуда приехал?

— Из Израиля.

— О-о... Святая земля! — тетя Варя перекрестилась.

— Да, — он открыто улыбнулся всем лицом, — хорошая земля. Я там родился.

— А я — Варвара Алексеевна. Передай Иерусалиму от меня... — и согнулась в глубоком поклоне. — Передашь?

— Обязательно!..

— А доски зачем?

— Надо починить дверь в храме.

— Подрабатываешь у нас?

Он улыбнулся:

— Нет, меня попросили.

— А-а, благое дело.

Тетя Варя знала вкус тех каменных сушек, которые пытался грызть парень, и ее рука непроизвольно опустилась в карман, вынула конфету в обертке.

— На, попробуй».

Он принял просто, без стеснения:

— Благодарю! — и, откусив, добавил: — Хорошо!

## 7.

Ей стало приятно, что приезжий с удовольствием лакомится ее гостинцем. Наверное, у них там, в Израиле, есть что-то сладкое, хотя и не такое, конечно, как «Мишка», вот парень, может, и вспомнит потом питерскую старушку. Она даже почувствовала некое волнение: будто, разговаривая с этим гостем, чуточку прикоснулась к тем святым местам, заветным...

Ей показалось, что лицо его очень знакомо. Где она могла его видеть?

— Ты артист?

Он улыбнулся:

— Нет. Я плотник.

— Как тебя зовут?

— Иешуа.

— Как-как?..

Он повторил:

— Иешуа...

## 8.

«Странное имя, — смутилась про себя тетя Варя, — но лицо так знакомо...» А вслух спросила:

— Кто же тебя научил русскому?

— Я многие языки знаю, — парень пригубил кофе.

Он говорил, не затрудняясь, только изредка растягивал слова.

А тетя Варя между тем все старалась припомнить, где она его видела.

— А как твою маму-то зовут?

— Маму? Мирьям. По-вашему — Мария.

— Мария?!..

— Да. И сестру ее тоже зовут Мария.

Тетя Варя всматривалась в него, уверенная, что никогда прежде не встречала, не могла встретить, но до чего знакомым казалось лицо... Святая земля... Плотник... Имя странное... Кажется, так звали... не может быть... Мать Мария... Господи!..

— А где ты живешь?

Он охотно ответил:

— В Назарете.

Тетя Варя качнулась и, запрокинув голову, стала клониться набок.

Парень успел подхватить ее.

— Что с вами? что? Помогите!! — крикнул во всю мощь.



**9.**

Петр нырнул под прилавок — и вмиг оказался рядом. Он оттеснил парня, охватил тетю за спину, а другой ладонью поплескал ее по щекам.

— Воды!

Парень бегом принес кружку. Петр набирал полный рот и с силой побрызгал в запрокинутое лицо. Наконец она открыла глаза, шепотом опознала: «Петя...» — и снова прикрыла бессильные веки. Петр передником вытер ее дряблое обличье. Глянул на парня:

— Что случилось-то?

— Не знаю. Я ответил ей, где живу, — она начала падать.

Петр заставил тетку выпить сладкого чая, и стало заметно, что она оклемалась: вернулись румянец и светлый взгляд.

Парень собрался было рассчитаться за кофе, но Петр твердо остановил:

— Спрячь свои мани. Это я тебе должен. Иди.

Парень забросил рюкзак за спину:

— Будьте здоровы, Варвара Алексеевна!..

И вышел в утренний свет.

**10.**

...Тетя Варя недоумевала: только что она слышала пожелание здоровья — и вдруг парень исчез. Ведь хотела что-то спросить его, очень важное, но не могла вспомнить, что именно. И это желание услышать его ответ волновало ее.

Ватными ногами она одолела четыре ступени и выглянула на улицу. В обе стороны никого не было видно. Никого!

Но на обратном пути она заметила у стенки связку забытых досок. Присела на стул и улыбнулась: он вернется.

ДАНИИЛ

I

Даниил, мой брат Заточник,  
Я, как ты, заточена.  
Книжник ты и полуночник,  
Обручила нас луна,  
И от солнца отлучила,  
И затеплила свечу...  
Тень, прильнувшая к плечу,  
Ночь и вечность совместила  
И продлила голос мой  
Эхом в бездну временную.  
Тем и смерть свою миную,  
Что не сделаюсь немой.

II

Во всю силу ума вострубим —  
Заточен — значит Богом любим,  
Сир, калечен... тем паче вдвойне.  
Будто чувство шестое во мне,  
Возгораются память и слух,  
Ибо нас оживляющий Дух  
Видно — истинно свят и един —  
Наших мыслей и чувств господин.

III

Княжий «милостник» Даниил  
Князю, коего прогневил,  
Излагает свои печали,  
Ибо лихо ему в опале.  
За судьбу свою он в тревоге,  
Ако дерево при дороге.  
Не остаться ему пригожим,  
Беззащитным перед прохожим.  
Всё по ветке — в костер да в печку,  
Так спялят его, будто свечку.

---

Галина Сергеевна Гампер родилась в г. Павловске. Окончила ЛГУ им. А. А. Жданова. Автор поэтических сборников: «Крыши» (1965), «Точка касания» (1968), «Крыло» (1971), «Заклинание» (1983), «На исходе лета» (1987), «Созвучие» (1991), «И в новом свете дождь, и в старом свете» (1998), «Что из того, что лестница крута» (2003), «Дух сам себе отчизна» (1996, романизированная биография Байрона), переводы с английского Перси Б. Шелли, Йетса, Бёрнса, Дж. Китса, современных английских и американских поэтов. Награды: премия «Лучшая публикация журнала "Смена"» (1963), премия Санкт-Петербургского ПЕН-клуба в номинации «Поэзия» (1998), звание «Женщина года» (2002, Оксфорд, Великобритания), премия им. А. Ахматовой Литературного фестиваля Санкт-Петербурга (2004); член Союза писателей Ленинграда/Санкт-Петербурга, руководитель поэтического отдела по работе с молодыми поэтами, член мемориала «Знак искупления» (Санкт-Петербургского отделения), член ПЕН-клуба (Санкт-Петербург).

IV

**МОЛЕНИЕ ДАНИИЛА ЗАТОЧНИКА, НАПИСАННОЕ ИМ  
СВОЕМУ КНЯЗЮ ЯРОСЛАВУ ВЛАДИМИРОВИЧУ**

Об оковах сердца моего  
Расскажу с таким ожесточеньем,  
Будто разобью их сим реченьем,  
Как о камень горя моего.

Княже, я как чахлая трава  
Под стеною — ни тепла, ни света,  
Черств мой хлеб, и тело не одето,  
Набухают горечью слова.

Каплями дождя, как тьмою стрел,  
До сердца пронзен, и нет приюта.  
Пусть здесь Боголюбово кому-то,  
Мне же горя лютого предел.

Кто-то Белым озеро нарек,  
Для меня ж оно смолы чернее.  
Как я ночью, княже, коченею,  
Если б только ты почуять мог.

Пригоршнями соль никто не ест.  
Княже, кто благоразумен в горе?  
Кому Новый Город на угоре,  
Мне же смерть средь этих чуждых мест.

Ибо дома, как Адам в раю,  
Я бы не восплакался, рыдая,  
Только здесь, как изгнанный из рая,  
Я к тебе, о княже, вопию.

Те, кому распахивал я дверь,  
С кем тянул в одну солонку руку,  
Те меня и предали на муку,  
Помни, княже, и друзьям не верь.

Кто богат — и на чужбине чтим,  
Бедному — и дома нет почтения,  
Хоть и впрямь его взрастило чтение,  
Мед познания в книгах собран им.

Княже, мя от нищеты избавь,  
Выпусти овцу из львиной пасти,  
Олененка — из когтей напасти,  
Птицей в поднебесье, рыбой в плывь.

Моего убожества земля  
Жаждет, о великий княже, тучи,  
Мои ветви горькие плакучи,  
Беззащитны тощие поля.

Груз мой, княже, тяжек для двоих —  
Без зари, надеждой позлащенной,  
Ибо жалок я, не защищенный  
Страхом гнева грозных уст твоих.

Соломон премудрый неспроста  
Не желал ни нищеты, ни злата,  
Ибо роскошь гордостью чревата  
Так же, как разбоем нищета.

Хоть снаружи я и непригож,  
Но богат умом и зорек глазом.  
В голову безумца сеять разум,  
Аки на меже посеять рожь.

Глупых ведь не сеют и не жнут,  
Сами вырастают, как осока.  
Даже в спорах умных больше прока,  
Чем в советах, что глупцы дают.

Что я глуп, не говори, пока  
Не увидишь неба из холстины,  
Не увидишь солнца из лучины,  
Мудрости в поступках дурака.

Право, княже, нет на том греха,  
Кто дурным советом ввергнут в горе,  
Ибо ветры топят челн, — не море,  
В кузне раздувают жар меха.

Храму крест — глава, а муж — жене,  
Так апостол Павел поучает.  
Добротою дом свой увенчает,  
Злобой — дверь откроет сатане.

Вот что значит мужняя жена —  
Добротой спасет, а злом источит,  
В грех тебя введет и опорочит,  
На пути к спасению — стена.

Что лютее меж зверей, чем лев,  
Чем змея среди ползучих гадов?  
Только злой жены характер адов,  
Ее ядом напоенный гнев.

Изгнан был из-за жены Адам,  
Ввергли в ров пророка Даниила,  
Но Господня власть его хранила,  
Львы ему лизали ноги там.

Я на крыльях мысли воспарил.  
Молод я, а мысль моя созрела.  
Многословьем утомлять не дело,  
Ибо скучен, стало быть, не мил.

.....  
Тьма... Да есть ли у тьмы края?  
Низок черный беззвездный свод.  
Как смоковница, проклят я,  
Мне не дан покаянья плод.  
Слово к слову, за часом час...  
Пленный инок, холоп, пиит...  
Сердце, будто лицо без глаз,  
Ум, как ворон ночной, не спит  
На вершинах ночных деревьев.  
Щеку юную подперев,  
Слепо смотрит мой брат во тьму,  
Беззащитен, — спаси, убей...  
И невидимая ему,  
Я тяну эту цепь скорбей.

---

---

Виталий ЩИГЕЛЬСКИЙ

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

рассказы

## ПЕРЕДАЧА ПРАВИЛ БОРЬБЫ

Сорок лет подряд, пять дней в неделю в шесть часов сорок пять минут по московскому времени он выходил из пахнувшей прелой обувью и одеждой раздевалки в полутемный каземат токарного цеха и, гулко ступая по маслянистым каменным плитам, направлялся к своему «Магдебургу». Его имя было Николай, а «Магдебургом» назывался токарный станок.

Цех был заложен в начале двадцатого века, а во времена индустриализации вокруг него был обустроен высокий забор. Своими арками, выложенными из обожженного красного кирпича, и массивной, скользящей по всей длине цеха кран-балкой здание в пассивном нерабочем режиме походило на оставленный без присмотра костел.

«Магдебург» отлили в Германии еще в догитлеровскую эпоху на том самом заводе, который впоследствии стал выпускать двигатели для «мессершмиттов». Наверное, поэтому «Магдебург» чем-то напоминал небольшой самолет.

Николай родился в тридцать четвертом. Его мать была из Ярославля, а отец – коренной петербуржец, но его почему-то принимали за обрусевшего немца. Впрочем, Николай и сам считал себя немцем, но не столько за голубые глаза и светло-русые волосы, сколько за пунктуальность и точность, благоприобретенную от ежедневного соприкосновения с «Магдебургом».

С шести сорока пяти до семи ноль-ноль Николай внимательно осматривал «Магдебург», проверял смазку и затяжку узлов, протирал его масляной тряпкой и обметал сметкой. От хорошего обращения «Магдебург» казался породистой и благородней не только своих минских сверстников, но и молодых коллег с ЧПУ. И, что важнее для дела, обеспечивал большую точность размера и скорость работы.

В семь ноль одну Николай зажимал в патроне тусклый стальной цилиндр, доставал из деревянного пенала резец с отточенной до невидимости режущей стороной и подавал «Магдебургу» ток.

---

Виталий Владимирович Щигельский родился в 1967 году в Ленинграде. Учился в Ленинградском Электротехническом институте. Прозаик, эссеист. Печатался в электронных СМИ, журналах «Сибирские огни», «Эдита-клуб» (Германия), еженедельнике «Обзор» (США), «Час пик» (Санкт-Петербург); «Королевская панорама», «Одинцово-Инфо» и др.. В 2010 году в издательстве «Edita gelzen» (Германия) был опубликован роман «Наночеловек». Живет в Санкт Петербурге. В журнале «Нева» печатается впервые.

НЕВА 11'2011

Все последующие четыреста восемьдесят минут Николай и «Магдебург» создавали совершенную форму и полезные свойства, олицетворяя тупые и холодные железные чушки. Здесь живое и неживое соединялось в одно, и рождалось нечто особенное...

Извлеченная из патрона, освобожденная от фиолетовой стружки, законченная деталь ярко блестела и была теплой на ощупь. С этой минуты она не только занимала свое место в огромном сложном мире людей и машин, но как бы оживала, как бы обретала душу.

Обычно Николай не пользовался чертежами и измерительными приборами, ему достаточно было взять в руки болванку, чтобы понять, какой в итоге должна быть деталь с точностью до микрона. А той точности, которую выдавал «Магдебург», не могли обеспечить даже японские чепэушки. Потому Николай и «Магдебург» справедливо ощущали себя демиургами неорганической части природы, именуемой металлургией.

Их многочисленные создания находили себе место в узлах кораблей и самолетов, экскаваторов и вездеходов, стратегических ракет и стиральных машин. Их втулки, червяки, оси и валы принимали прямое и опосредованное участие в управлении динамическими силами мира. А болты и струбцины управляли силами статики, прочно и надежно закрепляя элементы реальности на приписываемых ей наукой местах. То есть, благодаря усилиям Николая и «Магдебурга», мир живой и мир технический снабжались той необходимой оснасткой, которая сдерживала осознанное и неосознанное тяготенье миров к распаду и хаосу. Эту мысль стоит запомнить — это самая важная мысль в настоящем рассказе.

За большим мутным стеклом то шел дождь, то падал снег, то светило солнце, то случалась засуха, то стойкие морозы до самого Дня Победы. Но здесь, в цеху, год за годом все шло одинаково: брака не было и выполнялась норма. Непоколебимое взаимодействие Николая и «Магдебурга» притягивало к токарю и станку других людей, как праздных, так и заинтересованных.

Когда Николай был молод, рядом с ним стоял седой мастер со штангенциркулем в нагрудном кармане. Мастер был так сильно надушен одеколоном, что запах часто шел прямо из его внутренностей. Мастер недоверчиво глядел то на деталь, то в чертеж и старательно вымерял дрожащей линейкой микроны, которые Николай чувствовал на ощупь.

Иногда в спину Николая впивался цепкий взгляд инородного тела — тела штатного особиста. Этот непримечательный человек средних лет обычно следил за работой из душевой и никогда не приближался к «Магдебургу» ближе, чем на три метра.

Было время, рядом со станком дежурил солдатик с висящим за плечом автоматом.

В периоды осеннего и весеннего обострения к токарю приходили советоваться бородатые инженеры. Они показывали Николаю эскизы диковинных механизмов и приспособлений и спрашивали, способны ли те работать на самом деле. Они уважали Николая, а «Магдебург» считали тотемом.

Раз в квартал наезжали упитанные плановики и снабженцы в галстуках, с манерными, пустыми на вид портфелями. Вид у них был плутоватый, а сардельки пальчиков дрожали от ночных переговоров в парной.

В кануны народных праздников чужеродных тел на токарном участке становилось больше: появлялись группки, иногда даже целые группы важных мордатых мужчин с неразвитыми конечностями. Николай с трудом представлял себе этих людей работающими на станках, он вообще сомневался в их созидательной мощности. Он не доверял им и поглядывал за ними краем глаза, словно музейный смотритель.



тель, выпасающий группу недоразвитых школяров, приведенных на обязательную экскурсию. Мордастые, как считалось, были большими начальниками — замами и завами, первыми, вторыми и третьими секретарями райкомов партии и комсомола. И хотя на их крупных, мясистых, цвета сырой говядины лицах был отпечатан штамп патернализма, своим присутствием они приносили в цеховое пространство нездоровую деструктивную суету. Суета Николаю не нравилась, он уважал производственное однообразие: оно располагало к сосредоточенности и работе.

Смена сменялась сменой, месяц — месяцем, пятилетка шла за три года. Николай считал время материалом расходным и вспомогательным процессу воспроизводства, как, например, ветошь для протирки деталей или машинное масло. Но, как оказалось, он ошибался. Время было задумано куда сложнее и имело свою собственную траекторию. Оно, будто тектонический пласт, ползло незаметно, но неуклонно и на своем пути разъедало не только задумки природы, но и деяния человеческих рук. Тихо и незаметно, чтобы однажды буквально взорваться, соприкоснувшись с некой точкой излома. Этой точкой оказалась смена форм собственности.

Однажды по цеху ударной волной пробежал странный слух, что теперь весь завод и все, что находится на его территории, включая Николая и «Магдебург», перешло из области промышленности страны в чьи-то частные руки. Первый удар приняли на себя стены. Они не обрушились, но покрылись морщинами трещин, не слишком глубоких, так как сложены были на совесть. Рикошетом досталось и крыше. И теперь, когда в природе шел дождь, с высоких потолков цеха текла вода и падала раскисшая штукатурка, а зимой над головой Николая собирались сталактиты сосулек, по полу змеились сквозняки. Таковы были последствия ударной волны.

Затем в дело включился второй поражающий фактор — как догадался Николай — радиационный, под воздействием которого изменилось поведение людей, окружающих его.

Его сверстники куда-то исчезли, на их места пришли люди с согбенными спинами и нетвердой походкой. Их глаза зажигались не страстью работы, а стеклоочистителем, принятым внутрь. Эти люди не могли обуздать и приручить могучие механические машины. Долго они здесь не задержатся, подумал Николай, и вскоре мысли его подтвердились.

Вечно пьяных и бесполезных в работе русских заменили трезвые и бесполезные в работе таджики. Смуглые и худые, они целыми днями подметали и мыли полы, и толкали взад-вперед тележки со стружкой. На станки они посматривали со страхом и недоверием. Что заставило их покинуть свои жилища и приехать в чужие края? Вероятно, другие кочевники, еще более дикие.

В разрушающемся мире источалось и размалывалось все и вся, кроме мордатых людей с лицами цвета сырой говядины. Эти, наоборот, интенсивно набирали вес. Чем беднее становилось вокруг них, тем богаче они выглядели. Темно-синие партийные костюмы и «Волги» они поменяли на «бэхи» и тренировочные штаны, а затем на шелковые цирковые пиджаки и блестящие бронированные джипы. Подходить к станкам они по-прежнему не смели, но вели себя так, будто бы они и есть настоящие хозяева и цеха, и станков, и Николая. Своим присутствием они искажали суть и смысл человеческого труда и провоцировали Николая на остановку производства. Обычно они появлялись в цеху бесшумно, как стая шакалов, и, взяв токаря и его станок в живое кольцо, угрюмо молчали. Они выбирали момент для атаки, но так и не напали — не смогли найти в себе смелости.

Николай и «Магдебург» на них не оглядывались и на провокацию не поддавались. Николай и «Магдебург» продолжали взаимодействие. Они латали дыры, то и дело образующиеся в малопонятном процессе перехода собственности. Это уже была

не работа, это была борьба, классовая борьба в окружении, которую в одиночку вели Николай и «Магдебург»... К сожалению, в этой неравной борьбе время выступало не на их стороне.

Николай и «Магдебург» стали ощущать перемены в себе. Как и перемены внешние, те подкрадывались незаметно, копились разрушительными силами в бесполезных для труда глубинах тела и, достигнув критической массы, превращались в диагноз. Так однажды выморгав из глаза стружку, Николай заметил, что за расстоянием вытянутой руки мелкие предметы куда-то пропали, оставив взамен себя размытые очертания. Впрочем, Николай не углядел трагедии в этой метаморфозе, напротив: исчезающая из поля зрения среда меньше отвлекала от основного занятия. В большей степени тревожило его то, что к восьмому часу смены все труднее становилось удерживать спину прямой — не хватало хрящевой смазки и позвонки поисточились взаимным трением.

И сердце, что-то сердце в последнее время тревожилось тоже. Главный маховик в левой части груди все чаще замирал, будто путник на перепутье. В эти мгновенья Николаю казалось, что лампы дневного света в цеху загораются ярче и, отрываясь от мест установки, уходят в свободный полет, оставляя за собой ломкие огненные траектории. Окружающий воздух разогревался, и, словно в перетопленной парной, кислород выжигался в углекислоту еще до попадания в легкие. Николай дышал глубоко и часто, покрываясь испариной, но дыхательный цикл шел вхолостую.

Когда это случилось в первый раз, Николая обуяла паника, ноги предательски подкосились, он опустился на маслянистый каменный пол рядом с работающим станком и, протянув руки к потолку, стал звать на помощь. Сам он не слышал своего голоса, но вскоре вокруг него собрались люди. Эти люди тоже почему-то выглядели напуганными. Они кричали, матерились и дышали, по сути, вместо него его, Николая, воздухом. К счастью, вскоре маховик качнулся и заработал прерывисто и неровно, продираясь через тупую мглу боли. Николаю пришло в голову, что в организме включился какой-то защитный ресурс типа автономного аварийного генератора, работающего на честном слове.

В этот день Николаю оказали почет — его отвезли домой на служебной машине начальника цеха. А на следующий — к нему пожаловал гость.

Это был участковый доктор. Доктор поводил по его бледной груди стетоскопом, постучал пальцами по сухим крепким ребрам, оттянул веки, заглядывая за шарики глаз, вздохнул и без интереса посмотрел в окно. Затем выписал закорючистым почерком пару рецептов и попросил пятьсот рублей за прием. Бережно застегивая портмоне, он предложил Николаю взять расчет и уехать на дачный участок разводить помидоры.

Николай не любил помидоры, потому примерно через месяц они встретились снова. И вскоре еще раз. Можно сказать, их встречи стали носить регулярный характер. Доктор с завидным упорством повторял одно и то же: уколы, покой, отдых, таблетки, уколы. Доктор, что называется, брал Николая измором. Николай отмалчивался. Для него, как для человека технического склада ума, было ясно, что автономные аварийные генераторы не способны работать долго. Когда ты работаешь увлеченно, то редко думаешь о постороннем, а о смерти, как о закономерном конце всего, не думаешь вовсе. Иначе ты просто не сможешь работать. То есть, когда ты работаешь, ты оказываешься психологически защищенным процессом работы.

Но однажды он не успел уйти на спасительную работу, его скрутило с самого утра, прямо в кровати. Это был будний день. Николай лежал на спине под тяжелым простроченным одеялом, и поверх одеяла лежали его непослушные руки. А напротив него с видом победителя сидел его врач.

Николай перевернулся на бок и укрылся от доктора носом в подушку, пряча показавшиеся по щекам слезы. Горькие слезы печали, разъедавшие бязевую наволочку до зашитого в ней куриного пуха.

Николай жалел не себя, он чувствовал шире и глубже. Николай осознавал невосполнимость собственного ухода, он не оставлял после себя равноценной замены, замещая себя пустотой. Он предчувствовал, что, когда остановится его внутренний цикл, цикл внешний остановится тоже. Разорвется непрерывная технологическая цепочка. На зоологическом уровне она носит название пищевой. И когда это произойдет, вслед за ним исчезнет его верный станок «Магдебург»: будет распилен на части и вывезен под брезентом на пункт сдачи металлолома темной дождливой ночью. А за ним исчезнут другие станки и оставшиеся рабочие-токари. После них — рабочие-фрезеровщики.

И эстафета побежит по цепочке. Люди, лишённые специальностей и средств производства, поделятся на две группы: на охранников и воров, а затем на попрошаек и безработных. Но и это будет еще не все. После дойдет очередь и до мордастых, хорошо приспособленных к результатам чужой работы господ из черных блестящих джипов. Они тупо перестреляют друг друга за оставшийся бак бензина, за чудом уцелевший карданный вал. А последний из них, самый мордастый, прежде чем умереть от голода и жажды, стоя посередине пустой Красной площади и прижимая к груди ядерный чемоданчик, сойдет с ума от ощущения мирового господства...

Вот каким представлялся Николаю мир после него. Это был не единственный путь эволюции, но самый что ни на есть вероятный при складывающихся условиях. Что же мог неработающий технологический элемент Николай противопоставить целой системе, пусть распадающейся и гниющей? Да, пожалуй, немного. Но все же.

— Доктор, — тихо сказал он, приподнимаясь на локте, — у вас есть сыновья?

— Двое, — ответил тот, в свою очередь прикрывая ладонью глаза. — Неужели у нас нет будущего?

— Приводите их завтра в цех рано утром. Я передам им «Магдебург» и научу всему, что умею сам. Они должны справиться. Если, конечно, поймут, зачем нужно быть токарем.

## БУХГАЛТЕР И КАТЕРИНА

Когда Катерина поняла, что влюбилась? Готовилась ли она к этому важному событию заранее? Просчитывала ли существующие варианты? Предчувствовала ли такую возможность еще вчера?

Не знаю, что вам ответить, господа философы, социологи, психоаналитики и другие любители покопаться в чужой голове. Если бы Катерина предполагала, что вы существуете, она бы наверняка вас пожалела, как жалела птенцов, выпавших из гнезда, как жалела мокрых слепых котят, ибо, выглядывая ранним майским утром в окно, она уже была влюблена.

Теплые, чуть пыльные лучи солнца так и стремились растворить в себе Катерину, ощущая под ее кожей пульсирующий источник — светящийся островок их далекой родины. Катерина потянулась и на миг закрыла глаза — этого хватило, чтобы свет снаружи встретился со светом внутри, и неразгаданная физиками и лириками главная реакция жизни началась.

Мир стал ярче, глубже, загадочнее, и теперь трех измерений для его описания не хватало. Оказалось, что и бег ветра по молодым листьям, и нестройное щебетание

птиц — все несет в себе определенный смысл. Катерина стояла неподвижно, наблюдая за миром сквозь сомкнутые ресницы, она знала: резкое движение может спугнуть очарование. Давно знакомое, но почти забытое чувство, щекоча и поглаживая Катерину, разгорелось, разлилось по ее телу и настойчиво просилось наружу. Его стало много больше, чем может выдержать в себе человек. Катерина испытала потребность срочно поделиться им с кем-нибудь.

Инстинкт самосохранения? Инстинкт продолжения рода? Страх перед небытием? Ни то, ни другое, ни третье. Инстинкт сохранения мира — вот что это было такое.

Катерина попыталась пробудить спящего мужа, но тот, не выпадая из грез, неуклюже дернул ногой и спрятал красный ноздрястый нос между подушек. Тогда она направилась в соседнюю комнату хотя бы погладить по голове сына. Но дверь на его половину была закрыта. Катерине каждый раз приходилось вспоминать, что сын уже несколько месяцев живет самостоятельной взрослой жизнью с подругой, репетируя зачатие внука.

Тогда Катерина занялась поиском полезных домашних вещей, нуждающихся в ее ласковых прикосновениях, но таковых найти не смогла: вся посуда была тщательно вымыта, а белье выглажено еще с вечера. Пространство квартиры не содержало предметов, готовых принять или разделить новое чувство Катерины.

До выхода на работу оставалось еще достаточно времени, поэтому она уселась перед зеркалом, открыла ларчик с косметикой и стала рисовать себя, чтобы с помощью теней, туши, помады и крема вывести внутреннее состояние наружу. Это было не сложно, ведь Катерина знала, чего хотела, и лишние вещи не мешали ей. Она не подкладывала вставки в бюстгальтер, не носила брюшной массажер, да и жир никогда не откачивала. Как и все, она подвергалась эрозии времени, но в отличие от многих мало ела и много двигалась, и, что самое главное, не было места алчности в ее душе.

Женщины, которые думают так же, как Катерина, пока еще есть, только их стало почти незаметно. Впрочем, не будем усложнять. Скажем только, что в тот день выглядела она замечательно.

\* \* \*

Бухгалтер, напротив, с самого раннего утра был атакован внезапным приступом иррационального беспокойства. Временами ему казалось, что кто-то или что-то пытается завладеть частью его существа. В поисках причин и следствий он дважды обошел приватизированную жилплощадь, но все вещи были на своих местах, все электроприборы были отключены, газ и вода перекрыты. Тогда он решил, что источник неудобств таится в его внешнем виде: нередко человек, впопыхах причесавшись или побрившись, или же забыв заправить кальсоны в носки, или сев на жевательную резинку, может растерять на глазах у коллег годами заработанный имидж. Он тщательно проверил состояние рубашки, галстука, носков и пиджака, а также носа и ногтей и оценил их состояние от «хорошо» до «удовлетворительно». Однако беспокойство не покинуло его. Тогда бухгалтер решил срочно ехать в банк.

Время от времени некоторые животные проделывают огромный и часто опасный путь в поисках солевых месторождений. Соль земли необходима для поддержания жизнеспособного баланса их организма. Своя «соль земли» как в буквальном, так и в метафизическом смысле есть и у человека. «Соленое» бухгалтера таилось в банке. Там, как нигде, проявлялось очевидное превосходство его профессии над любыми другими. Когда общество перерастает эпоху натурального хозяйства, когда мышле-

ние переходит из области предметов к предметообразам, тогда и землепашец, и солдат, и водитель, и водопроводчик, и даже предприниматель становятся вторичными персонами, целиком и полностью зависящими от действий бухгалтера. Подтверждая баланс, платежку или проводку иероглифом подписи и круглой печатью, бухгалтер запускает движение токов или потоков финансов, которые, в свою очередь, запускают все остальное.

Зайдя в банк, бухгалтер, как обычно, поздоровался с управляющим, подшил в папку сведения о состоянии счетов, посидел в мягком кресле в центре светлого прохладного зала. Он хотел почувствовать ни с чем не сравнимый запах проносящихся над головой безличных миллионов и миллиардов. Но сегодня деньги не пахли, а нестройно шуршали, как старые газеты, кувыркающиеся по асфальту. Тогда бухгалтер запаниковал окончательно, убежденный, что допустил ошибку при работе с бумагами.

Формы и принципы финансового учета остаются незыблемыми с конца шестнадцатого века, игнорируя и технический прогресс, и социальную модель мироустройства. Они не прощают летописцу морок и помарок, ибо несут в себе генетический код отношений между людьми. Разбирающиеся в предмете люди и тем более не разбирающиеся знают, что в документообороте случайных ошибок не бывает. Посему настоящий бухгалтер не доверит ни одной даже самой умной машине бесконтрольные манипуляции с цифрами, он обязательно перепроверит все и запишет ровным мелким почерком в пыльные толстые папки и книги.

Наш бухгалтер умел перемножать в голове шестизначные суммы и помнил содержание всех своих папок и книг наизусть. Перелистывая их страницы в своем воображении, он, обычно неспешный и чинный, вдруг как ужаленный вскочил с кресла, выбежал на улицу, сел в автомобиль и помчал на работу.

\* \* \*

Катерина прошла пешком две троллейбусных остановки, минут десять посидела на скамейке в садике, вдыхая свежий майский воздух, потом спустилась в метро. Подземный поезд повез ее под Невой, мимо старого кладбища, вдоль Невского проспекта и затем снова под той же рекой. Катерина вышла из поезда, и эскалатор поднял ее в самый центр Васильевского острова.

Катерина была слегка раздосадована поездкой: казалось, ни один из сотен встреченных ею людей не хотел замечать прелестей ясного утра, признаков пробуждающейся весны и общей удивительности жизни. Человеческие лица были будничные, выражающие расслабленное безразличие или напряженно перекошенные, словно от зубной боли или контузии. Суть утренних переживаний обитателей мегаполиса успешно описывалась национальной идеей, главным ее лозунгом: «Жизнь — это борьба говеного с дерьмовым». Если кто-то из этих увлеченных идеей «внутренней борьбы» интровертов и бросал беглый взгляд на Катерину, то в смущении отворачивался. Если он смотрел на нее снова, то уже с некоторой досадой или даже злобой. Интровертов неосознанно тянуло к этой красивой женщине. И дело было не в китайских вещах — маленькие желтые люди, трудолюбивые, как тутовый шелкопряд, оплели паутиной своих одноразовых цветастых товаров весь мир — дело было в самой Катерине, которой сегодня хотелось излучать и дарить. Интроверты же ничего никогда добровольно отдавать не готовы, и другое поведение обычно пугает их. Странные люди, и только.

Петербург — большой город, и, скорее всего, Катерина никогда не увидит этих людей снова, посему и мы навсегда забудем о них.

Катерина же меж тем прошагала еще немного и вошла внутрь ничем не примечательного сталинского дома, миновала неподвижную фигуру охранника в черной псевдозэсовской форме, затем плотную кучку торговцев фьючерсами, похожих на братьев Кличко, открыла ничем не приметную казенную дверь и оказалась на работе. Доставая из шкафа уборочный инвентарь — желтые резиновые рукавицы, лохматую швабру и блестящее никелированное ведро — она внимательно оглядела офис, по-хозяйски оценивая степень загаженности помещения, и увидела Его.

Мы не знаем, почему она не обращала на него внимания раньше и почему теперь ее сердце сжалось, пронзенное сладкой болью. Для любого другого он был, пожалуй, просто одним из стандартных предметов, призванных эффективно заполнить типовый офис. Но мы не имеем права осуждать Катерину, равно как и смеяться над ней, ведь любовь непредсказуема. Он — мы назвали его бухгалтером в начале рассказа — сидел в углу комнаты за небольшим персональным столом и был такой пухлый и румяный, такой чистый и аккуратный, такой положительно-серьезный, что Катерина чуть было не приняла его за ангела.

Ей хотелось смотреть на него бесконечно долго, но обязанности заставили ее покинуть офис — надо было опустошить корзину для мусора и набрать в ведро свежей воды. Вода полилась через край, часть мусора просыпалась мимо — Катерина затропилась, ей не хотелось оставлять Его одного. Вернувшись, она принялась за уборку и больше не сводила с бухгалтера глаз. Сегодня у нее не получалось контролировать швабру, скорее, лохматая швабра управляла Катериной: несложные траектории влажных полос на сером линолеуме почему-то сводились к Нему. Такое возможно. Спросите у любой ведьмы, если не верите.

Одно было плохо: бухгалтер не реагировал на ее па.

\* \* \*

Он и в самом деле не замечал присутствия посторонней, сосредоточившись на папках с документами. В преисполненных достоинства движениях читались деловитая уверенность и спокойствие всезнающего человека, особенно в те моменты, когда бухгалтер переключал бумаги с места на место. Бухгалтер с детства привык хранить свои чувства внутри, прежде всего сомнения и страхи — то, что считается проявлением бессилия. Бухгалтер полагал, и не безосновательно: откройся он вдруг кому-то — его осмеют, унижат, оштрафуют, уволят и прочее, прочее, прочее.

Единственное, что он мог себе позволить, так это стравливать по чуть-чуть избыточное кровяное давление, вызываемое внутренним смятием, через сосуды лица. Подавляющее большинство сослуживцев и знакомцев принимали его вечно розовые щеки и уши за признаки стыдливости, скромности, а также физического здоровья. Диагноз устраивал бухгалтера: всегда лучше, если люди принимают тебя за кого-то другого. В этом случае окружающие обманываются дважды: в первый раз, когда неверно истолковывают набор внешних признаков, якобы характеризующих личность, во-вторых, когда принимают общаться с данным субъектом, основываясь на этом ложном представлении. То есть они общаются не с тобой, а стало быть, и не к тебе лезут в душу.

Что касается Катерины, которая обычно мысли не думала, а полагалась на чувства, то она приняла красные пятна бухгалтерских щек за выражение симпатии и возбужденности.

Наш бухгалтер, испытывая огромное потрясение, стал и вовсе пунцовым: проверка и перепроверка учетно-финансовой деятельности показывала отсутствие каких-либо, даже незначительных, ошибок и нарушений. Он не понимал, что с ним происходит, как ни силился.



А происходило с ним вот что: паника, о природе которой так много спорят и пишут в последнее время, выталкивала его сознание из джунглей счетов, проводок и ведомостей на поверхность человеческих отношений, туда, где иногда возникает любовь.

Любовь... она же случается неожиданно, хотя и предупреждает о своем появлении некими предощущениями. Любовь заставила бухгалтера поежиться, потерять влажную от напряжения переносицу, поднять глаза и, наконец, разглядеть Катерину, нагибающуюся к ведру. Бухгалтеру вдруг захотелось преодолеть тесное неудобство одежды, схватить эту незнакомую женщину и соединиться с ней навеки. Но когда он сообразил, что уже сорвал с себя галстук и расстегивает ворот рубашки, тогда испугался по-настоящему. Перед его глазами пронеслось все, что с такой точностью описывают сухие колонки цифр: он увидел коконы новорожденных в больничных палатах и услышал их крики. Он видел, как они произносят свои первые слова, как учатся ходить, и как кто-то из них, пораженный неизвестным недугом, заболевает. Он видел, как они взрослеют и, еще не став мужчинами, гибнут неизвестными во время запланированных локальных конфликтов. А уцелевшие не находят себе места в жизни, не находят в себе сил справиться с этим и не находят поддержки со стороны. Бухгалтер видел, как они, состарившиеся, нищие и беспомощные, беззвучно лежат в той же больнице, завернутые в тугие мокрые простыни.

Было непонятно, почему несчастий так много, почему их разнообразие, кажется, не имеет предела. Было неизвестно, кто и почему отмечает ими одних и оберегает других. Было страшно от осознания того, что формулы статистики в своей точности непоколебимы, но ничего не могут предотвратить и никого не могут спасти.

Бухгалтер знал слишком много, например формулы, по которым рассчитывают расход газа и нефти, а значит, знал день, когда они кончатся. И еще он знал много чего, что запрещало ему думать о возможности продолжения жизни. Его личный испуг перешел в общественный страх. А страх превратился в космический ужас.

Неизвестно, что бы случилось с ним в следующий миг, не подойди к нему Катерина.

Она села на стул рядом. Она чувствовала, что происходит у него внутри, там, где между легкими, печенью и селезенкой начинается бесконечность. Она поняла и то, что сейчас ей нужен именно этот человек, и то, зачем он нужен ей.

Стало быть, пришло время действовать. Катерина вдохнула глубже, чтобы унять волнение, и сказала тихо:

— Не нужно бояться, просто угости меня сегодня мороженым.

Борис МИРОНОВ

## ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО И РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА

Мы с завистью, а нередко и с чувством неполноценности говорим о немецком, японском, южнокорейском, китайском и прочих экономических чудесах. Вот могучие, лихие народы: богатыри — не мы. Как современная, так и царская Россия представляется многим отсталой автократией, бегущей на месте — вперед-назад, вперед-назад, то бишь реформы-контрреформы, или мобилизация-стагнация-кризис, или либерализация — авторитарный откат<sup>1</sup>.

«Россия — это деспотическая, репрессивная в своей основе власть самодержцев, это рабский менталитет народа, основанный на крепостном праве, иерархия не вассалов, а государевых рабов, это — длительное отсутствие в обществе сословного строя, самоуправляющихся городов, общий дух несвободы и подавления личности государством и во имя государства»<sup>2</sup>.

«Находясь в непримиримом противоречии с культурой, ведя открытую войну с большей частью образованных классов, самодержавие вступило в конфликт с самим государством, изо всех сил толкая его к неизбежной гибели. Противодействуя просвещению в любой форме, оно осушает источник сил народных масс. Оставляя управление государственными делами в руках бесконтрольной бюрократии, столь же бездарной, как и продажной, самодержавие благодаря злоупотреблениям своих слуг еще больше ограничивает свои возможности. Неуклонное разорение государства, растущий беспорядок в финансах, непрерывное обнищание крестьянства — все это лишь естественные и неизбежные последствия деспотического режима»<sup>3</sup>.

Первая цитата взята из книги современного автора В. К. Кантора, вторая принадлежит народовольцу С. М. Степняку-Кравчинскому (1851–1895). Первая характеризует допетровскую, вторая — Россию 1860–1880-х годов. Высказанные мысли разделяют 112 лет, но они так похожи по духу, что кажется, будто принадлежат одному человеку. Подобных цитат можно привести сотни, потому что, пожалуй, только в России наблюдается подобное самобичевание, не без оснований напоминающее иностранным наблюдателям национальный мазохизм. Признанный патриарх отечественной историографии В. О. Ключевский в 1890–1900-е годы в своем дневнике записывал то, что, вероятно, не решался говорить на своих лекциях и писать в своих работах. «Наша государственная машина приспособлена к обороне, а не к нападению... Мы низшие организмы в международной зоологии: продолжаем двигаться и после того, как потеряем голову». «Русские цари — не механики при машине, а огородные

---

Борис Николаевич Миронов родился в 1942 году. Российский историк, клиометрист. Профессор факультета социологии, кафедры социологии культуры и коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук. Один из основоположников отечественной школы клиометрики и основатель отечественной школы исторической антропометрии. Автор фундаментальной «Социальной истории России». Живет в Санкт-Петербурге.

чучела для хищных птиц». «Наше будущее тяжелее нашего прошлого и пустее настоящего»<sup>4</sup>.

Некоторые современные авторы также относят русских к низшим социальным организмам, генетически неспособным к развитию и решению проблем модернизации: «Массовый человек России не только XIX–XX вв., но и начала XXI столетия, с доминантной традиционного (мифологизированного) сознания, нуждался и нуждается в культе личности вождя. <...> Не было в России русских как носителей русского этнического самосознания, поскольку этногенез и культургенез русских так и остается явлением незавершенным, не сложившимся. <...> Масса русских не имеет и своей элиты, способной сформулировать и выразить ее общественный интерес. Отсутствие в России массы лично самоидентифицированных русских, адекватных вызовам реального времени, делает проблематичным не только решение форсированными темпами проблем модернизации, но и само достижение в обозримой перспективе гражданского общества. <...> У русских сохраняется генетически обусловленное неприятие властной элиты. Оно сопряжено с исторически возникшим еще у праславян, сохраняющимся, по сути, архаичным, латентным стремлением обрести волю, а не свободу»<sup>5</sup>.

Но даже в более сдержанных оценках имперская социально-политическая система изображается как абсолютно неэффективная и неспособная обеспечить ни развитие экономики, ни повышение благосостояния населения. Весь период империи рассматривается под углом зрения, с одной стороны, обеднения народа, с другой — кризиса, сначала крепостничества, а потом самодержавия. Пауперизация и кризис — две стороны одной медали: кризис фатально вел страну к революции, потому что крестьянство к началу XX века обнищало до такой степени, что его дальнейшее выживание ставилось под сомнение. Снижение уровня жизни, доводящее крестьян и рабочих до нищеты, — лейтмотив если не всех, то очень многих работ, посвященных имперскому периоду.

Между тем в России после отмены крепостного права произошло настоящее экономическое чудо. В 1861–1913 годы темпы экономического развития были сопоставимы с европейскими, хотя отставали от американских. Национальный доход за 52 года увеличился в 3,84 раза, а на душу населения — в 1,63 раза. И это несмотря на огромный естественный прирост населения, о котором в настоящее время даже мечтать не приходится. Население империи (без Финляндии) увеличилось за эти годы с 73,6 до 175,1 млн — в среднем почти по 2 млн ежегодно<sup>6</sup>. Душевой прирост объема производства составлял 85 процента от средневропейского. С 1880-х годов темпы экономического роста стали выше не только средневропейских, но и «среднезападных» — валовой национальный продукт увеличивался на 3,3 процента ежегодно. Из великих держав лишь в США они были выше — 3,5 процента<sup>7</sup>. Успешно развивалась не только промышленность, но и сельское хозяйство, которое, несмотря на институциональные трудности, прогрессировало так же быстро, как в целом в Европе. Столыпинская реформа, устраняя эти помехи, создавала самые благоприятные условия для ускорения аграрного развития, поскольку для этого имелись главные предпосылки — экономика России стала рыночной: экономические решения принимались индивидуально (бизнесменами, торговцами, сельскохозяйственными производителями), цены устанавливались в результате стандартных рыночных механизмов.

Но главное чудо состояло в том, что при высоких темпах роста экономики и населения происходило существенное повышение благосостояния, другими словами, индустриализация сопровождалась повышением уровня жизни крестьянства (86 процентов в 1897 году) и, значит, происходила не за его счет, как общепринято думать.

На чем основывается такое заключение?

О росте благосостояния за период 1851–1914 годов свидетельствуют увеличение с 0,188 до 0,326 — в 1,7 раза индекса человеческого развития, учитывающего (1) продолжительность жизни; (2) процент грамотности; (3) валовой внутренний продукт на душу населения<sup>8</sup>.

Вывод о повышении благосостояния опирается также и на *альтернативный* показатель уровня жизни — конечный средний рост (длина тела) людей, получивший в специальной литературе название *биостатуса*, который широко применяется в науке с конца 1960-х годов. Использование такого показателя опирается на доказанный в биологии человека факт, что финальный средний рост людей характеризует степень удовлетворения базисных потребностей человека в пище, одежде, жилище, медицинском обслуживании и т. п. в течение всего периода физического созревания. Люди, чьи потребности удовлетворяются лучше, превосходят ростом тех, чьи потребности удовлетворяются хуже; и наоборот. С биологической точки зрения, человек до достижения полной физической зрелости превращает потребленные продукты в энергию, которая затем расходуется на различные нужды: на поддержание жизнедеятельности организма, работу, учебу, спорт, борьбу с инфекциями, болезнями и т. п., а *лишняя* энергия от питания преобразуется в рост и при избытке питания — в вес. После достижения полной физической зрелости рост уже не изменяется, при понижении биостатуса происходит снижение веса, а при повышении — его увеличение. Из биологической теории следует, что *в рамках одного этноса* высокие люди, взрослые и дети, *в массе* своей лучше питались, имели лучший уход и жилищные условия, меньше болели и т. д., то есть *в массе* обладали более высоким биостатусом, чем люди с низким ростом. Следовательно, *данные о среднем росте позволяют оценить, как удовлетворяются базисные потребности человека, и благодаря этому судить о динамике благосостояния народа*. Подчеркнем, что средний рост — *равнодействующая* всех факторов, влиявших на физическое развитие человека, среди которых доходы, питание, интенсивность работы, миграции, социальная структура населения, уровень материального неравенства, заболеваемость, эпидемии, колебания климата. Вследствие этого конечный рост является *интегральным* показателем уровня жизни, оценивая его с точки зрения удовлетворения базисных потребностей людей. Особенно это верно для обществ, в которых львиная доля доходов тратится на поддержание жизни.

Анализ более 200 тыс. индивидуальных сведений о новобранцах и рабочих и более 10 млн агрегированных данных обо всех призывниках в 1874–1913 годы показывает, что конечный средний рост мужчин после Великих реформ увеличился на 5 см — со 164 до 169 см, при этом на 3,4 кг увеличился вес (с 63,1 до 66,5) и возросла мускульная сила. Отсюда неоспоримо следует, что уровень жизни россиян в пореформенное время повышался, так ни рост, ни вес не могли бы увеличиться без улучшения условий жизни. Вывод о повышении уровня жизни на основе антропометрических сведений поддерживается данными о питании и сельскохозяйственном производстве, зарплате, доходах и платежах, смертности и рождаемости, здоровье и культуре, которые не столь точны и полны, как антропометрические.

Повышение жизненного уровня коснулось всего населения в целом, и прежде всего крестьянства (его доля в населении страны в 1897 году составляла 86 процентов), и не сопровождалось возникновением огромного имущественного неравенства — последнее было на порядок ниже, чем в западных странах. Если сравнивать бедного крестьянина с Романовыми, Шереметевыми, Юсуповыми и подобными русскими аристократами, то неравенство, конечно, было громадным, хотя и намного меньшим, чем в современной России между олигархами и остальным населением. Например,

в 1998 году по сведениям американского журнала «Форбс», пятеро самых богатых людей России (В. Потанин, Р. Вяхирев, М. Ходорковский, В. Алекперов и Б. Березовский) располагали годовым доходом большим, чем все 38,8 млн пенсионеров, и большим, чем 19,4 млн рабочих и служащих со средним заработком в 600 руб. в месяц. Но если сравнивать целые страты богатых и бедных, то различия в начале XX века были умеренными, так и тех, и других было относительно немного. Как писал А. С. Пушкин еще в 1834 году: «В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности»<sup>9</sup>. Децильный коэффициент имущественной дифференциации (различие в доходах 10 процентов самых богатых и самых бедных) в России начала XX века равнялся всего лишь 6–7, в США находился в интервале 16–18, в Великобритании превышал 40<sup>10</sup>.

Однако в конце XIX — начале XX века передовая русская общественность была искренне убеждена, что страна находится в состоянии перманентного кризиса, что положение народа ухудшается, поскольку просто не допускала мысли, что при самодержавии возможен какой-либо прогресс, а только ожидала от него, как говорил П. Н. Милюков в Государственной думе в 1916 году, либо глупости, либо измены. В данном случае речь идет не о фальсификации данных, а об идеологической аберрации — мы сталкиваемся с типичным примером нечувствительности к новой информации под влиянием установки. Как утверждает теория когнитивного диссонанса, люди стараются избегать информации, которая противоречит их точке зрения, и предпочитают информацию, которая соответствует и поддерживает их собственные подходы. Убежденность в кризисе самодержавия вследствие его якобы фатальной неспособности к прогрессивному развитию была столь прочной и непогрешимой, что все, что ей противоречило, просто не воспринималось.

В конце XIX века, по мнению С. И. Шидловского, впоследствии видного октябриста, «между правительством и обществом произошел конфликт, ставящий обе стороны в положение воюющих, <...> вся жизнь страны приняла характер упорной борьбы между двумя сторонами»<sup>11</sup>. Еще в 1903 году журнал «Освобождение» (орган российских либералов) прямо заявил, что «самодержавие есть гражданская война со всеми ее бедствиями». А на войне как на войне все средства для победы хороши<sup>12</sup>. И наивно было бы ожидать, что элита либерально-демократической общественности ради достижения своих бесспорно благородных целей — ради установления демократического строя, гражданского общества и правового государства — не использовала всех доступных средств, включая манипуляцию массовым сознанием, дезинформацию, прессинг колеблющихся, PR-кампании, которые использовали ее идейные противники. Даже террор против самодержавия поддерживался либералами. «Мы не принадлежим к числу людей, из лицемерия или недомыслия клеймящих событие 1-го марта (убийство Александра II. — Б. М.) и позорящих его виновников. Мы не боимся открыто сказать то, что втайне известно всей искренней и мыслящей России, а именно, что деятели 1-го марта принадлежат к лучшим русским людям»<sup>13</sup>. При этом либералы через свой журнал откровенно подталкивали молодежь к террористической деятельности против правительства, прославляя активистов террора, указывая на его неизбежность и целесообразность: «Нужно, наконец, сказать во всеуслышание, с торжественной отчетливостью, что весь ужас, весь исторический трагизм, все значение политических убийств, совершенных и совершаемых русскими революционерами, состоит в том, что убийцами являются лучшие люди нации, носители высочайших нравственных качеств и чрезвычайных умственных дарований. <...> Политические убийства — зло, с полной неизбежностью вытекающее из са-

модержавия. Самодержавия нельзя мирно поддерживать в нашей стране: самодержавие есть гражданская война со всеми ее бедствиями. Вот о чем должна была бы говорить наша печать. Безустанно она должна повторять обществу и правительству: вы не хотите политических убийств и революционных насилий, так покончите же скорее с их источником – самодержавием. <...> Разве не есть гражданская война та настойчивая борьба, которую самодержавное правительство всеми средствами ведет с деятельностью, направленной на постепенное изменение русского государственного строя мирными и большей частью даже формально легальными действиями? <...> Самодержавие всей своей политикой заявляет, что оно склонится только перед физическим насилием революции. Абсолютно-реакционное, оно само воспитывает страну к революции»<sup>14</sup>.

С конца XIX века демократическая общественность не пропускала ни одного случая, чтобы продемонстрировать несостоятельность монархии и мобилизовать своих сторонников. Разговоры о страданиях народа как факте повседневной жизни часто носили спекулятивный характер, ученые заигрывали с оппозиционным по отношению к монархии общественным мнением в ущерб научному анализу современной экономической ситуации, получил распространение тезис о «голодном экспорте»<sup>15</sup>. Пример дает мощная кампания, сопровождавшая неурожай 1891–1892 годов. Огромные бедствия от неурожая общественность приписывала исключительно аграрной политике правительства и его неспособности организовать надлежащую помощь неурожайным губерниям. Несомненно, этот неурожай был одним из самых серьезных испытаний за весь XIX век, но все же пресса игнорировала позитивную динамику урожайности и смертности в пореформенное время, недооценила деятельность коронной администрации по борьбе с неурожаем и явно педалировала слухи о феноменально тяжелых последствиях неурожая как результате антикрестьянской аграрной политики. Например, в прессе утверждалось, что от голода умерло до 500 тыс. человек. Как была определена эта цифра? Весь прирост смертности в 1892 году сравнительно с 1891 годом был отнесен на счет неурожая, то есть антикрестьянской политики, что нельзя считать корректным, так как в 1892-м свирепствовала холера, от которой погибли, по крайней мере, 300 тыс. человек. В 1890-е годы эту страшную болезнь еще не умели лечить, не знали, что ее носителями были лица, ею переболевшие и находившиеся в контакте с больными, вследствие чего карантинные мероприятия оказывались неэффективными. Но самое главное, крестьяне плохо соблюдали правила личной гигиены и санитарные предписания. Не случайно холеру называют болезнью грязных рук. Вот вывод специального исследования действий коронной бюрократии во время неурожая, предпринятого американским историком Р. Роббинсом. «Кампания российского правительства по борьбе с голодом по своей эффективности вполне сопоставима с достаточно успешными действиями британской администрации в Индии и Ирландии несколькими годами спустя, а по некоторым показателям даже их превосходила. В целом правительство сумело справиться с проблемой неурожая, режим доказал свою жизнеспособность и обнаружил серьезные резервы для собственного усиления»<sup>16</sup>.

Опыт антиправительственной кампании 1891–1892 годов оппозиционная общественность взяла на вооружение и использовала в дальнейшем, например, во время следующего недороды 1906–1907 годов. Известный ученый и крупный чиновник А. С. Ермолов, продемонстрировал, как пресса раздувала проблему неурожая и преувеличивала его последствия с целью опорочить правительственную продовольственную помощь: печатались непроверенные слухи об убийстве и самоубийстве детей из-за голода, о торговле крестьянскими женщинами своими волосами, чтобы



купить голодающим детям хлеб, о продаже казанскими татарами своих дочерей на Северный Кавказ, чтобы избавить их и себя от мук голодной смерти и т. д. и т. п.<sup>17</sup>

Негативная оценка позднеимперской России была унаследована и получила дальнейшее развитие в советской общественной мысли, превратившись в концепцию общего, или системного, кризиса. Согласно ей российская общественная система в политическом, экономическом и социальном отношениях была несостоятельной и абсолютно нежизнеспособной, она не соответствовала потребностям российского общества, не способна была совершенствоваться, приспосабливаясь к изменяющимся условиям жизни, и обеспечивать повышение благосостояния населения ввиду истощенности источников развития. Происхождение российских революций начала XX века объяснялось тем, что (1) в России сочетание всех видов гнета — помещичьего, капиталистического, национального — с политическим деспотизмом самодержавия делало невыносимым положение народных масс и придавало социальным противоречиям особую остроту; (2) именно в России имущественное расслоение в обществе достигло экстраординарных размеров. Немало сторонников имеет эта концепция и в настоящее время.

А как же факты, говорящие о повышении уровня жизни? Факты обычно игнорируются, если они противостоят установкам. Своим студентам-искусствоведам я предлагаю домашнее задание — дать социальную интерпретацию какой-нибудь жанровой картины XIX — начала XX века. Вот несколько примеров, число которых легко умножить.

«В картине Ф. Корзухина "Возвращение с сельской ярмарки" (1868) мы видим деревенских людей, идущих с сельской ярмарки. На первом плане художник изобразил трех мужиков, один из которых весел и как будто хвастается новыми сапогами, играя на балалайке; второй тоже выглядит радостным, а третий плетется в хвосте группы с опечаленным видом, смотря лишь себе под ноги. Три центральных персонажа картины — друзья, на первый взгляд. Но настоящие ли? Те, кому ярмарка была выгодна, радуются своим покупкам или заработанным деньгам, совсем не обращая внимания на своего товарища, для которого мероприятие, очевидно, стало убыточным: он идет с грустным видом, повесив голову. Его приятели совершенно не замечают чужого горя и упиваются своим счастьем. Так автор ставит перед зрителем проблему настоящей дружбы. Из этого аспекта вытекает еще одна проблема: социального статуса и непреодолимой пропасти между представителями разных материальных групп. Веселые мужики, очевидно, кулаки или во всяком случае довольно богатые люди. Им не понять горя товарища хотя бы потому, что никогда не сталкивались с подобной проблемой».

«На картине С. Я. Кишиневского "Прошение" (1890) представлена сцена из повседневной жизни того времени. Простая крестьянская женщина приходит в некое сельское учреждение с прошением, которое должно быть подписано неким чиновником. Женщина одета очень бедно. По всей ее внешности заметна усталость и некоторая разочарованность. Для человека уже нет надежды на лучшее будущее. Жизнь для этой женщины становится непосильной тяжестью, но она продолжает бороться не ради себя, а ради своих детей. Чиновник, подписывающий ее прошение, весьма безразличен к трудностям, которые испытывает женщина».

«Нельзя сказать, что работа З. Серебряковой "Крестьяне" (1914) полностью отражала ход дел в крестьянских деревнях. Невозможно забывать, что художница рисовала обобщенные образы, а не конкретных людей. Многие семьи были слишком бедны для таких красивых, опрятных, ярких, новых одежд, как на картине. Не у всех хватало средств и на такие аппетитные краюхи хлеба и большие кринки молока. В боль-

шей части, крестьянские семьи жили намного беднее, чем их изображает художница. В исследуемой картине это, бесспорно, зажиточная идеализированная семейная пара».

«Уже само название картины В. Е. Маковского “Друзья-товарищи” (1878) говорит о полном равнодушии изображенных к общественным вопросам, так волновавшим тогда передовые круги, о праздном, никчемном образе жизни людей мещанской среды. И Маковский это хорошо чувствует и видит. И именно эта праздная обстановка изображена на картине. Изображенные на ней четыре мещанина ведут бесполезную жизнь, проводя ее в праздниках и увеселениях. И представленная перед нами женщина-служанка олицетворяет вынужденный прислуживать им низший класс. Маковский показывает нам разницу между проводящими никчемную жизнь мещан и страдающих под их гнетом слуг».

«В картине А. Л. Ржевской “Веселая минутка” (1897) видно, насколько сложен и тяжок труд русского крестьянина, и лишь на минутку забыта усталость. Безыскусственное веселье царит в убогой избе, и зимнее солнце яркими лучами освящает эту сцену: русский труженик пытается на мгновение уйти в забытье, подальше от насущных, жизненных проблем, которыми была наполнена жизнь крестьянства. На картине представлено как бы три возраста: малыш, подросток и старик. Все они принадлежат к одной социальной группе, к крестьянству. Находясь в хорошем расположении духа, они беспечно веселятся, стараясь забыться, уйти от своих житейских проблем. Каждым героем, изображенным на картине, существующие жизненные реалии воспринимаются по-разному. Старик-мастер полностью осознает свое трудное положение и эта кратковременная “веселая минутка” — способ на мгновение забыть обо всем; его ученик и помощник еще совсем юн, но ему, очевидно, уже знаком тяжелый крестьянский труд. Единственный герой данной картины, который, вероятно, еще не посвящен в жизненные проблемы, — это маленький мальчик, который лихо отплясывает вместе с дедом. Однако очевидно, что через некоторое время и мальчика ожидает та же участь пахаря и труженика, что и его деда».

Увидеть в этих картинах нищету, безысходность, эксплуатацию, отчаяние можно только в том случае, если голова натренирована на соответствующее восприятие и наполнена соответствующими стереотипами и установками. Стоит ли удивляться тому, что детское восприятие искажено, если то же самое наблюдаем и среди высокообразованных взрослых людей.

Длительное существование в общественной мысли концепции обнищания и кризиса обуславливалось тем, что она была защищена установками и стереотипами, поддерживалась мнением научного сообщества и ввиду этого обладала огромной силой инерции. Известный народник Н. А. Морозов, когда ему понадобилось написать статейку о страданиях народа, потолкался среди рабочих и обнаружил, что они выглядят вполне бодро, а многие даже смеются. Однако изобразил их как положено — унылыми и согбенными. Несогласные подвергались со стороны демократической общественности осуждению и остракизму. Характерен пример с А. А. Фетом. Известный поэт в 1860 году купил хутор и неожиданно для всех стал успешным сельским предпринимателем. В 1862–1871 годах Фет печатал в журналах очерки, в которых делился своим опытом хозяйствования, наблюдениями и философскими размышлениями о сельском хозяйстве, крестьянстве, развитии России<sup>18</sup>. На второй цикл его очерков, опубликованный в «Русском вестнике» в январе – марте 1863 года, уже в апреле того же года откликнулся журнал «Современник», поместив анонимное стихотворение, написанное Н. А. Некрасовым, где деятельность Фета получила негативную и насмешливую оценку:

Когда сыны обширной Руси  
Вкусили волю наяву,  
И всплакал Фет, что топчут гуси  
В его владениях траву.

В этом же номере журнала М. Е. Салтыков-Щедрин напечатал разгромный разбор очерков Фета с карикатурным пересказом его заметок. Известный сатирик нашел в деятельности Фета следующий состав преступления: «Г. Фет скрылся в деревню. Там, на досуге, он отчасти пишет романсы, отчасти человеконенавистничает; сперва напишет романс, потом почеловеконенавистничает, потом опять напишет романс и опять почеловеконенавистничает, и все это, для тиснения, отправляет в “Русский вестник”<sup>19</sup>. Предпринимательство Фета было объявлено человеконенавистническим на том основании, что он от вольнонаемных рабочих, нанявшихся к нему на работу, требовал соблюдения договора, боролся с потравами, которые наносили ему соседи, и т. д., т. е. вел себя как настоящий хозяин». Критика была подхвачена всей демократической прессой. Фета высмеивали Д. Л. Минаев, В. А. Зайцев, П. А. Медведев. Наконец Д. И. Писарев в 1864 году завершил стигматизацию Фета, вернувшись в своей критической статье к герою одного фетовского очерка: «Работник Семен — лицо замечательное. Он непременно войдет в историю русской литературы, потому что ему назначено было Провидением показать оборотную сторону медали в самом ярком представителе томной лирики. Благодаря работнику Семену, мы увидели в нежном поэте, порхающем с цветка на цветок, расчетливого хозяина, солидного bourgeois и мелкого человека. <...> Такова должна быть непременно изнанка каждого поэта, воспевающего “шепот, робкое дыханье, трели соловья”<sup>20</sup>. После этого «мотыльковый поэт» в представлении демократической общественности превратился в крепостника, отчаянного реакционера, противника науки и просвещения, эксплуататора народа. Имидж человека, который прикрывал свое стяжательство и жестокость маской «нежного поэта», закрепился за Фетом до конца его дней. «Избавиться от клейма, которым его заклеила “либеральная жандармерия” 1860-х годов, — указывает В. А. Кошелев, — Фет так и не смог»<sup>21</sup>. В 1889 году, за три года до смерти, к 50-летию юбилею его литературной деятельности, сатирический поэт П. В. Шумахер написал памфлет, в котором припомнил, уже по слухам, обвинения 25-летней давности<sup>22</sup>:

Стихотворец и маклак,  
Издержать копейку труся,  
Он на плешь наводит лак:  
Издal Фауста, как кулак,  
У Максима отнял гуся.

Поводом для такого осуждения Фета послужили два эпизода из его «Очерков». В первом рассказано о том, как тяжело было ему, землевладельцу, заставить вернуть не отработанные работником — бездельником и вором — 11 рублей. Второй эпизод касается получения компенсации с содержателя постоянного двора, гуси которого совершили потраву на фетовской ферме. Оба примера Фет использовал для иллюстрации трудностей при хозяйствовании в условиях вольнонаемного труда после крестьянской реформы, когда законодательство еще не выработало механизма мирного разрешения возникающих конфликтов между работником и работодателем. Фет был убежден: все хозяйственные мелочи должны подлежать четкой законодательной регуляции, за что и ратовал в своих очерках. Истинные причины нападков лежали глубже — в различии мировоззрений почвенника Фета и революционных демократов. Вот в кратком изложении воззрения Фета.

Современник и крупный экономист Н. П. Макаров констатировал в 1918 году: «Нищета, забитость, вымирание, психическое притупление — вот как (очень ошибочно) народническая мысль все чаще начинала характеризовать русскую деревню. Это было даже нужно — так как казалось, что, говоря о нищете деревни, люди борются с ненавистным политическим строем; это было тупое оружие русской интеллигенции в ее руках против правительства. Почти преступно-официальным считалось и не разрешалось экономически-оптимистично смотреть на русскую деревню. Разговор о “прогрессивных течениях” русской деревне звучал каким-то диссонансом в этом настроении; “надо удивляться, что оно живет и сохраняется при таких условиях” — почти в этих словах писалось тогда о крестьянском хозяйстве»<sup>23</sup>.

Нельзя забывать, что концепция кризиса и обеднения выполняла важные социальные функции. В позднеимперский период она служила целям дискредитации самодержавия, мобилизации населения на борьбу за реформы и свержение монархии, оправдания существующего освободительного движения, политического террора и революции, развития гражданского общества. Велика была роль концепции в вопросе позиционирования и идентификации интеллигенции как самой прогрессивной социальной группы российского общества, самоотверженно и бескорыстно борющейся за политические и социальные реформы, обеспечивающие счастье народа, в первую очередь крестьян как бедных и отсталых, униженных и оскорбленных, нуждающихся в поддержке, представительстве, защите и руководстве. Одна часть интеллигенции и созданные ею политические партии либерально-демократического направления, прежде всего кадеты, считали, что роль представителя и руководителя крестьянства принадлежит им. Другая же часть интеллигенции и ее партии социалистического направления (прежде всего эсеры и большевики) выдвигали на эту роль себя и «передовой рабочий класс». Культурная и политическая дискриминация крестьян служила способом самоидентификации и самоутверждения интеллигенции и средством установления контроля над крестьянами, что позволяло руководить их жизнью, направлять их поведение в нужном направлении, в том числе помочь самой интеллигенции материализовать свои политические интересы<sup>24</sup>.

В советское время парадигма кризиса служила целям оправдания прошлого освободительного движения, свершившейся Октябрьской революции и всего, что за ней последовало: Гражданской войны, террора против «врагов народа», установления и существования советской власти. Между прочим, ту же функцию оправдания выполняли и мифологемы, долгое время являвшиеся парадигмой в изучении Великой французской революции, которые выводили ее происхождение из системного кризиса, чрезмерной эксплуатации и обнищания населения, чего на самом деле не было<sup>25</sup>. Концепция кризиса имела идеологическое значение, подтверждая истинность марксизма, причем в его наиболее вульгарной, ленинско-сталинской интерпретации. Впрочем, и в этой форме она соответствовала марксистскому взгляду на социально-экономическую историю, хорошо укладывалась в схему смены феодальной формации на капиталистическую, а капиталистической — на коммунистическую и именно потому вошла в обобщающие работы и учебники по общей и экономической истории СССР.

Почему, несмотря на неоспоримые экономические успехи страны и повышение жизненного уровня населения, в пореформенное время наблюдался рост оппозиции режиму со стороны либерально-демократической общественности, развитие рабочего, крестьянского и всякого рода протестных движений, которые в конечном итоге привели сначала к революции 1905–1907 годов, а затем и к революции 1917 года?

У этого стремления к власти имелась важная психологическая составляющая, о чем так ярко писал А. М. Мелихов на страницах «Невы» (2010, № 2) — потребность

в иллюзорной великой цели, способной наполнить жизнь смыслом и красотой, позволявшей ощущать себя частью чего-то великого, героического и благородного. «Социально-экономическое зачастую лишь маска экзистенциального. Примыкая к тем или иным политическим корпорациям, человек старается преодолеть ужас собственной ничтожности, старается примкнуть к какому-то большому и красивому делу, чтобы и самого себя ощутить большим и красивым». Существование несчастного народа и страны в состоянии деградации выдвигало на передний план народных заступников, спасающих Россию от коллапса. «При этом и народ изображался чистой жертвой, и «заступники» состояли из одной лишь жертвенности, свободной от корыстных и суетных побуждений. Когда юный Пушкин верил в подобную сказку — в то, что человеческие страдания порождаются исключительно злобностью «тиранов», а не силами природы, в том числе и человеческой — он тоже призывал к тираноборчеству, но когда ему открылось, что проблема неизмеримо сложнее, он и написал: зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно?»<sup>26</sup> Существовала и жажда мученичества. Как признавался известный нигилист и революционный нигилист В. А. Зайцев: «Мы были глубоко убеждены в том, что боремся за счастье всего человечества, и каждый из нас охотно пошел бы на эшафот и сложил свою голову за Мошотта и Дарвина». «Народ, победивший Наполеона, расширивший империю до Тихого океана, внушавший властителям такой страх, что они не решились отменить крепостное право вовсе не из злобной алчности, а именно из страха перед революцией, — этот народ — стихия настолько могущественная, что стремление благородного юношества принести ему избавление напоминает попытку воробышка взять под свою опеку слона», — справедливо пишет Мелихов. Но кто и когда об этом думает? Имея в виду текущий политический момент, Мелихов продолжает: «Разумеется, российская демократия несовершенна до такой степени, что позволяет желающим и вовсе не считать ее демократией. Однако если бы Россия каким-то чудом превратилась, скажем, во Францию, обставленную по всем правилам евростандарта, — ну, там, честные выборы, свобода слова, гарантии собственности, разделение властей, независимый суд и прочая, и прочая, — весьма значительная часть населения все равно отказалась бы перебраться в этот европейский дом, покуда он не будет утеплен воодушевляющими иллюзиями».

Революция происходит тогда, когда правящий класс не может **или кажется**, что не может, разрешить насущные общественные проблемы, возникающие в ходе социальной практики, и у власть имущих появляется сильная оппозиция, которой удается убедить население, что она-то сможет их решить. Какие же это были проблемы?

**Кому управлять страной?** Либерально-радикальная интеллигенция чувствовала в себе силы и знания, чтобы вывести Россию из тяжелого положения, в котором, по ее мнению, находилась страна, поэтому претендовала на роль избавителя от недуга и, следовательно, на власть лечить, помогать и управлять. Однако, организовав свержение монархии и захватив власть, оппозиция с задачей управления не справилась. Ей не удалось остановить расширение и углубление кризиса в стране и расползание революции.

**Аграрный вопрос.** Крестьянство страдало от малоземелья и требовало экспроприировать частновладельческую землю, принадлежавшую некрестьянам, и таким простым способом удовлетворить свои возросшие материальные потребности. Однако, как показала реализация «черного передела» в конце 1917–1918 годах, посредством захвата собственности решить проблему малоземелья и низких доходов крестьян было невозможно. В среднесрочной и тем более долгосрочной перспективе повышение благосостояния могла обеспечить только агротехническая революция, что требовало времени и огромных средств. Но именно на этот путь стало царское



правительство, приняв за основу своей политики с 1907 года столыпинскую аграрную реформу.

**Рабочий вопрос.** Рабочие хотели более быстрого роста зарплаты, восьмичасового рабочего дня и полного социального пакета: медицинской страховки, защиты от безработицы, травматизма и т. д., что в полной мере удовлетворить при существовавшем в то время уровне производительности труда было невозможно. Однако именно царское правительство вступило на путь постепенного улучшения положения рабочих правовым путем в 1882 году, когда была учреждена Фабричная инспекция, взявшая под контроль взаимоотношения рабочих и предпринимателей. В последующие годы было принято ряд законов, защищавших рабочих: ограничение ночной работы детей и женщин (1882, 1885), направление средств от штрафов на улучшение быта рабочих (1885), ограничение рабочего дня сначала 11,5 часами (1897), затем 10 часами (1906), введение материальной ответственности предпринимателей за увечье рабочего и института фабричных старост (1903), разрешение создавать профсоюзы (1905), страхование от несчастных случаев и болезней (1903, 1912). Это был разумный и прагматичный путь, который в конечном итоге привел бы к возникновению социального государства с рыночной экономикой.

**Национальный вопрос.** Централизация и унификация управления, суда и законов, а также экономическая интеграция отдельных губерний в единое экономическое пространство, как и везде, приходили в столкновение с ростом национального самосознания. Модернизация империи натолкнулась на национализм и сама по себе способствовала его росту. Национальные движения требовали, как минимум, культурной автономии, многие боролись за отделение от России. Эти требования выполнялись в ограниченной степени. Их полное удовлетворение привело бы к распаду России, что и случилось после октября 1917 года. Однако ради сохранения единства государства, наверное, следовало сделать больше уступок в национальном вопросе.

**Социально-экономическое неравенство** существовало и усиливало социальную напряженность в обществе. Проблема состояла не столько в степени неравенства, которое было на самом деле невысоким, сколько в том, что в конце XIX — начале XX века и, особенно, в годы Первой мировой войны *крестьяне увидели и осознали в полной мере* существовавший в обществе уровень неравенства, умеренный, если оценивать его объективно, но им, ориентированным на уравнительное распределение богатства, он казался огромным. И это произвело на них *травматическое воздействие*.

**Культурный раскол общества.** Российское культурное и социальное пространство, если несколько огрубить действительность, было расколото на две части в соответствии с местом жительства и социальной принадлежностью: крестьяне и городские низы — с одной стороны, дворянство, буржуазия и интеллигенция — с другой. В пореформенное время культурные ножницы сохранялись, в некоторых отношениях даже росло. Но введение обязательного начального обучения, уравнение всех граждан в правах, получение политических свобод в конечном итоге вели к преодолению культурного раскола.

**Низкий уровень жизни.** Людей, недовольных своим материальным положением, во все времена и во всех странах имеется в достаточном количестве. И Россия, разумеется, не была исключением. Что же касается большинства населения, то хотя уровень его жизни *в абсолютном смысле* повышался, *потребности и запросы росли еще быстрее*, что и служило фактором растущего недовольства широких масс населения в пореформенное время. С 1870-х по 1911–1913 годы номинальный средний годовой заработок российских фабрично-заводских рабочих увеличился примерно на треть (со 190 до 254 руб.), сельскохозяйственных рабочих — на 75 процентов (с 57

до 100 руб.), учителей земских школ — на 188 процентов (со 135 до 390 руб., с квартирой и отоплением от школы). Однако и в 1870-е годы, и в начале 1910-х годов все жаловались на плохое материальное положение, особенно учителя, которые считали свой заработок крайне недостаточным для интеллигентного человека, хотя в 1913 году он был в 1,5 раза выше, чем у промышленных рабочих, а в 1870-е годы — в 1,4 раза ниже. Как ни парадоксально, еще в большей степени сетовали на материальное положение учителя гимназий, чье годовое жалованье в 1910 году равнялось 2100 руб., то есть было в 5,4 раза выше, чем у земских учителей<sup>27</sup>.

Как хорошо известно, степень недовольства умелой пропагандой можно дозировать — то разжигать до крайней степени, то понижать. И здесь необходимо подчеркнуть важность фактора, который долгое время оставался в тени — **мощные и удачные PR-кампании, проведенные оппозицией**. Недовольством всех слоев населения по полной программе воспользовалась оппозиционная к существовавшему режиму либерально-демократическая общественность (новая элита, или контрэлита) в своих политических целях, состоявших в том, чтобы взять под свой контроль государственные структуры, участвовать в управлении государством, использовать публичную власть для решения тех государственных и общественных задач, которые представлялись ей важными и актуальными.

На мой взгляд, основная причина конфликта общественности и государства, приведшего в конечном итоге к революциям начала XX века, заключалась в борьбе за власть: лидеры либерально-радикальной общественности хотели сами руководить реформационным процессом, который непрерывно проходил в России в период империи, и на революционной волне захватить власть. Желание общественности ограничить власть государства и монарха представляется совершенно логичным, потому что в пореформенное время в России быстрыми темпами развивалось гражданское общество. Уже на рубеже XIX–XX веков возникли многие из его элементов, в том числе критически мыслящая общественность, общественное мнение, с которым считалась государственная власть. После 1905 года появились свободная пресса, политические партии и т. п. В принципе сформировался механизм, обеспечивающий передачу общественных настроений, желаний, требований от общества к властным структурам, и контроль за их исполнением в виде законодательных учреждений и прессы<sup>28</sup>. И самое, пожалуй, главное, появились политические партии и тысячи общественных организаций. Если в середине XIX века добровольных обществ (благотворительных, религиозных, студенческих организаций, клубов и др.) насчитывалось нескольких десятков, то накануне Первой мировой войны — около 30 тыс., львиную долю которых составляли церковно приходские попечительства (19 718 в 1914 году<sup>29</sup>), и более 10 тыс. ассоциаций разного типа (точная цифра неизвестна). В России было самое большое в мире число кооперативов. В одной Москве в 1912 году действовало более шестисот ассоциаций, в Петербурге в 1917 году — около пятисот. В добровольные общества, не считая церковно приходские попечительства, было вовлечено около 5 процентов совершеннолетнего мужского городского населения<sup>30</sup>. Санкционированные правительством, ассоциации вошли в социальную жизнь необыкновенно быстро и отличались поразительным разнообразием миссий и проектов — от небольших благотворительных и сельскохозяйственных обществ в малых городах до клубов для отдыха и спорта — в больших. Ассоциации были всюду — в Санкт-Петербурге и Москве, в центрах национальных окраин, в губернских городах и даже в малых городах. Государственность быстро эволюционировала от самодержавия к конституционной монархии и в 1905 году стала таковой. Лозунг «Долой самодержавие!» в 1917 году был полным юридическим нонсенсом.



Именно большие и неоспоримые успехи политического развития страны обусловили возникновение в стране малочисленного, но сильного гражданского общества, способного бросить вызов старой элите и царизму. Великий князь Александр Михайлович так выразил эту мысль: «Трон Романовых пал не под напором предтеч советов или же юношей-бомбистов, но носителей аристократических фамилий и придворных званий, банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и др. общественных деятелей, живших щедротами империи. Царь сумел бы удовлетворить нужды русских рабочих и крестьян; полиция справилась бы с террористами. Но было совершенно напрасным трудом пытаться угодить многочисленным претендентам в министры, революционерам, записанным в шестую книгу российского дворянства, и оппозиционным бюрократам, воспитанным в русских университетах»<sup>31</sup>.

В политической борьбе за влияние над избирателями демократическая и либеральная оппозиция, как и ее оппоненты из правительственного лагеря, а после 1905 года — из проправительственных партий, использовала все доступные средства, что является нормой политической борьбы во всех демократических странах. В частности, кризисный, упадочный имидж России в конце XIX — начале XX века создавался кадетской, эсеровской и социал-демократической партиями намеренно, в борьбе за власть, с целью дискредитации своих политических противников. Парадигма кризиса и пауперизации использовалась для пропаганды идей революции и осуждения монархии.

Подозрение в подготовке и организации февральских событий 1917 года оппозицией неоднократно высказывалось современниками. А. Ф. Керенский писал в своих мемуарах о том, что под руководством А. И. Гучкова готовился дворцовый переворот, назначенный на середину марта 1917-го<sup>32</sup>. О подготовленности февральских событий свидетельствовал последний петроградский градоначальник генерал А. П. Балк<sup>33</sup>. «Подготовка к революционной вспышке весьма деятельно велась — особенно с начала 1917 года, — в рабочей среде и в казармах петроградского гарнизона», — утверждал, например, П. Н. Милюков. Предположительно либо Министерством иностранных дел Германии через большевиков, либо российской полицией. По его мнению, направляющая рука чувствовалась и в организации самого переворота: «Руководящая рука, несомненно, была, только она исходила, очевидно, не от организованных левых политических партий». Но «закулисная работа по подготовке революции так и осталась за кулисами. <...> Здесь мы касаемся самого темного момента в истории русской революции. Будущий историк прольет свет и на эту сторону дела; современнику остаются только догадки»<sup>34</sup>. Петербургский исследователь С. В. Куликов нашел новые данные, подтверждающие предположение, что в ходе февральских событий был реализован план, разработанный руководителями Центрального военно-промышленного комитета (ЦВПК) — лидером партии октябристов, председателем Бюро ЦВПК А. И. Гучковым и его соратниками по ЦВПК: левым кадетом Н. В. Некрасовым, прогрессистами А. А. Бубликовым, А. И. Коноваловым, М. М. Федоровым и беспартийным М. И. Терещенко, примыкавшим к прогрессистам. Это позволяет с большим основанием, чем прежде, предположить, что *падение царизма явилось не столько результатом стихийного движения снизу, сколько результатом революции сверху*, хотя в Февральской революции участвовали Дума, социалисты, масоны, рабочие и солдаты; и она несомненно включала стихийные проявления. Однако выступления рабочих и солдат, обеспечившие победу, долго и тщательно готовились — соответственно Рабочей группой ЦВПК и его конспиративной «военной организацией»: от замысла, созревшего осенью 1915 года, до его реализации прошло полтора года. Февральская революция произошла при финансовой поддержке не столько Германии, сколько русской буржуазии. Рабочие провоцировались на

забастовки намеренным закрытием предприятий; со стороны заводской администрации бастующие получали сочувствие и вознаграждение. Каждому солдату, вовлеченному в «военную организацию», ежедневно отпускалась из «революционного фонда» значительная сумма денег. Главными причинами успеха революции являлись союз, заключенный между либерально-демократической и революционной общественностью, а также признание нового порядка старой бюрократической элитой, значительная часть которой давно разделяла оппозиционные настроения<sup>35</sup>.

Борьба за власть как движущая сила **октябрьских** событий, их тщательная подготовка и организация мало у кого вызывают сомнения, как и то, что **февральские** события явились шагом к установлению большевистской диктатуры. Осталось признать, что и сами февральские события были хорошо подготовлены. В данном случае речь идет не о заговоре как таковом, а о подогревании недовольства и раздражения, провоцировании протестов, мобилизации неудовлетворенных режимом и организации массовых выступлений, которые заставили Николая II отречься от престола.

Таким образом, революция 1917 года, как, впрочем, и революция 1905-го, была обусловлена не столько социально-экономическими, сколько политическими факторами, в том числе блестящей PR-активностью противников монархии, а после февраля 1917-го — противников Временного правительства. Миф об обнищании населения занимала важное место в этих PR-кампаниях. С помощью четкого и продуманного общения с властями, посредством поддержания связей со всеми социальными группами и умелой манипуляции общественным мнением оппозиция смогла завоевать народ и повести его за собой. В этом смысле революции начала XX века мало отличались от произошедших в начале XXI века на постсоветском пространстве так называемых «бархатных»: «оранжевых», «розовых», «сиреневых» и им подобных революций. Все они имели лидеров, вдохновителей и организаторов, и вряд ли правильно считать их *стихийными*.

Теперь многие сознают, что вряд ли в феврале 1917 года стоило торопиться со свержением монархии, а в октябре того же года — со строительством нового социалистического общества, способного всех удовлетворить и сделать счастливыми. На мой взгляд, самым убедительным доказательством этого является тот факт, что в начале 1990-х годов свернутый в 1917 году режим пришлось реставрировать. За годы советской власти мы пережили то, что часто случается с обществами, которые стремятся перескочить под влиянием более продвинутых соседей через несколько социальных, экономических или политических фаз своего развития: подорвали жизнеспособность социума.

В 1970-е годы, вскоре после окончания американо-вьетнамской войны, было обнаружено, что исчезли горные кхмеры — крупное племя, находившееся на стадии палеолитической культуры и тысячелетиями жившее на территории Южного Вьетнама. Международная научная экспедиция, созданная для выяснения обстоятельств их гибели, установила, что горные кхмеры сами истребили себя после того, как им в руки попали американские карабины. Первобытные охотники, забросив лук и стрелы, за несколько лет уничтожили фауну и перестреляли друг друга, а оставшиеся в живых спустились с гор и ассимилировались в чуждой социокультурной среде. Гремучая смесь современных западных технологий с древними национальными традициями и обычаями привела к исчезновению этноса. Интересно, что разобраться в этой печальной истории помогли входившие в состав экспедиции антропологи, которые наблюдали подобные эпизоды в Азии, Африке, Америке и Австралии<sup>36</sup>.

Интересно, делают ли рекомендации власти российские историки, и прислушивается ли она к ним?

## Примечания

- <sup>1</sup> *Розов Н. С.* Цикличность российской политической истории как болезнь: возможно ли выздоровление? // *Полис*. 2006. № 2. С.74–89; *Янов А. Л.* Тень Грозного царя: Загадки русской истории. М., 1997; *Пантин В. И., Лапкин В. В.* Волны политической модернизации в истории России: К обсуждению гипотезы // *Проблемы и суждения*. 1998. № 2.
- <sup>2</sup> *Кантор В.* «...Есть европейская держава»: Россия: Трудный путь к цивилизации. Историческо-философские очерки. М., 1997. С. 467–477.
- <sup>3</sup> *Степняк-Кравгинский С. М.* Россия под властью царей. М., 1964. С. 351.
- <sup>4</sup> *Клюевский В. О.* Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 323, 335, 395.
- <sup>5</sup> *Кожурин Ю. Ф.* Модернизация и индустриализация России в контексте цивилизационного и стадийного подхода // *Индустриальное наследие*. Саранск, 2007. С. 167, 169, 170, 171.
- <sup>6</sup> Статистический ежегодник России. 1915 г. Пг., 1916. Пагинация I. С. 151.
- <sup>7</sup> *Грегори П.* Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в): Новые подсчеты и оценки. М., 2003. С. 22–23, 61–62.
- <sup>8</sup> *Миронов Б. Н.* Благополучие населения и революции в имперской России. М., 2010. С. 272–273, 636.
- <sup>9</sup> *Пушкин А. С.* Путешествие из Москвы в Петербург. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 7. С. 199–200.
- <sup>10</sup> *Миронов Б. Н.* Благополучие населения и революции. С. 655–660.
- <sup>11</sup> *Шидловский С. И.* Воспоминания. Берлин, 1923. Ч. 1. С. 5–6, 8.
- <sup>12</sup> Освобождение. № 23. 1903. С. 409. См. также: № 13. 1903. С. 207–208.
- <sup>13</sup> Освобождение. 1903. № 20/21. С.361.
- <sup>14</sup> Освобождение. № 23. 1903. С. 409–411.
- <sup>15</sup> *Давыдов М. А.* Очерки аграрной истории России в конце XIX — начале XX в. М., 2003. С. 181–237.
- <sup>16</sup> *Robbins R. G., Jr.* Famine in Russia, 1891–1892: The Imperial Government Responds to a Crisis. New York: Columbia University Press, 1975.
- <sup>17</sup> *Ермолов А. С.* Наши неурожаи и продовольственный вопрос. СПб., 1909. Ч. 1. С. 408–417.
- <sup>18</sup> *Фет А. А.* Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство / Вступ. статья, сост., подгот. текста и коммент. В. А. Кошелева и С. В. Смирнова. М., 2001.
- <sup>19</sup> *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1968. Т. 6. С. 59–60.
- <sup>20</sup> *Писарев Д. И.* Цветы невинного юмора // *Русское слово*. 1864. № 2. См. также: Писарев Д. А. Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. С. 96.
- <sup>21</sup> *Фет А. А.* Жизнь Степановки. С. 47.
- <sup>22</sup> *Шумахер П. В.* Стихотворения и сатиры. Л., 1937. С. 254.
- <sup>23</sup> *Макаров Н. П.* Социально-этические корни в русской постановке аграрного вопроса. Харьков, 1918. С. 16.
- <sup>24</sup> *Коцюнис Я.* Как крестьяне делали отстающими: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914. М., 2006. С. 152–171.
- <sup>25</sup> *Чудинов А. В.* Французская революция: История и мифы. М., 2007. С. 282.

- <sup>26</sup> Мелихов А. М. (1) Борьба с ничтожностью: психология против экономики // Нева...; (2) Муза мести и печали // Нева. 2010. № 2.
- <sup>27</sup> Миронов Б. Н. Благополучие населения и революции в имперской России. М., 2010. С. 670–671.
- <sup>28</sup> Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи: генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 2003. Т. 2. С. 261–270; Bradley J. Russian Voluntary Associations: Science, Patriotism and Civil Society in Imperial Russia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.
- <sup>29</sup> Ульянова Г. Н. Благотворительная деятельность в Российской империи как реализация идеи «гражданской сферы» // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи: Вторая половина XIX – начало XX века / Б. Пиетров-Эннкер и Г. Н. Ульянова (отв. ред.). М., 2007. С. 118.
- <sup>30</sup> Миронов Б. Н. Благополучие населения и революции. С. 663.
- <sup>31</sup> Романов Александр Михайлович, вел. князь. Книга воспоминаний. М., 1991. С. 162–163.
- <sup>32</sup> Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1993. С. 105–107.
- <sup>33</sup> Гибель царского Петрограда. Февральская революция глазами градоначальника А. П. Балка. Публ. В. Г. Бортневского и В. Ю. Черняева. Вступ. ст. и комм. В. Ю. Черняева // Русское прошлое. 1991. Кн. 1. С. 26–28.
- <sup>34</sup> Милуков П. Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 37, 39.
- <sup>35</sup> Куликов С. В. «Революции неизменно идут сверху...»: Падение царизма сквозь призму элитистской парадигмы // Нестор. 2007. № 11: Смена парадигм: Современная русистика. СПб., 2007. С. 117–185.
- <sup>36</sup> Пегов С. А., Пузагенко Ю. Г. Общество и природа на пороге XXI века // Общественные науки и современность. 1994. № 5. С. 146–151.

---

---

Александр БЕЗЗУБЦЕВ-КОНДАКОВ

## СПЯЩИЙ РЕЖИМ

### Соцреализм отдыхает

Этот фильм может быть назван притчей, интеллектуальной игрой или шарадой, которая не имеет разгадки. С тем же успехом его уместно будет именовать политическим манифестом, образчиком конспирологии или антиутопией.

Во всяком случае, снятый в 1988 году режиссером Кареном Шахназаровым по сценарию Александра Бородянского фильм «Город Зеро» по сей день воспринимается как послание, запечатанное в бутылку и брошенное в море с борта тонущего корабля.

Советский зритель с большим интересом смотрел фильм «Город Зеро», но вряд ли мог до конца «расшифровать» его замысел, скорее всего обращенный в будущее, к тем зрителям, которые смогут воспринять произведение Шахназарова в контексте позднесоветского времени.

Гибель социализма заставила советского человека оказаться в мире, который казался пугающим, нелогичным и безнравственным. Новая реальность была похожа на кошмарный сон. Именно эту метаморфозу и положил в основу сюжета Карен Шахназаров, снявший фильм о человеке в *гужом мире*. Причем в этот *гужой мир* герой фильма попадал, никуда не выезжая из своей страны. Годом раньше в прокат вышел фильм Георгия Данелия «Кин-дза-дза», герои которого — советские граждане: прораб Владимир Николаевич Машков и студент-скрипач Гедеван, — оказываются на планете Плюк далекой галактики. Реальность, в которой очутился герой «Города Зеро», не менее фантастична, чем жизнь галактики Кин-дза-дза, но с той лишь разницей, что в фильме Данелия фокус с перемещением был вызван неосторожным нажатием кнопки на странном приборчике, попавшем в руки прораба Машкова. Однако инженер Варакин из фильма Шахназарова никаких кнопочек не нажимал, а просто приехал в командировку в провинциальный советский городишко, чтобы там «утрясти» производственный вопрос на машиностроительном заводе.

Кинокритик Татьяна Воронецкая справедливо отмечает, что завязка фильма «Город Зеро» во многом стандартная для соцреалистического кинематографа, и у зрителя складывается впечатление, будто он смотрит «фильм на производственную тему с элементами лирики»<sup>1</sup>. Действительно, зритель попадает в ловушку и испытывает неподдельный шок, когда зашедший в приемную директора завода Варакин (актер Леонид Филатов) с удивлением обнаруживает, что сидящая за пишущей машинкой

---

Александр Евгеньевич Беззубцев-Кондаков родился в 1980 году. Писатель, аналитик, начальник издательского отдела продюсерского центра «Кремлин мультимедиа». Секретарь правления Союза писателей России. Лауреат премии губернатора Санкт-Петербурга в области литературы и искусства. Автор 15 книг прозы и публицистики, среди которых: «Три черных омута», «Светлейший князь», «Почему это случилось? Техногенные катастрофы в России», «Деньги, девки, криминал. Как компромат управляет Россией», «Литература как шестое чувство». Живет в Санкт-Петербурге.

секретарша — совершенно голая. Варакин ошеломлен, а заходящие в приемную люди почему-то не обращают на наготу секретарши никакого внимания, не видит этого и директор завода (актер Армен Джигарханян), к которому Варакин обращается с недоуменным вопросом. В этот момент зритель понимает, что под оболочкой соцреализма скрывается антиутопия, которая разоблачает «слепоту» повседневной жизни: «Вы — слепцы! Вы не видите, кто рядом с вами!» — словно бы говорит автор фильма. Сцена с голой секретаршей — злая пародия на социалистический реализм, на «производственную лирику», на фильмы и книги в стиле «любовь и сварка», на истории о мудрых секретарях партийных организаций и совестливых ударниках производства. Это была взрывная провокация, острая подмена, сравнимая с тем, как если бы физкультурницы Александра Дейнеки были изображены стриптизершами в ночном клубе. Соцреализм объявлен ложью. Вывернут на изнанку и отброшен. Здесь Шахназаров вплотную приблизился к дискурсу *соц-арта*, то иронично, а то глубокомысленно обыгрывавшего знаки и символы «совковой» действительности.

Вокруг Варакина разворачиваются события в духе психоделии. Решить простой производственный вопрос ему так и не удалось, потому что на заводе недавно погиб главный инженер: «*В резке утонул!*» — меланхолично сообщает голая секретарша. Затем Варакин уныло обедает в пустом ресторане, где брутального вида официант подает ему на десерт странное блюдо — торт в виде человеческой головы, в облике которой инженер с ужасом узнает собственные черты. Когда же он отказывается пробовать зловещий торт, то повар Николаев, который наблюдает за Варакиным из кухни, немедленно кончает с собой, застрелившись.

В кассе вокзала билетов до Москвы нет, и Варакин вынужден остаться в этом странном городе.

Спустя несколько часов он случайно оказывается в краеведческом музее, экскурсовод которого рассказывает удивленному инженеру о том, что этот провинциальный город может быть назван «столицей мира», ибо он так или иначе связан почти что со всеми ключевыми моментами человеческой истории. Наиболее древние экспонаты относятся ко времени падения Трои, и именно троянцами якобы был основан этот странный российский город Зеро. Во времена Нерона римская когорта, оказывается, также побывала здесь. Среди экспонатов музея — и кровать вождя гуннов Аттилы, и бальзамированная голова Лжедмитрия. Оказывается, в городе одну ночь провел бежавший из ссылки Сталин. «В правде истории — источник нашей силы», — гласит лозунг на стене краеведческого музея. Здесь все переплетено и запутано: троянцы, легионеры, гунны, анархисты и батька Махно, соцреализм, ударники и рок-н-ролл. Взгляд инженера Варакина выражает то недоумение, то ужас — привычное представление об истории рушится. Экскурсовод краеведческого музея (актер Евгений Евстигнеев) своим повествованием заставляет вспомнить знаменитую летопись города Глупова: «*Был... в древности народ головотяпцами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря*»<sup>2</sup>. По сути, перед посетителем музея Варакиным происходит рождение новой истории — она создается буквально на его глазах из обломков далеких и близких эпох. Краеведческий музей города Зеро — это предвестник постмодернизма, превращающего космос в хаос, уравнивающего правду и вымысел. Не нажимая никаких кнопочек машины времени, Варакин перенесся в век торжествующего постмодерна и насытился его интеллектуальными десертами.

Здесь возникает очевидная, на наш взгляд, аналогия с рассказом Владимира Набокова «Посещение музея», герой которого так же, как и Варакин, оказывается в музее случайно, спасаясь от дождя, но именно сюда он, оказывается, должен был прийти, чтобы выполнить поручение парижского приятеля — «симпатичного чудака»<sup>3</sup>, кото-



рый искал портрет своего деда. Таким образом, в посещении героем музея совпали случайность и закономерность. Экспонаты краеведческого музея города Зеро порой напоминают описанные Набоковым предметы — человеческие головы, саркофаг и куклы в мундирах, а главное, и Варакин, и герой рассказа, очевидно, испытывают одно и то же чувство: «...мне хотелось поскорее выбраться из не нужно удлинившегося музея... Мне уже было непередаваемо страшно...»<sup>4</sup> Оба героя мучительно блуждают в «нереальной дряни»<sup>5</sup> музейной экспозиции, которая выглядит фантастично и пугающе. О том, что музей связан с переживанием «священного ужаса», писал Поль Валери<sup>6</sup>, заметивший, что посещение музея не всегда означает духовную радость и возможность встречи с возвышенным. Музей разрушает привычную систему ценностей, отгораживая реальность пуленепробиваемым стеклом. Есть еще одна яркая совпадающая деталь: герою рассказа Набокова для покупки музейного портрета требуется получить согласие мэра города, но мэр умер, а новый не избран. Точно так же случалось и с Варакиным: главный инженер завода умер, а новый еще не назначен. И в том, и в другом случае требуется согласование с покойным, и именно с этим, по-видимому, связана атмосфера «нереальной дряни», заставляющей людей совершать нелогичные поступки. Герой Набокова понимает, что, придя в музей провинциального города, он «исполнял поручение чужого безумия»<sup>7</sup>. После мучительных блужданий в музее он выбирается на волю, но выходит не в реальный городок благополучной и тихой Европы, а в метафизическое пространство России: «Полупризрак в легком заграничном костюме стоял на равнодушном снегу, октябрьской ночью, где-то на Мойке или на Фонтанке, а может быть, и на Обводном канале, — и надо было что-то делать, куда-то идти; бежать, дико оберегать свою хрупкую, свою незаконную жизнь»<sup>8</sup>. Это было возвращение из эмиграции, внезапное обретение России, которое, однако, не доставило радости, ибо этот путь на родину был проложен «чужим безумием». Набоков знает, в какую Россию (октябрьской ночью, возможно, в очередную годовщину пролетарской революции) вернулся его испуганный герой: «Это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная»<sup>9</sup>.

Герой Владимира Набокова знал, чье безумие привело его в странный музей. Инженер Варакин не знает, кто манипулирует им, кто затеял весь этот оживший кошмар.

Не знает этого и зритель фильма «Город Зеро».

### Ночь света

Очевидно и сюжетное родство фильма «Город Зеро» с культовой повестью Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Сходство начинается с все с того же образа музея, который является постмодернистской «моделью», или «матрицей», изменившейся на глазах героя действительности. Герой повести Стругацких Александр Привалов, программист из Ленинграда, случайно оказывается в городе Соловец. Попутчики устраивают его на ночлег в музее научно-исследовательского института чародейства и волшебства — изнакурнож (изба на курьих ножках). Происходящее здесь кажется Привалову таинственным и необъяснимым: говорящий кот, волшебная щука из колодца, огнедышащий дракон, которого везли на грузовике. Вокруг вдоволь чудес. «Все мы наивные материалисты... — размышляет Привалов, пытаясь объяснить окружающую его фантастическую реальность. — И все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все было объяснено рационалистически, то есть сведено к горсточке известных фактов. И ни у кого из нас ни на грош диалектики. Никому в голову не приходит, что между известными факта-



ми и каким-то новым явлением может лежать море неизвестного...»<sup>10</sup> Варакин и Привалов — советские люди, технари и «наивные материалисты», которые привыкли жить в привычной системе координат «совковой» повседневности. Но, оказавшись в практически одинаковых нестандартных условиях, они ведут себя совершенно по-разному. В отличие от Варакина, Привалов избирает позитивную стратегию поведения: он принимает действительность, смирившись с ее невероятностью, становится таким, как все жители города и как все сотрудники института. Он проходит инициацию, и пророчество «*Вы никогда не уедете из этого города*» вряд ли испугает его так, как испугало Варакина. Стругацкие написали социальную утопию, в которой «наивные материалисты», инженеры и программисты обретают новую счастливую действительность, построенную на творческом и бескорыстном труде. «Совковую» реальность можно преобразить, примирить «физиков» и «лириков», вдохнуть в нее свежие силы и дух свободы — вот что явственно читалось между строк «Понедельника...».

Повесть братьев Стругацких, как вспоминает Борис Вишневский, призвала читателей к «свободе, которая, как мы рано или поздно начинали понимать, не придет из сказки сама собой. За которую надо драться...»<sup>11</sup> Программист Привалов сумел «перепрограммировать» сознание читателей, для которых «Понедельник начинается в субботу» стал таким же «программным» текстом, как для «других» шестидесятников роман «Что делать?». Для обретения свободы нужно прежде всего освободиться самому, духовно раскрепоститься, что с успехом сделал программист Привалов.

Для героя социальной утопии Стругацких город Соловец — это преображенная реальность, которая не угнетает, а заставляет искать в себе новые творческие силы, становится таким же чародеем, как и все окружающие люди. То, что Варакин воспринимает как *абсурдное*, Привалов воспринимает как *гудесное*. Если Варакин подсознательно тоскует по «светлой ночи», но Привалов ее реально обретает. В Соловце «ночь светла», это мистическая белая ночь преображенного сознания, которое одинаково органично воспринимает и советскую повседневность, и языческую атмосферу Древней Руси. Варакин попал не в «черную дыру», где гибель неминуема, он оказался в городе, где вполне можно жить. Тем более что если в Москве он был одним из многочисленных инженеров, ничем не приметным советским гражданином, то здесь, в городе Зеро, он один из главных героев монументального мифа.

Но где же расположен город Зеро? Насколько далеко от светлого Соловца? И почему герой попал в чужой мир, не выезжая за пределы Советской страны?

Предположим, что находится он в описанной культурологом Михаилом Эпштейном «параллельной» стране Совь — в великой полночной стране. Описать Совь невозможно извне, она закрыта для стороннего взгляда. Но и проникнуть в это общество непросто, чужак здесь сразу виден и вызывает подозрение, как вызывает подозрение обычный на первый взгляд гражданин Варакин. Граждане страны Совь, или — совейцы<sup>12</sup>, живут на территории, которая постоянно расширяется, и думают, что «даже если мы изо всех сил будем удерживаться в собственных границах, сами границы поведут нас за собой»<sup>13</sup>. Они словно бы имперцы поневоле и свято верят, что их цивилизация рано или поздно поглотит весь мир, погрузив его в сумрак. Они — граждане Ночи и считают, что «Сова — это будущее человечества, потому что сумрак — это будущее вселенной»<sup>14</sup>.

Мировоззрение страны Совь так формулируется ее идеологами: «Советь нам и советь, как учил великий учитель. Полусон-полуявь — это и есть завидная наша судьба и неразъемная цельность»<sup>15</sup>.

Во времена, о которых рассказывает «Город Зеро», государство оказалось в состоянии «*спящего режима*», когда власть словно бы впала в забытие, летаргию. И, на-

верное, не случайно, что среди окружающего сновидческого кошмара инженеру Варакину вдруг вспоминаются слова романа «Ночь светла». А ведь для совеющих граждан Ночи ночь всегда светла. Стала она светлой и для программиста Привалова. Показательно, что большая часть действия фильма «Город Зеро» происходит в темное время суток, в сумерках или ночью. Варакин — единственный пассажир, который с чемоданом в руке, окруженный атмосферой пасмурной сиротливости, сходит с поезда на неуютно освещенный белесыми фонарями перрон города Зеро. И в краеведческом музее Варакин появляется ночью, и пытается сбежать из города тоже под покровом темноты. Точно так же герой Франца Кафки приходит ночью к Замку, который во мраке «не давал о себе знать ни малейшим проблеском света»<sup>16</sup> — приходит не просто к Замку, а к новой реальности, которую не так просто понять и принять. Сцена на заводской проходной, когда озадаченный Варакин звонит кому-то по висящему на стене телефону, пытаясь объяснить, что на него должен быть заказан пропуск, также напоминает Кафку: в начале романа герой К. слушает телефонные переговоры, где обсуждается его право входа на территорию Замка в качестве графского землемера. В обоих случаях телефонные переговоры с всеильной канцелярией заканчиваются милостивым разрешением войти в тот мир, откуда для героев уже не будет выхода... Обычная заводская проходная становится мистической дорогой в Замок Франца Кафки. И у героя Кафки, и у Привалова, и у Варакина — *свой* Замок, где им суждено либо выжить, либо погибнуть. Какой ты — таков и *твой* Замок.

Задумаемся, ведь город Зеро носит совершенно «ножное» название. Ноль часов ноль минут — это мистическое полуночное время, время Зеро. С нуля начинается отсчет времени в новых сутках. Привычно считать, что ноль — это ничто, арифметический знак отсутствия, но, например, температура в ноль градусов — это ведь отнюдь не отсутствие температуры, а ноль часов — это не отсутствие времени. Так и город Зеро — это отнюдь не «пустое место», а, наоборот, это социум, живущий яркой и динамичной жизнью.

Если Кампанелла описал Город Солнца, грядущее государство совершенного социального порядка, то город Зеро — это царство ночи, где вместо «солнечной» гармонии Кампанеллы — смешение и хаос. Это Город Луны, Город Ночи. В послереволюционной и сталинской России, по известным словам Владимира Маяковского, «в сто сорок солнц закат пылал», тем самым предвещая скорый «совеющий» сумрак и летаргическую полярную ночь «застоя», «спящий режим» конца 80-х. «Утомленные солнцем» — так назвал Никита Михалков свой фильм (1994 г.) о сталинизме: слишком ярко, слишком горячо, скорей бы настал вечер, а затем ночь... И ночь настала для «утомленных солнцем» советских людей.

Город Зеро — это явление того же порядка, что и Замок Франца Кафки. Герой «Замка», размышляя о представителях власти, начинает понимать, что, «уклоняясь от борьбы, они вместо того включали его во внеслужебную, совершенно непонятную, унылую и чуждую ему жизнь»<sup>17</sup>. Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, власть Замка принуждает к безоговорочному подчинению, а с другой, как выясняется, «никакие указания, идущие из Замка, нельзя воспринимать буквально»<sup>18</sup>, поскольку они допускают множественность толкований. При буквальном исполнении обнажается весь абсурд этих указаний. Показательно, что главными носителями абсурда в городе Зеро являются представители государственной власти: председатель горисполкома, прокурор, следователь. Слово «абсурд» инженер Варакин впервые произносит, давая свидетельские показания по факту происшедшего на его глазах самоубийства повара Николаева. Но было бы неверно говорить о Варакине как о жертве абсурда. Нет сомнения, что он *заслужил* тот абсурд, в котором оказался. Он

заслужил его в той же степени, как Грегор Замза заслужил «право» стать насекомым. Как его заслужили советские граждане, которые с удовольствием поносили советскую систему, высмеивали своих лидеров в анекдотах, вели откровенно антигосударственные речи на кухнях, презирали тех своих знакомых, которые делали партийную карьеру. Эти люди не были диссидентами, хотя и слушали «вражьи голоса», они чаще всего читали самиздат, но редко имели мужество в этом признаться, они с тайным восхищением смотрели на иностранных туристов, завидуя их внешнему виду, улыбочности и раскованности. Такие советские инженеры, как Варакин, никогда бы не воскликнули: «*Как сладостно Отгизну ненавидеть*», даже наоборот, они искренне считали себя патриотами, гордились своими отцами и дедами, выигравшими величайшую из войн. Но для себя они не искали ни подвигов, ни романтики, и в их жизни уже не было идей, за которые можно пожертвовать собой. Они жили не идеологическими, а материальными ценностями, хотя, как правило, не признавались в этом даже самим себе. Кинокритик Татьяна Воронцовская справедливо пишет про героя Леонида Филатова, что этот человек — «традиционный, как сама традиционность, с портфелем, в сером плаще, с унылой физиономией»<sup>19</sup>. Возможно, именно так выглядел герой «Замка» Франца Кафки. Лицемерие этих людей, которые на работе были образцовыми советскими гражданами, а у себя дома — инакомыслящими, и создало *систему государственного абсурда*.

Получив первое письмо от представителя замковой власти, герой Кафки поражен тем, что «письмо было неодинаковое, в некоторых фразах к нему обращались как к свободному человеку, чью личную волю признают... Но были такие выражения, в которых к нему скрыто или явно относились как к ничтожному, почти незаметному с высокого поста работнику, будто высокому начальству приходилось делать усилие, чтобы “не терять его из виду”...»<sup>20</sup> Но герой Франца Кафки не знал фундаментального тезиса советской философии, который был очень хорошо известен инженеру Варакину: «Свобода — это осознанная необходимость», — тезис, собственно, недвусмысленно означающий, что свободы по определению не существует. Поэтому, видимо, прав был сатирик Михаил Жванецкий: «Наша свобода — это то, что мы делаем, когда никто не видит. Стены лифтов, туалеты вокзалов, колеса чужих машин. Это и есть наша свобода. Нам руки впереди мешают. Руки сзади — другое дело»<sup>21</sup>. Обратим внимание, что, не совершив ничего противозаконного, инженер Варакин готов был признать себя преступником — уже потому только, что он почувствовал себя «инакомыслящим», чужим в городе Зеро. *А гужой — всегда нарушитель*. И герой Кафки, и Варакин стремятся стать в *гужом* обществе *своим*, войти в систему: «Несвобода настолько вкоренена в человека, что он сам ищет себе оковы, ищет Инстанцию, которая его «зарегистрирует», то есть помучает волокистой. Такую Инстанцию герой обретает в Замке»<sup>22</sup>, а Варакин — в городе Зеро. Как любой советский человек, Варакин отлично знал, что главные решения в его жизни принимаются властью, а следование этим решениям как раз и является проявлением личной свободы гражданина, который по доброй воле осознает правильность и мудрость политики партии и правительства. Абсурд этих партийно-государственных решений становится и абсурдом личного существования гражданина, принимающего этот абсурд все с той личной свободой. Поэтому Варакин пытается загнать энергию бунта и неповиновения внутрь себя, стараясь внешне играть по правилам, которые навязал ему этот странный город Зеро. И даже попытку бегства он совершает, только когда прокурор города говорит ему: «*Бегите!*» По-другому нельзя, ведь инженер Варакин — дисциплинированный советский человек. Ему сказали «сиди здесь» — сидит с осо-

знанием необходимости сидеть, сказали «беги» — он и побежал с каким-то механическим послушанием. Александр Зиновьев писал, что советского человека, сколь бы странным это ни показалось, совершенно невозможно поставить на колени, потому что «при коммунизме запрещено стоять на коленях. При коммунизме человек обязан стоять по стойке “смирно“»<sup>23</sup>. Так и стоит инженер Варакин.

Абсурд начинает «зашкаливать», когда оказывается, что повар Николаев, который покончил с собой на глазах Варакина, на самом деле его отец. И Варакину не остается ничего другого, кроме как признать совершенно невероятную на первый взгляд мысль, что он — действительно сын повара Николаева, который вошел в историю города Зеро как первый человек, исполнивший на вечеринке во Дворце молодежи в 1957 году рок-н-ролл и за это поплатившийся своей карьерой в ОБХСС. «Ничего подобного наш город не видел со времен мятежа левых эсеров», — говорит об отчаянном поступке Николаева писатель Василий Чугунов (актер Олег Басилашвили). Впервые о Николаеве Варакин услышал от хранителя краеведческого музея во время ночной экскурсии, а сейчас на его глазах уже конструируется героический миф о его мнимом отце. И московскому инженеру предлагают стать сыном легендарного диссидента, которого партийные органы города Зеро посмертно решили сделать героем перестроечных времен. Вместе со своим мнимым отцом и сам Варакин становится героической личностью, он попадает в среду городской элиты, произносит речи и имеет возможность купаться в лучах славы, хотя и не получает радости от навязанной ему роли сына повара Николаева. Варакин так же невольно становится сыном диссидента, как герой Кафки — графским землемером в Замке.

Варакин отчетливо сознает, что в городе Зеро ему противостоит некий интеллект, организованный по чуждой для него логике. О феномене такого противостояния писал Александр Зиновьев: этот интеллект «не сконцентрирован в одной личности, а рассеян во всем окружающем пространстве. Он не окрашен никакими эмоциями. Педантичен. Примитивен. И одновременно грандиозен»<sup>24</sup> — этим он ужасает и одновременно притягивает. До того совершенно здоровый человек, в городе Зеро Варакин начинает проявлять все симптомы такого расстройства, как *социопатия* — то есть неспособность понять этические, моральные и логические нормы окружающего общества. Он понимает, что происходит «*то-то не то*», но не может сформулировать, что именно.

Варакин бежит из города Зеро. Но далеко ли он сможет убежать? Так или иначе, здесь, в этом городе, он начал новую жизнь. Эта командировка изменила «картину мира», которая казалась советскому инженеру незыблемой.

### Тень Нострадамуса накрыла город

Предсказание судьбы — одна из ключевых сцен «Города Зеро».

Ребенок с глазами мудреца говорит Варакину, что он никогда не уедет из этого города, здесь умрет и будет похоронен на городском кладбище.

Именно эта провокативная сюжетная ситуация заставляет таких интерпретаторов фильма «Город Зеро», как Сергей Кара-Мурза, искать в фильме якобы предпринятые Шахназаровым явные и скрытые попытки пророчества о будущем крахе социализма.

Героиня фильма «Город Зеро», загадочная и элегантная Анна (женщина совершенно «несоветского» стиля), мимоходом говорит Варакину о прорицателе Нострадамусе. Накануне гибели Советской империи, как это всегда бывает в эпоху смутного времени, в обществе возник большой интерес к астрологии, оккультизму и уфоло-

гии. Общество больше интересовалось летающими тарелками, чем экономической программой «500 дней». Вспомним хотя бы телевизионные сеансы врачевания Чумака и Кашпиоровского, увлечение которыми носило несомненный характер социальной истерии и психической эпидемии. Сейчас любопытно порассуждать о том, что было бы, если бы Анатолий Кашпиоровский не в 1993 году стал баллотироваться в Государственную Думу России, а на несколько лет раньше заявил бы о политических амбициях. На фоне беспомощности политической элиты «спящего режима» психотерапевт Кашпиоровский стремительно набирал рейтинг популярности. И миллионы «подопытных кроликов», у которых рассосались рубцы, исчезла седина и восстановилась потенция, ринулись бы голосовать за доктора Кашпиоровского на выборах первого президента России. Каким бы стал политический режим «новой России»? Психотерапевтический тоталитаризм?.. Мистический капитализм?.. Мистика на закате коммунизма стала не только альтернативой казенному материализму, но и способом объяснить те катастрофические процессы, которые все с большей отчетливостью проявлялись в советской повседневности.

Проблема безумия, которое охватывает не отдельных людей, а целое общество, затрагивается Кареном Шахназаровым во многих фильмах. В «Цареубийце», изобразив палача царской семьи Якова Юровского пациентом психиатрической клиники, Шахназаров словно бы поставил «диагноз» государству, возникшему на крови умученных в Ипатьевском доме. Вышедший на экраны в 1993 году фильм Шахназарова «Сны» еще теснее связывает две эпохи революционного безумия, чем его «Цареубийца». 93-й — год, который можно назвать годом гражданской войны в России. Расстрел парламента, резкая поляризация общества, бескомпромиссная борьба власти и оппозиции, бесконтрольный криминалитет... Карен Шахназаров вспоминает, что работу над «Снами» он заканчивал «под грохот канонады», когда танки обстреливали Белый дом. *«Это в какой-то степени символично, потому что картина отражает ту эпоху и в фарсовой форме отражает начало ельцинизма, этой эры. В фильме есть фраза, которую произносит Басилашвили: «Массовое впадение в идиотизм» [...] В этом времени не было ничего, что вызывает у меня симпатию. Время ларьков, продажи орденов времен Великой Отечественной войны на улицах и всевозможных конкурсов разных частей женского тела»,* — говорит Карен Шахназаров. Сам Шахназаров определяет жанр фильма «Сны» как «политическую сатиру». Супруга царского сановника графиня Прозорова, засыпая, переносится в конец XX века, где она работает посудомойкой в общепитовской столовой, а также позирует для порнографических снимков, которые затем ее сожитель продает на Арбате. Графиню, которая в своих пророческих снах видит Россию 1990-х годов, современники начинают считать сумасшедшей. А она и сама не в силах объяснить, кто такие «валютные проститутки» и чего хотят «путчисты», с которыми сражаются «демократы». Да и как царскому сановнику Прозорову поверить в то, что в 1993 году члены «демократического правительства» России, увидев эротическую фотосессию его супруги-графини, немедленно примут решение назначить ее министром экономики?.. Графиня — такая же рабыня своих невероятных снов, как Варакин — узник города Зеро. Сначала они пытаются сопротивляться окружающему абсурду, но вскоре их воля оказывается сломленной, сон победил явь. В какой-то момент начинает казаться, что графиня Прозорова видит Россию 1990-х годов отнюдь не в снах, а реально живет в этом времени, точнее — живет в двух временах, соединяя собой эпохи. Граница между сном и явью стирается.

В последнее десятилетие существования Советского Союза на экраны вышел целый ряд фильмов, объединенных темой «смешения эпох»: это и «Гостя из будущего»



го» П. Арсенова (1985), и «Визит к Минотавру» Э. Уразбаева (1987), и «Зеркало для героя» В. Хотиненко (1987), и «Вход в лабиринт» В. Кремнева (1989). В этих фильмах нашло отражение ощущение зыбкости времени, исторического провала между дряхлеющей советской империей и новым общественным строем, который в муках рождался с середины 80-х годов. Для советских людей время перестало быть монолитным, потеряло форму и стало текучим, а прошлое оказалось противоречивым... Если в известном фильме Владимира Хотиненко «Зеркало для героя» персонажи из перестроечных времен переносятся в конец 1940-х годов и пытаются предотвратить трагедию (взрыв на угольной шахте под Донецком), то героиня «Снов» невольно предостерегает своих современников от той деградации, которую она видит в своих вещих снах. А в детском фильме «Гостья из будущего» Алиса Селезнева, попавшая из будущего в Советский Союз 80-х годов, перед своим возвращением в «родное» время рассказывает своим друзьям — московским школьникам, — какая их ждет судьба, кто станет инженером, кто путешественником, кто поэтом. Но Алиса ни слова не говорит о том, что ее друзья станут свидетелями трагических времен. И, словно в подтверждение верности ее пророчеств, звучит песня Евгения Крылатова на стихи Юрия Энтина «Прекрасное далёко».

*Прекрасное будет, но оно очень далеко.*

Неужели ни один из учеников московской школы № 20, где училась Алиса Селезнева, не станет, например, жертвой террористического акта, не погибнет в вооруженном конфликте, не окажется бомжом?..

Алиса, если она действительно живет в будущем, конечно же, знала, что оказалась в обреченной на скорую гибель стране, но ничего не сказала об этом...

### **Тайна Шахназарова-старшего**

Наверное, самый оригинальный способ «прочтения» фильма предложил публицист Сергей Кара-Мурза, который увидел в «Городе Зеро» изложение «программы перестройки». «В нем показано, как можно за два дня довести нормального и разумного советского человека до состояния, когда он полностью перестает понимать происходящее, теряет способность различать реальность и продукты воображения, в нем парализована воля к сопротивлению и даже к спасению, — полагает С. Кара-Мурза, — Вся перестройка Горбачева и была такой программой, и когда советских людей довели до такого состояния, как героя фильма, можно было безопасно сделать абсолютно все: расчленив СССР, ликвидировать советскую власть и все социальные права граждан, отнять собственность и даже личные сбережения»<sup>25</sup>.

Само по себе симптоматично, что Кара-Мурза рассматривает фильм Шахназарова с позиций «теории заговора».

Для того, чтобы укрепить свою конспирологическую концепцию, Сергей Кара-Мурза прибегает к такому «козырю»: он напоминает читателю, что отец режиссера Карена Шахназарова — Георгий Хосроевич Шахназаров, помощник Генерального секретаря ЦК КПСС и Президента СССР, один из самых сведущих людей в позднесоветской политической элите. Кстати, Карен Шахназаров сказал однажды, что «Город Зеро» — один из любимых фильмов Михаила Горбачева<sup>26</sup>. Чем же нравится этот фильм творцу перестройки, который, как он сам признавался, сознательно шел к демонтажу социалистической системы? По логике Кара-Мурзы, Шахназаров-старший допустил «утечку» информации о том, что запущен в действие план по разрушению страны, а Шахназаров-младший пересказал советскому зрителю от-



цовское послание на языке кино. Вопрос только: зачем он выдал отцовский секрет?

По этой логике, фильм Шахназарова мог бы стать составной частью знаменитой операции «Голгофа», которую бурно обсуждали в середине 90-х. В 1995 году бывший генерал КГБ Михаил Любимов выступил в прессе с сенсационным заявлением о том, что и горбачевская перестройка, и введение рыночной экономики, и роспуск СССР были спланированы Юрием Владимировичем Андроповым для того, чтобы навсегда «отвратить» советских людей от соблазнов капитализма. Отношение к «Операции “Голгофа”» у читательской публики середины 1990-х было гораздо более серьезным и взволнованным, чем этого заслуживал откровенно пародийный текст отставного кагэбэшника. Сама публикация «Операции “Голгофа”» в 1995 году (за год до выборов Президента России) была своего рода спецоперацией, которая способствовала укреплению шаткого режима Ельцина. Чтобы разбить версию об управлении разрушении Советского Союза, нужно было довести эту версию до абсурда. Нужно было перевести ее в разряд мифа, наполнить фантастическими подробностями. Все это с блеском проделал Михаил Любимов. Его скандальная статья — это тоже своего рода соц-арт в стиле Дмитрия Пригова и Эрика Булатова. Крах Советского Союза превращен в анекдот — весьма забавный, насквозь литературный. «Когда я позвонил в офис издательского холдинга «Совершенно секретно», чтобы уточнить номер давешней публикации, — пишет Александр Рекемчук, — мне прежде всего стали объяснять, что это шутка, мистификация, игра ума, в общем — сказка. И по унылому тону объяснений я понял, что не одинок в своем интересе к «Операции “Голгофа”», что звонят беспрестанно, а там уверяют, мол, шутка, сказка...»<sup>27</sup>

Если перестройка была прекрасно продуманным планом насаждения дикого капитализма, то фильм Шахназарова стал одним из инструментов «манипуляции сознанием» доверчивых советских граждан. В своих построениях Кара-Мурза исходит из якобы очевидного тезиса о том, что абсурд наполнил жизнь россиян только во время перестройки. Между тем всякий, кто смотрит на отечественную повседневность без иллюзий, знает, что жизнь советского человека ежедневно была наполнена совершеннейшим абсурдом, но Кара-Мурза — певец советизма, а потому рассматривает запечатленные в фильме «Город Зеро» формы коллективного помешательства как проявление «методик наших губителей-манипуляторов»<sup>28</sup>. То есть «губители» — это некие внешние силы, которые навязывают человеку аномальные формы поведения. Кстати, при всей серьезности изложения текст Кара-Мурзы воспринимается столь же пародийно, что и повествование Михаила Любимова об «Операции “Голгофа”». Однако фильм Шахназарова не только не подтверждает конспирологическую концепцию Кара-Мурзы, но ее разрушает. Ведь у Шахназарова нет никакой «внешней силы», нет никаких «манипуляторов», зато показано общество, живущее по таким внутренним законам, которые стороннему наблюдателю кажутся чистым безумием. Но у этого «безумия» есть четкая внутренняя система, есть логика поведения каждого человека, который является жителем города Зеро. И инженер Варакин должен сделать выбор: либо стать, как все, отказавшись от привычного взгляда на жизнь, либо сойти с ума от невозможности понять происходящее. Может быть, потому-то и нравится фильм «Город Зеро» Михаилу Горбачеву, что он снимает с него, первого и последнего Президента СССР, ответственность за распад государства, которое было обречено по причине абсолютного торжества мрачного абсурда во всех сферах жизни?

Сергей Кара-Мурза затруднился ответить на вопрос: «Предписывает ли фильм программу разрушителям (то есть служит ли он им методикой), или он *предупреждает* об опасности?»<sup>29</sup> В духе «проекта будущего» трактовала загадочный фильм Шахназарова и национал-большевистская газета «Лимонка»: «Шахназаров просто видел близкий финал и говорил об этом.... С персонажами картины и их обществем все ясно. Но эти упыри потащили за собой и Россию, выставили ее крайней в своем невежественном мещанстве, сделали изнасилованной жертвой круговой поруки»<sup>30</sup>.

Наивный зритель, который «ждет уж рифмы "розы"», надеется, что к концу фильма все прояснится, как в классическом детективе: станет известно, почему погиб повар Николаев, зачем Варакину навязали роль его сына Махмуда, в каком заговоре участвовали председатель исполкома и руководитель городского союза писателей. Но ничего не проясняется, наоборот, сюжет все усложняется, напоминая лабиринт. Никакого объяснения не происходит, как, собственно, не происходит логического объяснения той реальности, которая царит в описанном Кафкой Замке.

Трудно всерьез говорить о том, что фильм «Город Зеро» был предупреждением или составной частью «Операции "Голгофа"», если таковая реально существовала...

Думается, Карен Шахназаров прежде всего предпринял попытку разоблачения социалистического реализма как метода «преображения» действительности. Поэтому фильм «Город Зеро» мог появиться только в условиях, когда соцреализм был *скорее жив, чем мертв*, он возник как некий артхаус в противовес социалистическому мейнстриму. Работая с привычным для советского зрителя жизненным материалом, жонглируя узнаваемыми образами, эксплуатируя набившие оскомину приемы соцреализма, создатели фильма создали настоящую антиутопию — может быть, самый главный *протестный и взрывной* фильм конца 80-х, гораздо более губительный для старческого советского режима, чем скандально знаменитые фильмы: «ЧП районного масштаба» Сергея Снежкина или «Маленькая Вера» Василия Пичула. Протест фильма Шахназарова был тоньше и изощреннее, он мастерски «перепрограммировал» сознание советского зрителя — не столько шокируя, сколько увлекая его нестандартным сюжетом. Шахназаров своим фильмом «Город Зеро» следовал той же художественной стратегии, которой в литературе придерживался Дмитрий Пригов, а в визуальных искусствах — Эрик Булатов и Илья Кабаков — иронично и гротескно пародировал привычные «совковые» клише, производил деидеологизацию советских символов, показывая их пустоту и абсурдность. Разгадывая сокрытый в фильме месседж, зритель невольно приходил к отрицанию «спящего режима» советской действительности как *тотального абсурда*. Зритель, словно бы пройдя вместе с героем через «чистилище» набоковского музея, невольно оказывался «в шкуре» инженера Варакина, который вдруг стал прозревать, воспринимая привычную жизнь уже как «чужую». Он эмигрировал, никуда не уезжая.

Фильм «Город Зеро» был художественным взглядом на реальность, вывернутую наизнанку, на «безнадежно рабскую» страну, где даже с ума сходят по распоряжению начальства.

### Примечания

- <sup>1</sup> Воронцовская Т. Леонид Филатов. М., 2003. С. 40.
- <sup>2</sup> Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. М., 1973. С. 8.
- <sup>3</sup> Набоков В. Посещение музея // Набоков В. Истребление тиранов. Роман, пьеса, рассказы. М., 1991. С. 225.
- <sup>4</sup> Там же. С. 229–230.
- <sup>5</sup> Там же. С. 231.
- <sup>6</sup> Валери П. Об искусстве. М., 1993. С. 205.
- <sup>7</sup> Набоков В. Посещение музея.. С. 232.
- <sup>8</sup> Там же. С. 231.
- <sup>9</sup> Там же. С. 231.
- <sup>10</sup> Стругацкий А., Стругацкий Б. Понедельник начинается в субботу. Сказка о Тройке. М., 1992. С. 34–35.
- <sup>11</sup> Вишневский Б. Аркадий и Борис Стругацкие: двойная звезда. М.; СПб., 2004. С. 81.
- <sup>12</sup> Выражение «совок» в значении «советский до мозга костей» было введено в оборот, скорее всего, культурологом Михаилом Эпштейном в работе «Великая Сось», в которой он называл граждан страны Сось «совейцами» или «совками». См.: <http://www.topos.ru/article/6455>. Однако в интерпретации Эпштейна это понятие не имело того иронично-пренебрежительного содержания, которым слово «совок» наполнено сегодня.
- <sup>13</sup> Эпштейн М. Великая Сось. М., 2006. С. 16.
- <sup>14</sup> Там же.
- <sup>15</sup> Там же. С. 145.
- <sup>16</sup> Кафка Ф. Процесс. Замок. М., 2008. С. 247.
- <sup>17</sup> Кафка Ф. Процесс. Замок. М., 2008. С. 310.
- <sup>18</sup> Там же. С. 327.
- <sup>19</sup> Воронцовская Т. Леонид Филатов. М., 2003.
- <sup>20</sup> Кафка Ф. Процесс. Замок... С. 271.
- <sup>21</sup> Жванецкий М. Назад в будущее // [http://www.jvanetsky.ru/data/text/t9/nazad\\_v\\_budushee/](http://www.jvanetsky.ru/data/text/t9/nazad_v_budushee/)
- <sup>22</sup> Архипов Ю. Главный классик века // Кафка Ф. Процесс. Замок... С. 11.
- <sup>23</sup> Зиновьев А. Гомо советикус. Пара беллум... С. 34.
- <sup>24</sup> Там же. С. 64.
- <sup>25</sup> Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М., 2003. С. 503.
- <sup>26</sup> См. Раззаков Ф. Леонид Филатов: Голгофа русского интеллигента. М., 2006. С. 360.
- <sup>27</sup> Рекемчук А. Космические сны и земные страсти героинь Маргариты Шараповой // Литературная Россия. 2000. № 38.
- <sup>28</sup> Там же. С. 507.
- <sup>29</sup> Там же. С. 503.
- <sup>30</sup> Город Зеро // Лимонка. 2009. № 335. Февраль.

---

---

Александр СТАВИЦКИЙ

## ФИНСКИЕ ЗАМЕТКИ

### Тема

Утренняя пробежка словно жизнь человеческая, сжатая в 20 минут. Тяжело, дыхание срывается, ноги чугунные, остановиться хочется. Добегу до того дерева, отдохну. Дерево проплыло мимо — вон большой камень, до него дотяну. К камню едва приблизился — вижу столб впереди, до него уж сам бог велел... И так все вперед, пока ноги не подкосятся.

Встречные прохожие раздражают — чего вылезли так рано, спасения от вас нет.

В легких режет. Надо бросить курить; вчера вечером пять сигарет «выщедил». Да уж ты бросишь! Каждый день обещаешь, когда бегаешь, а потом забываешь. Так и помрешь благополучно с этим пороком.

Регулярно бегать по утрам я стал только здесь, после переезда в Финляндию. В России не до того, в России суета. Да и побежишь, окажешься «белой вороной» среди озабоченных и спешащих. А тут спортивные занятия и оздоровление — норма. Куда бы ни пошел, навстречу обязательно либо бегуны, либо «лыжники», постукивающие об асфальт спортивными лыжными палками. «Что еще хорошо здесь, так это возможность заняться своим здоровьем», — говорят о Финляндии переселенцы из России. Есть и другие «хорошо».

### Свой минимум получишь

Средний по финским меркам город Лахти лежит в 100 километрах от Хельсинки и насчитывает 100 тысяч человек. Лев Толстой указывал как один из признаков взросления человека осознание им того немудрящего факта, что на свете миллионы людей ничегошеньки не знают о его существовании и никогда не узнают. А тут 100 тысяч, которые не то что о тебе лично, но и о стране, откуда ты прибыл, имеют весьма смутное представление. Впрочем, насчет 100 тысяч несведущих уже не совсем так. В Лахти на сегодняшний день 3 тысячи иностранцев, и большинство из них россияне. (На курсах финского языка в учебной группе из 15 человек 10 русских, 2 иракца, 1 эстонец, 1 англичанин и 1 латиноамериканка, что дает довольно точный «срез» национального состава мигрантов.) Засилье наших сограждан в этом финском городе стало столь значительным, что некоторые продовольственные магазины вынуждены вывешивать для них объявления на русском. Борясь со свойственной нам «рас-

---

Александр Борисович Ставицкий родился в 1954 году. В 1977 году окончил факультет журналистики ЛГУ им. Жданова. Работал в районных газетах Ленинградской области: «Ленинская правда» (г. Лодейное Поле), «За коммунизм» и «Кингисеппский вестник» (г. Кингисепп). С 2003 года — корреспондент газеты «Трудовая Россия» в Санкт-Петербурге. Живет в Санкт-Петербурге.

сеянностью», пишут что-то типа: «Пожалуйста, верните тележку на предназначенное ей место». (Ох, не вернут, а если вернут, то не все и не на «предназначенное».)

Переехавшие на постоянное место жительства в Финляндии россияне, когда их спрашивают, что им больше всего понравилось в финской действительности, на первое место обычно ставят социальную систему обеспечения. Действительно, тут есть чему порадоваться. После приезда в Лахти я обычное пособие мигранта получил через месяц (пока назначили, пока провели по документам и т. д.). Но и в этот период обо мне не забыли. Орган, подобный нашему отделу социального обеспечения, по-фински именуемый *Sosiaali ja terveysturvasto*, перевел на мой счет определенную сумму, чтобы мне было на что существовать. Представить, чтобы в России какой-то орган власти озаботился вопросом, есть ли человеку на что жить, просто невозможно. У нас в ходу другое.

Запомнилась промелькнувшая в российских СМИ информация о женщине из Перми, у которой сгорел дом, и она уже полтора года живет в землянке вместе со своей короной. На вопрос, почему не помогли погорельцы, местные власти ответили с подкупающим простодушием: «У нас нет ее заявления». В самом деле, нет бумаги — нет человека.

Одним словом, переселенцы быстро убеждаются, что на социальный минимум в Финляндии они всегда могут рассчитывать и пропасть им не дадут. Деньги поступают из двух карманов. *Kansaneläkelaitos*, или сокращенно *Kela* — по-нашему пенсионный отдел, — выплачивает месячное пособие в размере 410 евро (пенсионерам меньше, поскольку из их пособия предусмотрительно вычитают размер российской пенсии). А *Sosiaali ja Terveysturvasto* — в просторечии «социалка», также выразительно именуемая россиянами «соской», — делает доплаты, чтобы твой жизненный уровень не упал ниже минимального. Оплачивает твои затраты на электроэнергию, на лечение и лекарства. Но самое главное, доплачивает за квартиру, то есть берет на себя солидную часть твоей квартплаты с тем, чтобы опять-таки подтянуть твою «корзину» до минимума.

Квартиры — это главное, что приводит в восторг россиян в Финляндии. Испорченные жилищным кризисом в России, они произносят с радостным придыханием: «Здесь всем квартиры дают!» Непонятно, как умудряются финны строить столько жилья, но хватает и на своих, и на чужих. На улице никто не остается. И заселяют приезжающих не в какие-нибудь бараки, а во вполне комфортабельные и благоустроенные апартаменты, да еще по неслыханно высоким для нас нормам (один человек может проживать на 40 квадратных метрах). Впрочем, к хорошему привыкают быстро и, не останавливаясь на нем, начинают добиваться лучшего. Привыкнув к своему месту проживания и обнаружив уже в нем какие-то недостатки, многие россияне начинают обивать пороги местной жилищной компании (обычно муниципальной, хотя есть и другие), добиваясь квартиры побольше, поближе к центру (или, напротив, подальше от шума и машин), в доме с лифтом и т. д. Поскольку все это возможно и, как правило, со временем осуществляется, некоторые входят во вкус. Начинают распахивать по отдельным квартирам бабушек, родителей, подростков детей (по достижении 18-летнего возраста дети могут претендовать на отдельное жилье). Есть любители «кочевой жизни», которые ухитряются чуть ли не каждые полгода переезжать, хотя у финнов есть ограничения на этот счет.

Был свидетелем случая, когда муж и жена со словами «Финляндия — великая страна по части вариантов» разъехались по разным квартирам, превратив свой брак в «гостевой». (Не такая уж редкость среди российских переселенцев.) И власти пошли им навстречу, хотя те даже на развод не подавали: ну что, мол, поделаешь, если люди не могут жить под одной крышей. Действительно, «страна вариантов».

410 евро пособия — это, конечно, очень скромно, если учесть, что средняя финская зарплата составляет 2000 евро. С голоду не помрешь, но и не похикуешь. К тому же первые восторги по поводу хорошего обслуживания в магазинах сменяются некоторыми наблюдениями и размышлениями. Почему, скажем, в лесной стране очень дорого все, что сделано из дерева? Или почему скромного вида мужские ботинки стоят почти 100 евро? Вскоре выясняется, что в Евросоюзе Финляндия пользуется репутацией страны, где и прокормиться, и одеться дороже, чем где-либо. Тут-то и выясняется загадка финского «безразличия» к одежде. Что касается переселенцев, то им вообще без «киркушек» никуда.

«Киркушка» — это небрежно переделанное на русский манер финское «kirputori», то есть комиссионный магазин. В буквальном переводе — «блошиный рынок». «Киркушек» довольно много, и цены в них в десятки раз ниже, чем в обычном магазине. Поэтому здесь с утра до вечера толкаются и азартно роются в вещах не только бедные мигранты, но и вполне уважаемые финны. Еще бы не рыться, если пару вполне приличных зимних ботинок можно купить за 7–8 евро. К этому можно прибавить весьма существенные скидки на товары, что практикуют чуть ли не все магазины и чуть ли не ежедневно (у одних товаров кончается срок реализации, другие плохо раскупаются, и их таким способом хотят «продвинуть»). А если еще вспомнить церковные раздачи продуктов малоимущим один-два раза в неделю, то вывод, который делает россиянин-переселенец, прост: «Жить и на пособие очень даже можно».

Социальная картина была бы неполной без медицинского обслуживания. Но тут ситуация посложнее. С одной стороны, приятны забота и внимание. В медицине тоже есть свой минимум. Например, каждый приехавший должен посетить зубного врача. Можешь на день визита к стоматологу (как, впрочем, и к любому врачу) попросить себе переводчика. Сидишь, раскрыв рот, а тебя через переводчика спрашивают:

— Вы указали, что последний раз были у зубного три года назад. Вам что, тогда не очищали зубы от камня? У вас его столько!

А ты в ответ гордо:

— Да мне их никогда не очищали.

С другой стороны, сталкивающиеся с местной медициной по-серьезному быстро разочаровываются в финской доброжелательности и начинают видеть определенные плюсы медицины российской. Здесь заболевший россиянин месяцами (до полугода) ждет возможности попасть по предварительной записи к врачу-специалисту. Вызов «скорой» стоит 90 евро, так что резонно ее вызывать, когда уж действительно помираешь. Нужные медикаменты стараются не выписывать, предлагая от любой хвори болеутоляющие, на рентген тоже стремятся не направлять. Поэтому при серьезных проблемах со здоровьем россияне ездят к врачам в Россию. А здесь, создается впечатление, врачей оберегают от пациентов. Типичный диалог в поликлинике:

— У меня на ногах пятна. Мне бы к дерматологу на осмотр.

— Покупайте мазь в аптеке и мажьтесь.

Впрочем, ларчик открывается просто. Врачей оберегают не от всех подряд, а от всякого рода льготных и бесплатных, к коим относятся и мигранты. В области же платной медицины полный простор, как и в России: никаких очередей и ожиданий. Отличие от России в том, что там платное неуклонно поглощает бесплатное, а в Финляндии все-таки держат «социальный водораздел» и минимум бесплатного тебе гарантируют.



### Быт можно организовать

Когда я вхожу в подъезд своего финского дома, нажимаю кнопку (такая кнопка у входной двери и на каждом этаже), и загорается свет. Он горит минуты три, их вполне хватает, чтобы дойти до двери своей квартиры и открыть ее, после чего свет автоматически отключается. Не нужно произносить гневные тирады в адрес разгильдяев соседей, по вине которых лампочки в подъезде горят днем и ночью.

Вечерний, либо утренний, в зависимости от сложившейся привычки, ритуал — вынесение мусора. У каждого дома крытый сарайчик с контейнерами. Для каждого вида отходов своя емкость: с надписью «био» — для пищевых; с надписью «энергия» — для сгорающих, в основном дерева», «смешанное» — для остального. А еще контейнеры для стекла, металла, бумаги и отдельно для картона. Казалось бы, не бог весть какое достижение коммунальной мысли — разделить гору создаваемого человеком в городе мусора на отдельные ручейки. Но насколько это делает опрятнее городской пейзаж и дисциплинирует самого человека, дает ему ощущение, что он приносит пользу, а не просто избавляется побыстрее от своих отходов. Не говорю уже про обилие урн на улицах. Так что не приходится, как случалось многократно в России, носить окурки в кармане, прежде чем найдешь, куда его бросить.

Утром часто видишь, что на флагштоке, а они почти в каждом дворе, поднят государственный флаг Финляндии. По какому случаю? Оказывается, сегодня отмечают день рождения почитаемого в стране писателя или «день Калевалы» — национального эпоса. Представляете, если бы у нас флаги вывешивали в день рождения, скажем, Льва Толстого или день создания «Слова о полку Игореве»? Да у нас знамена вообще реяли бы круглый год. Хотя и здесь без этого редкая неделя обходится.

Примерно в десять часов утра во дворе появляется почтальон. Не «с толстой сумкой на ремне», как у нас, а толкающий перед собой тележку сине-желтого цвета. Вскоре через прорезь в двери квартиры тебе на пол падает со стуком пачка бумаг — сегодняшняя почта. На две трети она состоит из рекламы магазинов и на одну треть из счетов, извещений, писем. Для россиянина непривычна предупредительность инстанций и их стремление дать полную информацию клиенту. В присланных счетах за телефон, электричество и т. д. тебя извещают, что следующее требование оплаты придет тогда-то. В бумаге из поликлиники тебя за месяц приглашают на прием к врачу (указываются день, час и место). Но есть и строгость. Если не явился в поликлинику, не предупредив об этом заранее, заплатишь штраф в 30 евро. В России при таком подходе к делу казна бы обогатилась.

Сегодня у нас запланирован поход в «Kela», финский пенсионный отдел. Про «присутственные места» в Финляндии стоит сказать особо. Никаких очередей в нашем понимании. Взял при входе листок с номером, сел в просторном зале в удобное кресло и ждешь, когда на табло загорится твой номер и номер кабинета, куда тебя приглашают. Ожидание обычно не превышает 15–20 минут. Потому что здесь не услышишь раздраженного «не видите, у нас обед!», Один клерк уходит обедать, его заменяет другой. И что немаловажно, каждый из сотрудников отвечает на весь комплекс вопросов, а не является «узкоспециализированным».

По контрасту сразу вспоминаешь паспортный стол в своем районном городке Ленинградской области. Сотня людей пыгается поместиться в узком коридорчике, где и двоим-то разойтись непросто. Две трети пространства заняты конторками клерков, которые, в отличие от обслуживаемых, расположились весьма вольготно. За каждым клерком закреплена определенная функция или определенный участок территории. На практике это выражается в том, что у одного окошка «куча мала», а у другого — пустота и скучающий чиновник.

Почему у нас так происходит? Дело не только и не столько в материальных возможностях. Дело в изначальном подходе. Когда создаются такие паспортные столы, рассчитывают штаты, финансирование, определяют, сколько и каких кабинетов потребуется, но никто не рассчитывает, комфортно ли будет в этих стенах людям, не будут ли они мучиться и толкаться. Россия — страна чиновничьего произвола и чиновничьего высокомерия, где каждая бюрократическая «тумба» готова рыкнуть в любой момент: «А, они еще жаловаться!» Положение этой «тумбы», в отличие от той же Финляндии, не зависит от довольства или недовольства ею со стороны обслуживаемых граждан. Ей важно лишь услужить такой же вышестоящей «тумбе». Корни чиновничьего высокомерия, особенно разбухшие в последнее время, — в истории самодержавной крепостнической России. Но от этого не легче. Пока не будет каждый «винтик» бюрократической машины чувствовать спрос общества за результат его конкретной работы, ничего не изменится.

Еще одну похвальную сторону системы обслуживания в Финляндии надо отметить. Здесь все улыбаются. У нас, подходя к ЖЭКу или почте, принимаешь мрачный, насупленный вид и рвешь самым решительным образом дверь на себя, зная заранее, что тебя не розами встретят. Здесь в том нет нужды. При входе, будь то официальное учреждение или магазин, неизменная улыбка и «хэй» (привет) тебе навстречу.

Кстати, о магазинах. Героя рассказа Михаила Зощенко привел в восторг и поразило до глубины души отдавший ему честь на улице милиционер. В какое состояние он бы пришел при виде предупредительно распахивающихся перед ним дверей супермаркетов? Здесь много крупных магазинов, побродив по которым начинаешь думать, сколько же на свете существует ненужных человеку вещей. В таких магазинах обязательно найдется уголок отдыха для покупателей: скамейки и кафеюшка рядом. Сюда любят приходить пожилые люди, чтобы посидеть и пообщаться.

А в городе есть несколько мест, где можно одновременно и отдохнуть, и физкультурой заняться. Тренажеры установлены на улице. Подошел, сел, покачал мышцы, пошел себе дальше. Нетрудно себе представить, во что бы могли превратить эти места у нас. Детские площадки-то во дворах регулярно громят. Откуда в России это стремление уничтожить то, что призвано служить общей пользе? Легче всего отделаться словами «дикость» и «бескультурье». Но хочется все-таки докопаться до истоков. Вековечная ненависть ко всему, что исходит от государства, ко всему казенному? Однако легко рушат и то, что создано руками самих людей, например, на субботниках. Агрессивное отношение ко всему, что «не мое»? Это, пожалуй, правдоподобнее.

Передвигаясь по городу, не раз переходишь проезжую часть и обращаешь внимание на отношения автомобилистов с пешеходами, столь непохожие на российские. Здесь водители предупредительно тормозят перед пешеходами. Первое время остановившаяся у пешеходного перехода машина пугала: «Чего ему надо?» Но к хорошему, как известно, быстро привыкаешь. Скоро начинаешь уверенно шагать на переход и покрикивать на приближающийся транспорт: «Ничего, постоишь. Видишь, я иду!»

Когда мы в жаркий летний день возвращаемся в свой финский двор, нас встречают звуки браваурной мелодии. Это подъехала машина-«мороженица». Летом каждый день такие машины курсируют по городу и громко трубят, возвещая о своем появлении: быстрее сюда, покупай холодное лакомство. Есть тут и такой вид обслуживания.

Но мы предпочитаем охладиться под душем, который в каждой квартире. А вот удовольствие полежать в ванне здесь почему-то не одобряют и ванн не ставят. Зато в любом доме внизу сауна. На листочке у двери записан день и час твоей «помывки». Иди и предавайся банным удовольствиям. При сауне помещение, где стоят сти-

ральные машины. Не хочешь устраивать постирушку в своей квартире — стирай и суши белье здесь. Это такой же непрременный атрибут финского быта, как и «ангар» для хранения велосипедов во дворе.

Вообще, как показывает Суоми, быт можно организовать и сделать очень удобным и «человечным». Но одновременно железно соблюдают и такой принцип быта, как «не навреди соседу». Например, ковры можешь выбивать только в определенное время. Однажды мы ушли часа на три из квартиры, забыв выключить конфорку плиты, на которой стоял суп. Когда вернулись, квартиру наполняли дым и чад, а на лестницу выглядывали встревоженные жильцы. Но на наше счастье, до вызова ими пожарной машины дело еще не дошло, а пожарная сигнализация (находится в каждой квартире под потолком) почему-то не сработала. Иначе получили бы штраф в размере «мало не покажется» и соответствующее предупреждение жилконторы. Да оно и правильно. Надо думать, в каких условиях ты живешь и как живешь.

### В гармонии с природой

«Что-то давно я животину не видел», — проворчал я утром, прибираясь на балконе. «Животина» явилась в неурочный час, в полдень, ловко прыгнув с березы на балкон, а потом бесстрашно пробежавшись по комнате. Это белка, которую мы за ее цоканье зовем Цацей. Цаца давно повадилась ходить к нам в гости, потому что всегда получает свое угощение — несколько орехов. Берет и кусочек яблока из рук, но уже не так охотно, а вот от хлеба с негодованием отворачивается.

Здесьняя экология вообще умиляет. Белки бегают между домами, как кошки. Где-то под крышами устраивают себе жилище, где растят детенышей и откуда отвесно спускаются по стене на землю. И не только белки. Вижу у кого-то на лоджии крупную картинку с изображением зайца. Зачем на картинку смотреть? Вот он, родимый, в светло-коричневой с белым горошком шкурке, трусит по дорожке. Когда идешь ему навстречу, лениво, без особой опаски отбежит в сторону. А если на утреннюю пробежку выскочишь пораньше, прыснет такой вот косою от тебя у самого подъезда. Зайцы, как и белки, — часть городского пейзажа. Правда, знатоки утверждают, что эти зайцы не настоящие, а уже городские: они прекрасно уживаются рядом с человеком.

Вспоминаю, как в студенческие годы мы однажды были «на картошке» под Выборгом, а заяц случайно выбежал на поле и заматался между бороздами. Вся толпа кинулась его ловить. В конце концов затравленного зайца загнали в борозду, где он и присел, прижав уши. Ничего плохого ему не сделали: подержали на руках, погладили и выпустили. Но показательна сама реакция — накинуться как на что-то диковинное и инородное, что требуется непременно изловить и поместить под микроскоп. Здесь же природа и человек существуют в гармонии, дополняя друг друга и соседствуя.

Заслуживает высокой оценки принцип строительства финских городов, когда между кварталами многоэтажек оставляют большие куски природного ландшафта. Поэтому в Лахти вовсе не обязательно нестись куда-то за десятки километров, чтобы набрать корзину грибов или бидон душистой лесной малины. Дары леса в каких-то сотнях метров от твоего дома, вон в том сосняке на горушке или в тех кустах на просеке.

Да и за этажностью здесь не гонятся. В Лахти стоит свернуть с главных улиц, и ты словно в деревне оказываешься. Господствуют низенькие частные дома в окружении обильной зелени. Впрочем, о зелени умеют позаботиться и в центре. При ремонте асфальта на центральной улице города деревья одевают в деревянные «короба», чтобы не повредить. Видна в том аккуратность и основательность финской

жизни. У нас же очень многое делают так, словно живут в последний раз с криком «да гори ты все!».

Одним словом, финны с природой ладить умеют. Не зря же очертания на карте их страны мне напоминают не то пышнохвостую лисицу, не то поставленную «на попа» дубину нашего первобытного предка-дикаря с двумя сучьями, торчащими вверх.

Но не могу не сказать и про ложку дегтя. Однажды мы несколько часов блуждали на машине вдоль озер, не имея возможности выехать на берег, чтобы порыбачить. Всюду на дорожках, ведущих к воде, торчал то шлагбаум, то здоровенный камень с надписью «частное владение». Это уже не гармония с природой, это ее приватизация.

### У них такой менталитет

Россияне, пытаясь объяснить себе и другим странное поведение финнов, то и дело повторяют: «У них такой менталитет». Очень емкое это понятие — «менталитет»!

Стоит человек у пешеходного перехода как вкопанный и терпеливо ждет, когда на светофоре загорится зеленый, хотя ни справа, ни слева ни единой машины. Ты в такой ситуации скажешь про себя в сердцах «стою как дурак!», а он спокоен и невозмутим. Вот вам финский «менталитет». Замешенный на неприятном для слуха слове «законопослушание».

Вам назначено время приема в поликлинике — 9.45. Вы пришли пораньше и видите, что уже за 15 минут до назначенного времени у врачебного кабинета никого нет и в кабинете пациентов нет. Но вас не позовут. Только ровно в девять часов сорок пять минут из кабинета выйдет медсестра и назовет вашу фамилию. Это тоже финский «менталитет». Как и обязательный оптимизм.

У нас при встрече на вопрос «как жизнь?» редко кто скажет «все хорошо» или «отлично». Обычно бросят «так себе», «помаленьку» или того пуще раскипятятся: «Какая это жизнь!» — и пустятся в рассказ о своих горестях и злоключениях. Не то совсем у финнов. Если знакомый при встрече интересуется, как дела — по-фински это звучит «мита кулу?» или в буквальном переводе «что слышно?», — ты просто обязан расплыться в лучезарном «хювя!» (хорошо). Дескать, про меня слышно только хорошее. Особо откровенничать здесь не принято, и каждый финн в достаточной степени является «вещью в себе» с развитым чувством собственной автономии. Нельзя, скажем, завалиться к кому-то домой «на огонек», как у нас бывает. О визите надо договариваться заранее, а непосредственно перед ним еще раз позвонить. Но зато по вечерам всегда забиты уличные кафеюшки, потому что самая распространенная форма общения — посидеть час-другой после работы за столиком с бокалом пива или стаканом минеральной воды.

Разобщенность и нежелание впускать в свою личную жизнь сочетается у финнов с большим любопытством. Однажды собирал малину с кустов, растущих вдоль дорожки, по которой бегали и ездили на велосипедах поддерживающие свою физическую форму граждане. Каждый останавливался посмотреть, чем я занимаюсь. Аналогичная ситуация повторилась, когда я вздумал промыть ил в дальнем углу городского озера в поисках насадки для рыбной ловли. Пожилая финка не поленилась сойти с дороги и пройти метров пятьдесят, чтобы только узнать, зачем я там бултыхаюсь.

В Финляндии умеют быть бережливыми. Маршрутный автобус не затормозит на остановке и не подберет вас, если вы не поднимете руку, то есть не дадите знать, что вам необходимо ехать именно на этом автобусе. А то впустую останавливаться на

каждой остановке — бензин даром жечь. Мой солидный, почтенного возраста сосед каждое утро отправляется с пакетом в руках «на охоту» за пустыми бутылками и банками на городских улицах. Здесь это ничуть не осуждается — докатился, мол. Напротив, виден человек рачительный, экономный, да еще борющийся за чистоту города.

В магазин каждый день финны не ходят. Средний финн обычно в пятницу подкачивает на своей машине к супермаркету и долго ходит по нему со списком в руках, укладывая продукты в тележку и вычеркивая их из списка по мере покупки. Запасается на неделю вперед, не пропуская при этом никаких скидок. Вообще то, что у нас называют «халява», производит на жителей Суоми могучее действие. Мероприятию, где обещана бесплатная чашка кофе с крохотной тартиной, явка обеспечена.

Но есть и исключения из правила расчетливости. В магазине продают «клубнику шведскую» по 3 евро килограмм, а рядом «клубнику финскую» по 4 евро килограмм. Финны предпочитают клубнику отечественную. Это «товарный патриотизм». Мы, россияне, им не отягощены.

Еще пример расчетливости. При всей аккуратности финнов видишь в городе то там, то тут брошенные возле тротуара велосипеды. Некоторые с «восьмеркой» на колесе, а некоторые совершенно исправные, но старые, выдавшие виды. Объяснение тут простое: ремонт старого велосипеда стоит столько же, сколько стоит он сам. Полиция собирает такие брошенные велосипеды и устраивает их распродажу за гроши, обычно на запчасти.

Финская бережливость легко переходит в скарденность и тогда становится отталкивающей. Финский поход в гости может выглядеть так: пришел к знакомым с двумя банками пива, а уходя, забрал пустые банки с собой. А участвовавшие судебные разбирательства по делам о разводах в российско-финских семьях тоже впечатляют: бывший муж-финн требует с бывшей жены компенсацию за вещи, проданные без его согласия. Правда, иногда встречаешь и другое, куда более симпатичное. Шли однажды в районе частных домов, смотрим: у одного из них выставлено на улицу ведро яблок для желающих — подходите, угощайтесь, у нас их много уродилось.

Еще интересная деталь — почтение к старым вещам. В комиссионке будут стоять рядом два похожих кресла: одно за 8 евро, другое за 60. Но у этого другого предупредительная надпись: «старое».

Финнов не назовешь религиозными, хотя церковью здесь хватает. В Лахти в каждом районе города церковь господствующей лютеранской религии, не считая центрального собора Ристин кирко (Церковь креста). Кроме того, православный храм и сектантские, как у нас бы сказали, церкви: адвентистов, иеговистов, баптистов и т. д. Но несмотря на избыток мест для моления, молиться ходят немногие. Запомнил в этой связи день Пасхи.

В главном лютеранском храме города на пасхальном богослужении полупустой зал. Прихожане, выслушав проповеди, поднимаются со своих скамей, и тут выясняется, что яркого финала в нашем понимании, крестного хода, тут и нет. Просто по проходу между скамьями шествует молодой парень в потертых джинсах (!) и с крестом в руках, а за ним несколько пасторов в своих белых одеяниях. Эта маленькая группка проходит до двери в храм, исчезает за ней, и на этом все кончается. Выдвинутый еще в Реформацию лозунг дешевой и лишенной помпезности церкви действует по сей день. Но никакая простота не привязывает к церкви большинство. Видимо, присущее европейцам, и финнам в том числе, стремление к личной свободе и индивидуализму исключает глубокую религиозность.

На «менталитет» влияют не только исторические корни, но и сегодняшняя обстановка в обществе. Скажем, пресловутый экономический кризис вносит свои коррективы.

В городе Лахти на начало 2009 года насчитывалось свыше 6000 безработных — 12,7 % трудоспособного населения, а в течение года этот процент вырос до 15,6. Отсюда видимые перемены: в службе занятости («Toimisto») утром очередь из мужчин молодого и среднего возраста начинается с порога, чего прежде не наблюдалось; в пенсионном отделе («Kela») ждать приглашения к своему окошку теперь приходится дольше, поскольку увеличилось число обращающихся за пособием. В дни массовых распродаж по сниженным ценам на улицах оживление, а у касс магазинов очереди, чего в «нормальное время» нет. Товар уходит со свистом. Обычно невозмутимые финны спешат: кризис подгоняет.

Появился новый вид нищенства — группы молодых людей, играющие в людных местах на музыкальных инструментах и пустым футляром скрипки призывающие: «Кинь монету!» До этого здесь в роли нищих выступали разве что цыганки. Выступали весьма своеобразно. Протягивали прохожему розу, а если он ее брал, начинали разговор о том, как им необходима «помощь». Наши русичи на первых порах умилялись: какие открытые, какие щедрые сердца! Умилялись, пока не поняли, в чем тут дело. Теперь у цыганок, похоже, появились конкуренты.

Тем не менее кризисные переживания не переходят в какие-то проявления массового недовольства. На поверхности все так же дышит благодушием. 1 мая в Лахти. Если не считать очень мирной и очень тихой профсоюзной демонстрации, где призывы не идут дальше «достойной работы и достойной зарплаты», солидарность трудящихся выражается в том, что полгорода стекается на рыночную площадь. Здесь огромные гирлянды шаров, столики для желающих посидеть за бокалом вина, места для игр и много всякой всячины. В роли идеолога праздника выступает местный пастор, ораторствующий на тему «Никакой политики! Сегодня просто день рабочих и учащихся». Аудитория под музыку оркестров внимает ему благосклонно и, надо полагать, соглашается.

Но забастовки все-таки случаются. Только опять-таки очень мирные и очень «цивилизованные». В марте 2010 года по Финляндии прокатилась забастовка транспортников в связи с заключением нового коллективного договора. Профсоюз хотел прибавки зарплаты, а предприниматели соглашались ее увеличить, но в меньшем размере. В СМИ жителей предупреждали, в течение какого времени они будут испытывать неудобства в связи с отсутствием автобусов таких-то маршрутов, и советовали запастись продуктами до возобновления подвоза к таким-то магазинам. Забастовка продлилась три дня.

Вряд ли подобное возможно в России. У нас сколько-нибудь серьезная забастовка — событие из ряда вон выходящее. И возникает она не из желания добиться семи вместо предлагаемых пяти процентов прибавки. Когда наступает «край», российская забастовка не ищет «цивилизованного диалога», а сразу вырастает в «обуховскую оборону».

### **Тут есть и «наши люди»**

Идешь по городу Лахти и видишь трогательную сценку: трое друзей прикорнули прямо на земле. Источник их крепкого сна легко угадывается по валяющимся неподалеку бутылкам.

Первое время, увидев подобное, я радостно восклицал: «А вот и наши люди! Они всюду». Разговоры про финскую аккуратность и собранность вызывали протест и



желание ткнуть во что-то, доказывающее наличие и у них «недостатков в пробирной палатке». Дескать, от меня требует поведения в соответствии со строчкой из песни Высоцкого: «Здесь гуляю и плюю только в урну я», а у самих не лучше, чем у нас. Но со временем охота шутить по таким поводам прошла, поскольку проявления «наших людей», вообще говоря, малосимпатичны. Здесь их сравнительно немного, но потому они и бросаются в глаза.

Утром, выходя из подъезда, говорю жене: «Мы с тобой попали в какой-то свиной дом. Всегда у двери набросанные окурки». Действительно, при обилии урн все чаще можно увидеть, как окурки швыряют прямо на тротуар. Идет навстречу компания молодых людей: парень небрежно отбрасывает недокуренную сигарету в одну сторону, девушка пустую коробку из-под сока — в другую. Так что фраза одного из героев фильма «Особенности национальной рыбалки», нечаянно попавшего в Финляндию и удивляющегося: «Как-то чересчур чисто, не как у нас», уже устарела.

...Стояние у светофора — занятие философское. Там перешел легко, а здесь тебя застопорили. Стоишь. Пока был один, стоял спокойно. Но появились другие, потерял душевный покой: вдруг тебя из-за долгого стояния сочтут дураком? Рядом часто оказывается молодая мамаша с ребенком, объясняющая ему, как надо переходить улицу. И нет ничего разрушительнее для ее воспитательной работы, чем шагающий на «красный» разгильдяй. Дите тут же показывает пальчиком на дядю, и все нотации летят к черту. В России такого не избежать. Да и у финнов с этим уже возник «напряг».

На пешеходном переходе не редкость такая картина: люди постарше дисциплинированно стоят, а молодые, не обращая внимания на цвет светофора, бросаются вперед. Свойственная юности беспечность? Нет, это другое поколение с другой философией жизни. С психологией поденок. Психология поденок являет себя в мусоре, набросанном на зелень аккуратных лужаек. В завернутом дугой металлическом поручне лестницы; над ним поработали какие-то молодые и целеустремленные силы. В выломанных с корнем и брошенных декоративных кустах в самом центре прекрасно разбитого, живописного парка. Что тут скажешь? У нас, в России, я считал бы эти выходки реакцией человека на враждебность к нему государства. А здесь что?

Особенно много мусорят, понятное дело, в праздники. В Иванов день (Юханов день по-фински) жгут символический костер, после чего веселятся. Группами располагаются на скамейках или прямо на траве с банками джина или пива. Поскольку есть при выпивке тут не принято, «летят с катушек» очень быстро и очень прочно. Молодежь празднует разнузданно. С пьяными воплями, шатанием из стороны в сторону, падая и публично поливая кусты. Про финское пьянство стоит сказать несколько слов особо.

В городе Лахти с его 100-тысячным населением имеются лишь три магазина, где есть отдел по продаже спиртных напитков. Да и то на такую продажу наложены серьезные ограничения. В будние дни с 10 до 20 часов, в субботу до 18, а в воскресенье вообще отделы закрыты, поскольку считается, что человек должен в воскресный день не «водку пьянствовать», а готовиться к трудовой неделе. То есть контроль за распространением горячительного есть. Что не мешает Бахусу время от времени крепко разгуляться.

В пятницу вечером финны вознаграждают себя за неделю воздержания. Тогда компании орущих и поющих встречаются на каждом шагу, а для таксистов наступает горячая пора: развозят по домам тех, кто «отяжелел» в ресторанах и барах. Но все это меркнет перед зрелищем публички, которую вытряхивают со своих палуб ежедневно курсирующие между Таллином и Хельсинки паромы.

Таллин стал для финнов «винной Меккой», заменив в этом качестве прежний Ленинград. Спиртное здесь стоит раза в два дешевле, чем в Финляндии, и мучимые «духовной жаждой» тащат его коробками, упаковками и сумками. Запасенные в изобилии веселящие напитки начинают употреблять тут же, на корабле. А потому по прибытии в Хельсинки на берег сползает очень колоритная, раскрасневшаяся и качающаяся масса — 2000 пассажиров. Финская респектабельность летит к черту. Я, признаться, рот разинул от изумления при виде почтенной дамы лет сорока пяти, что прилегла отдохнуть прямо на лестнице между палубами, нежно обняв свою сумку.

В Финляндии немало тех, кто склонен весь негатив в бытовой сфере относить на счет приезжих. Дескать, жили честно-благородно, а тут явились всякие, и пошли безобразия. Поэтому когда мы однажды увидели на улице изуродованную телефонную будку с выбитыми стеклами, вывод был сделан моментально: «А свалят на русских». В местной газете пришлось прочесть среди объяснений очередного скандала в российско-финской семье, связанного с тяжбой за ребенка, и такое: «Долгое время Финляндия была замкнутой страной, а сейчас у нас 200 тысяч иностранцев».

Насчет замкнутости, которая столкнулась с пришествием людей иной культуры и иного образа жизни и стала от них защищаться, тут, видимо, есть доля правды.

Вспоминаю, как к нам, приехавшим покататься на дальнее озеро с маленьким поселком на берегу, подошел один из местных, человек в летах, очень бойкий и речистый. Сообщил, что у него за плечами богатая биография, что успел пожить и в Швеции, и в Германии, а потому никаких иноземцев не боится. «А эти, — пренебрежительно кивнул он в сторону домов своих соседей, — сидят всю жизнь в своем углу и всех боятся».

Приезжие иностранцы и в самом деле изрядно подразбавили финнов. Когда я впервые отправился в Финляндию и вошел в вагон «Сибелиуса» (поезд «Петербург–Хельсинки»), первый, кого я там увидел, был высокий негр. «Вот он, типичный скандинав!» — подмигнул я провожавшему меня другу. Позже, когда я уже жил в Лахти, во время выборов в Европарламент на улицах появились стенды с фотографиями кандидатов от Финляндии. Избирателям предлагалось выбрать из них того, кто способен олицетворять «образ Суоми». Среди претендентов на образ был бодрый курчавый африканец, сделавший хорошую бизнес-карьеру в Финляндии. Факт подтверждал, насколько прочное место в стране заняли диаспоры выходцев из Африки и Азии. Да оно и невооруженным глазом видно. Летит навстречу тебе компания отправившихся по своим делам подростков — бледные финны вперемешку с крепкими черноглазыми и черноволосыми мулатами. В ближайшем будущем — без всякой иронии «горячие финские парни».

### Шипы истории

Первое, что я увидел, когда впервые приехал в финский город Лахти, это конный памятник Маннергейму на привокзальной площади. Хоть утверждают, что финны по-разному относятся к своему маршалу, напоминания о нем на каждом шагу. Такова официальная историография. Портреты Маннергейма на выставках и в магазинах, в присутственных местах и в частных домах. Книжки и монографии о нем на видных местах всюду. Внушается, что независимая Финляндия есть Маннергейм, а Маннергейм есть независимая Финляндия.

Раз существует такое почитание военачальника, то существует, естественно, и почитание войн, которые вела Суоми под его руководством. Правда, с Гражданской войной 1918 года и так, и сяк. Перед магистратурой Лахти стоит памятник «белым

финнам», убитым в январе–апреле 1918-го и перевозносимым как «Родину и дом защитившие». При этом ни слова о 500 «красных финнах», уничтоженных при подавлении революции в том же Лахти; за такие «подвиги» Маннергейм получил от собственного народа прозвище «Лахтари» — Мясник. О красных вспомнили только в 70-е годы, когда в большом сквере посреди города поставили выразительную скульптурную композицию — жертвам белого террора. Поставлена она отнюдь не от государства, решившего воздать должное и тем, и этим, а по просьбе рабочих Лахти, как гласит надпись. Раз в году, 1 мая, профсоюзная демонстрация завершает шествие у этого монумента и проводит здесь короткий митинг.

Но так с Гражданской войной, в оценке которой звучат примирительные нотки. А вот что касается войны 1939–1940 годов с Советским Союзом, называемой здесь «зимней войной», так тут никаких полутонов. Тут сплошные «мальчики кровавые в глазах». Зимняя война является в Финляндии предметом настоящего культа. Кажется, что никакого другого, более важного события в истории этой страны не происходило. Обилие книг, картин, памятников, ритуалов. В марте 2010 года отмечалось 70-летие окончания проигранной Финляндией войны. В Лахти по этому поводу собиравались у памятника Маннергейму и возлагали венки.

В Лахти одна из отходящих от центра улиц называется Карьялан-кату, то есть Карельская. Карельская переходит в Випури-теа, что значит Выборгское шоссе, а оно, в свою очередь, превращается в дорогу к российской границе. Вспоминаешь песню времен победного периода Великой Отечественной войны, где каждый куплет посвящался очередному взятому городу. Как пелось в песне, «город весь прошли и последней улицы название прочли», а поскольку это название определяло путь к следующему городу, то, «значит, нам туда дорога...» Так примерно и тут. В комиссии на той же Карьялан-кату висит стилизованная под старину карта, на которой вся территория Карелии включена в состав Финляндии. Однажды финн, с которым случайно разговорились, сделал нам «геополитический прогноз»: «Карелию вам придется вернуть».

Захотелось его спросить: а что же вы не брали Карелию, когда вам ее предлагали в обмен на безопасность Ленинграда? В октябре 1939 года И. В. Сталин на московских переговорах с представителями финского правительства, подчеркивая, что речь идет не о захватах, а об обмене территориями, говорил: «Нам нужно закрыть доступ в Финский залив. Мы не можем перенести Ленинград, поэтому нужно перенести границу. Мы просим 2700 квадратных километров, а взамен предлагаем 5500 квадратных километров. Поступает ли так какая-нибудь другая великая держава? Нет. Только мы такие глупые». Финское правительство ответило отказом, после чего и разразилась кровопролитная «зимняя война».

В Финляндии стремление представить ее в виде героической эпопеи доходит до нелепостей. Например, до утверждения, что будто бы финны по доброй воле отдали часть своей территории СССР. А вообще-то везде одолели, везде «отбили и стояли» и спасли страну от оккупации. Хотя через три с небольшим месяца войны финская армия находилась на грани полного разгрома, а оккупировать Финляндию Советский Союз и не помышлял. Он свою задачу выполнил и перевыполнил, отодвинув границу от Ленинграда не на 70 километров, как предлагалось сначала, а на все 130.

Из истории надо брать и развивать то, что сближает народы и способствует их добрососедству, а не холить и лелеять ранящие шипы. Я об этом подумал, когда мы ездили на экскурсию в городок Хаменлинна в глубине Финляндии. Городок сложился вокруг старинной крепости, которая на своем веку видела всякое, в том числе осаду ее русскими ратями. Но когда мы вышли из автобуса у базарной площади, духовой оркестр, традиционно играющий здесь по выходным, грянул в нашу честь

«Катюшу», «Казачок» и «Эх, дубинушка, ухнем!». И повеяло в воздухе теплотой и доброжелательством. И захотелось выразить этим людям признательность.

### Без языка

Без языка неуютно. Особенно паническое состояние испытываешь, когда кому-нибудь из прохожих вздумается с тобой заговорить. Однажды взволнованный финн подошел ко мне на улице и стал что-то горячо доказывать, оживленно жестикулируя при этом. Человека явно чем-то обидели, и он громко выражал свое возмущение первому встречному. Но его взволнованная речь упала на неблагоприятную почву. Я не понимал ни слова и только кивал, как болванчик, да скорбно улыбался. Дескать, какие сомнения, конечно, ты во всем прав, приятель, а недруги твои просто ничтожества. В другой раз, ярким солнечным утром идущая навстречу финка озарилась улыбкой и сказала мне какую-то длинную фразу, упирая на слово «илма». Очевидно, она хотела, чтобы я разделил с ней неведомую мне радость и еще раз повторила фразу со словом «илма». Но я лишь стоял и мрачно смотрел на женщину, после чего она сочла за благо поспешить от меня подальше. Дома, заглянув в словарь, обнаружил, что «илма» означает погоду. Женщина, оказывается, вместе со мной солнышку хотела порадоваться.

Можно, конечно, вести себя как встреченный мной в Лахти российский пенсионер. Он семь лет прожил в Финляндии, но на вопрос, говоришь ли по-фински, не без гордости отвечает: «Ни слова. У меня жена — переводчик». Живет человек в Липпола, городском районе, где особенно много приехавших из России, общается только с россиянами, по телевидению смотрит только российские программы. Оказывается в своеобразном русском «анклаве».

Незнание языка на чужбине создает массу трудностей и неудобств. Да и сколько можно от прохожих шарaxаться! Нет, каким-то минимумом надо овладеть. Вообще-то здесь всех приезжающих иностранцев направляют на курсы по изучению финского. Кого-то сразу по прибытии, а кого-то после солидной «выдержки». Я, например, пошагал на такие курсы только по прошествии девяти месяцев после приезда. Хотя все это время слышал от других лахтинских россиян утешительное: «Не расстраивайся. Всех туда возьмут». Звучало как — все там будем. Но не обманули. Пришла бумажка, извещающая, что в специализирующейся на иностранцах школе «Салпаус» меня ждут в такой-то день и час в такой-то аудитории.

Началось то, что по-фински называется «коулутус» — обучение. Молодая финка-преподавательница по имени Мари с ударением на первый слог (это закон финского языка — ударный только первый слог!) пытается понудить своих великовозрастных учеников что-то сделать. В ответ преобладающая русская часть аудитории открывает оживленную дискуссию на тему, а чего ей, собственно, от нас надо? Кончается тем, что потерявшая терпение Мари начинает с помощью жестов и мимики показывать, чего она от этой публики добивается.

После первых же уроков выясняется, что лучшее слово в финском — это «тауко», то есть перерыв. Но самый старательный из нас и на «тауко» не выходит из класса. Он сидит, разложив тетради и словари, и силится понять финскую премудрость. До успехов ему далеко, отчего старательный время от времени берет за голову и вопрошает: «Неужели я здесь самый тупой?» Окружающие не отвечают, но чувствуются, что внутренне согласны. Дескать, был бы не самый, так ходил бы с нами в перерыв курить или пить кофе.

Кстати, насчет финской премудрости. На каждый «микси?» (почему?) следует «сикси» (потому). Мол, учить надо, а не мудрствовать лукаво, почему та или иная грамматическая конструкция не похожа на русскую.

Обучающихся в группе условно можно разделить на «честолюбцев», «творческих» и «равнодушных». «Честолюбцы» учат язык интенсивно и стараются хватануть побольше; они считают, что с его помощью смогут в Суоми сделать карьеру, получить хорошую работу или даже завести собственное дело. Именно они, сравнивая скорость освоения материала в различных группах, тревожно сообщают: «А в соседней уже глаголы учат!» «Творческим» мало просто учить язык, им хочется уяснить, откуда что берется. Они стремятся не просто заговорить по-фински, а заговорить правильно и красиво, с использованием сложных слов и образов. «Равнодушные» от таких глупостей далеки. Они просто отбывают свой номер. Коли попали на первое «тасо», надо его пройти и получить, особо не напрягаясь, какой-то минимум («тасо» можно перевести как ступень или стадия обучения. Всего их четыре, но для большинства курсы ограничиваются первыми двумя).

По мере того как идет время, уроки становятся уже не такими бестолковыми, а «курсисты» не такими беспомощными. Появляется скромный, словарный запас, и мы уже в состоянии построить немудреное предложение. На лице преподавательницы Мари выражение безнадежности («боже, в общество каких идиотов я попала!») все чаще сменяется поощрительной улыбкой. Мари начинает давать нам «развивающие» творческие задания. Например, описать на финском свою внешность и свой характер. Причем в числе вопросов фигурирует и этакий «закидон в будущее»: «А как вы будете выглядеть в 2029 году?» За исключением самого старшего по возрасту в группе, который равнодушно написал: «Меня в 2029-м не будет, а потому мне все равно», остальные увлеченно принимают за составление рассказа. Настолько увлеченно, что перестают смотреть на часы. И только нетерпеливый крик соскучившегося по передышке курда Ребаса «тауко!» возвращает ощущение времени.

Процесс погружения в финский язык проходит еще не раз через серию перипетий и смешных приключений. Однажды я пришел в магазин «Оптика» получить заказанные очки и напрочь забыл, что мне нужно сказать, хотя перед тем старательно заучивал фразу. Стоял перед прилавком и уныло тянул одно слово «ота» — взять. Дескать, взять мне у вас тут требуется, а что именно, вам виднее. На мое счастье, догадались что.

Но всем курьезам вопреки наша разговорная речь все-таки крепла на глазах. Уже перед наступлением нового года можно было зайти на почту и между делом бросить обслуживающему персоналу «онэлиста ута вуота» — счастливого Нового года! А нашу Мари через три с половиной месяца (срок обучения на одном «тасо») мы смогли довольно внятно поблагодарить за полученную науку.

### **Пора к Капитану!**

«У нас хлеб кончается, пора к Капитану», — сообщил я утром жене. Местное отделение «Армии спасения» два раза в неделю устраивает раздачу продуктов нуждающимся. Обычно это хлеб, что-то из молочного, что-то из мясного, иногда фрукты. «Армии спасения» это благодеяние ничего не стоит: просроченные продукты поступают из магазинов. Владельцам магазинов выгоднее отдать их благотворительной организации, чем везти на свалку и платить за это.

Россияне на бесплатные раздачи стекаются все, независимо от достатка и степени респектабельности. Из финнов ходят в основном опустившиеся бомжи, а остальные считают ниже своего достоинства. (Понятие «бомжи» здесь не совсем соответствует



российскому. Крыша над головой у этих людей есть; они бомжи по своему образу жизни, нетрудовому и нетрезвому.)

Сегодня опять черт меня дернул пойти к конторе «Армии спасения» в галстук и хорошем пиджаке. Значит, опять ловить косые взгляды: пришел за хлебом побираться расфуфыренный. Здесь так нельзя, здесь встречают и провожают очень даже по одежке. Замызанная куртка, расхристаный вид, кепка, по-шпански натянутая на нос, — совсем другое дело. Тогда сойдешь за нормального страждущего дармовой провизии. А с галстуком чего ж доброго ждать? Когда я приблизился к резиденции «спасителей» и попытался занять очередь к заветным дверям, навстречу решительно выдвинулись двое небритых граждан бомжеватой наружности и финской национальности. Слегка покачиваясь (только что похмелялись после «вчерашнего») и громыхая собранными «на сдачу» жестяными банками из-под пива в рюкзаках, они потребовали, чтобы я встал за ними. Встану — непринципиально.

Вообще-то здесь очередь занимают по номерам, и общение начинается с вопроса «какой у тебя номер?». Очередность эту устроители раздач «тасуют». Если стоял в конце с номером сто какой-то, то на следующий раз тебе выдадут номер в первой десятке. По принципу «кто был ничем, тот станет всем» и наоборот.

Но главным организатором очереди все-таки остается Капитан. Вот он вышел из дверей и строго взглянул на толпящуюся на тротуаре группу. Не знаю, какой у него в действительности чин в «Армии спасения», но мы прозвали этого коренастого, немногословного пожилого человека Капитаном. За властный нрав и особую степенность. Капитан любит порядок. Он быстро выстраивает друг другу в затылок соискателей «продовольственной помощи», чтобы не мешали прохожим, а сам застывает в позе Командора у входа. По взмаху его руки в дверь конторы заходит очередной счастливчик.

Во время ожидания россияне, составляющие в очереди большинство, успевают наговориться всласть. Что давали в прошлый раз, что ожидается теперь, кто и каким образом это использует. «Будут ли сегодня сливки? Ведь мой кот молоко не пьет», — беспокоится бабушка, приехавшая сюда из Петрозаводска. Всем бы ее заботы!

Слушая болтовню соотечественников, вспомнил читанное однажды про староревров-«некрасовцев», которые от гонений подались из России XVIII века в Турцию. Уединившись там в своем мирке, они сумели сохранить в неприкосновенности язык и быт того времени. Так что русисты приезжали в их селения, чтобы воочию увидеть и услышать старину.

И «Армия спасения» остается неизменной. Какой описали ее Ильф и Петров 80 лет назад в «Одноэтажной Америке», такой и осталась. Как следует из объявления на стенке, вдоль которой мы стоим, за бесплатные продукты «Армия» ждет нашей благодарности в ее молитвенном доме. Там нам расскажут историю о несчастном страдальце: ему долго не везло, пока он не обратился к Богу.

...Место нашей встречи с соседкой, пожилой женщиной из Петербурга, изменить нельзя. Мы сталкиваемся только у сарайчиков во дворе (такой сарайчик положен каждой квартире). Она хлопотливо набивает мешки, перебрасывает коробки. В этих мешках и коробках — полученные на бесплатных раздачах в «Армии спасения» и в церквях продукты. Все это отправляется в Питер родственникам или знакомым на продажу через мелких торговцев. А повезет мешки на своей машине еще один выходец из наших краев, который много лет специализируется на поездках в Питер и обратно, имеет постоянную клиентуру среди россиян. В общем, приспособились, нашли



свою нишу. И таких приспособившихся среди иммигрантов из России гораздо больше, чем имеющих постоянную работу. Вот и у нас не реже раза в неделю поднимается крик: «Не задерживай! Меня Капитан давно ждет».

Моему знакомому, Олегу Ивановичу, 61 год. Последние пять лет он живет в Финляндии. Живет в праздности. Нигде не работает и не учится. Своим статусом сидящего дома на диване и вылезавшего «наружу» разве что на рыбалку да в лес за грибами вполне доволен. Финское государство его не «кантует» и не беспокоит. Он к финскому государству тоже не лезет с лишними вопросами.

Непонятно, на что рассчитывали финны, благословляя массовую миграцию из России. Если на то, что приехавшие бросятся усердно трудиться на благо «великой Суоми», так это зря. Как пел Буба Касторский, «если да, так нет». Если взять любых трех российских переселенцев, то один из них — даром небо коптящий, другой посещает бесконечные курсы (сегодня учился на садовника, завтра на социального работника, а послезавтра потянуло в предприниматели) и только третий — работник.

Да и само финское государство не обнаруживает стремления привлечь к делу приехавших на его хлеба. Некоторые по 8–10 месяцев ходят в службу занятости (тот отдел, который занимается иностранцами), выражая недоумение, почему их до сих пор не направили хотя бы на курсы финского языка. Приносят презенты, надеясь быстрее получить практику, — так называют временную, до полугодия, работу. Такого рода трудоустройство весьма выгодно для финских предпринимателей, поскольку «практикантам» не надо платить зарплату. Они оплачиваются за казенный счет из расчета 8 евро за рабочий день. То есть самим иностранцам практика дает совсем небольшую материальную прибавку к обычному пособию. И тем не менее ее еще надо выпросить.

Получается, что Финляндии дешевле и проще содержать дармоеда, нежели обеспечить его занятость.

Разумеется, такое положение не могло продолжаться бесконечно долго. Оно и закончилось. Финские власти теперь говорят «добро пожаловать!» только тем, в чьем труде и в чьей профессии нуждаются.

### **Они нас только терпят?**

В супермаркете сидевшая на скамейке финская старушка, услышав нашу русскую речь (мы присели рядом), решительно поднялась и удалилась. Наш сосед по дому, молодой парень, при встрече с нами демонстративно отворачивает голову в сторону. Видели и частную усадьбу, где хозяин на заборе специально для нас вывесил «объяву»: «Тэритория оснадшэна бидэкамэрдми» («Территория оснащена видеокамерами»). «Не терпят они русских», — говорят «понаехавшие» по поводу таких проявлений местного дружелюбия. Слышал, что в районе Липпола в Лахти, где живет особенно много россиян, нередко происходят драки между финской и русской молодежью. Поэтому и начинаешь подозрительно спрашивать самого себя: «Это почему в списке жильцов у нашего подъезда русские фамилии выделены желтым? Приготовление к Варфоломеевской ночи?»

Да, надо констатировать: раздражение по поводу «русских нахлебников» у финнов присутствует. Оно накладывается на исторические корни, связанные с черными страницами нашей общей истории. Накладывается на естественную, наверно, для любого народа неприязнь к «понаехавшим». Чужаков при этом стараются в чем-то уесть, а своих в чем-то приподнять и выделить.

Мы с женой искали квартиру площадью побольше, чем наши 40 квадратов, с целью ее снять. Казалось, нашли. Удобно расположена, хороший этаж. При осмотре тоже все устроило: светлая, просторная, окна на юг. Но тут является другая пара претендентов-финнов. Дочь с отцом. Дочь еще туда-сюда, хотя бы поздоровалась. А папаша, увидев нас, надулся как мышь на крупу и стал демонстративно смотреть мимо. «Вот увидишь, — сказала мне жена про присутствовавших там же представителей жилищной конторы, — финнам квартиру отдадут». Так оно и случилось.

В другой раз с похожей ситуацией мы столкнулись при дележке земли под картошку (местный муниципалитет за небольшую плату предоставляет участки желающим заняться огородничеством). Группа финнов обратилась к человеку из магистратуры, делившему землю, с требованием избавить их от соседства русских — русских перебросить на другое поле. Человек от власти отказался заняться сегрегацией, сказав, что его могут обвинить в национализме.

А чего больше получается при проживании бок о бок — скрытой вражды или доброжелательности, не берусь судить. Но в любом случае поражает отсутствие у русской диаспоры какой-либо формы своей самоорганизации. В городе Лахти проживают 2 тысячи приезжих из России. И при этом не существует организации российских граждан, или, условно говоря, Российского комитета, созданного для защиты своих интересов. Видно, правильно мы сами себя ругаем за отсутствие сплоченности и солидарности.

### **Мне надоело!**

Тягостное впечатление произвела сцена, которую видел однажды в финском консульстве в Питере. Молодая девушка чуть не рыдала у окошка, где принимают документы для оформления визы: «Я хочу поехать к вам на работу. Себя попробовать. Пожалуйста, дайте мне возможность!» Это что за жизнь такая, когда пробовать себя непременно нужно в другой стране? Когда счастьем считается попасть на работу «за бугор»? Когда со слезами вымаливают, чтобы их пустили на чужбину? Где их, собственно, никто не ждет.

Лично мне по истечении определенного времени все надоело. Надоело! Надоели границы, таможни и штампы в паспорте. Надоело шарахаться от прохожих, когда им вздумается к тебе приблизиться. Надоело морщить лоб, силясь понять, что тебе сказали. Надоело это не покидающее тебя состояние человека не в своей тарелке. Надоела эта эмигрантская самоизоляция с ощущением, что ты добровольно посадил себя в какой-то отстойник, в сторону от стремнины жизни. Я решил: возвращаюсь в Россию. Там проблем, конечно, «выше крыши», но это наши проблемы. А здесь все чужое.

Ольга ПУССИНЕН

СЛАВНОЕ МОРЕ —  
СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ,  
ИЛИ  
О ВИДАХ СОВРЕМЕННОЙ НОСТАЛЬГИИ

Тоска по родине! Давно  
Разоблаченная морока!  
*М. Цветаева*

Во сне я побывала в Раю, как ни странно, Раем оказалась родная Ясиноватая: кленовые аллеи, дубы, ивы... Сегодня ищу фото родных пенат в инете и плачу: тянет к истокам, старею...

*Из рассказа современной эмигрантки*

Нет, это не наша Родина,  
Родина — где-то там.  
Листья такие же, вроде бы  
Так же летят к ногам,

Это не наша Родина,  
Родина — далеко,  
Родина — проворонена,  
Спрятана под сукно.

Небо такое же светлое,  
Так же бездонно оно,  
Кажется — не на что сетовать,  
Я и не сетую, но

Дальше! Как смерть Кашеева  
Где-то на дне морском  
Или на дне ущелия  
Недосягаемом!

Дух в ностальгии плавится,  
Прежде, чем он поймет:  
Родина начинается  
С выезда из нее.

Я прочитала это стихотворение живущего в Финляндии русского поэта Алексея Ланцова на конференции в милом и уютном российском городе Т., где я рассказывала о направлениях современной эмигрантской литературы и, в частности, об издающемся в Финляндии литературно-художественном журнале «Иные берега». По вечной российской неразберихе мой доклад с первого места сместился на последнее, так что собранные для количества студентки-первокурсницы педфака

---

Ольга Пуссинен родилась в Мордовии, окончила Московский университет, защитила кандидатскую диссертацию в Петербургском университете («Концепция человека в творчестве Иво Андрича»), докторант Хельсинкского университета. Участник Объединения русскоязычных писателей Финляндии, главный редактор журнала «Иные берега». Поэт и ученый-филолог. В настоящее время учится в докторантуре Хельсинкского университета на кафедре славистики и балтистики. Литературные публикации — в журналах «Иные берега» и «Северная Аврора». Живет в Хельсинки с 2001 года.

уже утомились от обильной порции научной информации и, не стесняясь, погрузились в обсуждение насущных и важных девичьих проблем: в аудитории стояло мерное жужжание меццо-сопрановой тональности, разбавляемое всплесками приглушенных смешков. По правде сказать, я даже и не надеялась привлечь их внимание, но чудо тем не менее свершилось: на второй строфе гул затих, на третьей воцарилась тишина. После последней последовали дружные аплодисменты, которые я, увы, никак не могла передать автору, занесенному судьбой в провинциальный финский городок со смешным для русского уха названием Сало.

В перерыве резвые, еще не расставшиеся с детством барышни радостно разбежались пить чай и кофе, а за мою парту подседа положившая свою жизнь на изучение и преподавание русского языка старая армянка, тяжеловесная и грузная, с волосами, выкрашенными в красное-дерево-медь. Положив мне на запястье свою сухую, испещренную пигментными пятнами руку, она произнесла с неистребимым классическим восточным акцентом: «Спасибо! Спасибо вам за стихотворение!», и ее темно-карий, переходящий в черноту взгляд медленно заблестел налившимися слезами. «Ну что вы!» — попыталась разбавить я атмосферу, но она не приняла моей этикетности, продолжая повторять свое настойчивое спасибо. На него, как на пароль, к нам подошла молоденькая аспирантка: тонкая, робкая и трепетная, как пуливая лань, чеченка с серо-зелеными глазами, странно выделявшимися на смуглом южном лице. «Да, — сказала она уже на совершенно чистом русском языке, без всяких примесей восточного произношения, — я тоже хотела сказать спасибо. Это так... Это правда...» Задохнувшись от смущения, она замолчала, не умея дальше высказать охвативших ее чувств, но, впрочем, нам троим и не надо было ничего друг другу объяснять. Мы понимали друг друга без слов, мы чувствовали нутром и кожей каждую строчку этих стихов, мы были избранными и отверженными, мы были гоями и изгоями, мы были мечеными, рыжими-рыжими-конопатыми среди уравновешенной и устойчивой массы темно- и светлорусоволосых братьев и сестриц, которых не носило по чужим местам, как перекати-поле, которые укорененно и традиционно жили-были на знакомой с детства земле: где родился, там и пригодился.

После конференции я отправилась к родственникам, живущим на другом конце города Т. Лихо промчавшись на маршрутке, смело и бесшабашно маневрировавшей по запруженным в час пик улицам, я высадилась на подсказанной отзывчивым и любознательным народом остановке и, перейдя через дорогу, внезапно оказалась на краю наполненной водами сентябрьских, октябрьских и ноябрьских дождей большой глубокой лужи, простиравшейся в начале улицы, носившей гордое имя великого русского литератора Белинского. Обойти лужу было весьма непросто, поскольку она расплескалась от одного конца узкой улочки до другого, а края ее были болотистыми и топкими, не укрепленными никакой асфальтовой поддержкой. Пришлось остановиться.

Я постояла на левом краю лужи пару минут и вроде бы наметила стратегию окольного пути, пойдя которым риск выпачкать в грязи новенькие темно-красные замшевые сапоги был, кажется, минимальным. Тем не менее я продолжала стоять: странное чувство постепенно овладевало мной, не давая спокойно и уверенно обойти лужу и постучаться в ворота дома, где меня уже давно ждали. Лужа волновала меня и притягивала, словно далекая Марсианская впадина или еще более далекая черная космическая дыра, и все же с ней было связано что-то до боли знакомое и свое, хоть пока и неузнаваемое, засыпанное пеплом прожитых лет. Это была непростая лужа, хитрая, как текст с подтекстом, как шкатулка с секретом, как набор расставленных в серванте среди посуды матрешек, которых я раскладывала в детстве по порядку. Шестеро сестриц были обычными деревенскими дуняшками и марусяками, смотревшими на меня блестяще-лупоглазыми недумаящими очами, но вот последняя, седьмая, самая махонькая, была ни в сказке сказать ни пером описать — самой на-

стоящей Василисой Премудрой, умницей-разумницей, знавшей ответы на самые ковыристые вопросы и загадки. «Ну, — требовательно обратилась я к ней, — не томи уже, скажи! Сколько мне тут еще топтаться?..» И малютка Василиса тут же откликнулась. «Что ж ты, — укоризненно покачала она головой, — где память-то растеряла? Совсем, что ль, все позабыла? Славное море — священный Байкал, — или не помнишь?» И тогда я вспомнила.

Лужа, у которой я томила, была действительно связана со славным морем — священным Байкалом но не с тем настоящим, которого я до сих пор в глаза не видала, а с моим собственным, имевшимся лишь в моем личном распоряжении давным-давно: мое славное море — священный Байкал находилось в маленьком российском городе Р., где я родилась и выросла и из которого безжалостно уехала уж более пятнадцати лет назад, торопясь вырваться в настоящие столичные города, где жизнь бурлила, кипела и вихрилась событиями.

Городишко этот в те совершенно далекие и канувшие в лету брежневско-черненково-андроповские времена был затюханным и занюханным. Да и потом, в перестройку и при диком капитализме, особо не менялся, оставаясь оплотом матерой российской провинции: село, подсолненное городскими приправами. В центре, напротив вокзала, стоял мощный стальной Ильич, сжимающий в левой руке любимую историческую кепку, а по окраинам, которые начинались со всех сторон буквально через две улицы, летом паслись привязанные к колышкам козы. В пять вечера по ведущему к городу Р. шоссе неторопливо и степенно шествовало довольно большое стадо коров, покачивавших раздутыми от поглощенной за долгий летний день травы боками. По-моему, был даже бык, потому что в красном платье попадаться стаду на глаза считалось опасным. И потом, коровы регулярно телились, значит, бык был точно.

Цивилизация во времена моего детства и отрочества затронула родной город Р. лишь вскользь и самую малость, так что основательно заасфальтированы в нем были лишь две улицы: центральная Ленина и врезавшаяся в ее основание под прямым углом Карла Маркса. Улица Энгельса в городке отсутствовала: вероятнее всего, асфальта на нее уже просто бы не хватило. Остальные улицы и переулки были заасфальтированы кое-как, отрывочно, сумбурно и так давно, что под ногами частых пешеходов и нечастых машин асфальт давно прохудился. Моя улица революционера Ухтомского, закрепившегося в местной истории по причине железнодорожной стачки, которую он активно и успешно организовывал в далеком 1905 году, не была исключением: асфальта там не было и в помине, а потому осенью и весной по ее природным изгибам, впадинам, углублениям, ямам и ямкам образовывались разного размера лужи и лужицы: большие, средние и малые, вдоль которых под дождем или осенним солнцем сновали прохожие и собаки. Самая большая и даже огромная лужа — нет, лужица — располагалась совсем рядом с хрущевской пятиэтажкой, где я жила. Это была могучая лужа, глубокая и полноводная, наполненная густой темно-желтой жидкостью, простиравшаяся от края до края весьма широкой улицы. Миновать ее не было никакой возможности, но я к этому и не стремилась. Утром времени на лужу не было, но вот на обратной дороге, возвращаясь из школы по весне или осени, я неизменно направлялась к ней. Я вступала в нее постепенно и медленно, медленно начинала бродить вправо и влево, устремляясь к центру, заходя все глубже и глубже, до тех пор, пока вода не достигала самого края моих красных резиновых сапог. До середины я не доходила никогда: середина плескалась не менее чем в двух-трех метрах, которые по моим десяти годам казались мне огромным и непреодолимым расстоянием. Постояв на достигнутом месте, я начинала двигаться обратно столь же извилистым и прихотливым маршрутом. На такое путешествие уходило от пяти до двадцати минут, в зависимости от погоды и настроения. Я проделывала этот финт, наверное, года три — лет, наверное, до двенадцати, пока не начала вырастать из детства и лужа мне не надоела.

Мое плавание по просторам лужи практически изначально оформлялось музыкальным сопровождением — почти каждый раз я довольно громко напевала известную полународную песню: *Славное море — священный Байкал, / Славный корабль — омулёвая богка, / Эй, баргузин, пошевеливай вал, / Молодцу плыть недалёзко!* Больше двух первых куплетов я не знала, но и их мне вполне хватало. По малолетству я не имела понятия о том, что *баргузин* — это диалектное название байкальского ветра, а потому с легкостью перевела это слово в разряд имен собственных. В моем представлении и исполнении это был уже Баргузин — неведомый грозный мужчина, плывший по бескрайней луже в одном бочкообразном корабле с Молодцем. Молодец был похож на Иванушку-Леля с палехских шкатулок: русо-кудрявый, фольклорно-изгибистый и с дудочкой-свирелью в нежных руках. Баргузин же был темный, большой и загадочно-дремучий, заросший огромными бармалеевскими усами и бородой, с красным платком на голове (тогда я, естественно, ведать не ведала слова *бандана*) и золотой цыганской серьгой в ухе. И если Молодец был одет в светлую льняную русскую рубаху до колен, подпоясанную плетеным пояском с кистями, то на Баргузине были рваная грязная матроска и широкие турецкие шаровары. Из-за голенища его правого черно-блестящего сапога виднелась резная рукоятка кинжала. Баргузин был непонятный, опасный и даже страшный. Тем не менее текст песни не давал мне испугаться окончательно: коли Молодец обращался к Баргузину столь начальственно, значит, главным в этой паре все-таки был он, и Баргузин был вынужден подчиняться его приказам: *Эй, мол, Баргузин! Чего расселся, давай вон — пошевеливай вал!* Вал же представлялся мне неким гибридом из весла и паруса. Точно так же прилагательное *омулёвый* я воспринимала как качественную характеристику корабля: есть корабли деревянные, есть железные, а есть омулёвые.

Воспоминания из далеких детских времен: лужа на улице революционера Ухтомского, славное море — священный Байкал и Молодец с Баргузином, плывущие по нему от неведомых акатуйских гор незнаемо куда — в *Недалёзко*, — вспыхнули в моем мозгу с невероятной яркостью и наглядностью за те недолгие минуты, в течение которых я стояла у края лужи на улице Белинского. Хотя, конечно, лужа города Т. и в подметки не годилась великой луже родного города Р., — так, слабое подобие, ограниченное и сжатое напорающей со всех сторон цивилизацией и техническим прогрессом. Однако я вспомнила даже то, что Баргузин в моих фантазиях отдаленно напоминал самого отпетого хулигана в классе — залихватского пацана Эдика, в котором бурлило много кровей, не дававших ему покою, но цыганская, толкавшая на разнообразные проделки и шалости, сбивала мальчонку с пути истинного сильнее всего: на его непутевой голове вились черные мягкие кудри, нос уже в десять лет был крючковат и хищен, а взгляд черных матовых глаз врожденно нахален. Эдилов портрет довершала щель, темневшая среди белоснежного ряда крепких от природы зубов, через которую он умел сплевывать цинично и изящно, с легким артистическим прицокиванием. Щель образовалась в результате наполовину сломанного в драках начальных классов левого резца. «Хорошо хоть нос ему тогда не сломали!» — внезапно подумала я, потрясла головой и, наконец-то очнувшись от наваждения, все-таки сумела продолжить свой путь. Причем старый опыт сослужил-таки свою службу: я обогнула лужу настолько мастерски, что следов грязи на любимых сапогах практически не осталось. Так, на подошве слегка...

Вернувшись в Хельсинки, я зажила привычной жизнью, но воспоминания о славном море — свяленном Байкале, вызванные встречей с лужей города Т., не давали мне покоя. С одной стороны, они будили во мне самые теплые чувства, но с другой — я их стеснялась и стыдилась: какое может быть умиление вокруг лужи? Лужи связаны с топями, болотами, лягушками, хлябью, сыростью, неустроенностью и не должны вызывать в сознании положительных коннотаций. Одно дело, когда по дороге куст встает, особенно, как известно, приятное глазу растение рябина. Тут, понят-



ное дело, можно с благородством поностальгировать вволю, предавшись сладостной тоске и литературно апробированной отраде. А получать удовольствие от лужи никак не комильфо! Это, в конце концов, просто постыдно. Но, несмотря на это, славное море — священный Байкал в облике лужи пересыхать не желал и тревожил мою душу. Тогда я возрптала.

«Господи, — роптала я, — так несправедливо! Почему ты не даешь мне жить нормальной жизнью нормальных людей? Я тоже вслед за другими хочу с азартом, увлеченно рассказывать о поездках по необъятному миру друзьям, коллегам, товарищам и знакомцам! Хочу ставить перед собой все новые и новые цели, планомерно оставляя свои следы на глобусе, и, отмахнувшись от приевшихся Турции и Египта, изучив, как свою вотчину, старушку Европу, устремить взор на Карибы-Мальдивы-Гавайи, чтобы в конце концов усвоить географическую разницу между ними и при удобном случае, лениво приподняв бровь, поведать о ней окружающим. А что вместо этого? А вместо этого я застряла на русских полях, лугах, лесах, перелесках, опушках, снегах, дождях, засухах, просторах, раздольях, ухабах, канавах, кочках, шоссейных и проселочных дорогах, и только там Ты посылаешь мне то дурацкое блаженство, о котором и рассказать-то никому нельзя: засмеют ведь!» Так досаждала я Богу, а он в ответ, как всегда, загадочно отмалчивался, настойчиво отсылая и возвращая меня все к той же великой, ужасной и прекрасной осенне-весенней луже, расплескавшейся по российским городам и весям.

Тогда я сообразила, что с легкостью мне от этой лужи не оторваться, не избавиться и не уйти, что подлая ностальгия все-таки, подобно ленточному червю, добралась до самых моих печенок и просто так от нее не отмахнешься. Значит, моя личная ностальгия представлена в виде лужи, — не слишком эстетично и аккуратно, а что делать? Тогда я задалась вопросом: а в каких формах она проявляется у окружающих меня эмигрантов и проявляется ли вообще? Мучает ли других это странное прихотливое чувство? Выяснилось, что мучает, и еще как. В этом я смогла убедиться, когда волею судеб оказалась на посту главного редактора журнала «Иные берега» и стала вынуждена без разбору читать стихи и прозу людей, уехавших из России, но пишущих на русском языке, — русскоязычных литераторов. Приглядевшись повнимательнее, я обнаружила, что масса эмигрантов страдает недугом ностальгии в той или иной форме и степени, и те, кто живет в Финляндии, не составляют исключения, несмотря на территориальную близость и практически неограниченную возможность регулярно и часто навещать в Россию: от Хельсинки до Питера 400 километров. Три часа езды на лихом новомодном поезде «Аллегро» — и ты на Родине.

И тем не менее в головах русскоязычных писателей Финляндии, говоря словами живущего в Бельгии русского поэта А. Мельника, «без устали пульсирует мысль об оторванности от родных корней». Безусловно, каждый автор подходит к этой теме по-своему; мне, перечитавшей уже достаточно большое количество произведений на эту тему, представляется, что в творчестве современных русскоязычных литераторов, живущих в Финляндии, к настоящему моменту нашло свое отражение несколько видов ностальгии. Часть поэтов вольно или невольно отражают ностальгию на, так сказать, бытовом уровне, касающемся повседневных мелких деталей и фактов, отсутствующих в иной культурной среде Финляндии, наполненной обычаями, традициями и ценностями, к которым российскому человеку сложно привыкнуть. Так, например, пишет Елена Пумалайнен, воспроизводя образ мыслей обычного, не склонного к рефлексии эмигранта:

Называть по имени-отчеству  
И, конечно же, только на «вы»  
Очень хочется, очень хочется,  
Только некого, и увы...

(Русский свет, 2005, № 2)

Бытовой уровень этого стихотворения, пожалуй, ближе всего тому сожалению по послевоенным советским временам, которое устами «простого человека» передает в своей известной песне бард А. Розенбаум: «А знаете, как хочется, ну что б по-человечески: по имени, по отчеству, ну, в общем, по-отечески!..» Все-таки такие стихи, безусловно, имеют определенную поэтическую ценность, так как заложенная в них «народная поэтика» раскрывает общие для эмигрантов психологические проблемы культурного шока и стресса, связанного со сложным и болезненным процессом адаптации и ассимиляции в новой стране, которая при жизни в России во многом представлялась радужно-идеалистически.

Устоявшийся набор идентичностей (социальной, культурной, профессиональной, нравственной), помогающий человеку определить свое место в обществе и мире, который в России представляется незыблемо-прочным каркасом, в эмиграции рыхлится и начинает давать сбои. В результате эмигранту приходится перестраивать и менять свою самоидентификацию по всем уровням. Пораженческие настроения и депрессия, чувство тупика и ощущение усталости, безнадежности, путаница социальных ролей и ценностей, вызванные отчуждением или даже неприятием со стороны принимающего населения, ярко проявляются в стихах других поэтов, таких, как Людмила Кирпу:

Дай, Боже, сил не оступиться,  
Увидев завтрашний закат.  
Устала жить в краю, где лица,  
как маски серые, молчат...

(Иные берега, 2007, № 4)

Подобная сенсорно-бытовая ностальгия отталкивается от страны проживания, она не сравнивает, не думает, не вспоминает, она лишь констатирует тот факт, что в нынешней жизни отсутствует что-то не столь уж значимое и бросающееся в глаза, но важное и дорогое. Тоска по привычным отсутствующим мелочам становится доминирующей поэтикой такой лирики, ее духовной константой. Бытовая ностальгия в поэзии сродни тоске по русской квашеной капусте или соленым огурцам, но ведь и пищевые привычки и пристрастия составляют значимую часть всякого человеческого бытия, так что лишенный любимых суши, паэлья, жюльена или огурцов с капустой индивид вполне имеет право через какое-то время опечалиться, пригорюниться, загрустить, затосковать и лишиться радости жизни, завивая свое горе веревочкой.

Второй вид ностальгии выводит литератора на ступень идеализации и поэтизации родного края. С такой установкой автор начинает описывать родину, как умершего родственника: о мертвых либо хорошо, либо ничего. Недостатки не вспоминаются, их полностью заглушают воспоминания о счастливых и радостных мгновениях, утраченных с уходом любимого и близкого в недоступное прошлое. Такой вид эмоционально-духовной ностальгии присутствует, например, в творчестве постоянного автора «Иных берегов» — поэтессы Натальи Мери, которая покинула Россию в полугодовалом возрасте и росла в Алжире, Каире, Эстонии, поскольку ее отец был кадровым военным: время, проведенное в России, заняло в жизни Натальи лишь четыре года. Возможно, именно детство в постоянных переездах подтолкнуло Н. Мери дать сборнику своих стихов, выпущенному в 2007 году, название «Я — везде, я — нигде» (2007). Тем не менее, судя по творчеству поэтессы, можно смело сказать, что ее сердце принадлежит России. Наталья любит описывать в своих стихотворениях места, в которых ей довелось побывать, в ее творчестве много поэтических описаний Европы. Выраженная в заглавии сборника потребность быть *везде* словно подталкивает ее к тому, чтобы запечатлеть увиденное *везде* в слове. Испания, Франция, Греция заносятся в своеобразный поэтический дневник: «Барселона», «Фонтан Треви», «Родос»:

Наполненная светом Барселона,  
готического зодчества фонтан...  
Стремительна, прекрасна, невесома,  
с улыбкою глядит на океан.  
Неповторимы Гауди творенья,  
и — необъятен Сальвадор Дали...  
Наполненные лета светотенью,  
стекают краски с неба и земли.

(«Барселона», Иные берега, 2010, № 2)

Из глубины таинственных веков,  
могучей дланью направляя резвых,  
из вод морских летящих скакунов,  
Нептун глядит воинственно на верных  
Тритонов. Те — трубят, и этот звук  
навек запечатал белый мрамор.  
Скользим, как тени, мимо. И мой друг,  
любясь, на минуту тоже замер...

(«Фонтан Треви», Иные берега, 2009, № 1)

В честь богодочери названный,  
древностью пахнувший Родос.  
Здесь, на пути к старой гавани,  
высился мощный Колоссус.  
Эти развалины крепости  
помнят о канувшей славе.  
Гордость храня, в неизвестности,  
служат лишь мирной забаве...

(«Родос», Иные берега, 2010, № 1)

Читая эти стихотворения, я пыталась сообразить: что же их объединяет? А потом поняла: старательность и описательность. Это, по сути, написанные, как под копирку, туристические заметки, подобные той «прозе», что так любят выкладывать российские путешественники на туристических сайтах или личных блогах, только у Натальи получились заметки в стихах: приехал, посмотрел, увидел, записал, сел в самолет и улетел обратно. Пришел, увидел, победил, как Цезарь где-то говорил. Описание уровня отелей, сервиса и меню отсутствует, потому как жанр не позволяет. А жаль — вышло бы, вероятно, намного интереснее, живее и познавательнее. Чего же не хватает этим стихам для того, чтобы стать настоящей поэзией? Да самого простого: души и любви, великой любви, оживляющей даже камни. Ни Греция, ни Испания любви в Наталье не пробуждают, — она смотрит на них спокойным, чуть любопытствующим взглядом туристки, которые миллионами ежегодно ходят по достопримечательностям этих стран. Ни Тритоны, ни Колоссусы, по сути, туристок не волнуют, как, впрочем, и туристки не волнуют ни Тритонов, ни Колоссусов, живущих по законам других временных рамок, другого исторического размаха. Взаимный вежливый интерес и спокойно-любопытствующее равнодушие: *скользим, как тени, мимо...* Так и получается, что, побывав *езде*, Наталья Мери тем не менее не остается *нигде*. Неправда, остается. Человек, а особенно женщина — а стихи Натальи очень женственные, — не может жить без любви и чувства. Я поняла это, когда увидела стихи поэтессы, посвященные России:

Травы прошепчут мне имя твое,  
ветер с востока навеет печаль...  
Родина, Родина — сердце поет,  
просится ввысь, в запредельную даль,  
где пробуждал меня солнечный свет,  
шум распустившихся яблонь в саду,  
девственный запах сирени. И нет  
места дорожке...

(Иные берега, 2008, № 6)

Тональность стиха меняется до неузнаваемости. От спокойствия туристки, лениво гуляющей после обеда среди Тритонов и Колоссусов в солнечных очках, за которыми не видно глаз, не остается и следа: перед нами любящая женщина, волнуемая от собственной любви, привязанная к ней, томящаяся без нее. От строчки к строчке любовь нарастает, переходя уже в страсть, которая переполняет автора настолько, что словно не дает довести стихотворение до конца, отдавая последнюю рифму во власть читателю. Запах, цвет, звук — все то, что отсутствует при описательности европейских красот — насыщают маленькое стихотворение до отказа, заряжая его подлинной поэтической силой.

В выражении своих чувств по отношению к России Н. Мери становится смелая и откровенная, она перестает обдумывать то, что написала, отключая рациональное начало, перечисляет то, что помнит, — неважно, штампы это или не штампы, новое или старое. По нашему безжалостному времени, придавливающему поэта, словно теща нелюбимого зятя, требованиями экспериментов и новаций, использовать в стихотворении слова *эмигранты*, *Родина* и *ностальгия* действительно опасно, и момент бесстрашия у пишущих людей возникает редко, крайне редко. Но если перестать бояться своих порывов, то произойдет чудо, как оно произошло в стихотворении Н. Мери «Посвящается эмигрантам»: обычные и безыскусные на первый взгляд, стихи ожили от этой смелости любви, бесшабашности чувства, не оглядывающегося на чужое мнение. Так задержанные глобализацией мужчины порой оживают от шальной улыбки на женских губах и вспоминают о своей мужественности, расправляя плечи и пытаясь отыскать в себе позабытое с годами бесстрашие:

Вновь и вновь господа эмигранты  
вспоминают, как били куранты,  
как осталось хорошего много  
в стороне того края родного.  
Золотые поля с васильками,  
шепот темной листвы над домами —  
далеко безмятежное лето,  
что сердцами, сердцами согрето.  
И болят поврежденные корни,  
прорастая в холодном и твердом.  
Я сегодня пьяна ностальгией  
по тебе, дорогая Россия.

(Иные берега, 2010, № 2)

Наконец, есть литераторы, идущие третьим путем и пытающиеся обуздать ностальгию с помощью рациональной рефлексии, разложив по полочкам свое бытие тут и там, до и после. Такой подход требует философского осмысления жизни, в силу чего произведения, выходящие из-под пера, становятся своеобразными раздумьями о смысле перемен, произошедших с автором на новом месте обитания. Это уже нос-

тальгия онтологическая, подталкивающая поэта к осмыслению индивидуального онтогенеза, к поэтическому анализу субъективного переживания в русле какой-либо философской традиции. Философские позиции автора тут играют второстепенную роль, главным становится стремление к подаче частного как варианта общего. Такую философско-рациональную ностальгию можно встретить в произведениях одного из постоянных авторов «Иных берегов», поэта и художника Алексея Ланцова, со стихотворения которого «Родина» я начала эту статью.

Жизнь в Финляндии открыла в творчестве А. Ланцова новые темы: он внимательно и вдумчиво смотрит на окружающую его действительность, рисуя лаконичные и прозрачные картины финской природы. Не содержащие ни одной лишней детали, такие стихи своей точной образностью создают в воображении читателя удивительно яркую по наглядности картину: таким образом, А. Ланцов как бы соединяет поэтическое начало с изобразительно-живописным, и это ему вполне удается:

Листья деревьев мерзнут в воздухе,  
Словно ладони в холодной воде.  
Луна — как под пыткой —  
Свет едва дает.  
По газону скачут, играя, два зайца.  
Финская ночь.

(Иные берега, 2010, № 11)

Однако Финляндия интересует поэта не только своими пейзажами. Стихотворение А. Ланцова в последнем, юбилейном номере «Иных берегов» — довольно объемное для лирики произведение «Мой сосед Тоссавайнен» — убедительно демонстрирует, что поэт не только смотрит на окружающий его мир, отмечая в нем новые детали и формы. Помимо этого А. Ланцов мучительно размышляет о своем месте в этом новом мире. Окружающая действительность вторгается в жизнь эмигранта каждый день, даже если она и не вовлекает его в соучастие: ее присутствие рядом все равно ощущается как постороннее действие, давая повод к оценке и рефлексии. Каждый эмигрант проходит свой путь ассимиляции, но очень часто новое общество так и остается чужим, и тогда жизнь человека как бы распадается на две части: мы (русские) и они (в данном случае — финны). Отношения между сторонами могут быть разные — от дружелюбия до скрытого холодного противостояния. Но это всегда своего рода дипломатия, главная цель которой — сохранить мирные отношения, не доходя до конфликтов. А обратная сторона дипломатической медали — это война. Не потому ли описание жизни финского соседа Тоссавайнена внезапно обрастает в стихотворении русского поэта военными метафорами:

Мой сосед Тоссавайнен домой приезжает под утро,  
Спят в окопах друзья, и невеста уснула в авто...

Откуда и почему возникают эти окопы? Почему вдруг вспомнилась забытая советская военная песня, которую пел полузабытый певец Евгений Мартынов тридцать? сорок? когда?.. лет назад. «Дорогая моя, на переднем у нас передышка, Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу» — он даже не стал прецедентным, этот текст, зачем же поэту понадобилось цитировать его? И наши, и их окопы заросли шестидесятипятителными травами, отплакали слезы матери, жены и невесты погибших солдат, выросли их дети и внуки, открылись границы, и наладились торговые контакты и культурные связи, и русский слон, как все знают, уже давно лучший друг финского слона. Так-то оно так, но вот окопы и берлоги у русских и финских медведей все-таки до сих пор разные, и друг к другу они не лезут и не стараются не беспокоить.

И тем не менее из окопов приходится вылезать и, стряхивая землю с гимнастерок, налаживать мирную жизнь. Правила и законы все той же дипломатии требуют соблюдения политкорректности и пиетета по отношению к чужому государству. Это свою несуразную страну можно чихвостить в хвост и гриву, с чувством собственного достоинства в очередной раз справедливо обругав коррупцию, чиновничью тупость, беспредел, бардак, — отвести душу на дураках и дорогах. В чужой же монастырь, как известно, со своим уставом не ходят, особенно если он дал тебе пристанище. В чужой колодець плевать нехорошо и некрасиво, тем более что и плеватья вроде бы не с чего: все чисто, гладко, пристойно и прилично — ни кошек в подъездах, ни собак у помоек, ни самих помоек. Да и русская культура в почете: «Войну и мир» финны если и не читали, то уж, во всяком случае, о ней слышали и отзываются о Лео Толстом с уважением. Стало быть, надо отдать чужой стране причитающиеся знаки уважения и взять под козырек, что и делает А. Ланцов, добросовестно перечисляя в своем стихотворении преимущества, достижения и успехи молодого государства, добившегося больших успехов на пути демократии и построения справедливого, социально-защищенного общества, в котором, представьте себе, все равны, — даже у эмигранта в целом те же права, что и у коренного населения! Даже на русских финны стараются не раздражаться и русских памятников не сносят, удивляется поэт:

Привыкаешь к стране, где тебе улыбаются люди,  
 Облеченные властью (но не отягченные мздой),  
 Где над площадью главной высится столбиком ртути  
 Просвещенный монарх — русский царь Александр Второй.  
 С постамента царя — этой гордой и властной фигуры —  
 Не снесли даже после проигранной Зимней войны.  
 Он стоит как фиксатор приемлемой температуры  
 Отношения к русским в большом организме страны.

Удивление Алексея, на мой взгляд, забавно: это ли добродетель — не делать пакостей, тем более памятникам, относящимся к разряду национального достояния? Нет, это еще не добродетель. Но эмигрант должен выработать в себе позитивное отношение к стране-субстрату, иначе он станет маргиналом, а это путь, ведущий в тупик. Поэтому приходится заставлять себя обращать внимание на положительные моменты и возвращать в себе приязнь, коли полюбить не получается, — любовь ведь вспыхивает и разрастается без всяких добродетелей, среди лопухов, чертополоха и прочих неэстетических сорняков. На этой позиции невесты, уговаривающей саму себя в том, что ее нелюбимый жених на редкость правилен и наделен самыми ценными брачными качествами, построено дальнейшее развитие стихотворения: Ланцов добросовестно пытается посмотреть на себя в Финляндии объективно и беспристрастно, проложив свой маршрут на ее карте.

Поэт словно впитывает в себя новую среду и пытается насытить ею свою душу, провести впечатления окружающей действительности через кровь и плоть («до самых подкорок»), сделать из них новый скелет для собственного тела, придав себе самому устойчивости в новом мире. Он осознанно и настойчиво вводит себя в финскую реальность, прикрепляет себя к ней, фотографически запечатлевая лирического героя в самых разных местах окружающей действительности: в домах, на дорогах, на берегу моря. Даже отражение в воде, призрачное и неустойчивое, он пытается сделать осязаемым фактом, конкретным снимком, словно уверяющим его самого, что все происходящее — не выдумка, а новая ступень его бытия, на которую привела



его судьба и в которой он должен теперь жить, не помышляя о возврате в прошлое, ибо его, этого возврата, быть не может, ведь *жизнь не круг, не спираль, но стрела*:

Побываешь в столице — заполнишь до самых подкорок  
Впечатленьями мозг, чтобы дома, уже поостыв,  
Вспомнить гладкие руки дорог, обнимающих город,  
Дом-кроссворд, что на солнце блестел клеткой окон пустых,  
Или Финский залив, в нем теперь и твое отраженье  
Где-то в складках волны, или чайка его унесла.  
Возвращения вечного нет, это миф — возвращенье,  
Затемняющий суть: жизнь не круг, не спираль, но стрела.

Все же эти попытки прикрепить себя к новой реальности, напоминающие коллекцию снимков побывавшего в Финляндии путешественника, которые он, вернувшись в Россию, демонстрирует друзьям с вечными туристическими комментариями («*Вот это я на дороге, — дороги там супер!*», «*А вот, смотри, здание какое, — густый модерн, и весь комплекс такой*», «*А вот море, а гайки там какие наглые, ничего не бояться, у нас бы их давно расшугали!*» и т. п.), — эти попытки практически полностью нивелируются общей безрадостностью стихотворения, разбиваются о его терпеливо-покорную, устало-смирненную тональность. Произведение это вообще нарочито лишено эмоциональности: поэт как будто запрещает себе радоваться или печалиться, грустить или веселиться. В результате остается голая основа констатации, в которой герой «консервируется», созерцая «бесчувственную» финскую жизнь механистически-отстраненно:

Взглядом праздным блуждаю средь облачных серых развалин,  
Там зависла луна и мерцает, что твой монитор.  
Возвращение — блеф, возвращается лишь Тоссавайнен —  
Вновь приехал под утро и долго не глушит мотор.

Произведение начинается и завершается образом соседа лирического героя, финна Тоссавайнена, и с ним стихотворение, вопреки всем поэтическим декларациям и заявлениям, совершает полный круг, циклический виток жизненной спирали, по которой, словно в насмешку над поэтом-эмигрантом, преспокойно поживает Тоссавайнен, каждую ночь возвращающийся в родной дом. Таким образом, получается, что образы бытия разделяются: бытие Тоссавайнена в родной стране — это круг и спираль, а бытие лирического героя А. Ланцова на чужой стороне — стрела, летящая в другой мир. Какой другой? Загробный:

А мишень у стрелы за пределами этого мира —  
Край, куда эмигрируют все и уже навсегда.  
Может, там по-другому поет просветленная лира,  
И стихи «Калевалы» озерная шепчет вода?

Но тогда получается, что Тоссавайнен бессмертен, ибо живет по спирали, а герой Ланцова идет и даже летит, как стрела, к своему смертному рубежу, могильному кургану. Получается, что будущее, опирающееся на неразрывный и бесконечный спиралевидный механизм движения бытия, предназначено сыну своей страны Тоссавайнену, тогда как лирическому герою поэта, словно пасынку, отводится лишь брэнное

настоящее, которое закончится неминуемым финалом, когда его стрела долетит до своей конечной цели и движение прекратится. Попытки прикрепить себя к чужой стране, следовательно, проваливаются, оказываясь нежизнеспособными, а потому сменяются призрачными мечтами об ином прекрасном крае, простирающемся за порогом жизни, в котором черты и без того безупречной финской действительности перфекционируются и истончаются до бесплотности, до голубоватого тумана заоблачного финского Эдема, где, как и положено райскому саду, ангелы на лирах играют душам счастливицков сладостные песни из «Калевалы». И эту надежду герой поэта оставляет себе как последний шанс на обретение того душевного умиротворения, которое пока страна Суоми ему еще не дала. Это же подтверждает и удивительное стихотворение «Родина», приведенное целиком в начале статьи, в котором уже не остается места никакому лукавству перед самим собой, лишь горькая констатация факта: *это не наша Родина*, и с этим уже ничего не поделать...

Итак, на кривой козе ностальгию не объедешь: эта тема всплывает практически в каждом номере журнала «Иные берега», более того, она типична для всей эмигрантской литературы в целом. Еще того более, ностальгия составляет важную часть жизни огромной массы жителей метрополии, безжалостно сорванных с мест глобализацией и миграцией: эти две поварики не устают мешать человеческую кашу, подбивая людей на поиски счастья, — хорошо там, где нас кормят. Что ж плакать об оставленном, не все же нам сидеть с детством в обнимку? Ритмы нынешней жизни расслабиться особо не дают, постоянно подстегивая современного человека к новым и новым успехам, достижениям и свершениям. А пока мы гоняемся за жар-птицами, родная сторона успевает измениться до неузнаваемости. *«Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот казусь я в санках по горе крутой»*. Только по горе уже проложили асфальтовую дорогу, и не ребятишки летят по ней на санках, а машины ездят: движение оживилось, так что пробки даже случаются.

Кстати, мою родную улицу революционера Ухтомского тоже заасфальтировали, основательно и прочно, укрепив, как бастион, перед любой непогодой. Вообще город Р. за нулевые годы похорошел, несмотря на кризисы, приоделся и обрел другой вид, словно провинциал, сменивший древнее дедово пальто с барашковым воротником и истоптанные бурки на пуховик с сапогами. От коров не осталось и следа, хотя кое-где еще встречаются редкие козы, осматривающие путешественника желтыми дявольскими глазами. Вверх от памятника Ильичу сейчас идет пешеходная аллея, украшенная в конце псевдоклассической беседкой с балюстрадой. Летом там тусуется местная молодежь, и, возвращаясь в родительский дом в прошлом году поздним июльским вечером мимо веселой компании юношей и девушек в пестрых майках и топиках, я уловила струящийся от них сладкий запах — угадайте чего? — марихуаны! Марихуановый дымок медленно растекался по аллейке, спускаясь вниз и проникая в железные ноздри вождя мировой революции... Изумленно покрутив головой, я признала, что декорации сменились окончательно, и, значит, мне уже никак не вернуть саму себя, не достать ту девочку в клетчатом драповом пальто, ядовито-зеленых гамашах и красных резиновых сапогах, которая, шмыгая носом под мелким серым октябрьским дождем, бродила когда-то по славному морю — священному Байкалу, ведя за собой на подобранном по дороге прутике омулёвый корабль с сидящими в нем Молодцем и Баргузином.

Но тема ностальгии в литературе упорно живет и будет жить дальше, пока люди будут колесить по свету, уезжая из своего детства. И проблема ностальгии волнует не только оторванных от России поэтов. Она волнует и россиян: я сталкиваюсь с этим

каждый раз, когда они с жадностью набрасываются на меня, принимаясь исследовать как неведому зверушку, немышонку-нелягушку, допытываясь, кем же я стала, проживя десять лет за границей. И, в общем-то, в своем любопытстве они правы: я действительно стала другой, уехав из России, хотя русское начало, русское стремление к искренности осталось во мне неизменным. Следуя ему, я пытаюсь открыть жителям метрополии свою душу и начинаю неловко и коряво лепетать что-то о ностальгии, о верности и любви на расстоянии, какой бы невероятной она ни казалась. Но слова мои, неуклюжие и хромоногие, не трогают собеседников. Как правило, в ответ мне из уст какого-либо особо бойкого россиянина почти всегда следует лишь ехидное и торжествующее замечание: а вы возвращайтесь! Тогда я сбиваюсь, сознавая, что крыть мне нечем, что я не выполняю предписанного и не реализую сценарий, по которому блудный сын должен вернуться к слепому отцу, упасть ему в ноги и только тогда получить прощение. Но ведь не вернешься же: пути отрезаны, а объяснять, почему они отрезаны, дело долгое и неблагодарное.

Тогда я умолкаю окончательно и, пока собравшиеся с оживлением обсуждают проблемы эмиграции, перехожу на внутренний монолог сама с собою, начиная мысленно повторять все быстрее и быстрее, сбиваясь на бормотание без пауз, хезитаций и знаков препинания: *«Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись мой ящик звени мой колокольчик взвейтеса кони и несите меня с этого света далее далее тьобы не видно было низего низего вон небо клубится передо мною звездогка сверкает вдали лес несется с темными деревьями и месяцем сизый туман стелется под ногами струна звенит в тумане с одной стороны море с другой Италия вон и русские избы виднеют»*. Да, да, любезный мой друг, соотечественник, слушатель и читатель, вот так мы здесь и живем без тебя, — с одной стороны Италия да Германия, с другой — США с Канадой, с третьей — Израиль надвигается, а где-то, Бог весть где, плавают Австралия, загадочная, как Атлантида, но всё виднеют, неизбежно и властно виднеют нам вдали русские избы, которые мы покинули... И без оглядки ударившись вместе с Гоголем в неизбежную русскую тоску, побабьи жалостливо начинаю я голосить и причитать внутри себя, вечным жестом прижав ладонь к щеке: *«Дом ли то мой синее вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мугат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Ма-туш-ка! пожалей о своем больном дитятке!..»*

Я говорю это сама себе и все жду... жду, когда отчизна меня пожалеет, когда она погладит меня по русой, с эмигрантской ранней проседью голове и скажет мне: «Дитятко, дитятко, я тебя не выдам. Не бось, мое дитятко, — я тебя не выдам». Я жду этого, но тут же вспоминаю про Каинову печать, что желтой звездой горит во лбу эмигрантов, не давая им права на русское поле и русскую лужу, которые они, по мнению соотечественников, бросили, оставили и забыли, променяв на спокойную сытую жизнь в заграницах. Тут я сознаю, что не понять нам друг друга и что ностальгию донести так же бесполезно, как объяснять чувство неразделенной любви человеку, который его не испытал.

И тогда я утираю невыплаканные слезы, бросаю свои неуместные попытки объяснить глупую, несовременную любовь к Родине, оставшейся на далеких берегах дорогой сердцу огромной лужи — славного моря — священного Байкала, — беру себя в руки и вслед за сумасшедшим чиновником Поприциным произношу, улыбаясь лукаво, загадочно и невыразимо гламурно: *«А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?..»*

---

---

Феликс ЛУРЬЕ

## МЕДИЧИ НА СЛУЖБЕ РЕНЕССАНСА<sup>1</sup>

*Памяти моей жены и друга Елены Константиновны Крандиевской*

Это несомненно Золотой век, вернувший свет свободным искусствам.

*Марселио Фигино*

В появлении произведения искусства участвует не только мастер-творец, но и богатый, обладающий вкусом заказчик. Деньги, власть, таланты, энергию можно употребить на праздные пирушки и шумные игрища, на бессмысленные баталии и развращающую роскошь, на содержание любовниц и шутов. Флорентийские пополаны<sup>2</sup> Медичи свои несметные богатства и разносторонние таланты три столетия отдавали итальянской культуре, ее развитию и процветанию. Были и другие, менее щедрые, дальновидные, богатые, их меценатство исчисляется десятилетиями, были вовсе небогатые, они делали небольшие вклады, Медичи затмили всех. Ремесла, торговля и банковские операции дали Флоренции экономическое процветание, свободолюбие горожан избавило ее от гнета феодалов и церковников, стараниями Медичи она сделалась гигантским музеем, единственным и неповторимым.

Благополучие семейства Медичи сложилось в XIII–XIV веках благодаря успешной торговле снадобьями, хорошо организованным лазаретам и умелым банковским операциям с заработанными деньгами. Фамилия Медичи (медицина) указывает на возможную профессию отдаленных предков, их родовой герб украшают круглые выпуклые предметы — специалисты по геральдике полагают, что перед нами изображение лекарственных пилюль, но существуют и другие предположения. Известен Гуччо Медичи, гонфалоньер 1299 года<sup>3</sup>, его саркофаг стоял у стены баптистерия Сан Джованни Баттиста (ныне в Опера дель Дуомо — музее собора и баптистерия). Заметными личностями в жизни города были Аламанно Медичи, поднявший в 1343 году восстание против герцога Готье де Бриенна, и его сын Сальвестро (1331–1388), гонфалоньер справедливости 1378 года, поддержанный на выборах младшими цехами. Деловые люди давно понимали, что сочетание предпринимательства с политической деятельностью или чиновничьей службой способствует скорейшему обогащению. Восставшими чомпи<sup>4</sup> Сальвестро был «произведен в рыцари народа» (*cavalieri del popolo*) и за особые заслуги пожалован пожизненно суммами «с дохода от лавок на Старом мосту» (*понте Веккьо*). Более двух месяцев мя-

---

<sup>1</sup> Феликс Моисеевич Лурье родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский горный институт, к. т. н. Прозаик, публицист. Лауреат литературной премии «Северная Пальмира». Живет в Санкт-Петербурге.

тежники держали город в своих руках. «Жирный народ»<sup>5</sup> посулами и подкупом вождей сдерживал взбунтовавшихся, пока не подошли войска во главе с английским кондотьером Джоном Хоквидом (Джованни Акуто), беспощадно расправившимся с наивными, обманутыми людьми, чем заслужил превосходную фреску на стене левого нефа Санта Мария дель Фьоре. Паоло Уччелло изобразил его в пышном одеянии, гордо сидящим на коне.

Умелыми действиями при подавлении восстания чомпи, отчасти им же инициированного, Сальвестро завоевал репутацию проворного политика. Его племянник Джованни деи Биччи (1360–1429), талантливый финансист, в 1397 году основал банкирский дом Медичи, вскоре разросшийся в европейскую финансовую империю. «Хроника» Бонокорсо Питти (1354–1430) сообщает, что Джованни производил операции с деньгами флорентийской казны, такое выгодное дело удавалось немногим. Хранителями казны магистрат назначал поочередно двух монахов разных орденов, и они не допускали никаких отступлений от установленного порядка. Ловкий Джованни сумел к тому же получить полномочия на сбор платежей в ватиканскую казну, вкладов от послов, священнослужителей и паломников, а также ведение финансовых дел антипапы Иоанна XXIII (Бальдасаре Косса) и папы Мартина V (Оддоне Колонна, понтификат 1417–1431), что позволило банкиру, ничем не рискуя, преумножить свои богатства.

Соблазнительно заключение сделки с каким-нибудь монархом, но суверены нередко предпочитали оставаться вечными должниками, тогда выручившие их банкиры нищали. Так, богатейшие флорентийские семьи Барди, Перуцци и Аччайуоли ссудили английскому королю Эдуарду III 1 365 000 флоринов (чуть меньше пятилетнего бюджета коммуны), а тот объявил государственное банкротство. Разорились не только крупные заимодатели (Аччайуоли и Перуцци — в 1343 году, Барди — в 1346 году), но и многие мелкие финансисты, давшие деньги под эту операцию. Джованни умел вовремя ссудить крупную сумму и получить ее обратно с хорошим процентом. Банку Медичи возвращали всегда — его владельцы, пользуясь сообщениями надежных агентов, тщательно анализировали целесообразность заключения сделок. Ходили слухи, будто Джованни деи Биччи умел вести дело так, что его конкуренты разорялись из-за невозвращенных ссуд. За 1397–1420 годы он получил чистый доход 114 000 флоринов, его прибыль на капитал порой превосходила 30 %. В 1420 году ведение всех банковских дел он передал в руки старшего сына. В 1427 году эта ветвь Медичи входила в тройку богатейших фамилий Флоренции и вскоре опередили всех.

Изрядно разбогатев, Джованни в 1419 году дал деньги на строительство и реконструкцию церкви Сан Лоренцо и пригласил выполнить эту работу самого выдающегося флорентийского зодчего — Филиппо Брунеллески. Большинство флорентийских церквей находилось под патронатом цехов, банков, муниципалитета, знатных семейств. Начиная с Джованни деи Биччи базилика Сан Лоренцо покровительствовали все Медичи, повелевавшие Флоренцией. Джованни деи Биччи и его потомки были талантливыми политиками, но в историю вошли как меценаты. Джованни Ручеллаи, размышляя о меценатстве, говорил, что занимаются им по трем причинам: почитание Бога, прославление родного города и стремление запечатлеть свое имя в веках. Джованни деи Биччи и его потомки, занимаясь меценатством, желали угодить Богу, прославить Флоренцию и обессмертить себя.

Джованни деи Биччи имел двух сыновей: Козимо (1389–1464) и Лоренцо (1395–1440). По совету отца они посещали занятия гуманиста Роберто деи Росси, друга Колуччио Салутати. Учитель постоянно держал их подле себя, вел беседы, обучал латыни, анализировал написанное классиками, во время прогулок объяснял досто-

инства архитектуры и убранства храмов. Козимо всю жизнь совершенствовал почерпнутое у Роберто, самостоятельно овладел греческим, читал древних в подлинниках, у них учился находить верные решения. Приведем извлечение из предсмертного напутствия Джованни деи Биччи своим сыновьям: «Если вы хотите жить спокойно, то в делах государственных принимайте лишь то участие, на какое дает вам право закон и согласие сограждан. Тогда вам не будут грозить ни зависть, ни опасность, ибо ненависть в людях возбуждает не то, что человеку дается трудом, а то, что он присваивает. И в управлении республикой вы всегда будете иметь большую долю, чем те, кто, стремясь завладеть чужим, теряет и свое, да к тому же еще, прежде чем потерять все, живет в беспрестанных тревогах». Один из самых уважаемых людей, гонфалоньер справедливости, неоднократно выполнявший важные дипломатические поручения Синьории, близко стоявший к власти Джованни деи Биччи знал, о чем говорил. «Никогда не давайте прямых советов, — наставлял он сыновей, — выражайте свои взгляды осторожно, никогда не впадайте в гордыню, избегайте сутяжничества и политических споров, всегда оставайтесь в тени». Именно мессер Джованни выдвинул клан Медичи в число ведущих флорентийских фамилий и подготовил потомкам фундамент их неограниченного вклада в мировую культуру.

Еще в начале XIV века Флоренция утратила внутреннее спокойствие: соперничество кланов, кровавые столкновения гвельфов<sup>6</sup> с гибеллинами<sup>7</sup>, гвельфов между собой. Мир и согласие оставили город. Коммуна тонула в водоворотах страстей, требовался кормчий, способный вернуть городу спокойствие, сохранив республиканскую форму правления и первенство среди городов Тосканы.

В конце XIV века во Флоренции установилось олигархическое правление, возглавлявшееся богатейшим флорентийским кланом Альбицци и продолжавшееся с 1387-го по 1434 год. Уставшие от распрей флорентийцы ожидали от олигархов умиротворения, но оно не наступило. Постоянно подчеркивая свою аполитичность, расчетливый Джованни деи Биччи незаметно оказался самым влиятельным вождем антиолигархической оппозиции. В 1427 году по его настоянию Синьория ввела прогрессивный налог. Доходы у богатых сильно поубавились. Джованни деи Биччи первым заплатил налог, исчисленный по-новому и составивший огромную сумму. Среди горожан его популярность достигла слепого поклонения. Благополучие и политическое могущество Альбицци пошатнулось. Олигархи провели в Синьории декрет об инакомыслии, но это лишь незначительно отсрочило их падение.

Никого из правившего клана Альбицци в роли вождя флорентийцы видеть не желали. После кончины Джованни деи Биччи среди пополанов отыскался лишь один человек — его сын Козимо Медичи. Основной соперник преуспевающего пополана Ринальдо дельи Альбицци (ум. 1452) решил физически уничтожить противника. Обвинив главу клана Медичи в измене, участии во всех заговорах от восстания чомпи до 1433 года, он добился его ареста. Большинство членов Синьории составляли сторонники Альбицци. 7 сентября 1433 года Козимо заточили в Сторожевой башне палаццо Веккьо. Деньги помогли избежать казни, но в ссылку отправиться пришлось. Через год он вернулся триумфатором и без кровопролития получил власть. Горожане понимали, что отдают себя в руки мудрого гибкого политика. Даже недруги были этому рады, на город сошло умиротворение. Альбицци бежали, их сторонников выслали. От потомственных пополанов Медичи горожане ожидали возвращения к демократическим традициям, отчасти это и произошло.

Много лет спустя, вспоминая о возвращении из ссылки, Козимо писал: «В октябре месяце [1434 года] шестого числа в обеденное время мы приехали на виллу в Карреджи и застали там много людей. Синьоры прислали сказать нам, чтобы мы не въезжали в город, пока они не известят нас об этом. На закате они пригласили нас, и



мы отправились в большом сопровождении. Но так как избранная нами дорога была запружена мужчинами и женщинами, Лоренцо и я с одним слугой и жезлоносцем коммуны направились вдоль стен. Обойдя сзади Серви, а затем Санта Репарата (Санта Мария дель Фьоре. — Ф. Л.) и палаццо Подеста (Барджелло. — Ф. Л.), мы вышли на площадь Синьории, никем не увиденные, поскольку все ожидали нас у нашего дома на виа Ларга (палаццо Медичи-Риккарди. — Ф. Л.)».

Козимо твердо знал, что, «вооруженный наукой, стоит десятка обыкновенных», что облачиться в одежды, не подходящие положению, или рядиться, как «алтарь в праздничный день», есть «грех гордыни или падения» (Петрарка). Меру эту он чувствовал всегда и соблюдал во всем. С юных лет приученный к скромности, со всеми одинаково приветливый, этот маленький худощавый человек с землистого цвета лицом и задумчивым взглядом не выпячивал себя, не заслонял других, не позволял себе роскошествовать, благоразумие и сдержанность никогда не покидали его. Методично, умом и выдающимися чертами характера завоевывал он авторитет, приобретал сторонников и благосклонность сограждан.

Постепенно, выжидая благоприятных обстоятельств, Козимо добился учреждения Коллегии десяти аккопиаторов<sup>8</sup>, состоявшей из абсолютно преданных ему единомышленников, избираемых пожизненно. Сохранив все республиканские учреждения, он с помощью коллегии повелевал Флоренцией, ставя (избирая) на важные должности послушных ему людей. Козимо не стеснял и даже поощрял деятельность граждан, если она не ущемляла его интересов и приносила пользу Флоренции. Оставаясь частным лицом, он постоянно пекся о благополучии горожан. Его главным качеством было умение услышать важнейшие запросы людей и учесть их в своих действиях. Флорентийцы прозвали его Опекуном Республики. Козимо умел повелевать, не проявляя внешних признаков власти, стремился устранить причины недовольства, но не недовольных. Не запятнав себя кровавыми преступлениями, какие совершили Висконти, Малатеста, Сфорца, Борджа, другие итальянские тираны, Козимо скрытно, бесшумно всегда добивался своего. Он зорко следил за тем, чтобы никто из флорентийцев не возвысился до его уровня, не превратился в сильного соперника, серьезного конкурента, опасного врага. Завуалированная тирания Опекуна Республики устраивала большинство горожан. Они видели, что все поступки Козимо способствовали исчезновению внутригородских распрей и продолжительному миру с внешними врагами. Он сумел энергию политических страстей, взрывающую внутреннее спокойствие города, мешающую его развитию, заменить энергией созидания, любовью к городу, интересом к искусству.

Папа Пий II (Энней Сильвестро Пикколомини, понтификат 1458–1464), современник Опекуна Республики, писал: «Козимо был главным арбитром в вопросах войны и мира, распоряжался законами, был не столько гражданином, сколько господином своего города. Обсуждения вопросов политики проводил в своем доме, в магистрат избирались лишь те, кого он предлагал. Он был господином во всем, кроме имени и титула». Обстановка, сложившаяся во Флоренции к 1434 году, требовала разрядки, мягкая разумная тирания Козимо Медичи оказалась благом для горожан, для всей Италии. Смена господства кланов прошла бескровно. Козимо лишь изредка занимал официальные должности, и не наивысшие. Но далеко за пределами Флоренции знали, что серьезные дела нужно решить только с ним. В 1458 году новеллист и общественный деятель Франко Саккетти писал: «Город управлялся превосходно, все бедствия и возникавшие разногласия преодолевались».

У большинства прямых потомков Козимо Медичи жизнь сложилась иначе. Взгляните на генеалогический список правителей Флоренции. Более всего он напоминает синодик по мученикам и убиенным. Его сын и внук скончались, истерзанные

болезнями. Другого внука (Джулиано) убили заговорщики во время богослужения. Старший сын Лоренцо Великолепного утонул, третий его сын умер тридцати семи лет, его вдова — двадцати четырех. Внук Лоренцо Великолепного умер в двадцать семь лет, в том же году скончалась его жена, дожившая до восемнадцати лет... Другого внука отравили, а правнука зарезали. Скорбная картина... Оба папы из рода Медичи (Лев X и Клемент VII) дожили до сорока шести и пятидесяти шести лет. Средний возраст правителя составил тридцать восемь лет. В младшей ветви Медичи также не все сложилось благополучно.

#### ПРАВИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ:

##### СТАРШАЯ ВЕТВЬ МЕДИЧИ

1434–1464 Козимо Старший (1389–1464), его жена — Контессина де Барди (ум. 1470)

1464–1469 Пьетро I Подагрик (1416–1469), сын Козимо Старшего. Жена Пьетро — Лукреция ди Франческа Торнабуони (1425–1482)

1469–1492 Лоренцо Великолепный (1449–1492), сын Пьетро I. Жена Лоренцо — Клариче ди Орсини ди Монтеротондо (1453–1488)

1492–1494 Пьетро II Неудачник (1471–1503), сын Лоренцо Великолепного, изгнан из Флоренции, утонул. Жена Пьетро — Альфонсина Орсини (1472–1520)

1494–1512 Медичи в изгнании

1512–1513 Джованни (1475–1521), сын Лоренцо Великолепного, захватил город с помощью войск «Священной лиги», до избрания папой (Лев X, понтификат 1513–1521) был синьором Флоренции, успел лишь начать реставрацию Медичи

1513–1516 Джулиано I, герцог Немурский (1479–1516), сын Лоренцо Великолепного. Жена Джулиано — Берта Савойская (1498–1524), давшая ему титул герцога Немурского

1516–1519 Лоренцо II, герцог Урбинский (1492–1519), сын Пьетро II. Титул получил из рук Льва X за победу в войне с герцогством Урбинским. Жена Лоренцо — Мадалена де ла Тур д'Овернь, герцогиня Бульонская (1501–1519)

1519–1523 Джулио (1478–1534), внебрачный сын Джулиано (1453–1478), брата Лоренцо Великолепного, впоследствии Папа Клемент VII (понтификат 1523–1534)

1523–1527 Ипполито (1511–1535), кардинал, внебрачный сын Джулиано I, с 1529 года архиепископ Авиньонский, затем Монреальский, отравлен.

1527–1530 Медичи в изгнании

1530–1537 Алессандро (1510–1537), внебрачный сын Лоренцо II, герцога Урбинского, поэтому не унаследовал титул отца; с 1532 года «герцог Флорентийской республики». Возвратился во Флоренцию с войсками испанцев и Папы Клемента VII. Сводная сестра Алессандро герцогиня Урбинская Екатерина (1519–1589), королева Франции, мать Франциска II (1543–1560), Карла IX (1550–1574) и Генриха III (1551–1589). Жена Алессандро — Маргарита Австрийская (1522–1586), внебрачная дочь императора Карла V. Внебрачный сын Алессандро — Джулиано (1532–1600)

##### МЛАДШАЯ ВЕТВЬ МЕДИЧИ

1537–1574 Козимо I (1519–1574), правнук Лоренцо (1395–1440), младшего брата Козимо Старшего, в 1569 году получил от папы титул Великого герцога Тосканского. Все последующие Медичи-правители имели этот титул. Жена Козимо — Элеонора Толедская (1522–1562), дочь Педро Альвасаре де Толедо, вице-короля Неаполя; через восемь лет после ее кончины женился на донне Камилле (1547–1590), дочери Антонио Мартелли

1574–1587 Франческо I (1541–1587), сын Козимо I, с 1564 года — регент при сво-

ем отце. Жена Франческо — Иоанна Австрийская, дочь Фердинанда I, императора Священной Римской империи; после ее кончины — Бьянка Капелло, ее сын Антонио Медичи. Дочь Франческо — Мария (1573–1643), королева Франции, мать Людовика XIII (1601–1643)

1587–1609 Фердинанд I (1549–1609), сын Козимо I. Жена Фердинанда — Кристина Лотарингская (1565–1637)

1609–1621 Козимо II (1590–1621), сын Фердинанда I. Жена Козимо — Мария Магдалена, эрцгерцогиня Австрийская (1589–1631)

1621–1670 Фердинанд II (1610–1670), сын Козимо II. Жена Фердинанда — Виттория делла Ровера, принцесса Урбинская (1622–1694)

1670–1723 Козимо III (1642–1723), сын Фердинанда II. Жена Козимо — Маргарита Луиза, герцогиня Орлеанская (1645–1721)

1723–1737 Джан Гастоне (1671–1737), сын Козимо III. На нем мужская линия герцогов Медичи пресеклась. Жена Джан Гастоне — Анна Мария Франциска (1672–1741), принцесса Саксен-Лауэнбургская

1737–1743 Анна Мария Лодовика (1667–1743), сестра Джан-Гастоне — курфюрстина Палатинская, наследница всего состояния правившей ветви Медичи, после кончины брата сохранила влияние на власть во Флоренции. Ее муж — Иоганн Вильгельм (1668–1716), курфюрст и пфальцграф Рейнский (*нем.* Pfalz — дворец; *фр.* Palatine — титул владельца пфальцграфства)

#### ГЕРЦОГИ ЛОТАРИНГСКИЕ:

1738–1765 Франц Штефан (Франциск Стефан, при рождении Франсуа Этьен) Лотарингский (1708–1765), сын Леопольда Жозефа, герцога Лотарингского, муж австрийской императрицы Марии Терезии (1717–1780); в 1745–1765 под именем Франц I император Священной Римской империи

1765–1790 Леопольд I (1747–1792), младший сын Франциска Стефана, император Священной Римской империи (1790–1792). Жена Леопольда — Мария Луиза (1745–1792), дочь Карла III Испанского

1790–1799 Фердинанд III (1769–1824), сын Леопольда I. Жена Фердинанда — принцесса Луиза Бурбон-Сицилийская (1773–802), после ее кончины — Мария (1796–965), принцесса Саксонская

1799–1814 Флоренция под властью Наполеона и его семьи

1814–1824 Фердинанд III, вторично

1824–1849, 1849–1859 Леопольд II (1797–870), сын Фердинанда III. Изгнан

Козимо больше других прославил клан Медичи. Как выдающийся политик и финансист, он умел с помощью налогов устранять конкурентов и политических врагов, прекращать невыгодные ему войны, создавая оттоки денег из воюющих государств, и таким образом превращать капитал в военную силу. То, что захвачено с помощью оружия, требуется оружием удерживать. Это куда дороже, чем подкуп или приобретение союзника за деньги. Флоренция не всегда имела собственную армию, она пользовалась наемниками, отстаивала интересы города с помощью флоринов, но не крови флорентийцев. Успехами внешней и внутренней политики Козимо внушил согражданам такое доверие, что беспрепятственно распоряжался магистратом и городской казной. Он охотно одалживал согражданам и нередко принимал на себя чужие долги, давал ссуды под разные проценты в зависимости от просителя, ввел понятие «дешевого кредита» для нуждавшихся, что добавило ему популярности. Его финансовые интересы распространялись на страны Западной Европы. Умелые банковские сделки приносили огромные доходы.

Козимо многократно увеличил богатства, оставленные отцом. Он твердой рукой управлял своей финансовой империей, требовал от служивших в ней регулярных отчетов, проверял документы, давал распоряжения. В составленных им инструкциях служащим «запрещалось содержать любовниц и принимать подарки». Обогащаясь, Медичи обогащали Флоренцию, свою родину, нежно любимую, о ней они никогда не забывали. «Флоренция превыше всего!» — это был лозунг всех флорентийцев, это был лозунг Медичи, их цель, их национальная идея. Среди флорентийцев она жива и сегодня.

«Козимо был самым знаменитым и прославленным из всех граждан, не занимавшихся военным делом, притом не только из граждан Флоренции, но и всех известных городов». В этих словах Макиавелли вовсе нет преувеличения. Впервые слава невоенного человека затмила славу ратника. Такого не случалось со времен Октавиана Августа. Позже слава художника возвысилась над славой полководца.

Разбогатевшая в XIII–XIV веках Флоренция стремительно разрасталась. Появились просторные площади, фасады, огромные плоскости стен потребовали украшений. Цехи и банки соперничали в первенстве финансирования крупных общественных заказов. От них не отставали частные лица, движимые честолюбием, но и желанием украсить родной город. Победившие получали от коммуны привилегии, нарушившие обязательства лишались муниципальной поддержки.

В итальянских государствах-городах встречалось немало разносторонне одаренных личностей, удачливых торговцев, банкиров, политиков, выдающихся меценатов. Дух покровительства и любви к искусству царил над Апенниннами. Современниками первых правителей из Медичи были: в Риме — папы Евгений IV, Николай V, Пий II; в Милане — Висконти и Сфорца; в Ферраре — д'Эсте; в Римини — Малатеста, в Урбино — Монтефельтро. Все они покровительствовали искусству, но никто из них не возвысился до Медичи. Флорентийские правители были умнее, взыскательнее, талантливее, образованнее, энергичнее, дальновиднее, лучше всех понимали пользу знаний и пожертвований на науку и искусство. Кто сегодня с уверенностью скажет, на какие деньги братья Третьяковы приобретали полотна лучших русских художников, откуда Сабашниковы черпали средства на превосходные издания, П. П. Вейнер на лучший искусствоведческий журнал, как С. И. Мамонтову удавалось содержать частную оперу, где пел молодой Шалапин? Об их основных профессиях и источниках доходов давно забыли, помнят лишь, как много эти люди дали русской культуре. Благодарные итальянцы о Медичи знают все.

Биографы Козимо посчитали главные траты из личных средств за период его правления с 1434-го по 1464 год: на монастырь Сан Марко — 40 000 флоринов, на Сан Лоренцо — 70 000, на Санта Кроче — 8000, на Флорентийское аббатство — 70 000, на палаццо Медичи–Риккарди — более 60 000, на виллу Кареджи — 15 000, на библиотеку для монастыря Сан Марко — 20 000. Здесь не учтены огромные суммы, уходившие на содержание поэтов, философов, музыкантов, художников и помощь нуждавшимся горожанам. Кроме того, 664 000 флоринов было потрачено на городские постройки. Козимо финансировал строительство дворца в Милане, итальянского колледжа в Париже, лазарета для паломников и церкви Святого Духа в Иерусалиме. И это не все, известно, что Опекун Республики постоянно передавал многим храмам значительные средства на ремонт, убранство, пополнение библиотек. Суммы приведенных здесь расходов существенно превосходят поступления в городскую казну Флоренции за три года, повторяем: многое здесь не учтено. Никто столько на городские нужды, строительство и украшение города, на содержание нуждающихся, развитие искусств и наук не давал. Разумеется, часть этих денег и так принадлежала флорентийцам. «Знаменитый Козимо, — писал Донато Аччайуоли, — строит и част-

ные дома, и церковные здания, и монастыри, как в самом городе, так и в контадо (предместье, пригород. — Ф. Л.), расходуя столько денег, что они кажутся равными расходам древних королей или императоров».

Один из ближайших друзей правителя города, величайший скульптор Кватроченто Донателло побуждал его приобретать лучшие творения итальянских ваятелей, заказывать талантливым живописцам фрески и алтарные доски. Строительство храмов, дворцов и общественных зданий, их украшение Козимо поручал таким титанам Возрождения, как Филиппо Брунеллески (1377–1446), Бартоломео ди Микеллоццо (1396–1475), Донателло (1386–1466), Лоренцо Гиберти (1375–1455), Лука делла Роббиа (1399–1482), фра Беато Анджелико (1395–1450), Паоло Уччелло (1397–1475), фра Филиппо Липпи (1406–1469), Беноццо Гоццолли (1420–1497) и др.

Немногие люди искусства одарены способностью создавать шедевры. Сквозь возводимые посредственностями преграды гению пробиться нелегко, часто он нуждается в помощи, поддержке, покровительстве. Так было и есть, всегда посредственностей несоизмеримо больше, они циничнее, воинственнее, агрессивнее гения, легче объединяются, поддерживают друг друга и превращаются в ощутимую силу. «Непризнанный гений», кто он? Тот, по чьим случайно сохранившимся работам удастся узнать, что наши отдаленные предки не заметили современного им гения. Так сложились обстоятельства: оттеснили, затоптали... Попробуйте среди флорентийских художников XIV–XVII веков отыскать нечто подобное. Внимательный взгляд Козимо не пропустил ни одного таланта. Он раньше других понял, что современные ему художники создают новое искусство и за ними будущее. Но всех из них превзойдут, вернее, почти никто превзойден не будет. Такое понимание посещает не каждого, не так просто распознать новое, имеющее будущее, сделать выбор из огромного числа художников. Благодаря этому пониманию, природному вкусу и чутью Козимо давал работу выдающимся мастерам Ренессанса, ни разу не совершил ошибку, пригласив бездарность, посредственность, ремесленника. Он не навязывал своих пристрастий, предоставляя мастеру полную свободу, и таким образом поддерживал искусство Ренессанса, укреплял его фундамент, пестовал пробивавшиеся ростки, содействовал созданию будущего итальянской и мировой культуры. Козимо Медичи стремился превратить покровительство людям науки, литературы и искусства в политику, в традицию и преуспел в этом.

Заказы, финансируемые Козимо и другими Медичи, следует отнести к двум группам: работы, выполненные для Медичи и становившиеся их собственностью, и работы, выполненные для религиозных и общественных учреждений, поступавшие в собственность города и церкви. Первую группу заказов можно рассматривать как коллекционирование, вложение средств, вторую — как меценатство, дарения, пожертвования; вторая группа требовала больших затрат, чем первая. В дальнейшем первая группа слилась со второй. Но это произошло в XVIII веке.

Если у коллекционера любопытствовать, откуда у него картина, гравюра или книга, то в лучшем случае он удивится бестактному вопросу и уклонится от ответа. Совсем негоже интересоваться суммой, за которую она приобретена. Коллекционирование, как и кладоискательство, овеяно тайнами и легендами. Никто не вправе спрашивать о происхождении предмета собирательства и его цене — это табу. С его нарушителями постараются впредь не встречаться. Манипуляции с произведениями искусства, попавшими в руки коллекционеров, ведутся скрытно. Часто коллекции содержат своих владельцев. Не только сегодня, но и в XV веке помещение денег в произведения искусства (род коллекционирования), если приобретатель не заблуждается в выборе, — дело весьма прибыльное: произведения искусства растут в цене быстрее, чем деньги, помещенные в банк или производство. Медичи коллекциони-



ровали из трепетной любви к искусству, собирательство не рассматривалось ими как выгодное предприятие с целью извлечения прибыли. Их прибылью оказалась память благодарных потомков.

Кто-то из старых друзей обратил внимание Опекуна Республики на антики, найденные при возведении фундаментов во время строительных работ, и посоветовал заняться их коллекционированием, а для начала приобрести оставшееся после кончины одного из авторитетнейших итальянских гуманистов Никколо Никколи (1364–1437) собрание произведений античного искусства. Эта покупка послужила основой богатейшего собрания Медичи. По завещанию Никколо и решению его душеприказчиков Козимо получил в счет погашения долгов покойного более восьмисот манускриптов древних авторов. Позже семейство Медичи приобрело библиотеку папы Николая V, Поджо Браччолини, Лоренцо и Веспасиано да Бистиччи, Джорджо Антонио Веспуччи и др. До конца жизни Козимо покупал книги для личной и монастырских библиотек. Благодаря его стараниям книгохранилище монастыря Сан Марко превратилось в одно из ценнейших.

Веспасиано да Бистиччи (1421–1498), вспоминая о Никколо Никколи, утверждал, что современники «бесконечно превозносили его жизнь и нравы», что он «сделал больше, чем Платон и Аристотель, ибо в их завещаниях упоминается только имущество, оставленное сыновьям и другим лицам, о книгах же ничего не говорится». Разумеется, слова Бистиччи свидетельствуют лишь о понимании флорентийцами непреходящей ценности книг, и только. «Козимо и Лоренцо (Медичи. — Ф. Л.), — продолжает Бистиччи, — зная его нрав, щедро ему помогали. Так как он издержал на книги все, что мог, то у него не оставалось средств даже на скромное, сообразно его положению, житье; ввиду этого Козимо и брат его Лоренцо дали своему банку указание выдавать Никколо деньги всякий раз, когда он их потребует, и относить все расходы на их счет. Затем они сказали Никколо, что пусть он ни в чем себе не отказывает и посылает в банк за тем, что пожелает. Никколо прибег к их помощи под давлением нужды — при других обстоятельствах он не сделал бы этого. Таким образом он был обеспечен до конца жизни. Медичи проявляли большое великодушие, оказывая ему поддержку. Когда в 1420 году Козимо бежал от чумы в Верону, он взял с собой Никколо и Карло Марсуппини и оплатил за них все расходы».

Крупные библиотеки были большой редкостью. В конце XV века в книгохранилище Ватикана насчитывалось чуть более тысячи томов. Часть превосходной библиотеки Петрарки приобрел Салутати, его собрание достигало шестисот томов. В мастерской Бистиччи до пятидесяти переписчиков постоянно трудились над копиями старинных манускриптов, заказываемых Козимо Медичи для своих библиотек. Властителя Флоренции не превзошел никто, его книжные собрания насчитывали несколько тысяч переплетов. Отчасти благодаря ему коллекции произведений искусства и библиотеки сделались признаками богатства, непременной принадлежностью жилища образованного человека, модой, обязательно соблюдаемой состоятельным человеком эпохи Ренессанса. Главная заслуга библиофила Козимо заключается в том, что именно он воплотил благородную мечту Салутати о создании «книжного дома для всех». Книги из личной библиотеки, переданные в базилику Сан Лоренцо, Козимо распорядился давать желающим во временное пользование. Так возникла Лауренциана, первая в Европе общедоступная библиотека. После появления типографии Гутенберга и его последователей рукописные кодексы продолжали изготавливать. Печатной книге не сразу удалось их вытеснить. Библиотеки притягивают людей науки, мыслителей, и не только их. Вплоть до конца XVI века ни один европейский город по богатству библиотек и их числу не мог состязаться с Флоренцией. При формировании библиотек Козимо помогал Марселио Фичинно.



Выдающийся философ-неоплатоник, один из столпов Ренессанса, воспитатель Лоренцо Великолепного — Марсилио Фичино (1433–1499), будучи сыном домашнего врача Медици Диотифечи д'Аньоло (Фичино — уменьшительная форма от имени Диотифечи), жил «на хлебах» Козимо в подаренных ему городском доме и именице Академия на холме Монте Веккьо (Старая гора) близ Кареджи. Мечтая превратить Флоренцию в новые Афины, Козимо в 1460 году учредил во главе с Марсилио Фичино Платоновскую академию, одно из важнейших звеньев Ренессанса, современники называли ее «Платонической семьей» (*Platonica familia*). В 1492 году мессер Марсилио писал, что мысль о создании академии возникла у Козимо в 1439 году под впечатлением бесед с византийским философом и богословом Плифоном о «платоновских таинствах» во время Вселенского собора. Члены академии собирались на одной из загородных медичийских вилл или в тенистом саду, созданном Микелоццо по повелению Опекуна Республики на территории монастыря Сан Марко. В нем Козимо разместил свое собрание древнеримской и греческой скульптуры, фрагментов архитектурных украшений, рельефов и других антиков.

Доминиканский монастырь Сан Марко, основанный в XII веке, с 1436 года находился под патронатом клана Медици, не жалевшего средств на его содержание. Бартоломео ди Микелоццо, любимец Козимо, руководил реставрацией, реконструкцией и расширением его зданий. В 1438–1446 годах великий фра Беато Анджелико с помощниками покрыл фресками его стены. За монастырской оградой среди священных древностей читались лекции, устраивались диспуты, обсуждались произведения философов и поэтов, формировались основы стратегии Ренессанса, его гуманистической морали. Уже во второй половине XIV века предшественники «Платонической семьи» — современники Петрарки, видевшие живопись Чимабуэ и Джотто, понимали, что флорентийские художники «возродили искусства увядшие и почти погибшие» (хронист Филиппо Виллани). На собраниях Академии царила свобода мысли. Козимо Медици содержал и поощрял к деятельности два поколения философов и поэтов. Одно лишь учреждение Академии, сформировавшее благоприятное для него общественное мнение, обессмертило его имя. Гуманисты тянулись к Козимо, уважали и любили его. Он умел дать деньги, не вызывая стыда, унижения, досады, считал своим долгом, обязанностью содержать философов, художников, поэтов. Для гуманистов Козимо был полноправным членом их содружества, и они искренне прославляли его. После кончины Опекуна Республики при библиотеке монастыря Сан Марко возник «филиал» Платоновской академии — Академия Марчана, ее посещал настоятель монастыря Джироламо Савонарола. Когда в 1494 году флорентийцы изгнали Медици и конфисковали их имущество, фра Джироламо выкупил библиотеку для монастыря. Она насчитывала 1232 манускрипта. В Ватиканской библиотеке книг было меньше.

«Ни в одном государстве, управляемом монархом или же самим народом, не было в его время человека, более выдающегося своим разумом: вот почему среди стольких превратностей судьбы, в городе столь беспокойном, с населением столь переменчивого нрава, сумел он в течение тридцати лет оставаться у кормила власти. Величайшая предусмотрительность позволила ему заранее предвидеть опасности и либо не дать им разрастись, либо подготовиться к ним, что, даже и разрастясь, они ему не вредили» (Макиавелли).

Джованни Ручеллаи, современник Козимо, писал в 1457 году: «У людей нашего времени, начиная с 1400 года, имеется больше оснований быть довольными, чем прежде, со времени основания Флоренции».

Козимо, прозванный впоследствии Старшим, скончался на вилле Кареджи 1 августа 1464 года. Флоренция скорбела. Горожане понимали, кто оставил их. Люди куль-

туры, лишившиеся его могучей поддержки, особенно горестно переживали эту смерть. Его похоронили в старой крипте близ алтаря базилики Сан Лоренцо, на могильной плите «по указу правительства» в марте 1465 года начертали: «Padre della patria» (Отец отечества). Годом позже рядом с всесильным правителем погребли останки его друга, беспечного ваятеля Донателло, сына чесальщика, чомпи.

Второй сын Козимо, Пьетро, пришедший к власти после кончины отца, был умен, превосходно образован, но тяжело болен, отчего получил прозвище — Подагрик. Дом он мог покидать только на носилках, болезнь развила в нем мелочность и скупость. Началась борьба за свержение клана Медичи, длившаяся более двух лет, в нее были втянуты Милан, Урбино, Рим... Лишь живучий авторитет отца, всесторонне продуманные действия Пьетро, постоянная поддержка старшего сына и доверие флорентийцев помогли ему удержать власть. Он продолжал поощрять науки и искусства. Сохранились письма к нему художников, нежно любивших его за отзывчивость, понимание и тончайший вкус. Пьетро первый оценил майолики Луки делла Роббиа и всячески покровительствовал ему, дружил с Антонио Поллайоло. Он знал, кому дать заказ, и ни разу не ошибся в выборе исполнителя. Кто лучше Гоццоли мог создать фреску «Шествие волхвов»? Он давал деньги на завершение начатого отцом, коллекционировал медали, приобретал книги, на городские нужды жертвовал несоизмеримо меньшие суммы, чем отец. Через пять лет его погребли рядом со старшим братом Джованни в Старой сакристии базилики Сан Лоренцо.

Второго флорентийского правителя из Медичи сменил его старший сын Лоренцо. Несмотря на молодость и претензии на власть знатных флорентийских фамилий, он быстро приобрел популярность и любовь горожан.

Третий правитель Флоренции с юных лет привлекался дедом к посильному участию в политической жизни города, что позволило ему приобрести знания и опыт, пригодившиеся в 1464–1469 годах, когда Пьетро Подагрик оказался прикованным к постели. Юному Лоренцо приходилось вместо отца представлять на важных приемах, выполнять ответственные дипломатические поручения. Успех неизменно ему сопутствовал. В день похорон Пьетро Подагрика сторонники клана Медичи устроили шумную манифестацию в поддержку Лоренцо. Двадцать лет спустя он писал: «Я согласился неохотно, мне казалось, что эта обязанность не подобает моим летам, тягостна и опасна. Я принял ее на себя единственно для того, чтобы обеспечить безопасность моих друзей и сохранить наше состояние, потому что во Флоренции нелегко жить богатому человеку, если он не обладает властью». Не будем размышлять над искренностью его слов. Власть над городом он принял и делал все, чтобы ее не потерять. Тираны всеми силами держатся за власть — только она гарантирует им безопасность и сохранность имущества.

Так сложились обстоятельства, что управление банками, основанными Джованни деи Биччи, Лоренцо поручил не лучшим знатокам этого дела. Своим представителем в Брюгге он назначил Томмазо Портинари, прославившегося совсем на другом поприще. Это он заказал Гуго ван дер Гусу триптих «Поклонение волхвов» (триптих Портинари), гордость Уффици, один из немногих экспонируемых в галерее неитальянских шедевров. Написанный в 1475 году в Брюгге и установленный во флорентийском госпитале Санта Мария Нуова, он произвел на итальянских художников ошеломляющее впечатление. Избрание папой Сикста IV (Франческо делла Ровери), давнего врага Медичи, внешнеполитические просчеты молодого Лоренцо и неудачные экономические решения привели к потере рынков, спаду производства и росту государственного долга. Из 62 крупных финансовых предприятий, действовавших во Флоренции в 1442 году, к 1470 году сохранилось вдвое меньше. Повинен в этом

не только Лоренцо, но и Пьетро Подагрик. Однако вплоть до начала XVI века Медици оставались крупнейшими банкирами Западной Европы.

В 1474 году могущественное флорентийское семейство Пацци вытеснило из стен Ватикана банк Медици и заняло его место. Вскоре Лоренцо пришлось закрыть свои филиалы в Милане и Брюгге, но этим неприятности его семейства не прекратились. В 1478 году основатель Ватиканской библиотеки, страстный собиратель античной скульптуры папа Сикст IV, пизанский архиепископ Франческо Сальвиати и клан Пацци подготовили покушение на Лоренцо и Джулиано Медици. 26 апреля Бернардо Бандини (Бернардо ди Банди Барончелли) зарезал младшего из братьев, Джулиано, стоявшего во время литургии в центральном нефе собора Санта Мария дель Фьоре. Раненный в шею Лоренцо сумел спастись, укрывшись в новой ризнице храма; среди защищавших его был поэт-гуманист Анджеоло Полициано. Он, не задумываясь о собственной жизни, устремился в гущу заговорщиков. Защищая Лоренцо, погиб его друг Франческо Нори. Одновременно часть заговорщиков во главе с архиепископом Сальвиати пыталась захватить Синьорию, но гонфалоньер справедливости Чезаре Петруччи, арестовав нерасторопного пизанца, разрушил их планы. По городу разнесся тревожный звук набата, над смотровой башней палаццо Веккьо взвилось большое знамя Флоренции (Гонфалон справедливости). Народ устремился в центр, среди сбежавшихся почти все оказались сторонниками Медици.

Как развивалась бы европейская культура в случае удачи заговорщиков?.. Подстрекаемые призывами Лоренцо, произносимыми хриплым голосом и видом окровавленной тряпки, прикрывавшей рану, горожане толпами гонялись за заговорщиками. Пойманных тотчас убивали на месте или вешали в оконных проемах палаццо Веккьо голыми, на священнослужителях оставили рясы. Бежавшего в Турцию Бандини через год возвратили во Флоренцию; Лоренцо распорядился повесить его на крюке, вбитом в стену Барджелло<sup>9</sup>. Таким его запечатлел на своем рисунке юный Леонардо. Умерших ранее выкапывали из могил, тащили по мостовым и бросали в Арно. Зловещее описание заговора Пацци можно прочитать у Макиавелли в «Истории Флоренции». Очевидец случившегося красок не пожалел. Вслед за неудавшимся заговором раздосадованный Сикст IV отлучил Лоренцо и его сторонников от церкви и начал против Флоренции войну, длившуюся два с половиной года. Не примешивалось ли к вражде Ватикана с Флоренцией стремление папы завладеть коллекциями властителя города?

Заговор и страшные сцены убийств, ему сопутствовавшие, оказали на чудом уцелевшего Лоренцо сильнейшее влияние. Власть при нем превратилась в неограниченную, нарочито показную. Он не последовал примеру своего мудрого деда и уничтожил многие республиканские учреждения, его тирания отдавала цинизмом. Флорентийцы сделались другими, они утратили суровость и мужество, гордость и свободолюбие, смелость и чувство собственного достоинства. Всюду царили тревожное спокойствие и противоестественная тишина, нарушаемая врывавшимися в нее празднествами, турнирами, развлечениями для народа, изредка вспоминавшего о своих правах и прежних свободах. От улыбок и взглядов веяло холодом, откровенничать опасались. Лоренцо не видел столь далеко, как Козимо Старший. Он обладал разносторонними способностями и выдающимся умом, умел рассудком одолевая страсть, умел найти выход из любого положения, делаться обаятельным и искренним, пустить пыль в глаза, умел очаровать, но и быть коварным, вероломным, мог обидеть, обмануть, предать. Наряду с необыкновенным расцветом наук и искусств, подготовленным прежними временами, Флоренция погружалась в трясину равнодушия, отсутствия гражданской и религиозной нравственности. Лоренцо дважды провел реформу учреждений городского самоуправления, превратившую его фактиче-

ски в полновластного суверена. Франческо Гвиччардини называл властителя Флоренции «любезным тираном», умевшим приспособиться к непрерывно меняющимся обстоятельствам. Другой политик, Аламано Ринуччини, писал в 1479 году: «Пока город жил, подчиняясь своим законам, он славился более других городов Этрурии богатством, властью, достойным образом жизни. Сегодня прихоть немногих нечестных граждан получила силу закона. Власть перестала гарантировать их соблюдение, насилие взяло верх, наглые люди присвоили себе то, что являлось достоянием всех граждан... Я помню отчасти из рассказов стариков, а отчасти из истории, как заботились наши предки о сохранении свободы, как велико было стремление к поддержанию равенства среди граждан». С древнейших времен на флорентийских знаменах вышивали гордое слово «Свобода». Горожане ей поклонялись, она символизировала один из главных их принципов. При Лоренцо флорентийцы утратили свободу.

Козимо принес клану Медичи богатство и авторитет, проложил дорогу, по которой следует идти, Лоренцо, прозванный *Magnifico* (Великолепным), придал ему блеск. Он держал пышный королевский двор, выставлял напоказ несметные богатства, демонстрировал неограниченную власть. Блистательный внук многое воспринял от деда: жертвовал значительные средства на строительство и украшение храмов и общественных зданий (но несравнимо меньшие, чем Козимо Старший), продолжал содержать Платоновскую академию, объединив в ней лучших поэтов и философов, участвовал в ее заседаниях, читал на них свои стихи и переводы, выступал на диспутах. В садах Сан Марко *Magnifico* устроил школу для юных скульпторов. Микеланджело получил в ней первые уроки ваяния<sup>10</sup>. Лоренцо не жалел денег на дорогостоящие поиски сочинений древних. Нанятый им византийский ученый Иоанн Ласкарис (впоследствии профессор Римского университета) в 1492 году приобрел для Лоренцо в бывших греческих владениях более двухсот рукописей. Итальянские и греческие купцы и путешественники охотно везли манускрипты из Константинополя во Флоренцию: Лоренцо платил больше других. Он окружил себя самыми выдающимися зодчими, живописцами и ваятелями, обеспечивая их заказами, собрал богатейшую коллекцию современных ему произведений искусства. В отличие от деда, не вмешивавшегося в творчество художников, он оказал существенное влияние на развитие флорентийского искусства и даже пытался создавать нечто свое. Так, например, им был разработан план оформления главного фасада собора. Не только Козимо Старший и Лоренцо Великолепный, практически все их потомки поддерживали авангард Ренессанса, выбирая талантливейших, не каждому дано сделать верный выбор.

Трудно ранжировать вклад Козимо и Лоренцо в развитие итальянского искусства. Наверное, их заслуги приблизительно одинаковы, но мы отдаем предпочтение Козимо Старшему, и не одни мы. Внук не обладал прозорливостью деда, «политическое искусство Лоренцо не имело власти над будущим» (П. П. Муратов). Гуманисты из окружения Лоренцо Великолепного хотели видеть в нем «второго Козимо». Тонкий политик, талантливый историк и публицист Франческо Гвиччардини ставил деда много выше внука. Мессер Франческо был почти современником Лоренцо, обладал умом незаурядного аналитика, умел заглянуть в скрытые глубины свершившегося. Приведем характеристики, данные Франческо Гвиччардини Козимо Старшему и Лоренцо Великолепному.

«Современники называли его (Козимо. — *Ф. Л.*) очень мудрым человеком, он был чрезвычайно богат, больше, чем какое-либо другое частное лицо в его эпоху; ему была свойственна необыкновенная щедрость, особенно в строительстве, где он проявил себя не как простой гражданин, а по-королевски. Он построил не только соб-

ственный дом во Флоренции, церковь Сан Лоренцо, бадию во Фьезоле, монастырь Сан Марко, виллу Кареджи, но и многое за пределами города, даже в Иерусалиме. Его постройки отличались не только пышностью и огромными затратами, но и высоким вкусом. За неограниченную власть — ведь он почти 30 лет был правителем города, — за богатство и великодушие он приобрел наивысшую репутацию, какой со времен Рима и до наших дней никогда не имел ни один гражданин как частное лицо». Упомянутые здесь постройки сохранились, употребить в отношении них сомнительное определение «пышность» вряд ли справедливо.

«Он (Лоренцо. — Ф. Л.) соединял в своих руках такую власть, что можно сказать, Флоренция в его время не была свободной, хотя там в изобилии процветало все, что может быть славным в городе, который называется свободным, а на самом деле тиранически управляется одним гражданином... Невозможно было найти тирана лучше и приятнее: его талантам и доброте обязаны своим появлением бесконечные блага... Но по сравнению с многочисленными постройками Козимо Старшего позволительно заявить — Лоренцо Великолепный не соорудил ровно ничего».

Сопоставляя таланты и поступки деда и внука, Гвиччардини пишет о Козимо как об идеале правителя-гуманиста, Лоренцо Великолепному он в этом отказал. Внук лишь продолжатель начатого дедом.

О Лоренцо сохранилось больше эмоциональных свидетельств, о Козимо — бухгалтерских. П. П. Муратов писал о Лоренцо Магнифико: «И самая слава его — это не столько слава покровителя Микеланджело, сколько хозяина виллы Кастелло, стены которой украшены «Весной» и «Венерой», представляющими полный расцвет Сандро Боттичелли». Здесь упомянуты две лучшие картины гениального Боттичелли, заказанные ему Лоренцо (возможно, его кузеном Лоренцо ди Пьер Франческо). А если бы он не сделал этого заказа, других заказов? Художник не мог приступить к большой работе, не имея договора с частным лицом, цехом, банком. Никакую фреску без договора он даже не начинал. Роль заказчика в работе художника неопределима, без заказчика нет работы. По меньшей мере половина выдающихся художников XV–XVI веков (среди них ни одной посредственности) выполняли работы, финансируемые Медичи, картины другой половины мастеров они приобретали для своих коллекций.

Здесь уместно привести пример, иллюстрирующий самоограничение флорентийского тирана. Среди людей искусства отменными навыками славился кузнец Никколо Гроссо, прозванный Капарра (задаток). Он не приступал к работе, пока не получал задатка. Это прозвище ему дал Магнифико. Джорджо Вазари пишет: «Рассказывают также, что Лоренцо деи Медичи, чтобы показать мастерство Капарры, решил заказать ему кованые изделия для отправки их в виде подарков за рубеж. Он отправился самолично в его мастерскую, где обнаружил случайно, что тот что-то делает для бедных людей, от которых уже получил часть оплаты в виде задатка. Когда же Лоренцо стал просить, Капарра наотрез отказался обещать ему, что он его обслужит, прежде чем обслужит тех, говоря, что они пришли к нему в мастерскую раньше и что деньги их стоят столько же, сколько и деньги Лоренцо».

Лоренцо Великолепный скончался в Кареджи 8 апреля 1492 года, в той же комнате, где двадцатью восьмью годами раньше почил его дед. Власть над Флоренцией наследовал Пьетро II, бездарный сын выдающегося тирана, имевший лишь одно желание повелевать. «Характер у него — тиранический и надменный» (Гвиччардини). Финансовые дела при нем пришли в полный упадок, банкирский дом Медичи развалился. В тревожное для города время он увлекался турнирами и требовал, чтобы его изображали непременно в рыцарских доспехах, был груб, жесток, подозрителен и жаден. Художники относились к нему с брезгливым презрением. За два года



его праздного правления число сторонников Медичи, «приверженцев Шаров» («Шарами» Медичи называли из-за пилюль, изображенных на их гербе), сильно поубавилось. Первыми Пьетро покинули наиболее достойные горожане, раньше других обнаружившие вредоносность его попыток властвовать. В городе воцарилась поглупевшая и обнаглевшая тирания. В 1494 году войска Карла VIII Французского двинулись на Апеннины. Перепуганный Пьетро бросился в лагерь противника, 30 октября без ведома Синьории он в подтверждение нейтралитета передал французам пограничные крепости и порты. Флорентийцы расценили это как измену и отправили сына Лоренцо в изгнание, дав ему прозвище Неудачник.

Ни в этот раз, ни при иных внешних и внутренних драматических событиях, какими бы они ни были, исключение составляет лишь эпидемия чумы, художественная жизнь Флоренции не только ни на минуту не замирала или хотя бы приостанавливалась, наоборот, с нарастающей интенсивностью продолжалась. Искусство и обыденная жизнь образовали столь прочный сплав, что никакие катаклизмы разрушить его не могли. Во время изгнания Медичи Микеланджело изваял «Давида». Боттичелли, Перуджино, Леонардо, Лоренцо ди Креди, Антонио Сангалло, фра Бартоломео, Андреа дель Сарто создавали бессмертные шедевры.

В XV веке ни в Риме, ни в Венеции, ни в других городах Апеннин не было таких выдающихся правителей, как во Флоренции. Медичи, во всяком случае первые из стоявших у власти, не могли себя упрекнуть в упущенных возможностях создания благоприятной атмосферы для развития искусств. Пьетро Медичи, оказавшийся недостойным своих предшественников, был тотчас лишен власти.

Из восемнадцати лет отсутствия Медичи флорентийцы четыре года испытывали сильнейшее влияние Джироламо Савонаролы (1452–1498). Он пришел во Флоренцию в 1481 году и поселился в монастыре Сан Марко. Образованный, талантливый, аскетичный доминиканец быстро завоевал популярность и авторитет горожан. В 1491 году его избрали настоятелем монастыря и пригласили проповедником в кафедральном соборе Санта Мария дель Фьоре. С высоты епископской кафедры он страстно обличал циничную тиранию Медичи, а когда их изгнали, сформулировал и добился принятия законов, установивших республиканскую форму правления. Фра Джироламо настоял на отмене многих постановлений, принятых при Лоренцо Великолепном, создании Большого совета и других республиканских учреждений. Первое время их функционирование давало сбои. «В правительстве был сильный разлад, все магистраты избирались в Большом совете, а он поначалу отдавал предпочтение людям из народа, гражданам добропорядочным и тем, которые не вмешивались в дела государственные, а не людям с большим весом и опытом. Затем постепенно поняли, что и в правительстве должны быть благоразумные и толковые граждане, угадала ненависть к большинству тех, кто в прошлом имел в городе власть, и выборы главных магистратов, в первую очередь гонфалоньера справедливости и Комиссии десяти, стали проводиться более разумно» (Франческо Гвиччардини).

Создав стройную систему демократических учреждений, Савонарола принялся за поправление нравов мирян и священнослужителей, за восстановление добродетелей. Боттичелли, Микеланджело, Филиппино Липпи, Лоренцо ди Креди, другие художники и поэты, многие члены Платоновской академии не пропускали его обжигающих, страстных проповедей. В творчестве Боттичелли, и не его одного, легко обнаруживается влияние неистового доминиканца. Призывы Савонаролы к борьбе за чистоту веры и христианской морали достигли стен Ватикана. Коварный и мстительный Александр VI — второй папа из испанского семейства Борджа, враг нравственности и плотских ограничений, клеветой и угрозами расколол флорентийцев. Многие сторонники фра Джироламо неожиданно сделались его врагами. Монах



предлагал то, в чем они, уставшие от реформ, вовсе не нуждались. Он раздражал их требованиями жизни лишь по его сценарию, празднеств с гимнами и чтением церковных текстов, а они привыкли к скабрёзным песням и непристойностям. Не пожелав разглядеть реальные условия флорентийской жизни, Савонарола не заметил, как своими руками приготовил поленницу для собственного костра. Александр VI требовал отправки взбунтовавшегося монаха в Рим, там его ожидали составитель ядов Себастьяно Пинцон и палач Микеле Корелла, испанцы, следовавшие за папой неотступно.

Горожане решили, что им не нужны неприятности с Ватиканом из-за выдумок неугомонного монаха, но передать его в руки папы отказались. Бывшего кумира безжалостно истязали, требуя признаний в несодеянном. Пытали и выносили приговор те, кто, благодаря законодательным стараниям Савонаролы, обрели над ним власть. Не получив доказательств в виновности, его и двух ближайших сподвижников повесили, трупы сожгли, чтобы «души их окончательно были разлучены с их телами», и бросили в Арно.

Слухи и небылицы кружили вокруг Савонаролы задолго до его казни. Их авторы — главным образом церковники — ядовитыми красками нарисовали портрет снедаемого честолюбием полуграмотного неряшливого монаха, недалекого ума, враждебного искусству. Сохранилась масса документов, из коих складывается представление об ином Савонароле, умном, глубоком, честном, бескорыстном. Некоторые законы, предложенные им, действовали до середины XIX века. Он любил искусство, дружил с художниками, предостерегал их от жажды наслаждений и разнузданности в изображении библейских сюжетов, жил в окружении фресок фра Анджелико и уж во всяком случае не жег произведений искусств, что ему настойчиво приписывали, что до сих пор встречается в текстах, казалось бы, солидных исследований.

Неправедный суд и гибель Савонаролы разрядили внутривполитическую обстановку, принесли успокоение горожанам. Своими действиями он опередил время и поплатился за это и за фанатизм, сжигавший его изнутри. Среди собравшихся 23 мая 1498 года увидеть казнь Савонаролы на площади Синьории в густой ликующей толпе бывших его почитателей, вытянув шею, стоял его младший современник Никколо Макиавелли (1469–1527). Будучи противником тирании Медичи, но и Савонаролы, он прозябал в юридической конторе отца и не пытался поступать на государственную службу. Казнь монаха-республиканца открыла ему дорогу. Вскоре Никколо утвердили в должности второго канцлера республики. Легкость избрания Макиавелли объясняется тем, что первые лица администрации Синьории были его коллегами по корпорации, образованной гуманистами.

В сентябре 1502 года во Флоренции вместо главы Синьории, сменяемого каждые два месяца, избрали пожизненного гонфалоньера справедливости. Им стал Пьеро Содерини (1450–1513). Макиавелли сделался ближайшим советником мягкого нерешительного гонфалоньера справедливости, пытался оказать возможную помощь. Неспособный правильно оценить происходящее, впавший в отчаяние от известия о появлении на Апеннинах испанцев, растерявшийся Содерини не мог спасти республику, но искусство при нем процветало. Прежний порядок в городе восстановил сын Лоренцо Великолепного, папский легат, кардинал Джованни Медичи. 16 сентября 1512 года он в сопровождении отряда испанцев вступил во Флоренцию и вслед за избранием в 1513 году папой (Лев X) назначил своего младшего брата Джулиано, мягчайшего покровителя всех искусств, ее правителем. С реставрацией Медичи муниципальные учреждения навсегда покинули гуманисты. Джованни и Джулиано Медичи, воспитанные самыми выдающимися гуманистами, завоевав власть, тотчас

сделались их противниками: они знали, что гуманисты враждебны тирании. Разрыв Медичи с гуманистами ускорил потерю Флоренцией ведущего положения среди итальянских городов-государств.

Тотчас после реставрации Медичи Макиавелли оказался в палатце Барджелло, вкусил пытки и плетъ; от гибели его спасла амнистия по случаю избрания кардинала Джованни Медичи, второго сына Лоренцо Великолепного, папой Львом X. Для энергичного, деятельного Никколо, испытавшего триумфы побед, радость удач, безделье было невыносимо. За годы службы он не разбогател, подступила нужда, пришлось покинуть Флоренцию. Чтобы приглушить навалившиеся невзгоды, отогнать мрачные мысли, Никколо занялся сочинительством. Мог ли он предположить, что его книги переведут на многие языки и будут изучать через пятьсот лет? Идеи Макиавелли оказали сильнейшее влияние на развитие исторической науки, формирование государственных систем. Именно книги обессмертили его имя. В 1520 году ему поручили написать «Историю Флоренции». Многие брались за историю родного города. Обычно этот почетный труд поручался ушедшему с поста первого канцлера. Среди них были талантливейшие — Салутати и Бруни. Кто сегодня держал в руках их книги? Желая дать пример идеального правителя, Макиавелли не поспешил на краски при описании жизни и деяний Козимо Старшего и его внука. Так предполагал он хоть чему-нибудь научить современных ему и грядущих политиков. Отказавшись от общепринятой латыни, этот последний свой труд он изложил по-итальянски. Никколо оказался превосходным стилистом, одним из создателей литературного итальянского языка. Отступила нужда, его часто видели во Флоренции, он посещал сад Ручеллаи, где собирались гуманисты, читал свои тексты, участвовал в обсуждении трудов коллег.

Между первым и вторым изгнаниями в течение пятнадцати лет Флоренцией правили четыре повелителя из рода Медичи, умные, образованные, любившие живопись, поэзию, музыку, много сил отдававшие своим увлечениям, но не политике. Последний из них, Ипполито, мягкий, воспитанный, не мог и не умел повелевать. Иной раз правитель правит не оттого, что ему хочется, а оттого, что этого требуют семья, клан, окружение, он оказывается рабом обстоятельств и не в силах следовать своим желаниям.

Зимой 1525 года возникла опасность захвата и разграбления Флоренции войсками испанского короля Карла I (с 1519 года императора Священной Римской империи Карла V). Позабыв об обидах и убеждениях, Макиавелли устремился спасти родину. Он бросился к папе, его ближайшим советникам, Медичи; изнемогая от унижений, заискивал, льстил, писал послания, вместе с Микеланджело строил оборонительные сооружения, готов был служить любому, кто бы он ни был, но отстаивать независимость любимой Флоренции. Никколо понимал, что, спасая Флоренцию, он спасает Медичи — пусть Медичи, но не испанцы. Его обвиняли в беспринципности, продажности, двурушничестве, а он до самозабвения любил свою родину, больше семьи, больше родителей, больше самого себя, и служить он желал Флоренции, только ей.

В 1525 году войска императора Карла V нанесли поражение французам в битве при Павии, заняли Милан и двинулись на юг, 15 марта 1527 года император и папа подписали мирный договор, по которому Карл V обязался вывести свои войска с полуострова. Солдаты, долго не получавшие жалованья, отказались повиноваться военачальникам, 5 мая сорок тысяч разъяренных испанцев и немцев захватили Рим и подвергли его варварскому разграблению. Флорентийцы, опасаясь нашествия неуправляемой вооруженной толпы и понимая, что республиканская форма правления

может спасти город, 17 мая изгнали мягкого неумелого Ипполито Медичи. Во время штурма паллацо Веккьо сторонники Медичи сбросили на разъяренную толпу скамью из зала Совета пятисот. Пострадал микеланджеловский «Давид». От левой руки, держащей пращу, откололось три куска. Вазари и Франческо Совиати подобрали осколки и отнесли в дом Буонарроти, где они пролежали почти два десятилетия. После напоминаний Вазари Козимо I распорядился «прикрепить медными штырями каждый обломок на свое место». Как ни старались реставраторы, стыки хорошо видны.

Во Флоренции воцарилось беспокойное время. Макиавелли включили в комиссию по обороне, и бывший второй канцлер подал прошение на замещение прежней должности. Его знали по службе в Синьории, знали, как пострадал он от Медичи, столько сделал для родной Флоренции, сколько мог сделать, столько желал сделать, — вдруг в опасное для родины время вспомнят о его энергии, опыте, знаниях? Он, умевший предугадать, просчитать все ходы, так ошибся в очевидном. Голосование по претендентам на должности назначили на 23 мая 1527 года. Ровно через 29 лет после казни Савонаролы на заседании Большого совета кандидатура Макиавелли была цинично обругана и провалена. Месяц спустя его не стало, потом посыпались почести: похороны в базилике Санта Кроче, портреты, монументы, над гробницей воздвигли памятник с эпитафией: «Имя его выше всяких похвал».

Весь трехлетний период республиканского правления не утихла борьба за власть между группировками. 12 августа 1530 года стараниями папы Клементя VII (Джулио Медичи) и его союзников по «Священной лиге» во главе с императором Священной Римской империи Карлом V после десятимесячной осады города Медичи возвратились во Флоренцию, но править ею папа повелел не кардиналу Ипполито (возможно, вспомнили слова Козимо Старшего: «с молитвенником в руках не управляют»), а его троюродному племяннику Алессандро, внебрачному сыну герцога Урбинского Лоренцо. Настоящим отцом нового повелителя современники называли Клементя VII. Если это так, то предпочтение Алессандро прежнему властителю и другим претендентам на власть становится более понятным. Ни преданности, ни любви к новому тирану флорентийцы не питали. В 1532 году Клемент VII сделал его «герцогом Флорентийской республики», отменил должность гонфалоньера справедливости и провозгласил Тоскану герцогством. Для увеличения числа союзников Алессандро в 1533 году выдал сводную сестру Екатерину замуж за наследника французского престола Генриха Орлеанского, в 1536 году женился на Маргарите Австрийской, внебрачной дочери императора Священной Римской империи всемогущего Карла V. Дела государственные талантливый хитрец и интриган, прирожденный политик Алессандро предпочитал праздность и развлечения. Его действия не лишены дальновидности, но уж очень непопулярными они были. Обиженный кардинал Ипполито писал на него доносы и, живя в Риме с 1529 года, отдавал их Клементу VII. Через год после кончины папы Ипполито нашли мертвым. Поговаривали, что его отравили подосланные «герцогом Флорентийской республики» убийцы.

Злопамятный Алессандро не забыл, что Микеланджело в 1530 году руководил обороной Флоренции, и скульптор опасался мести за противодействие Медичи. Поговаривали, что от руки убийцы великого ваятеля спасло заступничество Клементя VII. Незадолго до смерти папа вызвал его в Рим и вынудил приступить к росписи алтарной стены Сикстинской капеллы. До его кончины Микеланджело успел сделать эскиз фрески. Новый папа Павел III, искренне любивший Микеланджело, в первые же дни понтификата распорядился оштукатурить стену и возвести леса. На

этих лесах Микеланджело провел восемь мучительных лет. Во Флоренцию он не возвратился.

Правление «душевно убогого, выродившегося» Алессандро вызывало раздражение у многих. Знатные флорентийские семьи не скрывали недовольства поведением Алессандро, лишившегося поддержки Ватикана. «Герцог Флорентийской республики» был зарезан 6 января 1537 года своим доверенным лицом и родственником Лоренцо (Лоренцино) деи Пьеро Франческо Медичи (1514–1548), за маленький рост прозванного Лорензаччо. В тот злосчастный день герцог Алессандро кольчугу не надел. Историки не пришли к единому мнению о мотивах убийства. Вероятнее всего, не обошлось без хорошо продуманной интриги, в которой, судя по всему, ведущую роль сыграл Франческо Гвиччардини (1483–1540).

С первых дней второй медичейской реставрации Гвиччардини, опытный дипломат и администратор, помогал властям восстановить старый порядок, стремясь при этом избежать кровопролития и грабежей. «Меня удовлетворяет всякое правление, — писал он своим друзьям, — лишь бы оно обеспечивало власть и величие Медичи. Многие из нас отныне зависят от них в такой мере, что было бы безумием, если бы мы не сумели воспользоваться этим счастьем».

Действия молодого Алессандро вскоре разочаровали Франческо, новый правитель приблизил его к себе и вежливо внимал советам опытного политика, но поступал по-своему, часто наоборот, он не симпатизировал надоедливому старцу, раздражавшему нравочениями. Происходя из старинной флорентийской семьи, мессер Франческо получил превосходное образование, природа одарила его выдающимися способностями и стремлением к знаниям, заслуженно занимаемые высокие должности позволяли приобрести бесценный опыт государственной службы. Он рассчитывал на получение ответственной, почетной и доходной должности. «Правление требуется такое, — писал Гвиччардини, — чтобы чины и выгоды распределялись между друзьями, а тем, кто не сочувствует, хватит того, что их не будут теснить несправедливо». Он всей душой стремился служить Медичи из выгоды и по убеждениям — ничего лучшего для себя он не видел. Гвиччардини видел промахи в правлении Алессандро и его чиновников, но ничего сделать не мог. Зрело разочарование, пришло убеждение, что жизнь его при герцоге Алессандро не сложится, не приблизится к желаемой. В папской администрации, в других итальянских государствах он никому не был нужен. Его, человека действия, вынуждали к прозябанию. И он невольно начал озираться по сторонам.

Взгляд опытного политика, виртуоза интриги, творца тончайших стратегических комбинаций, младшего друга и отчасти единомышленника Никколо Макиавелли остановился на юном Козимо из младшей ветви Медичи. Его отец Джованни делла Банде Нере (1498–1526), правнук Лоренцо, младшего брата Козимо Старшего, кондотьер, прозванный Непобедимым, предводитель «Черных отрядов» (*ит.* Bande Nere), был давним соратником Франческо Гвиччардини по военным и политическим баталиям, прославился непоколебимой свирепостью и беспринципностью. Он служил тем, кто в данный момент больше платил, — Милану, Флоренции, Франции, Ватикану, погиб на поле сражения. Франческо знал Козимо с рождения, он решил, что восемнадцатилетний юноша, сирота, неопытный в делах политических, наверняка прислушается к советам умудренного старца, водившего дружбу с его покойным отцом. Никаких прав у Козимо на власть нет, а если он ее получит из рук Гвиччардини, проникнется же он к нему благодарностью, прислушается, возвысит. И Гвиччардини приступил к объединению недовольных правлением Алессандро. Их оказа-

лось предостаточно. Тихими подталкиваниями, тончайшими намеками мессер Франческо вербовал союзников. Неоценимую помощь оказал Джироламо дельи Альбицци, родственник матери Козимо Марии Сальвиати, внучки Лоренцо Великолепного. Умнейший Гвиччардини продумал стратегию перехода власти в другие руки и условия этого перехода, продумал все до мельчайших деталей. С убийцей, вероятно, Козимо договаривался сам. Наверное, Лоренцино были обещаны награды, впрочем, неисполненные, гарантии беспрепятственного бегства и спокойного проживания вне Флоренции. Через одиннадцать лет после гибели Алессандро Козимо подослал в Венецию убийц. Они среди бела дня в центре города на площади хладнокровно умертвили Лоренцино, легкомысленно шантажировавшего нового правителя Флоренции. Это была не месть: чтобы отомстить, так долго не ждут. Когда один из приближенных Козимо соблазнил его дочь и бежал из Флоренции, за ним тотчас бросились в погоню и, поймав, лишили жизни без промедлений.

Задача усложнялась возможными претензиями Франции на Флорентийское герцогство. Король Франциск I видел жену своего сына Генриха Орлеанского Екатерину Медичи наследницей флорентийской правившей династии. В Париже могли появиться внуки Лоренцо II и герцогини Бульонской, рожденные Екатериной от дофина Франции и имевшие право на герцогство Флорентийское больше, чем незаконнорожденный Алессандро и Козимо, отдалившийся от прямых наследников на шесть поколений. В борьбу за владычество над Флоренцией могла вступить и Испания во главе с тестем убитого Алессандро Карлом I (он же Карл V, могущественный император Священной Римской империи). По условиям секретного договора, подписанного Карлом V и Алессандро, в случае смерти последнего все тосканские крепости переходили в руки испанцев, владычество над Флоренцией в нем деликатно умалчивалось. Гвиччардини удалось избежать притязаний Франции и Испании, удалось получить от Козимо многие заверения и обещания.

Вслед за гибелью герцога Алессандро флорентийцы принялись обсуждать дальнейшую судьбу города. Робкие голоса за восстановление республики заглушили толпы сторонников тирании Медичи. Кардинал Чибо (Инноченцио Чибо Маласпина) склонялся в сторону малолетнего Джулиано (1532–1600), побочного сына Алессандро, единственного жившего во Флоренции законного претендента на герцогство, но Гвиччардини сделал так, чтобы победил Козимо Медичи. Через три дня после убийства Алессандро 9 января 1537 года он «был избран высшим правителем города и принадлежавших ему земель».

Перед голосованием Козимо согласился на все предложенные ему условия: отказаться от титула герцога, принять конституционные ограничения тиранической формы правления, возвратить всех эмигрантов, не передавать испанцам тосканские крепости. Статьи секретного соглашения с Карлом V могли служить мотивом гибели Алессандро, но даже косвенных подтверждений испанской версии убийства герцога не обнаружено. Козимо раздавал любые обещания, согласился даже взять в жены одну из пяти дочерей Гвиччардини, обещал все, что от него требовали и не требовали. Но самые здравые умы, самые хитрые и предусмотрительные, неизменно впадают в ошибку, полагая, что их ставленник не отступит от обещанного. Трудно отыскать хоть один пример удачно свершившегося заговора и последовавшего за ним выполнения предварительно поставленных и принятых условий. Победивший избранник заговорщиков не желает видеть тех, кто привел его к власти, не желает быть им обязанным, признавать их заслуги, вознаграждать прошлых соратников, ищет повод для избавления от них: хорошо, когда избавление обходится без кровопролития.



Придя к власти, Козимо тотчас нарушил почти все охотно данные им обещания. Восемнадцатилетний правитель Тосканы оказался изворотливее своих умудренных опытом наставников, циничная хитрость взяла верх. Он совершил неожиданный для всех поступок — превратился в ревностного союзника давнего непримиримого врага Флоренции Карла I Испанского. Император отклонил его сватовство к своей дочери, вдове Алессандро Марии Австрийской, но этот сюжет никак не повлиял на установившееся доброе отношение императора к новому флорентийскому тирану. Сама по себе отпала масса проблем и с ними необходимость выполнения вынужденных обязательств, данных надоедливому Гвиччардини и его соратникам. 2 августа 1538 года в битве при Монтемурло Козимо разгромил войска изгнанников-республиканцев, вторгшихся в Тоскану. В 1539 году он женился на дочери вице-короля Неаполя Элеоноре Толедской, и его дом превратился в испанский островок среди ренессансной Флоренции: этикет, одежда, еда — все было испанское, даже имена сыновей.

Освоив разветвленную систему управления городом с помощью канцелярий и комиссий, располагавшихся в палаццо Веккьо, Козимо, почувствовав себя полномочным правителем, превратил жизнь Гвиччардини во Флоренции в пытку. Кому нужны отыгранные карты, свидетели унижений, справедливые упреки, даже безмолвные... Искушенный политик, оцененный Львом X, Клементом VII и даже Макиавелли, историк, философ, мемуарист, обманутый и посрамленный мальчишкой, отправился доживать свой век на фамильной вилле в Арчетри. Как и Макиавелли, он безмерно тосковал вне Флоренции, много писал, не находя в этом занятии утешения. Все виделось ему в черном свете, разочарование затмило, погребло все, что было хорошего. Франческо родился в богатом доме на берегу Арно рядом с недостроенным палаццо Питти, счастливо прожил детство, увлекся науками, сложилась легкая блистательная карьера, служил суверенам, папы прислушивались к его советам, вокруг толпились просители, его умом и энергией восхищались, неизменно согревали надежды, радовала необходимость в его услугах. И вдруг все так нелепо разлетелось, он в изгнании и от невозможности действовать взялся за перо.

Современники и потом, через столетия, отзывались о Гвиччардини недоброжелательно, среди них Монтень и Стендаль. В 1847 году французский историк, философ и поэт Эдгар Кине (1803–1875) писал о нем: «Когда будет Италия, она золотыми буквами начертает имя этого чудовищного гения на позорном столбе». Упрекали его за недоброжелательные отзывы обо всех и обо всем, за перемены во взглядах, за беспринципность в выборе власти, которой служил. Не осознавая того, он сам себя заклеил, в его воспоминаниях можно прочесть: «Не думаю, что в мире есть вещь хуже легкомыслия, потому что легкомысленные люди — орудия, способные встать на любую сторону, какой бы она ни была коварной, опасной и губительной. Поэтому берегитесь их как огня». Почти безвыездно Гвиччардини с семьей прожил на вилле около трех лет и тихо скончался, всеми брошенный и позабытый. Поговаривали, что его отравили. Кому нужен озлобленный, язвительный свидетель?..

Козимо I, с 1569 года великий герцог Тосканский, правил Флоренцией с 1537-го по 1574 год, «ловкий политик, бессовестный тиран», суровый и непоколебимый, с лицом свирепого кондотьера, отобразившим профессию отца. Современникам он казался счастливейшим государем. В 1562 году дочь Козимо Лукрецию, заподозренную в измене, отравил муж, Альфонсо II д'Эсте, герцог Феррарский. Другую дочь Изабеллу за подобное прегрешение задушил муж, дон Паоло Джордано I Орсини, герцог Браччиано. Старшая дочь Мария семнадцати лет от роду умерла от малярии. В 1562 году сын Козимо I, дон Гарсиа, в пылу спора заколол своего брата кардинала



Джованни. Разгневанный отец собственноручно лишил сына-убийцу жизни. Их мать Элеонора Толедская скончалась от горя, ее похоронили одновременно с сыновьями. Их прах покоится в Новой крипте под капеллой Принцев базилики Сант Лоренцо. Младший из сыновей герцога Пьетро в припадке ярости задушил свою жену.

Было ли у Козимо I время покровительствовать искусствам? Оказывается, было. После победы над Сиеной и ее присоединения к Флоренции наметился новый подъем в искусстве. Побуждаемый «безмерной страстью к украшению Флоренции» (Ригуччо Галуцци) и честолюбивым стремлением увековечить себя, Козимо I раздавал художникам крупные заказы. Появились конные статуи, парадные портреты, произошла закладка новых зданий и реконструкция старых. Стены и плафоны дворцовых залов украсили пышными батальными сценами, на фасадах появились фрески и сграффито<sup>11</sup>. Великий герцог Тосканский не без основания требовал, чтобы его изображали в шлеме и латах, чтобы выражение лица его внушало страх и уважение.

«Герцог был необычно большого роста, — пишет Винченцо Федели, — очень крепкого и сильного сложения. Его обращение вежливое, он может быть и жестоким, когда захочет. В занятиях и физических упражнениях он неутомим и испытывает удовольствие от отдыха, требующего ловкости, силы и проворства, не имеет соперников в поднятии тяжестей, владении оружием, турнирах или играх в мяч... В этом, как в рыбной ловле и плавании, он забывает о своем положении и звании, обращается со всеми дружески, желая при этом, чтобы и к нему относились на равных, без обычных знаков внимания... Вне отдыха и развлечений он требовал почтения и полного повиновения, к тем, кто ему был подвластен, он проявлял подобающую строгость, в городе говорили: «Он был герцогом или не герцогом, когда того желал», то есть разделял свое поведение на привычное и княжеское... Этот правитель был быстрого и цепкого ума, хорошо разбирался во многих делах. У него была исключительная память, он помнил все: приход, расход, войска и оружие в любом месте. Этот правитель был мастером во всех профессиях и получал удовольствие во всяком учении. Наибольшее удовольствие он получал от скульптуры и живописи, постоянно приглашал людей обоих искусств создавать редкостные и замечательные вещи... Он восхищался драгоценностями, статуями и древними медалями и обладал неслыханным числом редкостей. У него была история его времени, написанная по-латыни и на тосканском наречии, и он заплатил нескольким замечательным людям, чтобы они написали комментарии к его жизни на двух языках. Так благодаря живописи и скульптуре, гравюре и нетленной бумаге он обрел вечность и славу после своей смерти, как он был удачлив и счастлив в этой жизни».

Козимо I властвовал на излете Ренессанса, его ближайшим советником был Джорджо Вазари (1511–1574), безгранично преданный поклонник и ученик Микеланджело, крупный архитектор и живописец. Но все достижения Вазари (*um. vasaio* горшечник) на ниве искусства меркнут в сравнении с его выдающимся талантом литератора, историка искусств, искусствоведа. Он не был бы приближенным Козимо I, его советником и даже другом, будь герцог равнодушен к искусству. Вазари первый начал рассматривать три изящных искусства «как дочерей одного отца — рисунка». Он уговорил герцога учредить Академию рисунка (*Accademia di Belle Arti*), первое в Европе такого рода объединение. В ее состав вошли лучшие флорентийские художники. Академия устраивала собрания и выставки. Для этого зал капитула ордена серветов (служителей Девы Марии), находившийся в базилике Сантиссима Аннунциата (Благовещение Пресвятой Девы), перестроили под капеллу Святого Луки, покровителя искусств, и посвятили Святой Троице, символизирующей един-

ство трех искусств. В склепе под капеллой погребены многие величайшие художники Ренессанса. Проник в капеллу можно через дворик Мертвых, вход в него открыт лишь во время впуска на редкие богослужения. О них нигде не объявляют. Мне удалось случайно побывать в этой капелле. Попробуйте и вы, не пожалеете.

Образование Академии рисунка радостно поддерживал Микеланджело. По настоянию Вазари Козимо I не раз посылал ему лестные приглашения вернуться на родину, но скульптор неизменно отклонял просьбы герцога, хотя в одном из ответов он писал: «Дай Бог, чтобы я ни в чем не мог отказать вам».

Козимо I поручил Вазари разработать проект здания Магистратов — Уффици (*ит. uffizi* — канцелярии). Его закладка состоялась 23 марта 1560 года, первоначально в нем предполагалось разместить казначейство, трибуналы, комиссии и другие правительственные учреждения нового государства Великого герцогства Тосканского, образованного Козимо I. Семейство Козимо I в 1550 году переселилось на левый берег Арно в палаццо Питти. Чтобы герцог мог совершать путь из палаццо Веккьо через Уффици в Питти, минуя уличную толпу или во избежание угрозы нападения, Вазари построил от палаццо Веккьо до палаццо Питти крытую галерею, названную коридором Вазари. Палаццо Веккьо соединяется галереей с северным торцом здания Уффици. От его восточного фасада начинается собственно коридор. Он проходит вдоль Арно до понте Веккьо, по нему в Ольтарно и далее к палаццо Питти. В Ольтарно на берегу реки вплотную к понте Веккьо возвышается построенная не позднее XII века башня Манелли, мешавшая строительству коридора Вазари. Владельцы башни воспротивились ее сносу. Не помогли угрозы сурового Козимо I, и зодчему пришлось ее обойти. Взгляните, когда будете во Флоренции, на памятник бессилия тирана перед правом владельца на собственность.

Проектируя здание Уффици, зодчий создал планировку помещений высшего правительственного учреждения с учетом их функционального назначения. В начале 1560 года безжалостно снесли старый Монетный двор. Находившуюся рядом церковь XI века Сан Пьетро Скьераджо, где в XII–XIII веках заседали приоры, частично разобрали и включили в состав Уффици; сегодня в ней размещается архив трибуналов. Строительство завершилось лишь в 1580 году. К тому времени минуло шесть лет, как не стало заказчика и зодчего, почивших в один год. Работы заканчивали Альфонсо Париджи и Бернардо Буонталенти, не внесшие существенных изменений в первоначальный проект. Бесчисленные комнаты заселили канцеляриями, трибуналами, комиссиями, казначейством...

Архитектурные решения, предложенные Вазари, вызывают восхищение. Вплотную к средневековому готическому палаццо Веккьо возвели ренессансное сооружение. Спустя столетия они не диссонируют: архитектура имеет свойство со временем мирить непримиримое, разностильные здания перестают соперничать, сживаются и образуют единый ансамбль. Два параллельных корпуса длиной 142 метра с расстоянием друг от друга 18 метров и поперечная галерея образуют внутренний двор (пяццале Уффици), соединивший площадь Синьории с набережной Арно. Дворовые фасады здания украшены статуями величайших флорентийцев.

Первым из Уффици начал вытеснять чиновников старший сын Козимо I, великий герцог Тосканский Франческо I. Он приказал застеклить восточную лоджию верхнего этажа, и в образовавшемся коридоре в 1581 году разместили «галерею статуй». Буонталенти пристроил к галерее несколько комнат для развески в них живописи и возвел восьмигранную «Трибуну», пронзившую все три этажа восточного корпуса, в ней расставили старинную скульптуру, а по стенам устроили шпалерную (сплошную) развеску картин. Франческо I был страстным поклонником искусств.

Размещая художественные сокровища в лучшем здании в центре города, герцог стремился сообщить согражданам и всей Европе, что искусство остается главным символом Флоренции, напомнить всему миру о ее былом величии. Начиная с XVI века Флоренция не могла гордиться шерстяниками, шелкоделами, финансистами, не осуществляла грандиозных проектов (Уффици — исключение). Франческо I и последующие правители превосходно понимали, что высокое положение Флоренция не утратит лишь благодаря имеющимся у нее художественным сокровищам клана Медичи. Величие нуждается в подтверждении, в постоянной поддержке.

Постепенно искусство вытеснило бюрократию из Уффици, но лишь в 1775 году галерею открыли для беспрепятственного посещения публикой. Основа экспозиции музея состояла из личных коллекций семьи Медичи, ее пополнение продолжалось и после открытия музея. В 1860 году заботы о галерее перешли к государству. История собрания произведений искусства, сосредоточенных в Уффици, — пример музея, возникшего из частных коллекций членов правящей династии. Это ее отчасти роднит с Эрмитажем, где ядро картинной галереи — личные коллекции русских императоров. Галерея Уффици входит если не в пятерку, то уж бесспорно в десятку величайших музеев мира. Ее собрание итальянской живописи не имеет равных. Ни один путешественник, посетивший Флоренцию, не может миновать Уффици. Чтобы, кроме одного лишь оглушительного восторга от увиденного, ничего не пропустить и сохранить впечатления хотя бы о самом главном, необходимо на посещение галереи потратить не менее шести часов. Прийти на пьядцале Уффици лучше в семь тридцать утра и встать в очередь среди первого десятка страждущих. (Нигде во Флоренции нет очередей, кроме этой.)

Пуск объявлен на восемь пятнадцать, но в залы галереи попадают около восьми тридцати. Можно занять очередь и позже, но тогда придется дольше томиться в ожидании, оказаться в набитых людьми залах и сполна вкусить духоты. Ранние посетители хотя бы часть пути пройдут без хаотичной толпы и организованных экскурсантов с крикливыми гидами. Главное, не забыть взять фотоаппарат: из окон галереи, соединяющей корпуса, из окон залов, с террасы кафетерия можно сделать снимки купола Санта Мария дель Фьоре, панорамы центра города, Ольтарно, палаццо Веккьо, Арно с мостами. Если повезет с погодой, то снимки будут превосходными. Разумеется, в залах фотографировать запрещено. Не забудьте осмотреть коридоры — бывшие лоджии третьего этажа, они великолепны. О сокровищах, хранящихся в Уффици, следует читать в книгах, они есть. Повторим лишь, что такого собрания итальянской живописи, как в Уффици, нет нигде, даже в прославленных музеях Ватикана. Во второй половине XIX века при секуляризации церковного имущества многое из храмов попало в Уффици, а в Ватикан — нет. Тогда же из галереи скульптуру передали в Барджелло, а антики в Археологический музей, оставив в Уффици живопись и графику.

Сегодня здание Уффици целиком занято крупнейшей в мире художественной галереей, в коридоре Вазари экспонируется собрание портретов. Многие хранящиеся в Уффици приобретены на средства, отпущенные Козимо I. При нем произошел всплеск популярности городской скульптуры, ее творцами были лучшие ваятели. Площадь Синьории превратилась в музей скульптуры. Качество отливки достигло совершенства, ею с наступлением мирного времени занимались утратившие работу пушечные мастера. Герцог стремился украсить город снаружи и изнутри. На площадях появились фонтаны, монументы и колонны в честь побед флорентийцев в войнах, на многих фасадах закрепили доски с изображениями герба Флоренции. Популярности великого герцога Тосканского могли позавидовать почти все Медичи,

правившие Флоренцией. Он щедро помогал нуждавшимся, поддерживал монашеские братства, постоянно заботившиеся о них.

За десять лет до кончины Козимо I назначил регентом старшего сына Франческо. Так постепенно он передал ему власть над Тосканой. Второго из оставшихся в живых сыновей, Фердинанда, он сделал кардиналом. От брака с Иоанной Австрийской Франческо имел шесть дочерей, наследника она не родила. Задолго до кончины жены герцог завел любовницу Бьянку Капелло. Он построил для нее дворец в Ольтарно, приобрел и подарил ей поместье Пратолино. Об увлечениях Франческо знала вся Флоренция. Вскоре после кончины Иоанны он женился на Бьянке, родившей ему до замужества двух сыновей-бастардов. Поскольку брак был морганатический, то эти два сына не могли наследовать престол. Поэтому после смерти Франческо власть над Флоренцией перешла к кардиналу Фердинанду, тотчас отказавшемуся от карьеры священнослужителя.

В XVI веке Флоренция утратила ведущее положение в экономике, и центр художественной жизни переместился в Рим, Венецию, Парму, Болонью. Но какую бы книгу по истории итальянского искусства мы ни открыли, она оказывается в основном посвященной истории флорентийского искусства. Столица Тосканы продолжала играть заметную роль в культурной и политической жизни Европы, не утратили авторитета герцоги Медичи. Могущественные династии, правившие в соседних государствах, стремились породниться с ними.

Эпоха титанов Ренессанса уходила в прошлое. Медичи все меньше делали заказы современным художникам, все больше приобретали работы мастеров XIV–XVI веков, настали иные времена, возникли иные обстоятельства. Превосходные коллекции живописи собрали Козимо I, Антонио Медичи, пасынок герцога Франческо I, герцог Фердинанд I – тонкий знаток искусств, владел ценнейшей коллекцией античной и современной скульптуры. Рим XVI века более всего напоминал гигантскую площадку археологических раскопок. В 1576 году молодой кардинал Фердинанд Медичи приобрел в Вечном городе виллу, расположенную на холме Тринита деи Монти, и, поселившись в ней, принялся скупать лучшие коллекции антиков и ценнейшие статуи из раскопок. Кардинал Леопольдо Медичи (1617–1675), сын Козимо II, неистовый коллекционер, образованнейший человек, тратил все свои средства на приобретение произведений искусства, побуждал других Медичи не упускать случая, когда попадался редчайший шедевр. Коллекционеры знают, что упущенный предмет собирательства второй раз не встречается, а деньги можно и одолжить. Не отставал от Леопольдо его старший брат, кардинал Карло Медичи (1611–1663). Много средств и времени отдавал искусству герцог Козимо III, любимый племянник кардинала Леопольдо, унаследовавший его коллекцию.

Первые Медичи поддерживали искусство Ренессанса, верно служили ему. Их потомки, приобретая произведения искусств, косвенно работали на Ренессанс, сохраняя творения старых мастеров. Последние Медичи понимали, что наследие художников эпохи Ренессанса придает им вес и при умелом его использовании дает право на участие в политической жизни континента. Поэтому поздние правители Флоренции стремились удержать за великим городом уже не принадлежавшую ему роль столицы искусств. Для этого требовались постоянный приток художественных сокровищ и возбуждаемый к ним интерес. Медичи не жалели средств на приобретение. При составлении брачных контрактов герцоги-женихи нередко настаивали на включении в приданое невест произведений искусств. Они заранее узнавали, чем располагают родители невест. Так во Флоренции появилось значительное число картин французских, немецких и других живописцев, включая итальянских из Вене-

ции, Рима, Болоньи, Урбино, Сиены. Начиная с Козимо I, все великие герцоги Тосканские превратили искусство Ренессанса в политический вес правившей династии, в главное отличие Флоренции от других городов мира. В отношении числа и достоинств произведений искусств, принадлежавших Флоренции, она не утратила и не утратит первенства.

В 1737 году скончался последний великий герцог Тосканский Джан Гастоне Медичи и не оставил наследника. Десять представителей старшей ветви Медичи правили Флоренцией около ста лет, семь представителей младшей ветви Медичи правили Флоренцией более двухсот лет. Главенство над Флоренцией постепенно перешло к их родственнику — герцогу Франциску Стефану Лотарингскому. Все несметные богатства династии и недолгую власть унаследовала Анна Мария Лодовика Медичи (1667–1743), курфюрстина Палатинская, родная сестра Джан Гастоне. Между ней и новым правителем Флоренции 31 октября 1737 года была подписана конвенция, чаще ее называют «Семейным соглашением». Стороны договорились, что при вступлении в силу соглашения Анна Мария Медичи признает легитимность Лотарингской династии. Приведем извлечение из третьей главы конвенции:

*«Настоящим Светлейшая Курфюрстина уступает, вругает и передает во владение Его Королевского Высочества и его наследников Великих Герцогов всю мебель, предметы обстановки и редкости из наследства его брата Светлейшего Великого Герцога, в том числе Галереи, Картины, Статуи, Библиотеки, Драгоценности и иные ценные вещи, равно как и Священные Реликвии, кои Его Королевское Высочество обязуется хранить ради украшения государства, общественной пользы и привлечения любопытства иностранцев при строгом соблюдении условия, по которому никто из этого достояния не может быть вывезено за пределы Столицы Великого Герцогства».*

Во владении правителей Лотарингского дома унаследованные ими коллекции находились до 1859 года и продолжали пополняться; за пределы Тосканы ничего не вывозилось. Лишь однажды флорентийским сокровищам был причинен ущерб: Наполеон распорядился отправить во Францию полотна из палаццо Питти, в 1815 году возвратить удалось не все. С исчезновением Великого герцогства Тосканского Флоренция стала собственником художественных сокровищ Медичи и благодаря этому остается одним из самых выдающихся городов мира. Сегодня богатства Медичи размещаются главным образом в музеях Уффици, Питти, Барджелло, в Галерее Академии, Музее серебра, Археологическом музее, палаццо Веккьо и Медичи–Риккарди, в базилике Сан Лоренцо и других флорентийских храмах.

Джорджо Вазари во второй половине XVI века писал о помощи, оказанной Лоренцо Великолепным художникам, поэтам и философам: «И если этому поистине великому примеру Лоренцо будут подражать князья и другие высокочтимые особы, то это принесет им честь и славу на веки вечные, ибо кто помогает и покровительствует талантам прекрасным и редкостным, от коих мир получает столько красоты, чести, удобства и пользы, тот заслуживает того, чтобы жить в человеческой памяти со славой вечно».

Эти слова замечательного искусствоведа в равной мере относятся к деду Лоренцо, почти ко всему правившему клану Медичи. Величайших итальянских мастеров, живших в XIV–XVI веках, мы называем титанами Возрождения, благодаря им возникла культура, продемонстрировавшая мощь человеческого гения. К этой плеяде титанов Ренессанса мы обязаны отнести Козимо Старшего и Лоренцо Великолепно-

го. Они разглядели новое, удобрили почву, взрастили и поддержали великое искусство Ренессанса. Теперь уж и не представить итальянского Ренессанса без преданного ему служения семейства Медичи.

### Примечания

- <sup>1</sup> Глава из подготовленной к печати книги «Флоренция — город гениев. Нетуристический путеводитель». См. также первую публикацию из этой книги в «Нева», № 7 за 2011.
- <sup>2</sup> Пополаны — торгово-ремесленные слои городского населения XII–XV вв.
- <sup>3</sup> Гонфалоньер (*ит.* знаменосец) с середины XIII в. возглавлял ополчение в итальянских городах. В 1289 г. во Флоренции учредили выборную должность гонфалоньера справедливости (правосудия, юстиции) — главы городского самоуправления. Упразднена в 1532 г.
- <sup>4</sup> Чомпи (*сопро* — чесальщики шерсти) — наемные рабочие, не состоявшие в цехе. Восстание длилось с 22 июня по 31 августа 1378 г.
- <sup>5</sup> «Жирный народ» (*popolo grosso*) — богатые горожане итальянской коммуны.
- <sup>6</sup> Гвельфы — политическая партия в Италии XII–XV вв., противившаяся господству императоров Св. Римской империи на Апеннингах.
- <sup>7</sup> Гибеллины — сторонники императора Священной Римской империи, противники гвельфов.
- <sup>8</sup> Аккопиаторы — должностные лица во Флоренции, занимавшиеся перепиской и хранением выборных списков и надзором за выборами. Назначались Синьорией или Балией. Синьория — орган городского самоуправления. Балия — чрезвычайная комиссия, организованная господствующей партией и обладающая особыми полномочиями. Аккопиаторы определяли кандидатов на выборные должности, поэтому ключевые фигуры, официально управлявшие Флоренцией, всегда оказывались сторонниками Козимо Медичи.
- <sup>9</sup> Барджелло — здание в центре Флоренции, в 1341 г. в нем разместился начальник полиции — барджелло (блюститель порядка), отсюда название, ныне это здание занимает Национальный музей Барджелло.
- <sup>10</sup> См.: «Нева». 2011. № 7. С. 141.
- <sup>11</sup> Сграффито, граффито (выцарапывание) — способ отделки фасадов зданий путем процарапывания рисунка до нижнего слоя штукатурки, отличающегося по цвету от тонкого верхнего слоя.





Игорь СУХИХ

# МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ<sup>1</sup> 1711–1765

## Годы: от рыбака до академика

Современники и потомки не скупались на характеристики Ломоносова. Его сравнивали с античными одописцами Пиндаром и Вергилием, со знаменитым живописцем эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, с Галилеем и Гёте.

Ломоносову находили и русские параллели. «Петром Великим русской литературы» назовет его В. Г. Белинский. Ф. М. Достоевский предложит уже собственно литературный ряд: «Бесспорных гениев, с бесспорным “новым словом” во всей литературе нашей было всего только три: Ломоносов, Пушкин и частью Гоголь» («Дневник писателя». 1877. Июль–август. Глава вторая).

А сам бесспорный гений следующей эпохи, много думавший как об императоре Петре, так и о Ломоносове, оставил восторженные и в то же время точные отзывы о нем. «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенной силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает машины, дарит искусства мозаическими произведениями и, наконец, открывает нам истинные источники нашего поэтического языка...» (А. С. Пушкин. О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова, 1825).

---

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (Л., 1987; 2-е изд. СПб., 2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (СПб., 1996; 2-е изд. СПб., 2006), «Книги XX века: Русский канон» (М., 2001), «Двадцать книг XX века» (СПб., 2004), а также школьного учебника «Литература. XIX век» (2008). Лауреат премии журнала «Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в Санкт-Петербурге.

<sup>1</sup> Глава из подготовленного к печати учебника литературы. Таким представлен «первый русский университет» современным школьникам.

Через десятилетие поэт предложил другую замечательную формулу: «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом» (А. С. Пушкин. Путешествие из Москвы в Петербург, 1834).

Уникальность ломоносовской судьбы — не только в разнообразии занятий и достижений, благодаря которым его сравнивали с титанами эпохи Возрождения. Она и в другом, в поразительной борьбе с неблагоприятными обстоятельствами, в невероятной жизненной траектории, уложившейся всего в 53 года.

Михаил Васильевич Ломоносов был единственным сыном зажиточного крестьянина-помора. Он родился на севере, близ села Холмогоры Архангельской губернии 8 (19) ноября 1711 года. Судьба вроде бы предначертала ему путь обычного выходца из крестьянской семьи. Он рано начал заниматься каждодневным сельским трудом: пас скот, помогал в поле и на постройках. Уже с десяти лет он начал ходить на отцовском судне на рыбный промысел.

Биографии многих знаменитых писателей и ученых начинаются с неистового увлечения книгой. По легенде, обучавший мальчика дьячок вскоре упал перед ним на колени, признавшись, что больше ничему не может его научить.

Поначалу любимым чтением Ломоносова были жития святых, но в доме односельчанина обнаружили и две светские книги, которые мальчику с большими трудами удалось получить: «Грамматика» М. Смотрицкого и «Арифметика» Л. Магницкого. «От сего самого времени, — вспоминал современник, — не расставался он с ними никогда, носил везде с собою и, непрестанно читая, вытвердил наизусть. Сам он потом называл их вратами своей учености» (М. И. Веревкин. Жизнь покойного Михайла Васильевича Ломоносова, 1784).

На почве чтения произошел и семейный конфликт. Через много лет в письме покровителю Ломоносов будет вспоминать: «Я <...> имеючи отца, хотя по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по пустому за книгами. Для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных местах и терпеть стужу и голод, пока не ушел в Спасские школы» (И. И. Шувалову, 31 мая 1753 года).

Рассказанное Ломоносовым напоминает сказочную фавулу: добрый, но слабохарактерный отец, злая мачеха (родная мать умерла, когда мальчику было семь или восемь лет), трудолюбивый, жаждущий учения отрок, вынужденный бежать из дома. Но других источников о жизни Ломоносова в эти годы нет. Можно лишь догадываться, что подтолкнуло юношу (ему уже 19 лет) совершить один из главных поступков в жизни. В конце 1730 года Ломоносов уходит с караваном мороженой рыбы в Москву.

Ровно через столетие Пушкин торжественным гекзаметром опишет это событие в коротком стихотворении-эпиграмме «Отрок»:

Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря;  
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!  
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:  
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

Этот уход (или побег) стал возможен в том числе и по социальной причине: Русский Север никогда не знал крепостного права, там жили свободные крестьяне. «Родись Ломоносов в какой-нибудь помещичьей деревне центральной России, ему,

пожалуй, не пришлось бы сопровождать своего отца дальше, чем до господской усадьбы и до господской пашни, — с полным основанием предположил Г. В. Плеханов. — Ему чрезвычайно помогло то обстоятельство, что он был именно *архангельским* мужиком, мужиком-поморцем, не носившим крепостного ошейника» («М. В. Ломоносов», 1915).

Тем не менее при поступлении в Славяно-греко-латинскую академию (ее также называли Спасскими школами) Ломоносову пришлось выдать себя за сына дворянина. Потом он побывает и сыном попovichа и лишь после специального следствия вынужден будет назвать свое истинное происхождение.

Москва и академия стали началом новой жизни. Странствия по северным морям сменились скитаниями по России и Европе. Теперь ломоносовская жизнь напоминает уже не волшебную сказку или балладу, а приключенческий роман или «роман испытания».

На первых порах в Москве великовозрастный ученик терпит лишения, преодолевает многочисленные преграды, но его страсть к познанию, «алчное любопытство» (А. Н. Радищев) лишь укрепляется. «Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели, — вспоминал Ломоносов. — С одной стороны, отец, никогда детей кроме меня не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство (по тамошнему состоянию), которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил. С одной стороны, пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выдадут, которые и в мою там бытность предлагали; с другой стороны, школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: смотри де, какой болван лет в двадцать пришел латине учиться!» (И. И. Шувалову, 10 мая 1753 года).

За эти пять лет «болван» прошел шесть классов гимназии, прочел множество книг, одолел латынь, пробовал писать стихи, съездил «за наукой» в Киев, собиравшись в путешествие по России. В конце 1735 года как один из лучших учеников он был отправлен для продолжения образования в обезлюдевшую после смерти Петра I Академию наук. Но через несколько месяцев он уже плывет в Германию для обучения горному делу.

Там снова были голод и безденежье, странствия по чужой стране, веселые пирушки, тайная женитьба, насильная вербовка в прусскую армию, отчаянный побег — и постоянные научные занятия. В 1741 году в Петербург возвращается разнообразно образованный человек, готовый служить Родине на научном поприще. В одном из поздних писем Ломоносов скажет про «истинную и врожденную мою любовь и ревность к отечеству и к наукам, которая всего чувствительнее в моем сердце» (М. И. Воронцову, 30 декабря 1759 года).

Жизнь Ломоносова снова переломилась. Странствия и приключения сменились странствиями мысли. В этой третьей ломоносовской жизни были, конечно, и внешние события, научная и литературная борьба. Но главным делом в эти десятилетия становится научная работа, сжигающий Ломоносова пафос познания.

В 1742 году Ломоносов был зачислен в штат Петербургской академии наук адъюнктом (ассистентом) физики. Но уже в 1745 году он становится профессором (академических профессоров называли и академиками) химии. Однако этим круг его академических занятий не ограничивается. Для Ломоносова-ученого словно не существует понятия невозможного. Он берется за все, всюду успеваает, постоянно пытается

ся что-то сделать, открыть, понять. Он проводит химические опыты и эксперименты по исследованию атмосферного электричества (во время одного из них был убит молнией соратник Ломоносова профессор Рихман). Он пишет «Российскую историю» и письмо-трактат «О сохранении и размножении российского народа». Он организует мозаичную фабрику (для чего пришлось проделать около четырех тысяч опытов) и хлопочет о создании Московского университета и гимназии при нем.

Полное собрание сочинений Ломоносова составляет десять огромных томов. Туда входят работы по физике и химии, астрономии и лесной науке, металлургии, географии, истории и, конечно, стихи и филологические работы.

Ломоносов был настоящим сыном своего века, века Просвещения и классицизма, с его культом Разума, Государства, общего блага. В его бурной, лихорадочной деятельности как-то терялась, исчезала отдельная человеческая судьба. «Дух личной независимости очень хорошо уживался в Ломоносове с почти полным <...> равнодушием к основным вопросам общественного устройства, — заметил Г. В. Плеханов. — Исходной точкой для всех <...> проектов служит государственный интерес. Собственный интерес жителей уходит из поля зрения («Ломоносова» (М. В. Ломоносов)).

Великий ученый, как и многие в XVIII веке, верит в необходимость просвещенной монархии. Он не посягает на социальную структуру даже в мыслях (как это чуть позднее сделает А. Н. Радищев), он естественно вживается в нее. Путь к вершинам просвещения видится ему в индивидуальном порыве при создании благоприятных условий.

Однако в силе остается вопрос: мог ли повторить путь Ломоносова талантливый крепостной мальчишка из курской или орловской деревни, из тех мест, где происходит действие тургеневских «Записок охотника»? Или для того, чтобы поступить в основанный Ломоносовым университет, ему надо было подождать еще столетие?

Ломоносов тем не менее до конца жизни помогал устраиваться в Петербурге и искать себе дело по склонностям землякам и родственникам.

Когда-то, перед уходом Ломоносова в Москву, сосед Иван Шубный одолжил юноше три рубля. В 1759 году в Петербурге — по стопам Ломоносова, с обозом мороженой трески — появился его сын Федот. С помощью Ломоносова он начал свою карьеру в столице с должности придворного истопника, но вскоре обнаружил талант художника, стал известным резким по кости и скульптором, создавшим один из лучших скульптурных портретов Ломоносова (1793).

Племянник Ломоносова, М. Е. Головин, поступил в академическую гимназию в год смерти дяди и впоследствии стал известным физиком-методистом, по учебникам которого училось несколько поколений русских школьников.

Для истории русской культуры важны не только деятельность Ломоносова, но и его образ, пример его фантастической судьбы. Жизнь в данном случае разыграла счастливый сюжет «романа карьеры»: человек из низов, провинциал, преодолевая множество препятствий, находит свое призвание и приносит славу себе и отечеству.

Последней главой в революционной книге А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) является «Слово о Ломоносове». Хотя многое в деятельности Ломоносова Радищев воспринимает критически (с ним потом спорил Пушкин), разговор о нем является свидетельством громадной потенциальной силы и талантливости народа, страдающего в цепях дикого рабства

В середине следующего века появляется некрасовский «Школьник» (1856). Рассказ о босоногом крестьянском мальчишке, идущем на учение в город, завершается раздумьем-напутствием:

Скоро сам узнаешь в школе,  
Как архангельский мужик  
По своей и божьей воле  
Стал разумен и велик.

Не без добрых душ на свете —  
Кто-нибудь свезет в Москву,  
Будешь в университете —  
Сон свершится наяву!  
<...>

Не бездарна та природа,  
Не погиб еще тот край,  
Что выводит из народа  
Столько славных то и знай...

В конце XIX века еще один мальчик, герой повести А. П. Чехова «Степь» (1888), услышит от своего спутника похожие слова: «Ничего, ничего, брат... Ломоносов так же вот с рыбаками ехал, однако из него вышел человек на всю Европу».

Уже в XX веке сходным образом сложилась судьба сибирского мужика В. М. Шукшина, уже в зрелом возрасте поступившего в Институт кинематографии и ставшего известным писателем, кинорежиссером, актером. Недаром Шукшин любил некрасовское стихотворение и использовал его в одном из своих фильмов.

Путь Ломоносова, шагнувшего из неизвестности к вершинам науки и культуры, стал путеводной звездой для многих талантов во глубине России.

### **Оды: ямбов ломоносовских грома**

Ломоносов не только был одним из первых русских поэтов Нового времени. Он (совместно с В. К. Тредиаковским) разработал принципы силлабо-тонического стихосложения, которые в главных чертах сохранились и сегодня.

В 1739 году никому пока не известный студент Михайло Ломоносов прислал в Академию наук из Германии «Письмо о правилах российского стихотворства», в котором были изложены основы новой стиховой системы, призванной заменить привычный для русской поэзии XVII века силлабический стих. К теоретическим размышлениям был приложен практический образец: «Ода блаженныя памяти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над Турками и Татарами и на взятие Хотина 1739 года»:

Восторг внезапный ум пленил,  
Ведет на верьх горы высокой,  
Где ветер в лесах шуметь забыл;  
В долине тишина глубокой.  
Внимая нечто, ключ молчит,  
Который завсегда журчит  
И с шумом вниз с холмов стремится.  
Лавровы вьются там венцы,  
Там слух спешит во все концы;  
Далече дым в полях курится.

Основой этого произведения послужило взятие русскими войсками турецкой крепости в Молдавии. Однако его значение шире: Ломоносов фактически заложил основы главного жанра русской поэзии XVIII века — *торжественной оды*.

Поводом оды становится какое-то важное для государства событие: восшествие на престол, день рождения или бракосочетания царствующих особ. Но предмет, тематика оды разнообразна. Это событие включается в широкий контекст, позволяя поэту нарисовать пейзаж или картину сражения, обсудить какую-то общественную идею, поразмышлять о роли искусства и даже собственной жизни (поэтом ода была, как правило, жанром пространным, монументальным, в первой ломоносовской оде 28 строф). Но все эти темы диктовались общей установкой искусства классицизма: созданием *обобщенной, идеализированной картины мира, подгнанных требованиям Разума*. Поэтому обязательным для оды считались *высокий стиль* (достигавшийся прежде всего за счет использования церковнославянизмов) и *ораторская интонация* (требовавшая не столько чтения, сколько декламации, скандирования).

У Ломоносова и других одописцев XVIII века ода имела и формальный признак — *одическую строфу*. Так называли десятистишие с рифмовкой АБАб+ВВгДДг. Легко заметить, что десятистишие распадается на четверостишие и шестистишие, по типу рифмовки тоже напоминающее четверостишие с наращением двух стихов. Обычно в четверостишии одической строфы формулировалась ее тема, а в шестистишии развивалась и конкретизировалась.

Оды Ломоносова (в отличие от его современников А. П. Сумарокова и В. К. Тредиаковского) отличаются индивидуальными признаками. Они более свободны от обязательных требований как в композиции, так и в создании отдельных образов. Для ломоносовской оды характерно, как говорил он сам, «*сопряжение далековатых идей*» («Краткое руководство к красноречию...», 1748).

«Восторг внезапный ум пленил...» Первый стих первой ломоносовской оды уже дает замечательную формулу жанра: рациональный подход (*ум*) подчиняется свободе, поэтическому вдохновению (*восторг внезапный*).

«Из памяти изгрызли годы / За что и кто в Хотине пал. / Но первый звук Хотинской оды / Нам первым криком жизни стал», — напишет через два столетия В. Ф. Ходасевич («Не ямбом ли четырехстопным...», 1938).

Одной из вершин ломоносовского творчества в жанре торжественной оды стала «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

XVIII век был эпохой дворцовых переворотов и недолгих царствований. Ломоносову довелось жить при восьми правителях России. Четырём из них, включая недолго правившего Петра III, он успел посвятить торжественные оды.

Елизавета, дочь Петра I и Екатерины I, захватила престол в 1741 году в результате дворцового переворота и была не худшей правительницей России в этом бурном веке. И в этой, очередной, оде, Ломоносов в соответствии с традицией создает не реальный, а *идеализированный образ* императрицы как мудрой правительницы России.

Она одержала военную победу и возвратила в страну мир и спокойствие. «Великая Петрова дочь» покровительствует наукам и искусствам. Держава при ней благоденствует.

Сия Тебе единой слава,  
Монархиня, принадлежит,  
Пространная Твоя держава  
О как Тебе благодарит!



Однако прославление императрицы занимает в композиции оды скромное место. Начав с персонифицированного образа Тишины (первая и начало второй строфы), поэт уже в седьмой—десятой строфах обращается к Петру, потом упоминает его жену, недолго царствовавшую Екатерину I, но уже в середине оды, с тринадцатой строфы, почти забывает об императрице, обращая свой восторг на иные предметы.

Ломоносов создает образ бескрайних российских пространств с великими, не уступающими Нилу реками, богатством лесов и недр, упоминает Колумба Российского, исследователя Камчатки А. И. Чирикова. Эта грандиозная панорама увенчивается выводами: прославлением науки и надеждой на появление собственных, российских философов и ученых.

О вы, которых ожидает  
Отечество от недр своих  
И видеть таковых желает,  
Каких зовет от стран чужих,  
О, ваши дни благословенны!  
Дерзайте ныне ободренны  
Раченьем вашим показать,  
Что может собственных Платонов  
И быстрых разумом Невтонов  
Российская земля рождать.

Науки юношей питают,  
Отраду старым подают,  
В счастливой жизни украшают,  
В несчастный случай берегут;  
В домашних трудностях утеха  
И в дальних странствах не помеха.  
Науки пользуют везде,  
Среди народов и в пустыне,  
В градском шуму и наедине,  
В покое сладки и в труде.

Лишь в последней строфе Ломоносов вспоминает об императрице, завершая композиционное построение.

Таким образом, главному предмету *Елисавет*, в «Оде на день восшествия...» посвящено, в сущности, всего пять строф из двадцати четырех. Во всех остальных главным лицом оказывается сам Поэт и его направленный на разные предметы *восторг внезапный*.

Посылая оды адресатам, автор часто в соответствии с придворным этикетом подписывался: «всеподданнейший раб Михайло Ломоносов». Но в самом художественном тексте позиции сторон обычно резко меняются. После нескольких обязательных похвал очередная царствующая особа оказывается в роли послушного ученика, а поэт воспаряет, превращается в учителя и пророка, в грандиозных, лихорадочных стихах и образах представляющего программу преобразования русской жизни. «За бледными фигурами «безликих» самодержцев встает единственная Героиня одической поэзии Ломоносова — великая и необъятная Россия» (А. А. Морозов. Ломоносов, 1965).

Вторым важным жанром русской поэзии XVIII века была *духовная ода*. Изначально так называли стихотворные переложения библейских текстов, прежде всего религиозных песнопений, псалмов. У Ломоносова есть и такие произведения. Но тематика духовной оды у русских поэтов расширяется. Обычно под духовными одами понимались *стихотворения-размышления*, не обязательно связанные с религиозной тематикой.

Издавая свое собрание сочинений, Ломоносов включил в число духовных од «Утреннее размышление о Божием Величестве» и «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния» (обе 1743), в которых предметом лирики стали научные идеи.

«Утреннее размышление...» описывает процессы, происходящие на Солнце: «горящий вечно Океан», в котором «огненные валы стремятся / И не находят берегов». Но в последних строках Ломоносов-поэт отодвигает в сторону ученого. Метафорическое, но все-таки объективное описание физических явлений сменяется восторгом созерцателя пред красотой мира и величием создавшего его Творца.

От мрачной ночи свободились  
Поля, бугры, моря и лес  
И взору нашему открылись,  
Исполнены твоих чудес.  
Там всякая взывает плоть:  
«Велик Зиждитель наш, Господь!»

Но в финале оды ученый снова напоминает о себе. Оказывается, Бог должен выступить в роли учителя, вырвать человека из тьмы незнания, научить его творить, вдохновить на познание, в том числе и самого Бога.

Творец! Покрытому мне тмою  
Простри премудрости лучи  
И что угодно пред Тобою  
Всегда творити научи  
И, на Твою взирая тварь,  
Хвалить тебя, бессмертный Царь.

«Вечернее размышление...» дает объективную тему прямо в заголовке: речь пойдет о северном сиянии. Ломоносов наблюдал их еще в детстве. Через десятилетие он опишет это явление и в сугубо научной работе «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» (1753).

Но опять описание конкретного физического явления ведется на высоком поэтическом языке, пронизано «восторгом внезапным».

Ода начинается с грандиозной, даже не географической, а *космической картины*: созерцание заката превращается в чувство удивления, растерянности человека перед бездной вселенной.

Лице свое скрывает день,  
Поля покрыла мрачна ночь;  
Взошла на горы черна тень,  
Лучи от нас склонились прочь.  
Открылась бездна звезд полна;  
Звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах,  
 Как мала искра в вечном льде,  
 Как в сильном вихре тонкий прах,  
 В свирепом как перо огне,  
 Так я, в сей бездне углублен,  
 Теряюсь, мыслями утомлен!

Далее кратко воспроизводятся несколько таких научных мыслей: от идеи многообразия галактик («Там разных множество светов, / Несчетны солнца там горят») до размышления о причинах северного сияния, которое заявлено как тема оды («Там спорит жирна мгла с водой; / Иль солнечны лучи блещут, / Склонясь сквозь воздух к нам густой; / Иль тучных гор верьхи горят»).

Но определяющими для поэта являются не ответы, а вопросы. Изложив точку зрения «премудрых» на многообразие вселенной, поэт ставит ключевой вопрос: «Но где ж, натура, твой закон?» И дальнейшее развитие оды — цепь риторических вопросов, завершающаяся философским: «Скажите ж, коль велик Творец?»

Однако величие Творца, в котором Ломоносов убежден (здесь пафос «Утреннего...» и «Вечернего...» размышлений совпадают), не отменяет как необходимости научного познания (в том числе и северных сияний), так и поэтического творчества (поэтому для Ломоносова эти натурфилософские оды дополняют переложения псалмов).

В торжественных одах Ломоносова представлен образ *Поэта-гражданина*, в одах духовных возникает образ *угеного* и *философа*, охваченного тем же внезапным восторгом познания и лирического вдохновения.

Начальный мотив «Вечернего размышления...» — сияющее звездами ночное небо, бездна вселенной, в которой тонет, растворяется человек, — станет важным для русской поэзии. По стопам Ломоносова пойдут Ф. И. Тютчев и А. А. Фет, Н. А. Заболоцкий и Б. Л. Пастернак. Ломоносов открывал новые пути не только в науке, но и в поэзии.

Ломоносов-поэт не всегда грандиозен, охвачен восторгом, преисполнен пафоса, воспевает величие России или природы (природы). Вот еще одно его короткое стихотворение:

Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,  
 Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!  
 Препровождаешь жизнь меж мягкой травой  
 И наслаждаешься медвяною росой.  
 Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,  
 Но в самой истине ты перед нами царь;  
 Ты ангел во плоти, иль, лучше, ты бесплотен!  
 Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен,  
 Что видишь, всё твое; везде в своем дому,  
 Не просишь ни о чем, не должен никому.

(«Кузнечик дорогой, коль много ты блажен...», лето 1761)

Однако и это изображение беззаботного счастливого насекомого, «ангела во плоти», на которого поэт смотрит с завистью, имеет личный характер, вырастает из ломоносовской биографии. Стихотворение имеет длинный подзаголовок: «Стихи,

сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для академии, быв много раз прежде за тем же». Возможно, хлопоты об академических привилегиях и в этот раз оказались неудачными. Но стихотворение о кузнечике тоже осталось в русской поэзии.

Ломоносова-поэта очень ценили современники и ближайшие потомки. Глядя на его портрет, его ближайший последователь Г. Р. Державин вспоминает величайших творцов античности: одописца, теоретика и автора ораторской прозы, эпического поэта.

Се Пиндар, Цицерон, Вергилий — слава россов,  
Неподражаемый, бессмертный Ломоносов.  
В восторгах он своих где лишь черкнул пером,  
От пламенных картин поныне слышен гром.  
(«К портрету Михаила Васильевича Ломоносова», 1779).

Однако уже в начале XIX века отзывы о творчестве Ломоносова становились все более скептическими, в то время как оценка его научной деятельности, напротив, повышалась. В эпоху создания нового поэтического языка, торжества других жанров, иного отношения к роли поэта ломоносовский пафос кажется чрезмерным, восторг — слишком громким и утомительным, неискренним, интонация — лишенной теплоты и искренности.

Ломоносов и другие литераторы его времени закладывали фундамент, начинали «нулевой цикл» русской поэзии. Об этих первых строителях часто забывают, когда здание уже построено.

Однако звук ломоносовской поэзии можно услышать и сегодня.

Российский стих — гражданственность сама.  
Восторг ума, сознание пользы высшей!  
И ямбов ломоносовских грома  
Закованы в броню четверостиший.  
(Д. Самойлов. Стихи и проза, 1957–1974)

Ему было тяжело. Он был первый.

«Отец русской поэзии, патриарх русских поэтов»  
(В. Г. Белинский Сочинения Державина, 1843) .

«Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги»  
(Н. В. Гоголь. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее  
особенность, 1846).

Константин ФРУМКИН

## ПРИЕЗЖИЙ ИЗ СТОЛИЦЫ — САМЫЙ ГЛАВНЫЙ РУССКИЙ ГЕРОЙ

«Ревизор» Гоголя — кроме всего прочего, что говорилось, говорится и еще будет сказано об этом базовом произведении русской культуры — открывает для отечественной литературы, и особенно отечественной драматургии, важнейшую тему: тему гостя из столицы, который приезжает в провинцию и благодаря которому вся провинциальная жизнь выходит из колеи. Как известно, среди источников «Ревизора» литературоведы называют малоизвестную комедию Г. Ф. Квитки-Основьяненко с названием, говорящим само за себя: «Приезжие из столицы, или Суматоха в уездном городе». Тема «Приезжих из столицы» — одна из самых важных в русском театральном репертуаре. Примеров того, как приезд столичного жителя в провинцию превращается в основу драматического конфликта, можно привести очень много.

Так, конфликт в главном драматическом произведении И. С. Тургенева «Месяц в деревне» заключается в том, что замужняя помещица влюбляется в приехавшего из столицы студента — учителя ее сына.

Ситуация напоминает «Грозу» Островского — приезжий из столицы выбивает местную замужнюю даму из колеи. В «Грозе» приезжий из столицы — Борис Григорьевич — хотя и не производит большого впечатления на уездный приволжский город Калинов, но зато сбивает с толку, выбивает из проторенной колеи самый нестойкий «элемент» этого провинциального болота — жизнерадостную Катерину. Катерина кончает с собой в конце пьесы из-за нарастающего сознания собственной греховности, того, что она поступает не как должно. О Катерине из «Грозы» можно сказать то же, что Леонид Андреев говорит о ее тезке, Катерине Ивановне из пьесы «Катерина Ивановна»: это человек, которого сбили с ритма. Но на путь «недолжного» Катерина в «Грозе» ступает, поддавшись обаянию чуждой, пришедшей неведомо откуда силы. Именно это она и говорит Борису Григорьевичу: «Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе... Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь!»

---

Константин Григорьевич Фрумкин — кандидат культурологии, журналист.

Ключевым моментом в фабуле другой драмы Островского — «Волки и овцы» — становится приезд в провинцию гостя из Петербурга — предпринимателя Беркутова. Когда он приезжает, все переворачивается с ног на голову: местные «хищники», которые в начале пьесы представлялись средоточием зла, на его фоне начинают выглядеть просто мелкими жуликами. Вполне осознавая эту перемену ролей, один из местных мошенников, Чугунов, замечает: «За что нас Лыняев волками-то называл? Какие мы с вами волки? Мы куры, голуби... по зернышку клюем, да никогда сыты не бываем. Вот они волки-то! Вот эти сразу помногу глотают!» Беркутов ломает все планы местных «злодеев» — Мурзавецкой и Чугунова, почти насильно женится на Купавиной и косвенным образом ускоряет женитьбу закоренелого холостяка Лыняева. При этом Беркутов опрокидывает планы не только злодеев, но и честных людей: когда Лыняев, честный юрист, пытается разоблачить изготовителя фальшивых документов Горецкого, Беркутов срывает и этот план, поскольку Горецкий нужен ему для собственных комбинаций.

До известной степени к теме «Приезда столичного жителя в провинцию» можно отнести также драму Островского «Лес», в которой в отдаленное поместье приезжают актеры — люди, хотя и не буквально столичные, но внешние и странствующие, а значит, бывавшие и в столицах. Их приезд изменяет ход сюжета, и хотя их влияние благотворно, в отличие от «Грозы», гостям удается спасти главную героиню от самоубийства, вторжение чужаков все-таки вносит в жизнь известный сумбур. По мнению Л. М. Лотман, приезд «людей не от мира сего» в «Лесе» приводит к тому, что ценности, к которым данное общество привыкло, ставятся под вопрос<sup>1</sup>.

В совместной пьесе Островского и Н. Я. Соловьева «Дикарка» происходит даже наложение друг на друга действий, произведенных двумя приезжими из столицы. Первым в русское захолустье прибывает молодой петербургский чиновник Вершинский, проводник правительственных либеральных реформ. Вершинский производит огромное впечатление на всех обитателей уезда, и в особенности на отца главной героини — «дикарки» Вари, так что отец сразу объявляет Вершинского Вариним женихом. Однако вслед за Вершинским в эту же местность прибывает Ашметьев, о котором в списке действующих лиц говорится, что он «почти постоянно проживает за границей и в Петербурге». Для жителей русской провинции Европа — это еще более «столичное» место, чем собственно столица, и поэтому Ашметьев, проводящий жизнь между Петербургом, Парижем и Римом, выглядит еще более «столичным» жителем, чем чисто петербургский житель Вершинский. Функция этого блестящего приезжего из столиц заключается в том, чтобы сбить с толку молодую девушку Варю, которая из-за увлечения Ашметьевым отказывается не только от нелюбимого жениха Вершинского, но и от своего настоящего возлюбленного, молодого помещика Малькова. Варя в «Дикарке», в отличие от Катерины из «Грозы», хотя и не замужем, но все же имеет женихов, и внезапная любовь к столичному приезжему (кстати, женатому) должна расстроить ее брак. Так что Ашметьев если и не соблазняет замужнюю даму, как Борис Григорьевич в «Грозе», то все же вносит расстройство в ее семейные дела.

Другая совместная пьеса Островского и Соловьева — «Светит, да не греет» — представляет собой почти полную сюжетную копию «Дикарки». Единственное отличие, превращающее «Светит, да не греет» как бы в зеркальную инверсию «Дикарки», заключается в том, что по сравнению с предыдущей пьесой здесь герои поменяли пол: приезжим из Европы оказывается женщина, а сбитым с толку провинциалом — мужчина. Но, несмотря на эту «половую инверсию», параллелизм между двумя пьесами весьма глубок. В обеих драмах пьеса начинается с того, что в отдаленную провинцию приезжает землевладелец, долгое время проводящий в Европе. Цель приез-



жего землевладельца — продать свое родовое имение, чтобы выручить деньги для дальнейшей жизни за границей. Приезжий заставляет в себя влюбиться местного жителя, причем в обеих драмах подчеркивается, что «соблазненный» абориген — крайне простой и необразованный человек. До приезда рокового европейца «абориген» собирался обзаводиться семьей, так что в итоге приезжий приносит горе не только своему возлюбленному (возлюбленной), но и его невесте (жениху). И при этом оба романа ничем не кончаются, поскольку приезжие «европейцы» признаются в своей неспособности на сильное любовное чувство. «Пора восторгов прошла для меня безвозвратно... Теперь безумные страсти затихли, и разум вступает в свои права... И вот что всего обидней, оскорбительней: весь пыл страсти истрачен даром, в напрасных поисках того счастья, которое теперь само просится ко мне!» — говорит Ашметьев из «Дикарки». «Как же вы не заметили с первого взгляда, что я на серьезную страсть не способна», — говорит Ренева, героиня-соблазнительница из «Светит, да не греет». Вот только финалы в двух этих сходных по сюжету пьесах очень разные: в «Дикарке» Варя после того, как Ашметьев ее бросает, возвращается к жениху. Но «Светит, да не греет» кончается в духе жестокой мелодрамы: сначала кончает с собой Оля, невеста «соблазненного дикаря» Рабачева, затем кончает с собой сам Рабачев. Способы самоубийства весьма характерны для Островского: Оля бросается в реку, а Рабачев кидается с высокого обрыва. Стоит вспомнить, что в «Грозе» Катерина бросается в реку — и при этом с высокого обрыва, а в «Бесприданнице» героиня рассуждает о том, что хорошо бы броситься с высокого обрыва.

Вообще, может создаться впечатление, что тогда, когда Островский работал с соавторами, он отработывал одну и ту же сюжетную схему. В совместной работе Островского и Неveuxина «Старое по-новому» мы опять видим затерянную в глуши девушку — Наташу и блистательного приезжего из столицы — Евлампия Пикарцева, сбита с толку приезжим девушка отказывает своему честному и трудолюбивому жениху — Медынову. Правда, потом, как и в «Дикарке», измененность намерений приезжего Пикарцева разоблачается, и брак с Медыновым все-таки должен состояться.

Лейтмотив «приезжий из столицы и замужняя дама» используется еще в двух драматических произведениях, находящихся в отношениях сильнейшего сюжетного параллелизма — «Грех да беда на кого не живет» Островского и «Провинциалка» Тургенева. В обеих пьесах главной героиней является женщина, которая воспитывалась в семье дворян-помещиков, но которую выдали замуж за представителя более низких социальных классов: у Островского — за лавочника, у Тургенева — за уездного чиновника. В обеих пьесах главная героиня страдает от того, что вынуждена прозябать в бедности в уездном городе, но в обеих пьесах ее надежды на улучшение жизни просыпаются после того, как в этот уездный город возвращается отпрыск того помещичьего семейства, в котором героиня воспитывалась. Начинается любовная игра провинциалки с приезжим из столицы, и в обеих пьесах муж пылает ревностью. У Островского муж в конце концов убивает неверную жену, у Тургенева, чья пьеса выглядит как бы конспективным комическим вариантом драмы Островского, дело ограничивается тем, что муж раньше времени входит в комнату, где происходит любовное объяснение приезжего графа с его женой.

Свой «Ревизор» есть и у А. М. Горького — пьеса «Варвары». Это также пьеса о приезде столичных гостей в уездный город, и начинается она, как и «Ревизор», также со сцены ожидания и рассуждений провинциалов о возможном приезде гостей. В «Варварах» роль «ревизора» выполняют инженеры, которые должны проложить через город железную дорогу. С. В. Касторский подмечает, что сцена, где городские чиновники представляются приезжим инженерам, очень похожа на аналогичную сцену представления чиновников Хлестакову в гоголевском «Ревизоре». С другой

стороны, сам внешний облик жителей этого уездного города, по мнению Касторского, заставляет вспомнить город Калинов, в котором разворачивается действие «Грозы» Островского<sup>2</sup>. Железная дорога сама представляет собой инструмент, который должен «вскрыть» замкнутость уездной жизни. И это вполне осознается героями, и именно поэтому железная дорога имеет в драме вполне символическое значение — это некое щупальце столичной жизни, которое дотянулось до провинции. Приезжий инженер Черкун говорит: «Надо строить новые дороги... железные дороги... Железо — сила, которая разрушит эту глупую, деревянную жизнь...» Разрушительную силу «железки» понимают и сами провинциалы, местный «мыслитель» мещанин Павлин говорит: «Проведут железную дорогу — всё испортят...» На вопрос, чем испортят, Павлин отвечает: «нашествием чужих людей». Чужих людей — то есть тех самых столичных гостей, «ревизоров».

Самое интересное, что в драме Островского «Волки и овцы» столичный гость Беркутов приезжает в провинцию также именно как предвестник прокладки железной дороги (здесь мы видим ниточку, соединяющую «Волков и овец» с «Варварами»). У Островского приезжий Беркутов единственный знает, что через земли, принадлежащие молодой помещице Купавиной, будет проложен железнодорожный путь, и именно поэтому он появляется в губернии, чтобы жениться на Купавиной и приобрести имение. На сходство «Варваров» с «Волками и овцами» обращает внимание Б. В. Михайловский — по его мнению, обе пьесы направлены на разоблачение капиталистического цивилизаторства<sup>3</sup>.

Вообще, ситуация прихода в провинцию железной дороги стала на рубеже веков чем-то вроде литературного штампа. В начале XX века появились, как минимум, две пьесы, рассказывающие о коллизиях, возникающих между инженерами, приехавшими в провинциальный город строить железную дорогу, и жителями этого города. Это «Инженеры» А. Вершинина и «Только сильные» И. Потапенко. Как отмечает Н. Ф. Винник, две эти пьесы по сюжету восходят к горьковским «Варварам»<sup>4</sup>.

О «Варварах» стоит заметить, что эта пьеса очень интересна по замыслу, но сравнительно слаба по исполнению. С социальной точки зрения «Варваров» можно интерпретировать как историю о разрушении капитализмом уклада жизни докапиталистического общества. В сущности, это история о колонизации, — а в колониях капитализм всегда на первых порах имеет скорее разрушительное, чем созидательное действие. Правда, как именно приезжие строители железной дороги смогли повлиять на горожан, из пьесы не совсем ясно. Присутствие железнодорожников оказывает на горожан какое-то невидимое, почти мистическое — однако очень сильное воздействие. С их приездом как-то связано то, что городской голова утрачивает гонор и сносит каменные столбы от своего крыльца; сын городского головы спивается; служащий казначейства сбегает с казенными деньгами; местный купец ссорится с немолодой женой и заводит юною любовницу, а местная красавица Надежда Поликарповна влюбляется в приезжего инженера и от неразделенной любви стреляется. Единственный положительный итог от приезда инженеров — решение дочери городского головы уехать из города. Как и в случае с Беркутовым в «Волках и овцах», городской голова, который считался грозой города и главным местным «злодеем», на фоне приезжих из столицы оказывается просто глупым стариком. Вообще, городской голова, являющийся главным антагонистом приезжих инженеров, несколько приближает сюжетную структуру «Варваров» к гоголевскому «Ревизору». К тому же, как и в «Ревизоре», в «Варварах» фигурирует дочь главы города, которая влюбляется в приезжего. В порядке умозрения можно сказать, что «Варвары» — пьеса о том, что бы было, если бы Хлестаков, произведший столь глубокое впечатление на горожан, не промчался бы подобно метеору, а поселился в городе на достаточно длительное время.

Говоря о литературных источниках и предшественниках «Варваров», следует указать, что самый яркий и интересный элемент этой драмы — линия красавицы Надежды Поликарповны — по сути дела, представляет собой конспективное повторение «Грозы» Островского. История Катерины в «Грозе» и история Надежды в «Варварах» — рассказы о том, как живущая в провинции женщина, носительница яркой и непохожей на других натуры, влюбляется в приезжего из столицы, но поскольку он не может повести ее за собой, то женщина совершает самоубийство.

Возможно, именно своеобразное «воспроизводство» истории Катерины из «Грозы» в «Варварах» позволило Горькому достичь успеха. «Гроза», как известно, из всех пьес Островского наделала в критике наибольший шум, она даже попала в школьную программу, но и горьковская Надежда Поликарповна Монахова произвела очень большое впечатление на зрителей — в том числе и на Александра Блока, который не без основания заметил, что пьеса написана ради образа Надежды (С. В. Касторский даже сетует, что и в критике, и в театральной режиссуре образ Надежды «неоправданно завышается»<sup>5</sup>). Но для нас в данном случае важно то, что и Надежда, и Катерина были «сбиты с толку» приезжим из столицы.

С. В. Касторский отмечает, что обе эти драмы — «Гроза» и «Варвары» — относятся к «семейству» очень распространенных в русской и мировой литературе сюжетов о любви «европейца» и «дикарки» — началом этого сюжетного круга можно считать любовь Онегина и Татьяны у Пушкина. При этом Касторский констатирует, что обычно сюжеты этого типа не кончаются трагически, и едва ли не единственными исключениями являются «Гроза» Островского и «Варвары» Горького<sup>6</sup>. Но на самом деле к числу таких пьес с трагическим исходом следует еще отнести и «Светит, да не греет» Островского и Соловьева — в ней в конце происходит двойное самоубийство. С. В. Касторский «не заметил» эту пьесу, возможно, потому, что в ней изменился пол традиционных персонажей: вместо европейца — европейка, вместо дикарки — дикарь. Но если отбросить эту «мелочь», то «Светит, да не греет» без всяких оговорок укладывается в данную сюжетную схему.

«Дикарку» Островского и Соловьева объединяет с «Варварами» Горького еще и мотив осознанной неспособности приезжего «принца» на сильное любовное чувство. По сути, и история Катерины в «Грозе» Островского, и история Вари в «Дикарке» Островского–Соловьева, и история Надежды Поликарповны в «Варварах» Горького являются иллюстрациями известного афоризма Ницше: «Кого ненавидит женщина больше всех? — Железо так говорило магниту: "Больше всего я тебя ненавижу за то, что ты притягиваешь, не имея достаточно сил, чтобы тащить за собой"». Существует целая галерея персонажей, слишком слабых, чтобы отдаться любви к женщине. К ним можно отнести и многочисленных женихов из «Бедной невесты» Островского, и чиновника Баклушина из «Не было ни гроша, да вдруг алтын». По мнению И. Л. Вишневской, открывает эту галерею образ Вилицкого — персонажа драмы Тургенева «Холостяк». Вилицкий отказывается от своей невесты под влиянием «дружеских советов» высокопоставленного чиновника-карьериста. Как указывает И. Л. Вишневская, Вилицкий «начинал тип характера слабого мужчины, не умеющего решиться на поступок, пасующего перед сильной женщиной»<sup>7</sup>.

Для полноты картины необходимо указать еще одну вариацию на тему «приезжего из столицы ревизора» — таковую мы видим в пьесе Леонида Андреева «Савва». В этой драме тема «взрыва», производимого в провинции столичным жителем, начинает пониматься буквально. Из столицы приезжает сверхэнергичный и сверхволевой молодой человек — Савва, чтобы действительно взорвать жизнь монастырского посада. Савва хочет подложить бомбу под икону, на почитании которой строится жизнь монастыря. Но — и в этом заключено существенное отличие «Саввы» от всех

остальных русских пьес про приезд столичного жителя — проект Саввы терпит полный крах, его взрыв не производит никакого действия. Взорванную икону подменяют копией, а самого Савву убивает толпа.

Распространенность мотива переполоха, устроенного приезжим из столицы в уездном городе или в сельской глуши, является прямым следствием того важнейшего свойства «русской цивилизации», которое остается столь же актуальным в наше время, как и 200 лет назад: столица и провинция фактически представляют собой два разных государства. Переход (переезд) из столичного мира в провинциальный не может пройти просто, слишком экзотично выглядит представитель одного мира в ландшафте другого. Это, кстати, относится не только к приключениям столичных жителей в провинции, но и наоборот — к приключениям провинциалов в столице, что особенно рельефно стало изображаться в советском кинематографе — вспомним хотя бы такой фильм, как «Девушка с характером». Хотя тема провинциала в столице чуть менее драматично освещалась и в XIX веке — вспомним «Обыкновенную историю» Гончарова.

Резкое различие между столицей и провинцией создает условия для экзальтированной абсолютизации этих различий, когда столица или ее вариант — условный и далекий Париж — объявляется Парадизом, райской и нереальной страной. Именно на таком истолковании содержащихся в русской драматургии представлений о русском чувстве «заброшенности в глуши» настаивает литературовед В. И. Мильдон. По его мнению, для героя русской драмы, в особенности жителя провинции, место, в котором он живет, не предназначено для жизни и пусто, а внешний мир, Петербург, Москва или Париж, выступают на фоне родного дома героя настоящим раем, «волшебным миром, откуда доходят лишь письма». Как пишет В. И. Мильдон, «Хлестаков показался чиновникам обитателем той страны, где, пользуясь словами Петrarки, «умирать не больно»»<sup>8</sup>.

Между столицей и провинцией существует как бы громадная «разность потенциалов», и любое сближение этих миров приводит к «искре», к «взрыву», к «переполоху». Но сами по себе эти миры не сближаются — для появления «искры» носитель «столичного потенциала» должен сняться с места и поехать в провинцию (или наоборот). Хлестаков был принят за «Ревизора», поскольку он исходно был заметной, привлекающей внимание личностью: это был «чиновник из Петербурга». Этот встречающийся на каждом шагу культурный «микровзрыв» не мог быть не использован литературой в качестве важнейшего движителя сюжета.

### Примечания

<sup>1</sup> Лотман Л. М. А. Н. Островский и русская драматургия его времени. М.: Л., 1961. С. 286.

<sup>2</sup> Касторский С. В. Драматургия М. Горького. М.: Л., 1963. С. 57–58.

<sup>3</sup> Михайловский Б. В. Творчество М. Горького и мировая литература. М., 1965. С. 479.

<sup>4</sup> Винник Н. Ф. Проблемы метода и стиля в дооктябрьской драматургии М. Горького. Днепропетровск, 1972. С. 19–20.

<sup>5</sup> Касторский С. В. Драматургия М. Горького. М.: Л., 1963. С. 63.

<sup>6</sup> Там же. С. 59–60.

<sup>7</sup> Вишневская И. Л. Театр Тургенева (Некоторые вопросы интерпретации классики на советской сцене). М., 1989. С. 145.

<sup>8</sup> Мильдон В. И. Открылась бездна... Образ места и времени в классической русской драме. М., 1992. С. 85.

---

ЗАБЫТАЯ КНИГА

---

В. С. ДОРОВАТОВСКАЯ-ЛЮБИМОВА

## «ИДИОТ» ДОСТОЕВСКОГО И УГОЛОВНАЯ ХРОНИКА ЕГО ВРЕМЕНИ

### I.

Когда Достоевский окончил «Идиота», он в одном из своих писем к Страхову из Флоренции от 26/II–10/III 1869 г. высказывал свои заветные и привычные мысли об искусстве в связи с этим только что законченным романом.

«У меня свой особенный взгляд на деятельность в искусстве; и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив. В каждом номере газет вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими; а между тем они действительность, потому что они факты. Кто же будет их замечать, их разъяснять и описывать? они поминутны и ежедневны, а *не исключительны...*» «Мы всю действительность пропустим этак мимо носу. Кто же будет отмечать факты и углубляться в них?»

В этом письме имеется ценное признание писателя: он открывает тот материал, который привлекался им к художественному творчеству, подвергался его обработке, возводился в достоинство эстетического факта.

Этот материал — газета. Это то, что называется газетным фактом. Речь идет о происшествии, о случае, о злободневном событии, сообщенном газетой. Как это выяснится дальше, у Достоевского это чаще всего, хотя и не исключительно, — преступление.

Здесь довольно точно указывается и способ использования газетного факта — «замечать», «описывать», «разъяснять» и «углублять» его.

Приблизительно через год в письме к Каткову из Дрездена от 8/20 октября 1870 г., по поводу нечаевского процесса в «Бесах», Достоевский еще раз говорит об этом приеме своего творчества: «...обстоятельства того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет. Да если б и знал, то не стал бы копировать, я только беру

---

Публикуется по: «Печать и революция». 1928. Кн. III. С. 31–53. Под заголовком примечание: «Настоящая статья является выдержкой из подготовляемой к печати книги „Газета в творчестве Достоевского“. Читана в ГАХН в „Комиссии по изучению творчества Достоевского“, 15 декабря 1926 г.». (ГАХН — Государственная Академия художественных наук; книга, по всей вероятности, так и не вышла: ни в одном из библиотечных российских фондов таковая или со сходным названием не значится — **М. Р.**)

«Печать и революция» — журнал критики, библиографии, литературы и искусства, издавался в Москве в 1921–1930 гг.

совершившийся факт»... «И потому, несмотря на то, что все происшествие занимает один из первых планов романа, оно тем не менее только аксессуар и обстановка действия другого лица, которое действительно можно бы назвать главным героем романа». Здесь определяется то место в романе, тот план его, к созданию которого привлекалась газета, — это «аксессуар и обстановка действия» главного героя романа, и намечается отношение к привлеченному газетному факту — он не копируется. Связывая это с высказанным в письме к Страхову, можно добавить, что эти факты не копируются, но «разъясняются» и «углубляются». По-видимому, Достоевский имел в виду обнаружение в них «самой сущности действительного», т. е. идеологическое истолкование данного явления.

Итак, прежде всего, тема о газетном факте в романах Достоевского — есть тема о втором плане их.

Игнорирование второго плана в творчестве писателя, соблазн центральных тем, предполагает нарушение органического единства художественного произведения, в котором нет ничего неважного и случайного, создание каждой детали которого должно явиться предметом изучения. Романы Достоевского подавляют огромностью своих центральных идей, а между тем они исключительно богаты деталями и зарисовкой второго плана, неотделимого от главного действия романа. Все тонкости в развитии центральной идеи романа, да и вся специфичность его без этого второго плана ускользает и искажается. Ни один аксессуар не является лишним в сюжетном оформлении произведения, ни одна деталь не остается без влияния на главный замысел романа.

Центральная идея «Идиота», подчиняющая себе все его действие, поставленная по мысли Достоевского в образе «положительно прекрасного человека», вокруг которого разыгрываются страсти эгоизма, гордости и обособления и гибель этого человека, — сплетена крепкими нитями с фактами русской действительности, о которой Достоевский читал в газетах. Любимый герой Достоевского, «самая поэтическая мысль» его, как бы окружена газетным материалом. Ведь за границей газета была для Достоевского единственным источником, из которого он мог почерпнуть нужные ему факты русской действительности. Она восполняла для него ту «живую струю жизни», русской жизни, которой так не хватало ему в Швейцарии. Характерно, что в письмах Достоевского из Женевы, во время работы над «Идиотом», особенно часты упоминания о том, что он читает газеты «до последней литеры», а после отъезда из Женевы особенно серьезно звучат жалобы на отсутствие газет как необходимого «материала для письма».

По свидетельству Анны Григорьевны и по письмам Достоевского видно, что в это время он читал «Московские ведомости», «Петербургские ведомости» и «Голос» и, вероятно, только из этих источников и мог узнать о тех уголовных процессах, которые вошли в построение «Идиота».

Но помимо русских газет Достоевский <...> читал и французские — «Journal des Débats» и «Indépendance Belge» и, несомненно, почерпнул из них кое-какие факты, вошедшие в роман<sup>1</sup>.

«Идиот» обдумывался и писался в Женеве, Вене, Милане и Флоренции. Место действия его — Петербург и Павловск, время действия — 1867 и 1868 годы. Петербургская действительность этих лет и создавала ту обстановку, в которой жил любимый герой Достоевского, «положительно прекрасный человек».

## II.

Одна из главных тем «Идиота» — роман Настасьи Филипповны и Рогожина, как это легко заметить при внимательном чтении, проходит под знаком какого-то уголовного дела, которое, как настойчиво сопутствующий ему мотив, звучит сначала отдаленным напоминанием, потом нависает как всезахватывающее предчувствие и, наконец, заканчивается мрачным и точным его осуществлением. Напоминание о



каком-то действительно совершенном преступлении все время сопутствует Настасье Филипповне и Рогожину и всегда вслед за ее появлением на сцене рядом с убийцей Рогожиным возникает еще чей-то образ...

Первое действие «Идиота» начинается в среду 27 ноября 1867 г. На вечере, обращаясь к Гане, Настасья Филипповна говорила:

«Нет, теперь я верю, что этакой за деньги зарежет! Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно одурели. Сам ребенок, а уже лезет в ростовщики! А то наматывает на бритву шелку, закрепит, да тихонько сзади и зарежет приятеля, как барана, как я читала недавно». <...>

Прошло шесть месяцев. Князь вернулся в Петербург и через неделю в Павловске прочел письма Н. Ф. к Аглае.

Вот что писала она в третьем, последнем письме:

«...Я уже почти что не существую, и знаю это; бог знает, что вместо меня живет во мне. Я читаю это каждый день в двух ужасных глазах, которые постоянно на меня смотрят, даже и тогда, когда их нет предо мной. Эти глаза теперь молчат (они все молчат), но я знаю их тайну. У него дом мрачный, скучный, и в нем тайна. Я уверена, что у него в ящике спрятана бритва, обмотанная шелком, как и у того московского убийцы; тот тоже жил с матерью в одном доме и тоже перевязал бритву шелком, чтобы перерезать одно горло. Все время, когда я была у них в доме, мне все казалось, что где-нибудь, под половицей, еще отцом его, может быть, спрятан мертвый и накрыт клеенкой, как и тот московский, и так же обставлен кругом стеклянками со ждановской жидкостью, я даже показала бы вам угол». <...>

И, наконец, третий отрывок, заключительная сцена романа Настасьи Филипповны и Рогожина и вместе с тем окончание всего романа. Князь Мышкин и Рогожин около трупа Н. Ф.

«— Я ее клеенкой накрыл, хорошою, американскою клеенкой, а сверх клеенки уже простыней, и четыре стеклянки ждановской жидкости откупоренной поставил, там и теперь стоят.

— Это как там... в Москве?» <...>

Эти три сцены романа Н. Ф. и Рогожина, над которыми веет дух какого-то загадочного преступления, поставлены Достоевским в связь с одним из самых замечательных по художественной выразительности образов романа — с домом Рогожина.

Ведь именно дом Рогожина утверждает Н. Ф. в ее предчувствии смерти от руки его владельца, и дом же Рогожина напоминает ей преступление, о котором она читала в газетах.

От дома Рогожина веет преступлением и смертью; и сам Рогожин, и дом его воспринимаются как единый художественный образ.

Итак, во всех этих связанных между собой сценах романа Достоевский как будто вскользь, как будто прикрито, упоминает какое-то уголовное дело, которое происходило «там, в Москве»...

Это ведет к необходимости отметить один, по-видимому, важный момент в истории создания этой темы «Идиота»: в конце ноября 1867 г. Достоевский прочел в газетах судебное дело потомственного почетного гражданина Мазурина, — как раз в то время, когда после 22 ноября старого стиля он принялся заново обдумывать «Идиота».

Еще в марте месяце 1867 г. столичные газеты поместили на своих страницах известие об убийстве ювелира Калмыкова и потом в течение месяца продолжали печатать подробности этого убийства<sup>2</sup>.

«С самого утра, — писали «Моск[овские] ведомости» (№ 48), — густая толпа в буквальном смысле загородила проезд Мясницкой ул. в Златоустинский переулок. Перед запертыми воротами дома почетной гражданки Мазуриной стоял полицейский караул, с трудом сдерживая напиравшую толпу. Еще летом 1866 г. об этом доме ходили странные слухи в связи с исчезновением художника-ювелира — Ильи Кал-

мыкова». Именно в этот дом, к своему приятелю Мазурину он заходил 14 июля прошлого года, после чего бесследно исчез, и поиски его оказались напрасными. Только в феврале 1867 г., т. е. через 8 месяцев, случайно был открыт пустой магазин Мазурина и в нем найден разложившийся труп Калмыкова. При следствии обнаружилось, что Мазурин пригласил к себе Калмыкова, чтобы сговориться с ним о выкупе заложенных им у одного ростовщика бриллиантов. Калмыков нашел предложение интересным и отправился к приятелю на другой же день. Мазурин сам отворил ему дверь в передней, где никого не было, и повел для переговоров вниз, в свой пустой и запертый магазин. Выйдя за перегородку, чтобы достать реестр заложенных вещей, Мазурин вместо него выпул из конторки бритву, «крепко связанную бичевою, чтобы бритва не шаталась и чтобы удобнее было ею действовать», вошел в комнату, где сидел Калмыков, и «так сильно нанес бритвою рану по горлу своей жертве, что Калмыков, не вскрикнув, повалился на пол и захрипел». Покончив дело, Мазурин вынул из кармана убитого деньги, завернутые в бумагу, снял кольцо и поднялся к себе наверх. Сбросив запачканное кровью платье, он вымыл руки в комнате рядом со спальней матери. После обеда, к которому он не притронулся, Мазурин отправился к вечерне, потом, около 9 часов вечера, купил ждановской жидкости и черную американскую клеенку, спустился в магазин, налил жидкость в два поддонника и две миски, а труп покрыл старым пальто, лежавшим тут уже давно, и принесенною клеенкою. По показанию Мазурина бритва была завязана им гораздо ранее, чтобы она не шаталась, так как служила для разрезывания тонкого картона, а новый кухонный нож со следами крови, найденный в магазине, — был куплен для домашнего употребления.

В ноябре 1867 г. состоялся суд над Мазуриным с участием присяжных заседателей. «Моск. ведомости» поместили о нем подробный отчет 26 ноября (№ 259), а «Голос» 29 ноября (№ 330). Никаких смягчающих обстоятельств в деле найдено не было. Особенно не в пользу Мазурина было то обстоятельство, что он оказался богаче своей жертвы. Мазурин принадлежал к богатой и известной в Москве купеческой семье, и приводился факт, что он получил однажды из конторы Марецкого 200 000 руб. в виде процентов за 1 <sup>1/2</sup> с капитала, оставленного его отцом. Единственно, на что могла указать защита, — это то, что до преступления Мазурин был честный и тихий человек. По суду он был приговорен к 15 годам каторги.

Это уголовное дело произвело на Достоевского во время ноябрьского обдумывания «Идиота» настолько сильное впечатление, что под его знаком написан весь роман Н. Ф. и Рогожина, и по замыслу Достоевского Рогожин в заключительной сцене романа с точностью манияка повторяет фантастическую по своей обдуманности картину сокрытия трупа Мазуриным.

Отдельные детали этих сцен, перенесенные Достоевским из газеты в роман, в общем развитии его преобразуются в детали высокого художественного значения. Современные европейские исследователи, не подозревая реальной основы этих банок со ждановской жидкостью и черной американской клеенки, придают им глубокий мистический смысл.

Связь Рогожина с преступлением Мазурина, сделанная самим Достоевским, заставляет все же внимательней присмотреться к двум этим образам, так как естественно возникает вопрос, не была ли эта связь глубже, нежели это кажется на первый взгляд. И действительно, некоторые обстоятельства этого дела таковы, что делают весьма вероятной догадку, что и самый образ Рогожина задуман и введен в роман под влиянием завладевшего воображением Достоевского образа Мазурина. История создания Рогожина, быть может, должна начаться именно с того момента, когда Достоевский прочел в газетах судебное разбирательство дела об убийстве ювелира Калмыкова.

Конечно, возникновение образа в воображении художника навсегда останется тайной, если тут нет каких-либо определенных указаний. Речь может идти лишь о более или менее убедительных догадках. Поскольку можно восстановить тип Мазу-

рина по газетным сообщениям, — он мало походит на Рогожина. Но ведь копировать что-либо было вообще не в духе Достоевского. Но можно сильно подозревать, что Мазурин мог послужить толчком к первому замыслу Рогожина, первым еще неясным рисунком его в романе, — его первообразом.

Некоторые совпадающие хронологические даты в этом отношении очень убедительны.

4 декабря нового стиля, а следовательно, 22 ноября старого стиля, Достоевский уничтожил написанный им для «Русского вестника» роман и принялся за новое обдумывание романа, — «старый не хотел продолжать ни за что. Не мог»<sup>3</sup>. 6/18 декабря, т. е. через две недели, он уже приступил к писанию его («принялся за другой роман») <sup>4</sup>. В этот же промежуток времени, между 22 ноября и 6 декабря ст. стиля, во время двухнедельного обдумывания «Идиота» Достоевский несомненно прочел в «Московских ведомостях» и в «Голосе» судебное дело потомственного почетного гражданина Мазурина.

К концу декабря, когда первая часть романа была уже написана и отослана Каткову, положение с героями романа в воображении автора было таково: «Оказалось, что, кроме героя, есть еще героиня, а стало быть, два героя! И кроме этих героев, есть еще два характера — совершенно главных, т. е. почти героев...» «Из четырех героев — два обозначены в душе у меня крепко, один еще совершенно не обозначился, а четвертый, т. е. главный, т. е. первый герой — чрезвычайно слаб».

Два главные, крепко обозначившиеся в душе Достоевского характера были, конечно, Н. Ф. и Рогожин. История возникновения нового романа, намеченная в письме к Майкову, свидетельствует, что характеры эти попали в роман, «оказались» в нем, как раз во время ноябрьского обдумывания его. Следовательно, Рогожин был задуман в самом начале нового замысла романа, сейчас же после того, как Достоевскому стало известно мазуринское дело.

Понятно, что Рогожин как вторая фигура романа мог так определенно и, по-видимому, нетрудно отлиться уже в самом начале нового замысла, в то время, как старинная и любимая идея «положительно прекрасного человека» давалась ему с таким трудом. Второстепенность Рогожина сравнительно с князем Мышкиным вместе с настоящей необходимостью в короткий срок написать хотя бы первую часть романа давала Достоевскому возможность использовать для этого образа только что прочитанное в газетах уголовное дело.

Совпадение общих первоначальных черт в типе Мазурина и Рогожина идут, главным образом, по линии социальной. Образ Рогожина включен Достоевским в социальную рамку, целиком заимствованную из мазуринского дела. Небезразлично здесь, конечно, и то, что социальная принадлежность Рогожина для Достоевского необычна. Откуда же попал в «Идиота» этот единственный у Достоевского потомственный почетный гражданин, «миллионер в тулупе»? Это обстоятельство лишний раз указывает на тот же источник в создании Рогожина — на дело Мазурина.

Мазурин, как и Рогожин, принадлежит к известной в Москве богатой купеческой семье, тоже потомственный почетный гражданин и тоже от отца у него большой капитал — «200 000 рублей одних процентов за 1<sup>1/2</sup> года», — что составляет сумму не меньше чем в два миллиона руб., т. е. как раз такой же капитал, каким располагал и Рогожин. Достоевский и помимо газет мог когда-нибудь раньше в Москве слышать фамилию Мазурина, что могло лишний раз задержать его внимание на этом деле и отчетливей представить себе характер этой среды. Имя Мазуриных было известно в то время по, крайней мере, настолько же, насколько была известна по замыслу Достоевского и фамилия Рогожиных.

Дом Рогожина, как и Мазурина, находился на людной, торговой улице (угол Гороховой и Садовой, угол Мясницкой и Златоустинского пер.) и после смерти отца перешел во владение матери. И тот и другой жили с матерью в ее доме, и в нем совершили преступление, и в нем же скрыли свою жертву.

Читая в газетах мазуринское дело и фельетоны о нем, видно, как в представлении современников образ убийцы Мазурина неотъемлемо сливался с его домом. Воображение современников поразило, что труп Калмыкова 8 месяцев находился необнаруженным в доме, расположенном на людной улице, и дом этот даже ни разу не был осмотрен, несмотря на то, что в нем затерялись следы Калмыкова. Может быть, известное имя Мазуриных сыграло тут некоторую роль.

Дом Мазурина, «вокруг которого уже давно ходили странные слухи», мог повлиять на возникновение в воображении Достоевского дома Рогожина, в котором тоже «все как будто скрывается и таится». Дом Рогожина порастил князя Мышкина и Ипполита, дома Рогожина испугалась Н. Ф., — но ведь это так потому, что дом Мазурина порастил воображение Достоевского. Дом денежной и сумрачной купеческой семьи, о котором давно ходят странные слухи, дом, скрывающий преступление, — ведь это уже образ, богатый художественными возможностями, который и перенес Достоевский с газетных страниц в свой роман, поставив его в связь со всей «рогожинской жизнью», с мазуринской жизнью.

Когда князь Мышкин говорит Рогожину: «Твой дом имеет физиономию всего вашего семейства и всей вашей рогожинской жизни» или «Засел бы молча один в этом доме с женой, послушной и бессловесною, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем и только деньги молча и сумрачно наживая», Достоевский устами князя Мышкина обобщает Рогожина и его дом как определенное социальное явление тогдашней жизни, придает ему черты типа. И именно для этого образа — Рогожина и его дома, — как типического, дело Мазурина и должно было дать богатый материал.

По этой схеме мог обрисоваться и первый силуэт Рогожина, в эту социальную рамку, с точностью воспроизведенную в романе, Достоевским заключен и созданный им внутренний мир Рогожина.

Но, кроме того, целый ряд мелких совпадающих черт очевидно перенесен Достоевским из газеты в роман.

Толстая пачка денег в руках Рогожина, завернутая в газетную бумагу, и та же толстая пачка, завернутая в бумагу, в руках Мазурина, вынутая из кармана убитого. Новый нож, купленный для домашнего употребления и потом послуживший орудием убийства, жаркие июньские дни, в которые совершено преступление, 15 лет каторги для обоих преступников, и даже грубо и тяжело звучащие имена — Мазурин — Рогожин, — все это общие черты, сближающие подробности действительного происшествия и художественного вымысла.

Если есть основания предполагать, что дело Мазурина могло повлиять на самый замысел Рогожина, то для Н. Ф. оно использовано в другом смысле. По замыслу Достоевского Н. Ф. прочла дело Мазурина в газетах в ноябре 1867 г. за день или в тот же день, когда в жизнь ее вошли князь Мышкин и Рогожин. В этот день в памяти ее запечатлелось и потом потянулось за ней на протяжении всего романа как постоянно сопутствующий ей мотив преступление Мазурина. Мрачный и скучный дом Рогожина, который она посетила в то время, когда окончательно завладело ею предчувствие близкой смерти, вызвал в ее воображении другой дом в Москве, в запертом нижнем этаже которого восемь месяцев лежал покрытый американской клеенкой труп, — и образ того убийцы слился для нее с образом Рогожина.

Н. Ф. нарисована Достоевским так, что рядом с нею всегда возникают два видения — убийцы Рогожина и его первообраза — убийцы Мазурина.

И в том, что Настасья Филипповна в своем представлении сливает два эти образа, не заключается ли причудливое указание автора на скрытые пути его собственного воображения, на родство в его собственном представлении двух этих типов?

Дело Мазурина в «Идиоте» связано с одним из характернейших приемов Достоевского, с излюбленным им приемом тайны. Тайна окружает Н. Ф., — тайна какого-то убийства и тайна какого-то дома. При помощи дела Мазурина Достоевский открыл тайной роман Н. Ф. и Рогожина.

### III.

Так же как роман Н. Ф. и Рогожина написан под знаком дела Мазурина, первые 5 глав 2-й части «Идиота», представляющие собой вполне законченное целое, темой которого является покушение Рогожина на кн. Мышкина, написаны под знаком другого громкого уголовного процесса того времени — гимназиста Горского. Оно не сходит со страниц этой части романа, и Достоевский с точностью воспроизводит здесь все наиболее разительные его подробности. И так же как Н. Ф. сливает в своем представлении Рогожина с Мазуриным в воображении князя Мышкина, племянник Лебедева сливается с преступником Горским. Здесь имеется как бы во второй раз повторенный художественный прием и во второй раз повторенный психологический опыт, как бы отражение того, что было уже однажды воспроизведено в романе.

Внешний природный фон, на котором разворачиваются эти сцены, — душная атмосфера приближающейся грозы. Психологический фон — воспоминание и разговоры князя в этот день о деле Горского — убийце семейства Жемариных. И как бы вылупляясь из этого общего мрачного фона, в душе князя Мышкина образуются две группы переживаний, выросшие из одного источника — из дела Горского. Он сливает образ убийцы семейства Жемариных с племянником Лебедева и в то же время по невольной возникшей ассоциации сравнивает этого преступника с Рогожиным, задумавшим убийство. Первый толчок к этому переживанию князя дается самим Лебедевым:

«Ваше сиятельство! — с каким-то порывом воскликнул вдруг Лебедев, — про убийство семейства Жемариных в газетах изволили проследить?»

— Прочел, — сказал князь с некоторым удивлением.

— Ну, так вот это подлинный убийца семейства Жемариных, он самый и есть!

— Что вы это? — сказал князь.

— То есть, аллегорически говоря, будущий второй убийца будущего второго семейства Жемариных, если таковое окажется. К тому и говорится...»

И действительно, в расстроенном воображении князя племянник Лебедева сливается с образом этого преступника.

«Почему-то ему все припоминался теперь, как припоминается иногда неотвязный и до глупости надоевший музыкальный мотив, племянник Лебедева, которого он давеча видел. Странно то, что он все припоминался ему в виде того убийцы, о котором давеча упомянул сам Лебедев, рекомендуя ему племянника». «И какой же, однако, гадкий и вседовольный прыщик этот давешний племянник Лебедева? А впрочем, что же я (продолжалось мечтаться князю). Разве он убил эти существа, этих шесть человек? Я как будто смешиваю... как это странно! У меня голова что-то кружится...»

И в то же время воспоминание об этом преступлении вызывает в нем невольное сравнение с Рогожиным.

Как только он вспомнил, что говорил недавно об этом деле с половым в трактире — «с ним вдруг опять случилось что-то особенное», — им овладело предчувствие, что Рогожин задумал покушение.

«Впрочем, если Рогожин убьет, то, по крайней мере, не так беспорядочно убьет. Хаоса этого не будет. По рисунку заказанный инструмент и шесть человек, положенных совершенно в бреду! Разве у Рогожина по рисунку заказанный инструмент... у него... но... разве решено, что Рогожин убьет?! — вздрогнул вдруг князь».

В психологическом смысле оба эти переживания интересны и верны. Может быть, и сам болезненно впечатлительный Достоевский так остро переживал те реальные события жизни, которые сообщила ему газета. Но, конечно, не ради выявления душевных переживаний князя Мышкина написаны эти сцены романа. Это было бы не в духе Достоевского. Объяснения их нужно искать в идеологическом плане романа, в развитие которого Достоевскому и понадобилось дело Горского.

Достоевский ставит перед читателем три образа — Горского, Рогожина и племянника Лебедева — и в этом сопоставлении открывает их истинную природу. И Горс-



кий и Рогожин — убийцы, но природа их преступления различна. Горский нужен был Достоевскому для того, чтобы в контрасте с ним оттенить природу преступления Рогожина, одержимого и уничтоженного страстью. Большая страсть заносит его руку над князем и потом над Настасьей Филипповной, и недаром на этого убийцу излилось последнее сострадание князя Мышкина. А рядом другое преступление, — рассчитанное устранение препятствия на пути к достижению материального благополучия. И как бы раскрывая духовную основу, породившую подобное преступление, Достоевский указывает на племянника Лебедева — «вот это подлинный убийца семейства Жемариных, он самый и есть!»

По замыслу Достоевского князь Мышкин в своей пророческой прозорливости и Лебедев во внезапном порыве откровения сливаются два эти образа потому, что духовная природа их одна и та же.

Что это именно так, видно из последующих глав романа, в которых еще раз упоминается дело Горского как характерная черта того времени.

Дальше Достоевский объединяет его с другим громким уголовным процессом того времени (связанным также с «Преступлением и наказанием») — с делом студента Данилова.

Дело Горского и Данилова, очевидно, очень внимательно читал Достоевский и упорно размышлял над характерами этих преступников.

#### IV.

В № 70 «Голоса» от 10 марта 1868 г. Достоевский прочитал известие из Тамбова о том, что 1 марта вечером в доме купца Жемарина убито 6 человек: жена Жемарина, его мать, 11-летний сын, родственница, дворник и кухарка. Подозрение пало на домашнего учителя Жемариных, 18-летнего гимназиста Горского. После первого извещения «Голос» и «Московские ведомости» продолжили печатать в течение месяца подробности этого дела, раскрытые следствием<sup>5</sup>.

В состоятельной семье купца Жемарина давал уроки гимназист из дворян Витольд Горский. По отзывам его гимназических учителей и товарищей это был юноша замечательно хорошо развитой в умственном отношении, любивший чтение и литературные занятия. «Характер у него резкий, воля не юношеского возраста, он католик, но, по словам его, ни во что не верит». Сознаваясь в преступлении, Горский показал, что убийство он совершил с целью грабежа, так как чувствовал тяжесть бедности. Мысль об убийстве возникла у него еще за месяц до совершения преступления, а за неделю он подробно разработал и самый план его. Он заблаговременно достал пистолет, не совсем исправный и носил его для починки слесарю. Кроме того, по особому, специально составленному им рисунку он заказал у кузнеца инструмент вроде кистеня, объяснив, что инструмент этот нужен ему для гимнастики. Чтобы неожиданные выстрелы не произвели впечатления на членов семьи, он начал обучать мальчика ученика стрельбе из пистолета, заранее приучая будущие свои жертвы к звукам выстрелов.

1 марта, когда Горский был на уроке и выяснилось, что сам Жемарин и жена его уходят из дому, — он решился на убийство и по очереди убил сначала оставшихся членов семьи, а потом воротившуюся домой хозяйку с младшим ребенком и родственницей. Ограбить Жемариных Горский не успел.

В то время, когда печаталось дело об убийстве семейства Жемариных, газеты продолжали сообщать последние подробности дела студента Данилова, не переставшее привлекать к себе внимание общества.

Теперь вряд ли кто-нибудь помнит дело Данилова, но во времена Достоевского оно в течение почти трех лет не сходило с газетных страниц. О нем начали печатать в январе 1866 г., писали в течение всего 1867 г., и последние отголоски его печата-



лись до середины 1868 г., когда уже после суда и исполнения приговора в деле открывались новые подробности<sup>6</sup>.

Первое сообщение о преступлении Данилова газеты напечатали в середине января 1866 г. Сообщалось, что 14 января московский купец Шелягин заявил, что в квартире его дома в Среднекисловском пер., занимаемой отставным капитаном Поповым, принимавшим в заклад драгоценные вещи, — неблагополучно. При осмотре квартиры оказалось, что Попов и его служанка Нордман убиты и ограблены. На основании установленных предварительным следствием данных, 31 марта по подозрению в убийстве был арестован студент Московского университета дворянин Алексей Данилов, 19 лет. По неопровержимым уликам было установлено, что убийцей ростовщика был именно Данилов, но он до конца отрицал свое участие в преступлении и давал весьма противоречивые показания.

Суд над Даниловым состоялся 11 февраля 1867 г. при совершенно исключительном к нему интересе. О личности подсудимого писалось очень много, причем отмечалась даже прокурором его красивая незаурядная внешность, большие черные выразительные глаза и длинные, густые, откинутые назад волосы. Говорилось также о его высоком умственном развитии, хорошем образовании и твердом спокойном характере. Семья Данилова была с средним достатком — отец служил надзирателем в 4-й гимназии и сам молодой человек зарабатывал уроками 60–70 руб. в месяц. По суду Данилов был признан виновным и приговорен к 9 годам каторжных работ. Деньги, украденные у Попова, около 29 тыс. руб. в бумагах, так и остались неразысканными.

Но в ноябре месяце 1867 г. в газеты проникло известие, что по городу ходят слухи, будто Данилов осужден невинно, и истинный убийца Попова и Нордман отыскался.

Оказалось, что арестант Глазков подал вдруг заявление, что он с двумя товарищами убил капитана Попова и его служанку. Но через месяц он взял назад свое заявление и сознался, что принял на себя убийство по соглашению с Даниловым, который рисовал ему план квартиры убитого и заставлял учить наизусть показания. Кроме того, Глазков показал, будто Данилов рассказывал ему историю своего преступления в таком виде: Данилов хотел жениться на Соковиной (она фигурировала в процессе), для чего ему нужны были деньги. Он советовался с отцом, где и как их добыть, и отец дал ему совет «не пренебрегать никакими средствами и для своего счастья непременно достать деньги, хотя бы путем преступления». В результате этого разговора 12 января в 6 ч. вечера Алексей Данилов, его отец и товарищ отправились на квартиру Попова. Отец остался дожидаться на улице, а молодые люди вошли в дом и убили Попова и Нордман.

И действительно, в появившейся в 1868 г. книге Леонтьева «Оправданные, осужденные и укрывшиеся от суда»<sup>7</sup>, разбор которой своевременно дан был в «Голосе» и, следовательно, был прочтен Достоевским, указывались все грубые промахи и предвзятые положения следствия и весьма убедительно доказывалось, что преступление это не могло быть совершено Даниловым без сообщников.

Таково содержание двух громких уголовных процессов, над которыми размышлял Достоевский, которые были отмечены им как характерные черты его времени и поставлены в центре одного из самых обширных идеологических сюжетов, включенных в «Идиота», — о душе современного человека и о сущности «нашего времени».

Эта тема проходит через весь роман в отдельных отрывках, разбросанных на всем его протяжении, и представляет собой вполне законченный, строго последовательный и легко выделяемый в построении романа сюжет. Являясь как бы «отступлением» в развертывании фабулы, она в то же время играет определяющую роль в развитии основной идеи романа. Дело Горского и Данилова связано с включенным в него эпизодом современных позитивистов.

По поводу этого эпизода Достоевский писал Майкову из Веве 4/22 июня 1868 г. «В 4-х главах, которые прочтете в июньском номере (а может, только в 3-х, потому

что четвертая запоздала), пробовал эпизод современных позитивистов из самой крайней молодежи. Знаю, что написал верно (ибо писал с опыта; никто более меня этих опытов не имел и не наблюдал), и знаю, что все обругают, скажут: нелепо, наивно и глупо и неверно».

И как бы для того, чтобы этот эпизод звучал еще более правдоподобно, Достоевский включает в него действительный факт современной жизни, — преступление Горского и Данилова. Разговоры героев романа все время вращаются вокруг этих дел, и имена Горского и Данилова то и дело мелькают в их речах.

Эти преступления, по-видимому, отмечались Достоевским как те «мудреные факты», которые встречаются в каждом номере газет, которые «рисуют эпоху» и «нравственную личную жизнь народа». На этих фактах Достоевский прослеживал путь современных позитивистических идей, усматривал их логическое завершение.

## V.

Заключительный эпизод из дела Данилова попал в первую часть «Идиота» сейчас же после того, как Достоевский прочел его в газетах, после 22 ноября во время нового обдумывания романа.

Возможно, что именно этот момент, а также упоминание Настасьей Филипповной дела Мазурина в первой части имел в виду Достоевский, когда писал Майкову: «Кстати, многие вещицы в конце 1-й части взяты с натуры»<sup>8</sup>.

Суждение об этом деле высказывает в разговоре с князем Мышкиным Коля Иволгин:

«Родители первые на попятный и сами своей прежней морали стыдятся. Вон, в Москве, родитель уговаривал сына ни перед чем не отступать для добывания денег; печатно известно».

Это первый отзвук дела Данилова в «Идиоте» и первый отрывок сюжета о сущности «нашего времени». Дальше во 2-й и 3-й части он получает наиболее полное развитие и заключается уже в 4-й части романа.

Трудно сказать, насколько герои газетных хроник непосредственно повлияли на создание образов «современных позитивистов из самой крайней молодежи», да и самые характеры их, за исключением Ипполита, очерчены Достоевским довольно бегло.

Представители современной молодежи — Ипполит, Бурдовский и племянник Лебедева, «такой молодой, такой даже несовершеннолетний народ», как и 18- и 19-летние Горский и Данилов.

Мало действующий в романе племянник Лебедева, по-видимому, наделен наружностью Данилова: «Малый лет двадцати, довольно красивый, черноватый, с длинными, густыми волосами, с черными большими глазами». Его заявление, что у него «есть характер», а также его постановка в романе как единственного из этой молодежи, не поддавшегося обаянию князя, дает некоторое основание, правда, с большой осторожностью, предполагать, что Данилов мог повлиять на создание этого характера. Примечательно, конечно, и то, что именно племянника Лебедева князь Мышкин в своей фантазии сливает с преступником Горским, как бы предчувствуя в нем ту же сущность.

Главный момент в деле Данилова — ни перед чем не останавливаться для добывания денег — мог войти как составная черта в образ Гани, как он поставлен уже в первой части романа, и важно, что сюда же включен и последний эпизод из дела Данилова. «Нетерпеливый нищий», Ганя, как и Данилов, хочет перескочить всю «эту гимнастику» медленного накопления и прямо начать с капитала — каким бы то ни было путем. Очевидно, все-таки образ студента Данилова мелькал в воображении Достоевского во время работы над этими персонажами романа.

Появлению на сцене современных позитивистов предшествует их характеристика как общественного явления, сделанная Лебедевым.

«Это собственно некоторое последствие нигилизма, но не прямым путем, а понаслышке и косвенно, и не в статейке какой-нибудь журнальной заявляют себя, а уж прямо на деле-с; не о бессмысленности, например, какого-нибудь Пушкина дело идет, и не насчет, например, необходимости распада на части России; нет-с, а теперь уже считается прямо за право, что если очень чего-нибудь захочется, то уж ни перед какими преградами не останавливаться, хотя бы пришлось укокошить при этом восемь персон-с. Но, князь, я бы все-таки не советовал бы...

Но князь уже шел отворять дверь гостям.

— Вы клеветаете, Лебедев, — проговорил он, улыбаясь, — вас очень огорчает ваш племянник. Не верьте ему, Лизавета Прокофьевна. Уверю вас, что Горские и Даниловы только случаи, а эти только... ошибаются...»

Выступление этих молодых людей, по мысли Достоевского, является результатом того же «извращения идей» и нравственных понятий, какое кроется и за преступлением Горского и Данилова. Это извращение идей сводится к торжеству права «прежде всего и мимо всего», которое легко переходит «на право силы, то есть на право единичного кулака и личного захотения», а «от права силы до права тигров и крокодилов и даже до Данилова и Горского недалеко».

Точно так же и выведенные в романе молодые люди, ослепленные идеей права, которую они вносят в дело любви и личной нравственности, доходят тем самым до извращения и до уничтожения самой нравственности, даже не понимая того.

Углубляя это «извращение идей» как характерное для духа времени, Достоевский включает сюда еще один эпизод из дела Горского.

По поводу растрченных 250 руб., данных князем Бурдовскому, племянник Лебедева восклицает: «Кто бы на его месте поступил иначе!»

«— Это напоминает, — засмеялся Евгений Павлович, долго стоявший и наблюдавший, — недавнюю знаменитую защиту адвоката, который, выставляя как извинение бедность своего клиента, убившего разом шесть человек, чтоб ограбить их, вдруг закончил в этом роде: "Естественно, говорит, что моему клиенту по бедности пришлось в голову совершить это убийство шести человек, да и кому же на его месте не пришлось бы это в голову?"» — «По моему личному мнению, — продолжает Евгений Павлович уже в другом месте романа, — защитник, заявляя такую странную мысль, был в полнейшем убеждении, что он говорит самую либеральную, самую гуманную и прогрессивную вещь, какую только можно сказать в наше время».

Речь адвоката, на которую ссылается Достоевский, действительно была произнесена во время суда над Горским.

В № 96 «Московских ведомостей» от 5 мая был напечатан отчет о заседании временного суда в Тамбове по делу о дворянине Витольде Торском, обвиняемом в убийстве Жемариных.

Речь защитника, временного судебного следователя Дуракова, Достоевский прочел, вероятно, с особым вниманием:

«Мы видим, — начал защитник, — молодого 18-летнего человека, полного сил, желающего приносить пользу обществу, но для этого нужна подготовка, а для подготовки нужны материальные средства, которых преступник не имеет». «Очень естественно, у него родился план каким бы то ни было образом достать что-нибудь, чтобы только принести пользу семейству и себе; у него нашелся один исход — совершить преступление; я не думаю, чтоб много было таких молодых людей, которым бы не приходило на ум воспользоваться каким бы то ни было средством для достижения своей цели, хотя бы даже совершить преступление». «Находясь под гнетом мысли о бедности, у Горского естественно является зависть к благосостоянию Жемарина». «Наконец он решился, а мы знаем, что для Горского важно только решиться, исполнение же решения для него ничего не значит. Горский много передумал, прежде чем решился на кровавую развязку, — но избежать ее он не мог».

Речь защитника вряд ли могла смягчить ожидающую Горского участь, и он был приговорен, как известили газеты, к смертной казни через повешение.

Этот защитник, очевидно, слишком прямолинейно принял некоторые позитивистические увлечения того времени. Вероятно, он как юрист заинтересовался и прочел статью одного из властителей дум того времени Писарева — о «Преступлении и наказании»<sup>9</sup> Достоевского. Писарев тоже находил, что «нет ничего удивительного в том, что Раскольников, утомленный мелкой и неудачной борьбой за существование, пал в изнурительную апатию, *нет также ничего удивительного в том, что во время этой апатии в его уме родилась и созрела мысль совершить преступление*». «*Поставьте на место Раскольникова, — писал Писарев, — какого-нибудь другого человека обычных размеров, развивавшегося иначе и смотрящего на вещи другими глазами, и вы увидите, что получится тот же самый результат*».

Это же черта времени дала Достоевскому повод объединить в своем истолковании и преступника, и его защитника как явления, выросшие на одной почве.

Речь неизвестного тамбовского адвоката, вероятно, не раз вспоминал Достоевский на протяжении своего творчества везде, где ему приходилось бороться с идеями этического детерминизма.

Например, в 1871 г. в «Бесах» он пишет: «Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развлек своих жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш». В дневнике писателя за 1873 г. в главе «Среда»: «Да неужели вы не прислушались к голосам адвокатов: "Конечно, дескать, нарушен закон, конечно, это преступление, что он убил неразвитого, но, господа присяжные, возьмите во внимание и то"» и т. д. «Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти». И, наконец, в последнем романе о том же говорит Великий инквизитор: «Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!»

В развитии этой мысли дело Горского и Данилова только факты повседневной жизни, которые давали реальную основу заключениям Достоевского, — ту основу, которой сам он так дорожил. В этом смысле дело Горского и Данилова — крепко припаянные звенья единой цепи, необходимая реальная деталь в развитии одной из центральных идей Достоевского.

Сравнивая официальные сухие или фельетонные сообщения газет с тем, как расшифровывал эти события Достоевский, видишь, как далеко проникал он в самую природу явлений, прозревал все следствия, из них, по его мнению, вытекающие. Дело Горского и Данилова в творчестве Достоевского является примером того, о чем сам он говорил позднее: «Проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: на чей глаз и кто в силах!» («Дневник писателя» за 1876 г., октябрь, гл. I).

Горские и Даниловы — только злободневные герои газетных хроник, но гениальный синтез Достоевского сообщил им апокалипсическую глубину. Толкователь Апокалипсиса — Лебедев — говорит:

«Согласитесь со мной, что мы при третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру в руке своей, так как все в нынешний век на мере и на договоре, и все люди своего только права и ищут: «мера пшеницы за динарий и три меры ячменя за динарий»... да еще дух свободный и сердце чистое, и тело здоровое, и все дары божии при этом хотят сохранить. Но на едином праве не сохраняют, и за сим последует конь бледный и тот, коему имя Смерть, а за ним уже ад...»

И еще определенной очерчивая душу «нашего племени», как любил выражаться Достоевский, он сопоставляет ее с «односоставной», «об одной идее», душой средневекового человека. Не случайно вся эта тема и начинается и заканчивается средневековыми образами. Появлению «современных позитивистов» непосредственно

предшествует эпизод с «Бедным рыцарем». После ночных разговоров о современности в день рождения князя и сейчас же перед чтением Ипполита вставлен анекдот Лебедева о средневековом преступнике. И в заключение всей этой темы князь Мышкин в разговоре с умирающим Ипполитом вспоминает, как умер в восемнадцатом столетии «с чрезвычайным великодушием» Степан Глебов посаженный на кол при Петре, — «...совсем точно и не те люди были, как мы теперь, не то племя было, какое теперь в наш век, право, точно порода другая...»

Еще один момент в деле Горского не мог, вероятно, ускользнуть от внимания Достоевского, хотя о нем он прочел в газетах только в августе, когда первая часть «Идиота» была уже напечатана.

Но это настолько характерный момент для того времени, когда писал Достоевский «Идиота», так близко примыкает к одной из важных тем этого романа, что отметить его небезынтересно, — тем более что Достоевскому приходилось говорить о таких вещах с совершенно особым правом.

«Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «Ступай, тебя прощают». Вот эдакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!» Это из первой беседы князя с лакеем, когда еще не сделано ясное указание, как в следующем отрывке, что таким человеком был сам Достоевский<sup>10</sup>. Но Достоевский мог знать, что не он один был таким человеком, что такая казнь не раз совершалась в то время, что говорить так он мог не за себя одного...

О подобной казни Горского Достоевский прочел в 166-м номере «Московских ведомостей» от 1 августа 1868 г. «Так как по высочайшему соизволению смертный приговор заменен каторжной работой на бессрочное время, то по исполнению над ним установленного для присужденных к виселице обряда, немедленно сняли с него белый саван, снова одели в арестантскую одежду и, посадив в простую телегу, отвезли обратно в тюремный замок».

Но несколько раньше Достоевский, вероятно, прочел в газетах о казни фельдфебеля Тищенко, когда после «совершения обряда» ему было объявлено, что «государь-император дарует Тищенко жизнь»<sup>11</sup>. А уже во время работы над «Идиотом» Достоевский, вероятно, прочел в «Голосе» (1867, № 290) корреспонденцию из Воронежа о казни одного солдата, который, когда ему завязывали глаза, не верил и спрашивал офицера: «Ваше благородие, ведь это только так, страшат?»

Этот газетный материал, который, несомненно, был знаком Достоевскому, прочитывавшему в это время газеты «до последней литеры», подчеркивают жуткую правду, рассказанную на страницах «Идиота» о смертной казни.

## VI.

Газетный факт использован Достоевским еще в одном идеологическом сюжете, включенном в «Идиоте», менее обширном и не столь спаянном с основной идеей романа, а потому, как всегда у Достоевского, сконцентрированном в одном месте о русской народной душе и о характере русской религиозности.

Раскрывая в живых фактах действительной жизни примеры народной веры, Достоевский приводит три эпизода из народной жизни, свидетелем которых был князь Мышкин во время своих странствий по России.

«...Вечером я остановился в уездной гостинице переночевать, и в ней только что одно убийство случилось, в прошлую ночь, так что все об этом говорили, когда я приехал. Два крестьянина, и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели, напились чаю и хотели вместе, в одной каморке, ложиться спать. Но один у другого подглядел, в последние два дня, часы серебряные, на бисерном желтом снурке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не вор, был даже честный и, по крестьянскому быту, совсем не бедный. Но ему до того понравились



эти часы и до того соблазнили его, что он, наконец, не выдержал: взял нож и, когда приятель отвернулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькою молитвой: «Господи, прости ради Христа!» — зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы».

Дальше князь Мышкин рассказывает о пьяном солдате, продавшем ему за двугривенный свой оловянный нательный крест, и о молодой бабе, набожно перекрестившейся над первой улыбкой своего младенца.

В эпизоде с солдатом, по свидетельству Анны Григорьевны, точно воспроизведен случай, бывший с самим Достоевским во время работы над «Преступлением и наказанием», возможно, что встреча с женщиной тоже взята из жизни; что же касается убийства за часы, то случай этот Достоевский прочел в газетах незадолго перед тем, как он заново принялся обдумывать свой роман.

Этот газетный факт, по-видимому, привлек внимание Достоевского своей «фантастичностью», и на этом «невероятном» происшествии он раскрыл постоянные, по его мнению, особенности духовного склада русского народа.

Но, кроме того, здесь имеется новый пример использования газетного материала Достоевским — переработка его в художественный рассказ.

В основу этого небольшого рассказа положено действительное происшествие, но в сильно измененном виде. Сохранен лишь главный момент его — убийство по молитве, все же подробности и самая обстановка убийства изменены совершенно.

В «Голосе» от 30 октября 1867 г., № 300, Достоевский прочел отчет о заседании уголовного отделения петербургского окружного суда по делу о крестьянине Балабанове, обвиняемом в краже и убийстве.

Дело происходило в Петербурге, на Петербургской стороне.

Крестьянин Балабанов получил небольшую работу у акушера Штольца и, приходя к нему за деньгами, познакомился со служащим у него мещанином Сусловым 60 лет. Во время второго посещения, когда Штольца не было дома, Суслов и Балабанов по-приятельски выпивали и закусывали. Суслов показал гостю свои серебряные часы и попросил завести их. В это время у Балабанова и явилась мысль убить Суслова, завладеть его часами, сбыть их рублей за 8 и на эти деньги уехать в деревню, где у него остались в большой бедности жена и четверо детей. Когда Суслов принялся ставить самовар, Балабанов взял со стола кухонный нож, подошел к Суслову и со словами: «Благослови, господи, прости Христа ради» — перерезал ему горло. Взяв у убитого часы, а из комнат Штольца кое-какие носильные вещи, Балабанов, никем не замеченный, скрылся из квартиры. Через несколько дней он был арестован и по суду приговорен к 11 годам каторжных работ.

Балабанов, пришедший в Петербург на заработок, потому что в деревне «кормиться нечем, хлеба нет», и зажиточный крестьянин Достоевского, убивший только потому, что ему очень понравились часы, — разные типы, и мотивы преступления их различны. Но это изменение сделано в согласии со всей публицистикой романа. Ведь самый мотив преступления в изложении Достоевского тот же, что и у Данилова и Горского: «Считается прямо за право, что если чего-нибудь захочется, то уже ни перед какими преградами не останавливаться».

Точно так же все детали и самая обстановка убийства явились в результате художественной переработки Достоевского. Весь этот рассказ полон деталями, которых нет в подлинном факте и которые внесены в него художественной фантазией Достоевского<sup>12</sup>.

## VII.

Как видно из вышеприведенного анализа газетных вставок в «Идиоте», они, главным образом, заполняют второй план романа. Здесь они, по-видимому, имеют оформляющее значение. Вряд ли без определенных газетных материалов мы имели бы образ Рогожина и его дома, картину переживаний князя Мишкина в связи с по-



кушением Рогожина, образы некоторых «современных позитивистов». Без газетного факта мы также не имели бы маленького вставного рассказа Достоевского об убийстве за часы, — этого небольшого примера преобразования действительного происшествия в художественную новеллу.

Но как же связывался этот материал с главной темой романа, в данном случае с образом «положительно прекрасного человека», и что может дать для уяснения его анализ газетного материала в романе Достоевского?

Во-первых, должен быть отмечен негативный результат этого анализа, — главная идея романа создавалась совершенно иначе, нежели второй план его, «бралась из сердца», в то время как к созданию второго плана, «аксессуарам и обстановке действия» главного героя привлекались факты действительной жизни, извлеченные из газет.

Вопрос о том, как связывался газетный материал с главной темой романа, отчасти совпадает с вопросом о том, как связывался у Достоевского второй план романа с его главной темой.

Газетные факты, включенные Достоевским в роман, имеют одно чрезвычайно важное в его творчестве значение: они составляют как бы живой, движущийся фон современной жизни, на котором разыгрывается история «положительно-прекрасного человека».

Во втором плане романа все время мелькают какие-то непонятные теперь имена и бегло зачерченные фигуры, которые то выступают вперед, снижаясь с главным действием, то опять отступают в глубь сцены. Эти фигуры взяты из действительной жизни, которая никогда не исчезает из поля зрения читателя, так же как и из поля зрения автора. Этот живой, движущийся фон современной жизни неотделим от главного действия романа, определяя в известном смысле и судьбу самого героя.

«Главная мысль романа, — писал Достоевский С. А. Ивановой (Женева, 1868 г. 1/13 января), — изобразить положительно-прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь». Газета и давала Достоевскому это теперь, среди которого так трудно было поставить князя Мышкина. В творческом замысле Достоевского его герой, по-видимому, никогда и не представлялся ему иначе как в атмосфере современной русской действительности. Любимая идея Достоевского оформлялась среди горячих размышлений над современностью.

Большая художественная задача, эксперимент совершенно в духе Достоевского, поставить своего героя, образ необычайного очарования, лицом к лицу с этими жестокими фактами русской жизни со всей «трагической безалаберщиной нашей текущей минуты».

Князь Мышкин среди Мазуриных, Горских, Даниловых, Балабановых, Ласеноров — вот постановка главного героя в романе.

На всем протяжении романа между князем Мышкиным и этими героями газетных хроник происходит как бы нравственная борьба, ведется долгий спор, который, несмотря на гибель героя, кончается его нравственной победой.

Так крепко спаяны у Достоевского и самое главное, и второстепенное в его романе, обуславливая, объясняя и дополняя друг друга. Так вся многообразная сложность его художественного материала воспринимается как неразрывное художественное целое, получается органическое единство его романа, в котором нет ничего случайного и неважного.

При анализе газетного материала в романе Достоевского выясняются любопытные подробности некоторых приемов его творчества в разработке отдельных частей романа.

Так, например, во второй и третьей части «Идиота» много места уделяется делу Горского. В конце декабря старого стиля 2-я часть романа была Достоевским записана начерно, и уже выяснилось, что «там будет одна сцена (из капитальных)»<sup>13</sup>, а между тем о деле Горского Достоевский мог прочесть только в середине марта, когда те части, в которые оно включено, были уже обдуманы и записаны. Не раньше сере-

дины или 20-х чисел мая Достоевский мог прочесть в газетах знаменитую речь защитника Горского, а в июльской книжке «Русского вестника» эти главы были уже напечатаны.

Эти газетные вставки указывают, как постепенно создавался фон, на котором развевывался образ главного героя и нанизывались детали к основному замыслу романа, пополняясь подробностями чуть ли не до самой отсылки рукописей в набор.

Газетные факты, внесенные Достоевским в роман, всегда точно приурочиваются им к действительному времени их опубликования. Так, например, Н. Ф. впервые упоминает дело Мазурина 27 ноября, и действительно, в газетах оно было напечатано 26 и 29 ноября.

Так же 27 ноября Коля Иволгин вспоминает последний эпизод из дела Данилова, а в «Голосе» он появился 19 ноября.

К началу июня приурочены переживания князя Мышкина в связи с делом Горского, недавно прочитанном в газетах, — последние известия о нем действительно были напечатаны в середине мая.

Все это сообщало характер правдоподобия, давало иллюзию действительного события роману Достоевского, что, вероятно, особенно ощущалось современниками, одновременно читавшими о тех же злободневных событиях в газетах и на страницах романа.

Этим правдоподобием своих романов сам Достоевский особенно дорожил и стремился к нему, усматривая в нем истинный, по его мнению, реализм.

Так, при анализе газетных фактов в произведениях Достоевского намечаются важные моменты его творческих приемов в зарисовке второго плана романа. Более полный анализ их, несомненно, откроет новые пути к построению теории второго плана романа у Достоевского.

### VIII.

Если перенести вопрос о газете в творчестве Достоевского из области литературной в область культурно-историческую, то получится еще новый результат этого анализа: Достоевский вырисовывается как истинный сын своей эпохи, и на произведения его ложится характерный колорит времени.

Ведь это были 60-е годы, начало расцвета газетной литературы, время возникновения больших и влиятельных органов, эпоха «гласности»<sup>14</sup>. Общественная жизнь сосредоточивалась тогда вокруг газет и журналов, чтение газет становилось привычным, газета входила в быт.

Это была эпоха недавно лишь реформированных судов, и интерес к ним в обществе был тогда совершенно исключительный. Газеты наполнялись обсуждением судебных решений, и знаменитым речам блестящих тогда адвокатов, вроде Спасовича и Урусова, посвящались целые фельетоны и даже передовые статьи.

Этот интерес к судам отметил и Достоевский в «Идиоте» в разговоре князя Мышкина с лакеем Епанчиных.

Самый вид газеты был тогда совершенно иной. Отчеты о судебных процессах занимали по несколько страниц, сообщения о происшествиях, грабежах и разбоях печатались большими столбцами под громкими и заманчивыми заголовками.

Открытые заседания судов посещались многочисленной публикой, вокруг некоторых громких процессов развивался настоящий ажиотаж, билеты доставались через перекупщиков за огромные деньги. (На процесс Данилова, например, билеты покупались не дешевле 10 рублей.) Чтобы попасть на свободные места, очередь перед зданием судов становилась с 5–6 часов утра.

Казни в то время совершались открыто по определенному обряду при громадном стечении публики, которая иногда извещалась особыми повестками о предстоящем событии. Приговоры также объявлялись публично на площадях, с позорной колесницей и барабанным боем.

Судебное следствие было тогда далеко не на высоте, и в публике и даже в печати появлялись слухи об укrywшихся от суда преступниках, о невинно осужденных, о неправильных приговорах<sup>15</sup>. Все это окутывало преступления и личность преступника тайной, которая волновала воображение и давала пищу страшным догадкам.

За 1867 и 1868 гг. (время создания «Идиота») газеты неоднократно отмечали, что «грабежи, разбои, убийства, как показывают официальные донесения и известия, начинают у нас делаться явлением обыкновенным». «Новая обстановка нашей общественной жизни выводит такие черты наших нравов, которые, казалось, совершенно исчезли за внешним лоском гуманности... Судебная гласность доконала дело, сорвала личину вполне»<sup>16</sup>.

И совершенно попадая в тон этих газетных страниц, Достоевский в последнем своем романе писал как раз об этом времени: «Наша начинающая, робкая еще наша пресса оказала уже, однако, обществу некоторые услуги, ибо никогда бы без нее не узнали, сколько-нибудь в полноте, про те ужасы разнузданной воли и нравственного падения, которые беспрерывно передает она на своих страницах уже всем, не одним только посещающим залы нового гласного суда, дарованного нам в настоящее царствование. И что же мы читаем почти повседневно? О, про такие вещи поминутно, перед которыми даже теперешнее дело бледнеет и представляется почти чем-то уже обыкновенным!»

Все это обнаруживало нравы того взбаламученного времени, когда крестьяне получили свою «волчью волю», дворяне свои выкупные и ринулись в город в поисках работы или с чувством приближающегося конца прожигать остатки родных гнезд.

И в это «смутное время», далеко от России, замечательный русский писатель, «одержимый тоской по текущему»<sup>17</sup>, погружаясь в русские газеты в кофейнях Швейцарии, оживлял в своей неизмеримой фантазии «факты» и «анекдоты» русской жизни, с точностью хроникера занося их на страницы своего романа, чтобы, «описывая», «разъясняя» и «углубляя» их, навсегда сделать живой историю своего «смутного времени» и «случайного племени».

## Примечания

<sup>1</sup> Например, из иностранных газет мог быть заимствован рассказ генерала Иволгина о даме с болонкой, некоторые моменты из воспоминаний князя о смертной казни (рассказ о казни преступника Летро в Лионе), может быть, анекдот о французском семинаристе и т. д. Но вследствие отсутствия необходимого материала проанализировать эти моменты в романе пока не удается.

<sup>2</sup> «Голос», 1867, № 64, 66, 68, 73; «Московские ведомости», 48, 49.

<sup>3</sup> Письмо к Майкову из Женевы от 31/XII–12/1 1867 г.

<sup>4</sup> Письмо С. А. Ивановой из Женевы от 1/13 января 1868 г.

<sup>5</sup> «Голос», № 70, 84, 100, 122, 126, 128, 133; «Московские ведомости», № 72, 96, 166.

<sup>6</sup> «Голос», 1866, № 6, 22; 1867, № 49, 52, 67, 123, 303, 325; 1868, № 77, 110, 115; «Московские ведомости», 1868, № 16, 38, 255.

<sup>7</sup> Полное название: *Леонтьев В. Н.* Оправданные, осужденные и укrywшиеся от суда. Замечательнейшие уголовные процессы из практики новых судов с критическим разбором предварительных следствий, произведенных по этим процессам. СПб.: Тип. А. А. Краевского, 1868. Владимир Николаевич Леонтьев — писатель, брат Константина Николаевича Леонтьева (рос-

- сийский дипломат, философ, писатель, публицист, литературный критик). С 1862 г. В. Н. Леонтьев был редактором «Современного слова», позже работал в журнале «Голос». — **М. Р.**
- <sup>8</sup> Письмо Майкову из Женевы от 20/III–2/IV 1868 г.
- <sup>9</sup> Д. И. Писарев. Борьба за жизнь («Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. Две части, 1867 г.). — **М. Р.**
- <sup>10</sup> «Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком. Тут одно обстоятельство очень странное было, — странное тем, собственно, что случай такой очень редко бывает. Этот человек был раз взведен, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование и назначена другая степень наказания; но, однако же, в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет». — Беседа князя Мышкина с Елизаветой Прокофьевной и ее дочерьми. Достоевский здесь вспоминает себя и других петрашевцев, выведенных 22 декабря 1849 г. на Семеновский плац, выслушавших смертный приговор, а затем помилованных. — **М. Р.**
- <sup>11</sup> «Русские ведомости». 1867, № 106.
- <sup>12</sup> В письмах Достоевского периода создания «Идиота» встречаются ссылки на газетные факты, из которых некоторые хотя и в очень ослабленной виде, но все же отразились в романе. Правда, следы их в романе настолько слабы, что они представляют гораздо больший интерес как факты, введенные Достоевским в круг его размышлений над русской действительностью, среди которых задумывался «Идиот». В письме к Майкову от 16/28 августа 1867 г. упоминается дело Березовского и дело о «высеченном купце 1-й гильдии». Об этих делах см. «Московские ведомости» 1 июля 1867 г. и «Голос», 1867, № 192, 245, 254; 1868, № 343, 351 — «Дело о бирском исправнике». В письме к Майкову от 9/21 апреля 1868 г. говорится о воровстве в почтамте — см. в «Московских ведомостях» от 17/IX 1867 г. «Отчет о суде над почтоносцами» и «Голос», 1868, 22 и 24 января. <...>
- <sup>13</sup> Письмо Майкову от 31/XII–13/I 1867 г.
- <sup>14</sup> Имеются в виду реформы либерального характера, осуществлявшиеся Александром II начиная с 1856–1857 гг.: закрыт цензурный комитет, разрешена свободная выдача заграничных паспортов, объявлена амнистия политзаключенным (декабристам, участникам польского восстания 1831 г.). — **М. Р.**
- <sup>15</sup> См., например, книгу Леонтьева «Оправданные, осужденные и укрывшиеся от суда», 1868.
- <sup>16</sup> «Голос». 1867, № 71, 92.
- <sup>17</sup> Ф. М. Достоевский. «Подросток». — **М. Р.**

**Публикация подготовлена  
Маргаритой РАЙЦИНОЙ**

---

П И Л И Г Р И М

---

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

## СПОЛЕТО – ГОРОД ФРА ФИЛИППО ЛИППИ

Сполето — старинный городок в Средней Италии, видевший под своими стенами войска Ганнибала (247–183 гг. до н. э.) После опустошения окрестных земель знаменитый карфагенский полководец приступил к осаде Сполето, но был отбит и отступил, неся большие потери (Ливий III, 12). Об этом упоминают в своих путевых заметках два профессора Московского университета, в свое время посетившие Италию.

Профессор С. П. Шевырев (1831 г.): «Из Терни мы поехали в Сполето: город, стоящий на горе высокой. Мы видели ворота Аннибала в память будто бы поражения его войск: эти ворота сделаны в арке моста»<sup>1</sup>.

Профессор К. Герц (1871 г.): «Мимо городов Нарни, мрачно взирающего с утеса, и Терни, столь славного водопадом, мчится поезд железной дороги. Первый город, на который мы взбираемся — Сполето. Он был силен уже во время Аннибала, которого сполетинцы отразили от своих стен после битвы при Тразименском озере. Об этом свидетельствуют римские ворота, до сих пор известные под именем врат бегства»<sup>2</sup>.

В эпоху раннего средневековья Сполето находился под властью Теодориха (ок. 454–526) — короля остготов, завоевавших в 493 году Равенну и соседствовавшие с ней территории. Впоследствии Сполето владели лангобарды, и это также отражено в записках московских ученых паломников.

С. П. Шевырев: «Вид на долину и город прекрасный. На соборной площади дворец Теодориха — окна арочками»<sup>3</sup>.

К. Герц: «О могущественных временах лангобардских говорит другой памятник — гигантский водопровод, заложенный в необыкновенно живописной местности»<sup>4</sup>.

В XI — начале XII века, когда папство усилилось в ходе борьбы с Германской империей, расширилась и Папская область, присоединив Сполето, Беневент и часть Тосканы. Однако в 1152 году Фридрих Барбаросса разрушил Сполето. Но со временем городок был возрожден и пребывал под эгидой папского престола. В старинном путеводителе середины XVIII века читаем: «Сполето — великий город с крепким

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгеньевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент Санкт-Петербургской Духовной академии.

замком и с великолепной соборной церковью, на реке Муроджии, у горы. Древние лангобардские князья и короли в нем жилали, а ныне сим городом папа римский владеет»<sup>5</sup>.

Украшением Сполето является **собор**; в 1831 году его посетил С. П. Шевырев: «Соборная церковь очень замечательна: она XIII или XIV века. В фасаде виден вкус, более приближающийся к древности, хоть не имеющий совершенно той же простоты, как поэзия Данта и Петрарки. Узоры корнишей прекрасны. Внутренность испорчена новизною»<sup>6</sup>.

Отечественный искусствовед П. П. Муратов в начале XX века дополнил сказанное выше: «Здесь собор принадлежит к числу важнейших романских соборов в Италии. Внутренность его переделывалась много раз. В хоре Фра Филиппо Липпи незадолго до своей смерти написал отличные фрески, которые еще раз показывают, как велико и благотельно для флорентийской живописи было влияние Мазаччио. Художник погребен здесь же»<sup>7</sup>.

Храмы и монастыри Сполето были богаты произведениями средневековой живописи, и в записках К. Герца упоминаются имена некоторых из художников, подвизавшихся в этом городе: «В Сполето я нашел прекрасные фрески флорентийского живописца Фра Филиппо Липпи уже близкими к окончательной гибели, и даже целый возникающий музей, составляемый из произведений, перенесенных из закрытых церквей и монастырей. В музее в особенности восхитила меня фреска Спаньи, одного из лучших учеников Перуджино. Более прекрасных и ангельских лиц нельзя себе представить. К сожалению, при перенесении фрески со стены, в начале нынешнего (XIX.—*Авт.*) столетия, вследствие неумения, она сильно пострадала»<sup>8</sup>.

Имя флорентийского живописца Фра Филиппо Липпи (1406–1469) красной нитью проходит через записки целого ряда авторов, повествующих о Сполето. Наиболее подробные сведения об этом художнике содержатся в трактате итальянского живописца и искусствоведа Джорджо Вазари (XVI в.) «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». «Сполетская коммуна попросила его через Козимо деи Медичи расписать капеллу в главной церкви Богоматери, которую, работая вместе с фра Диаманте, он начал весьма успешно, однако, застигнутый смертью, закончить ее не успел, — сообщает Вазари. — Недаром говорят, что вследствие его чрезмерной склонности к своим пресловутым блаженным амурам его отравили родственники одной женщины, которая была его возлюбленной»<sup>9</sup>. К счастью, фрески кисти Фра Филиппо Липпи в Сполето сохранились; они датируются 1469 годом — датой кончины художника.

Джорджо Вазари сообщает и о судьбе сына Фра Филиппо — Филиппино Липпи (1457–1504):

*Закончил течение своей жизни фра Филиппо в возрасте пятидесяти семи лет, и по завещанию оставил на воспитание фра Диаманте своего сына Филиппо, наставшего обучаться у него искусству мальчиком десяти лет, и с ним же возвратился во Флоренцию, пригез фра Диаманте увез с собой триста дукатов, которые оставалось доплатить от коммуны за выполненную работу и на которые он купил для себя лигно несколько именей, уделив из этих денег лишь ничтожную их долю мальзику. Филиппо был пристроен к Сандро Боттигелли, почитавшемуся в то время отменнейшим мастером*<sup>10</sup>.

Посмертная слава Фра Филиппо Липпи была так велика, что после его кончины началась борьба за «доступ к телу». Об этом сообщает Джорджо Вазари; с его слов об этом пишут историки и писатели XIX столетия.

Джорджо Вазари: «При жизни Сикста IV Лоренцо деи Медичи, назначенный флорентинским послом, выбрал путь через Сполето, чтобы затребовать у тамошней коммуны тело фра Филиппо для перенесения его в Санта Мариа дель Фьоре во Флоренцию; однако сполетцы ему ответили, что им недоставало достопримечательностей и главным образом выдающихся людей, и потому, чтобы прославить себя, они



просили оказать им эту милость, прибавив, что во Флоренции было бесчисленное множество знаменитых людей и даже в избытке, и что поэтому она может обойтись и без этого; так все и осталось по-старому»<sup>11</sup>.

Якоб Буркхардт: «В XV веке Лоренцо Великолепный лично обратился к жителям Сполето с просьбой уступить для его собора прах художника Фра Филиппо Липпи, и получил от сполеттинцев ответ, что они, дескать, и так не богаты достопримечательностями, а в особенности останками великих людей, а потому просят их великодушно пощадить; Лоренцо и в самом деле пришлось удовлетвориться кенотафом»<sup>12</sup>.

Стендаль: «Лоренцо Великолепный просил жителей Сполето прислать во Флоренцию останки художника, но они ответили ему, что у Флоренции и без того уже много великих людей, украшающих собой ее церкви, и что они хотят оставить Фра Филиппо себе»<sup>13</sup>.

Получив отказ, Лоренцо-старший деи Медичи тем не менее принял участие в украшении могилы Фра Филиппо Липпи, о чем повествует Вазари: «Лоренцо решил все же по мере сил почтить память фра Филиппо. Он направил его сына Филиппино в Рим к кардиналу неаполитанскому расписывать капеллу, и когда Филиппино проезжал через Сполето, он по поручению Лоренцо заказал отцу мраморную гробницу под органом, что над ризницей, на что потратил сто золотых дукатов, выплаченных Нофи Торнабуони, управляющим банком Медичи»<sup>14</sup>; «Филиппино нарисовал названную гробницу, придав ей великолепную форму, а Лоренцо приказал выполнить ее столь же пышной и прекрасной»<sup>15</sup>.

По просьбе Лоренцо мессер Аньоло (Анджело) Полициано составил эпитафию, которая была высечена на гробнице из красного и белого мрамора:

Conditus hic ego sum picturae fama Philippus  
Nulli ignota meae est gratia mira manus,  
Artifices potuit digitis animare colores,  
Sperataque animos fallere voce diu.  
Ipsa meis stupuit natura expressa figuris.  
Meque suis fassa est artibus esse parem,  
Marmoreo tumulo Medices Laurentius hic me  
Condidit, ante humili pulvere tectus eram<sup>16</sup>

(«Здесь я покоюсь, Филипп, живописец, навеки бессмертный,  
Дивная прелесть моей кисти — у всех на устах.  
Душу умел я вдохнуть искусными пальцами — в краски,  
Набожных души умел — голосом Бога смутить.  
Даже природа сама, на мои заглядевшись создання,  
Принуждена меня звать мастером, равным себе.  
В мраморном этом гробу меня упокоил Лаврентий Медичи,  
Прежде чем я в низменный прах обращаюсь»<sup>17</sup>).

Размышляя о творческом наследии Фра Филиппо Липпи, Стендаль пишет: «Когда Фра Филиппо бывал счастлив, это был остроумнейший человек своего века. А что он был одним из величайших художников, доказывает усердие, с которым любители раскапывают во флорентийских церквях его мадонн, окруженных сонмом ангелов; они находят в них редкое изящество форм, грацию в каждом движении, полные, смеющиеся лица, красоту которых еще усиливает колорит, целиком принадлежащий ему. Что касается одежд, то он предпочитал узенькие складочки вроде наших сорочек; ему свойственны яркие тона, не очень, впрочем, резкие и как бы подернутые лиловым тоном, который не встречается больше ни у кого; его дарование еще сильнее проявлялось в *возвышенном*»<sup>18</sup>.

Современником Фра Филиппо Липпи был флорентийский архитектор и скульптор Бернардо Росселино (1409–1464). «В Сполето он расширил и усилил крепость, в стенах которой выстроил жилые помещения настолько красивые, удобные и хорошо задуманные, что лучшего нельзя было нигде увидеть»<sup>19</sup>, — пишет Вазари.

Старинный Сполето украшали не только флорентийские живописцы и архитекторы. Иногда сюда попадали шедевры средневековых мастеров из других итальянских городов. Так, в капелле Льва XII находится доска со *св. Марином* из Римини работы живописца Дзено (Дзеноне) Веронского (1484–1552/1554)<sup>20</sup>.

В 1888 году в Италии побывала английская писательница и путешественница Вернон Ли. В ее очерке, посвященном Умбрии, не найти сведений об архитектурных и живописных шедеврах Сполето. Однако она сообщает своим читателям о своих впечатлениях об увиденном в этом городке и его окрестностях, и ее повествование может стать завершением рассказа о Сполето.

### **Приложение 1. Ли Вернон. Италия. М., 1914. С. 108–112**

Вот случай со *св. Павлом*, протоэремитом (отшельником), или, можно сказать, премьер-эремитом, которому посвящены капелла и маленький домик в дубовых лесах Сполето. То был какой-то монашествующий Робинзон Крузо: убежав от преследований, он нашел совсем готовую, прекрасную пещеру у подножья чрезвычайно красивой горы, с пальмой и родником под боком, с наковальней, молотами и другими инструментами, оставленными здесь шайкой монетчиков, скрывавшейся в пустыне «в дни Антония и Клеопатры». И вот случилось, что *св. Антоний* (тот, у которого было столько искушений), достигший девяностолетнего возраста и считавший себя старейшим эремитом из всех, какие существовали, получил вознесение во сне, что в действительности это право принадлежит *св. Павлу*, тогда ста тридцати лет от роду, жившему в месте, описанном нами выше. *Св. Антоний* все-таки несколько огорчился, узнав, что его опередили, но отнесся к этому совсем мило, и мгновенно почувствовал непреодолимое желание пойти навестить *св. Павла*. Во время этих-то поисков ему пришлось спросить дорогу у кентавра, и его вела волчица — маленький эпизод, очаровательный по своей трогательности. Но ничто не может сравниться с трогательностью прибытия этого доброго святого старца к пещере другого святого старца, — как он лежал всю ночь у дверей пещеры без сна, следя за светом сквозь трещины скалы, их встреча, их объятия, и еще, как они, не зная друг друга, назвали друг друга по имени, и как старший эремит, возрадовавшись при виде младшего, умер и был погребен им в пустыне... Кроме того анахореты часто выступали в большом количестве, целыми компаниями друзей, рассыпаясь по всей стране, строя себе каждый маленькое убежище, в виду таких же соседей — прекрасных людей, о которых я не желаю слушать ни одной из тех ужасных историй, которые историки, писатели по аскетизму и профессиональные стилисты, в роде Флобера, имеют дурной вкус рассказывать.

Они жили так, говорит нам *св. Иероним*, в лесах вечнозеленых дубов над Сполето. Леса становятся гуще и гуще, по мере того, как вы поднимаетесь на «Гору» над этим каменистым городом, так что окружающий вас горизонт становится постепенно все меньше и меньше; вместо вида на великую умбрийскую долину, бледную, покрытую молодым хлебом, с Апенниннами за ней, дымящимися от растаявших снегов, перед вами только черные сучковатые стволы и черные ветви над коврами густого мха. Но там и сям, в самых неожиданных местах, на поворотах дороги показывается вдруг розовый или белый домик, капелла с куполом и решеткой, «обитель *св. Иеронима*», «обитель *св. Павла*, называемого просто пустынноиком», и тому подобное, с кусочком террасы, откуда открывается вид. И ни разу ни единой души! Во время подъема, занявшего около полутора часов, и затем во время спуска я не встрети-

ла ни одного живого существа, кроме человека с собакой и исхудалого священника в грубом плаще с капюшоном, верхом на навьюченном муле.

Я приехала в Сполето из упрямства в эти ужасные запоздалые весенние холода и пожалела теперь о моем безумии. Но как я была все-таки права! Я поняла это, как только поднялась в верхнюю часть города, к обрывистым скалам над замком, и почувствовала холодный влажный ветер, поднявшийся из ущелий, горный воздух, провевший над скалами, лесами и далекими снегами, растаявшими на высоких голубых Апеннинах! Я поняла, что окрылило меня лететь из Рима: дома, улицы, разговоры. Анахореты чувствовали, несомненно, в свое время почти то же самое, когда они также убегали от нежности милейших и занимательнейших друзей на эту гору... Между тем леса сомкнулись опять, с фиалками во влажной траве и птицами, поющими в тени веток. И когда дорога стала отвеснее, а лес темнее, я начала замечать остатки талого снега; а затем их стало все больше и больше, и, наконец, на том месте, которое казалось вершиной, снег лежал толстым слоем под вечнозелеными дубами. Я продолжала идти. Дубы, становившиеся все более высокими, внезапно расступились, и открылась поляна, целое поле чистейшего снега с одним только черным крестом в середине, окруженное лесом, а в стороне — крошечный домик с часовней, колокольной и маленьким садиком, по глубокому снегу которого шла свежепротоптанная тропинка. Я села под портиком. Вдруг из леса показался францисканец; он перешел снежную поляну, дернул за веревку; зазвонил колокол, и минуту спустя послышалось пение вечерни. Я подняла щеколду у часовни; у алтаря три монаха, двое служек, два крестьянина на коленях; темноту нарушали только свечи на алтаре и перед раскрашенными картинами Голгофы. Когда я вышла, птицы пели в чаше вечнозеленых дубов; колокол маленькой часовни продолжал звонить, и тихо начал падать снег. Мелкие хлопья вместе с дождем все еще падали, когда я спустилась в скалистое ущелье, полное шума и воя ветра, когда я уже оставила дубовые леса позади.

Я продолжала мечтать о маленьком снежном поле наверху, рядом с часовней, и я поняла, что было некоторое предсказание всего этого в том, что я никогда не могла зимой видеть снежные бури, пронсящая над Валломброзой, чтобы не подумать об эремитах, об анахоретах.

### Примечания

- <sup>1</sup> Шевырев С. П. Итальянские впечатления. СПб., 2006. С. 338.
- <sup>2</sup> Герц К. Письма из Италии и Сицилии. М., 1873. С. 162.
- <sup>3</sup> Шевырев С. П. Указ. соч. С. 338.
- <sup>4</sup> Герц К. Указ. соч. С. 162.
- <sup>5</sup> Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотрения света. Изд. 2. М., 1782. С. 382.
- <sup>6</sup> Шевырев С. П. Указ. соч. С. 338.
- <sup>7</sup> Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 368.
- <sup>8</sup> Герц К. Указ. соч. С. 162.
- <sup>9</sup> Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 2. М., 2001. С. 268.
- <sup>10</sup> Там же. С. 268–269.
- <sup>11</sup> Там же. С. 269.
- <sup>12</sup> Буркхардт Якоб. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996. С. 134.
- <sup>13</sup> Стендаль. Собр. соч. в 12 томах. История живописи в Италии. Т. 6. М., 1959. С. 100–101.
- <sup>14</sup> Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 2. С. 269.
- <sup>15</sup> Там же. С. 462.
- <sup>16</sup> Там же. С. 269.
- <sup>17</sup> Там же. С. 272 (перевод А. Блока).
- <sup>18</sup> Стендаль. Указ. соч. С. 101.
- <sup>19</sup> Вазари Джорджо. Указ. соч. Т. 2. С. 319.
- <sup>20</sup> Там же. С. 519, примеч. 43.

## ВИТЕРБО – СТОЛИЦА ПАПСКОЙ ОБЛАСТИ

Витербо (лат. Витербиум) был основан этрусками; с 1257 года – резиденция пап. «Витербо – древний папезский город и столица церковной земли в Италии, с немалым числом приходских церквей и монастырей»<sup>1</sup>, – сообщается в старинном путеводителе середины XVIII века. Витербо сохранил средневековый облик; до нашего времени дошли храмы XI–XII веков: церковь Св. Иоанна (Сан-Джованни ин Цоколи, XI в.), Св. Сикста (Сан-Систо, XI–XII вв.), собор Св. Лаврентия (Сан-Лоренцо, 1192 г.; фасад – 1570 г.; кампанила – XIV в.). В соборе – гробницы нескольких пап. Уроженцами Витербо были римские папы Марин I (882–884) и Роман (897).

В XII столетии папскому престолу стала угрожать серьезная опасность со стороны значительно разбогатевших северо-итальянских городов, объявлявших себя коммуна́ми, то есть независимыми республиками. В Риме это движение было направлено одновременно и против папы, и против императора. В годы правления папы Луция II (1144–1145) римская аристократия и народ реставрировали республику, избрали Сенат и поставили во главе города консула в звании патриция. Они изгнали папского правителя и объявили город независимым. Папство временно вновь очутилось в условиях, в которых оно пребывало в эпоху раннего средневековья. Папа Луций бежал в Капитолий и был убит брошенным в голову камнем<sup>2</sup>. Новый папа – цистерцианский монах Бернардо, ставший папой Евгением III (1145–1153), ученик Бернара Клервоского, бежал от римлян в Витербо и сделал его своей резиденцией.

В XII столетии в Витербо подвизался поэт Готфрид, а в XIII – начале XIV века философ Якоб (Джакомо Капоччи). Готфрида из Витербо (Gotfridus de Viterbo) следует причислить к итальянским поэтам, несмотря на его германское происхождение. Готфрид был секретарем императоров Фридриха I (1123–1190, с 1152 г. – император) и Генриха VI (1165–1197, в 1191 г. коронован в Риме). Генриху VI он посвятил книгу «Зерцало королей», в которой доказывается происхождение немецких императоров от троянцев и римлян. С исторической точки зрения интересно длинное стихотворение (смешанное с прозой) «Пантеон» (Pantheon) и его продолжение – «Деяния Фридриха» (Gesta Fridericis).

Готфрид из Витербо описывает события, произошедшие до 1186 года. В «Пантеоне» находятся необычно подробные сведения о раннем периоде ислама, не встречающиеся у других средневековых авторов на Западе. Следует предположить, что Готфриду были известны сирийские христианские источники о Магомете, Али и их ближайших преемниках<sup>3</sup>.

Августинец Джакомо Капоччи (Якоб из Витербо, умерший в 1308 г.) написал сочинение «Сентенции Эгидия в сокращенном варианте» («*Abbreviatio Sententiarum Aegidii*»). (Эгидий Римский – Aegidius Romanus, родился в Риме около 1247 года, в 1260 году вступил в орден св. Августина; был, возможно, учеником Фомы Аквинского). Перу Якоба из Витербо также принадлежит политический трактат «О христианском устройстве государства» («*De regimine – christiano*», написанный в 1301–1302 годах, то есть в эпоху буллы «Единая святая» («*Unam sanctam*») от 2 ноября 1302 года. В ней изучение христианской мудрости предписывается королям, а прелаты, являющиеся учителями этой мудрости, выполняют миссию просвещения, подобную миссии ангелов. В трактате «О христианском устройстве государства» вероучительный примат папы показан как основа его примата в сфере светской власти<sup>4</sup>. Якоб из Витербо является автором трактата «Вопросы проповедей о божественных предметах» («*Quaestiones de praedicamentis in divinis*»), где проблема различения сущности

и существования — в том виде, как она ставилась в ту эпоху, — трактуется в очень широкой перспективе и с исключительным мастерством. Якоб из Витербо представляется одним из наиболее объективных свидетелей состояния проблем в конце XIII столетия<sup>5</sup>.

Под сводами здешних старинных храмов порой разыгрывались драматические события. Так, в 1271 году граф Ги де Монфор, наместник Карла I Анжуйского в Тоскане, убил из мести в Витербо во время богослужения принца Генриха, сына английского короля Ричарда, и выволок его за волосы из церкви. Он сделал это из мести за смерть своего отца — Симона де Монфора, убитого в Англии при короле Ричарде. Рассказывали, что сердце убитого принца было положено в золотую чашу, установленную на колонне у моста через Темзу в Лондоне. Вот что писал об этом Данте:

Мы видели — один вдали стоит.  
Несс молвил: «Он пронзил под божьей сенью  
То сердце, что над Темзой кровь точит»<sup>6</sup>.

Отечественный историк Л. П. Карсавин (1882–1952) так прокомментировал это трагическое событие: «Генрих, сын короля Ричарда, прибыл в Витербо. Прибыл туда и викарий короля Карла в Тоскане, граф Гвидо Монфорский. Отомстил он на Генрихе смерть отца своего: убил сына убийцы во время мессы. Никто не помешал Гвидо, и никто не наказал его. «Сам Бог сделал это позже, потому что попал Гвидо в плен к Руджиеро Лория вместе с королем Карлом (безучастным свидетелем убийства Генриха), и отвезли его в Сицилию, где, как говорят, погиб он худою смертью. Жена же его впала в прелюбодеяние, а графство, полученное им за женой, растерзано было на части». Так цепляются друг за друга события, руководимые промыслом Божиим!»<sup>7</sup>

Витербо — этот старинный папский город был тесно связан с Римом. Папы нередко укрывались в его крепких стенах от угрожавших им опасностей. Четверо из них обрели здесь свои могилы. В числе пап, погребенных в церквях Витербо, был Климент IV (1265–1268). Климент IV (Clemens), Ги Фуке (Gu Foucois, Foulcois), родился около 1200 году в Сен-Жиле, близ Нима (Франция), умер в Витербо в 1268 году. Он учился в Парижском университете, затем стал юристом при дворе Тулузского графа Раймунда VII, а в дальнейшем — советником короля Людовика IX. После смерти жены (ок. 1256 г.) принял священство и вскоре сделал стремительную церковную карьеру (епископ Ле-Пюи в 1257 г., архиепископ Нарбонны в 1259 г., кардинал-епископ Сабинны в 1261 г.), став со временем одним из влиятельнейших членов коллегии кардиналов.

В 1265 году, находясь в Англии в качестве папского легата с важной дипломатической миссией, он был избран папой *in absentia* в Перудже, где в то время из-за продолжавшегося конфликта с императорами династии Гогенштауфенов находилась Римская курия. Продолжая внешнюю политику своего предшественника — Урбана IV, Климент IV в борьбе с Гогенштауфенами сделал ставку на Карла Анжуйского, брата Людовика IX, и в 1266 году вручил ему корону Сицилийского королевства. Карл Анжуйский 26 февраля 1266 года разгромил под Беневенто германскую армию во главе с Манфредом (сыном Фридриха II), который был убит<sup>8</sup>.

А вскоре после этого племянник Манфреда, Конрадин, предпринял попытку захватить Витербо, но попал в плен. Папа Климент IV видел со стен города военный поход Конрадина — последнего из Гогенштауфенов. По преданию, даже этот грозный папа прослезился при виде стольких молодых и прекрасных рыцарей, спешивших на верную смерть к полям Тальякоццо. Но на другой день в соборе Витербо разыгралась страшная сцена. Окруженный прелатами и кардиналами, Климент IV, восседая на троне, огласил буллу, направленную против северного принца, приехавшего искать царства в Италии, и против всех его сподвижников. Когда чтение было окончено,



папа вскочил на ноги, бросил на пол свою толстую свечу и воскликнул: «Да будут они отлучены от Церкви». И тогда все священники также опрокинули свои свечи и повторили вслед за папой: «Да будут они преданы, отлучению». Народ, объятый ужасом, поспешил оставить храм<sup>9</sup>.

После гибели Конрадина, боровшаяся с римским престолом императорская династия Гогенштауфенов пресеклась. Приписывавшееся Клименту IV письмо, в котором он санкционировал казнь взятого в плен Конрадина, является фальсификацией: в подлинном послании Климент просил Карла Анжуйского милостиво обойтись со своим пленником и простить из-за его молодости попытку военного реванша. Климент IV был похоронен в доминиканской церкви Пресвятой Девы Марии (Санта Мария ин Гради). В 1885 году прах Климента IV был перенесен в церковь Св. Франциска в Витербо<sup>10</sup>.

Если папа Климент IV был французом, то один из его преемников — папа Иоанн XXI (1276–1277) — родом из Португалии. Петр Испанец (Petrus Hispanus), Петр Юлиан (Petrus Iullanus), врач и философ; родился между 1210 и 1220 годами в Лиссабоне, умер в Витербо.

*Ошибка в нумерации римских пап с именем Иоанн (папы Иоанна XX не существует) вызвана неверным сообщением хроники Мартина Полона (ум. в 1278 г.), который вслед за Марианом Скотом (1028–83) предполагал, что в промежутке между правлением повторно захватившего в 984 году Римскую кафедру антипапы Бонифация VII и правлением папы Иоанна XV был 4-х месячный понтификат еще одного папы с именем Иоанн. Поэтому Иоанн XV стал Иоанном XVI. Путаница еще более усугубилась в связи с тем, что некоторые хронисты считали законным папой антипапу Иоанна Филагата (997–998), претендовавшего на римский престол во время понтификата папы Григория V. В настоящее время в официальном списке римских пап ошибка исправлена, но оставлен прежний порядковый номер для пап, носивших имя Иоанн, начиная с Иоанна XXI<sup>11</sup>.*

После окончания кафедральной школы в Лиссабоне Петр Испанец обучался медицине в Сиенском университете, а затем преподавал там на медицинском факультете. В 1261 году он стал архидиаконом Брагским (Португалия); с 1268 года, по-видимому, был личным врачом папы Григория X. В 1273 году Петр Испанец стал архиепископом Брагским и кардиналом. Он принимал участие в работе II Лионского собора.

Краткий понтификат Иоанна XXI не был ознаменован важными политическими событиями (известно лишь, что Иоанн XXI начал подготовку очередного крестового похода, а в международной политике всемерно поддерживал короля Карла Анжуйского, ибо, как было отмечено современниками, папа любил заниматься наукой. Иоанн XXI оставил большое число сочинений в области медицины и логики. Его трактат «Summulae logicales» («Суммы логические»), выдержавший в XV–XVII веках более 250 изданий, лег в основу преподавания логики в средневековых университетах. Из медицинских трактатов заслуживают упоминания «Комментарии к сочинению врача Исаака», «Сокровище бедных, или О лечении органов человеческого тела» и «О лечении подагры». Не меньший интерес представляет его сочинение «De oculo» («О глазе»); именно в это время папский двор в Витербо стал главным в Европе центром исследований в области оптики.

Интересуясь архитектурой, Иоанн XXI принимал участие в реконструкции папского дворца в Витербо и погиб в результате падения перекрытия во время строительных работ (ходили упорные слухи о том, что это был не несчастный случай, а преднамеренное убийство)<sup>12</sup>.

Данте в «Божественной комедии» поместил Иоанна XXI в рай вместе с великими богословами (Рай XII, 134–135).

Гугон святого Виктора меж нами,  
И Петр Едок, и Петр Испанский тут,  
Что сквозь 12 книг горит лучами<sup>13</sup>.



(Гугон — каноник монастыря Св. Виктора в Париже, богослов XII века Петр Едок — французский богослов XII века Петр Испанский — папа Иоанн XXI, автор трактата по логике «*Summulae logicales*», разделенного на 12 книг).

А в 1281 году на конклаве в Витербо был избран папа Мартин IV (1281–1285)<sup>14</sup>. Мартин IV (французский клирик Симон де Бриан), при Людовике Святом — канцлер Франции (1260), при папе Урбане IV — кардинал. Он содействовал Карлу Анжуйскому в получении сицилийской короны, и при содействии Карла был избран папой<sup>15</sup>.

«Церкви и дворцы Италии имеют двоякий интерес для посещающего, — писал в 1841 году отечественный литератор Н. И. Греч. — Во-первых, любопытны они своими художественными сокровищами; во-вторых, почти каждое из сих старинных зданий было позорищем какого либо происшествия, великого или гнусного, умильного или грозного, в богатые варварством и дикими доблестями Средние веки»<sup>16</sup>.

Но Витербо известен не только казнями и сражениями, но и торжественными процессиями. Сохранилось описание праздника Тела Христова (*Corpus Domini*), который папа Пий II (Эней Сильвио Пикколомини, 1458–1464) устроил в 1460 году в Витербо. Само шествие, двигавшееся от колоссального роскошного шатра у храма Св. Франциска по главной улице к соборной площади, играло тут последнюю роль: кардиналы и прелаты побогаче, поделив между собой прилегающее к дороге пространство, не только позаботились о солнцезащитных тентах, настенных коврах, венках и т. п., но соорудили собственные настоящие сценические площадки, где во время процессии представлялись короткие исторические и аллегорические сцены. Из описания не совсем ясно, все ли эти сцены были показаны людьми или отчасти драпированными манекенами; в любом случае, расходы приняли колоссальные масштабы. Здесь можно было увидеть страдающего Христа, окруженного поющими мальчиками-ангелами: Тайную вечерю, на коей присутствовал и св. Фома Аквинский; борьбу архангела Михаила с демонами; источник, бьющий вином, и ангельский оркестр; Гроб Господень и сцену Воскресения всю целиком; наконец, на соборной площади, — гроб Девы Марии, который после торжественной мессы и благословения открылся, и Богородица, в сонме ангелов, с пением воспарила в райские кущи, где Христос возложил на нее венец и подвел к предвечному Отцу<sup>17</sup>.

От XIII века в Витербо сохранился жилой квартал Сан-Пеллегрино. В Италии мало мест, которые до такой степени полно удержали бы дух средневековья, как квартал Сан Пеллегрино в Витербо. К тому же XIII столетию относятся церкви Св. Петра (Сан Пьетро) и Св. Франциска (Сан Франческо, 1237 г.; гробница папы Адриана У). По поводу храма Сан Франческо Стендаль замечает: «Фра Себастьяно, живописец венецианской школы, которого Микеланджело любил за его отличный, подчас даже возвышенный колорит, написал «Снятие со креста», которое находится в церкви Св. Франциска в Витербо. Он воспроизвел свое «Бичевание», находящееся в Риме, для одного монастыря в Витербо»<sup>18</sup>.

В XIII веке началось строительство Палаццо Комунале (начато в 1247 г., расширено в середине XV века окончено в XVI веке) и папского дворца (1266 г.) с готической лоджией (1267 г.). «Удивительные романские и готические церкви с химерами, розетками, наружными барельефами встречаются здесь на каждой площади. Редкостная готическая лоджия украшает епископский дворец, старое жилище пап, которые гостили в Витербо»<sup>19</sup>, — отмечал в начале XX века отечественный искусствовед П. П. Муратов. В этом дворце с 1261-го по 1281 год происходили выборы пап.

Российские путешественники, направлявшиеся в Рим, как правило, уделяли мало внимания бывшей папской резиденции. Вот типичная запись в дневнике П. Вяземского (под 29/11 декабря 1834 г.): «Завтракали в Витербо. Мумия св. Розы: черная

роза. Римский саркофаг. Прекрасная Галиана. Фонтаны. Город славился прекрасными фонтанами»<sup>20</sup>.

Едва ли не самый старейший европейский фонтан, дошедший до наших дней, — это фонтан Гранде (1206–1279), работы скульпторов Бертольдо и Пьетро ди Джованни). «Стоит увидеть архитектурность домов Витербо, стоит услышать не прекращающийся ни днем ни ночью шум его бесчисленных фонтанов, чтобы почувствовать его глубокую связь с Римом, — пишет Муратов. — Нигде нет такого обилия готических фонтанов, и, следовательно, в своем чувстве воды Витербо опередило Рим на несколько столетий. Витербо Возрождения сохранило эту традицию. Виньола построил здесь несколько фонтанов»<sup>21</sup>.

П. П. Муратов был одним из немногих отечественных авторов, уделивших внимание церковной живописи этого старинного города. За городской стеной Витербо высится церковь Санта Мария делла Верите, воздвигнутая в 1100 году. Храм был расширен в XIV–XV веках; к этому времени относится и его роспись, исполненная местным художником — Лоренцо да Витербо (1437–1476). Вот что пишет об этом шедевре П. П. Муратов: «На стенах церкви Санта Мария делла Верита сохранилось все, что позволяет судить о таланте Лоренцо да Витербо, жившего и работавшего во второй половине XV века. С глубоким удивлением видит здесь путешественник фрески, написанные зрелым, своеобразным и достаточно тонким художником... Композиция лучше всего сохранившейся фрески — брак Марии и Иосифа — поражает до странности совершенной стройностью.

Чувство колорита выдвигает Лоренцо на видное место среди самых значительных художников кватроченто. Прекрасна общая сдержанность, некоторая бледность или погашенность всех его красок. Лоренцо вышел уже из той стадии, когда художники, ища украшения, прибегали к яркой расцветке и спасительному золоту. Свою задачу он понимал как настоящий живописец немного сухого «рафаэлевского» склада. В его фресках много белого, зеленого, лиловато-серого и вишнево-красного цвета. В «Поклонении волхвов» так удивительно хороша фигура женщины с корзиной плодов на голове, в одеждах красных и зеленых и с очень бледным и очень в тон написанным лицом. В «Обручении» видно желание сохранить и проявить во фреске естественный тон стены, то желание, которое так гениально возвел в закон Микельанджело на потолке Сикстины»<sup>22</sup>.

Витербо издавна славился своими «водами», и в первой половине XV века этот курортный город был обустроен трудами флорентийского архитектора и скульптора Бернардо Росселино (1409–1464). Об этом упоминает в своем трактате итальянский художник и искусствовед Джорджо Вазари (XVI в.): «Не щадя расходов и по-царски обстроил он целебные источники в Витербо и выстроил там помещения, пригодные не только для больных, прибывавших туда ежедневно в целях лечебного купания, но и для приема любого государя. Все эти сооружения были выполнены по проектам Бернардо за пределами города»<sup>23</sup>.

В окрестностях Витербо находится **церковь Мадонна делла Кверчия**, что на пути к соседнему городку Баньяйя. Храм украшен порталом раннего Ренессанса и тимпанами работы делла Роббиа. На фронтоне этой церкви — герб делла Ровере; он, как и самое имя храма (итал. quercia — дуб), говорит о густых лесах, покрывающих горы вокруг Витербо<sup>24</sup>.

### Примечания

<sup>1</sup> Рот Рудольф. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного зрителя света. Изд. 2. М., 1782. С. 420.

<sup>2</sup> Гергей Е. История папства. М., 1996. С. 121.

<sup>3</sup> Голенищев-Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972. С. 182.

- <sup>4</sup> Жильсон Этьен. Философия в средние века. М., 2004. С. 436.  
<sup>5</sup> Там же. С. 414.  
<sup>6</sup> Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967. С. 126. Ад. Песнь 12.  
<sup>7</sup> Карсавин Л. П. Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках // Сочинения. Т. 2. СПб., 1997. С. 114.  
<sup>8</sup> Католическая энциклопедия. Т. 2. М., 2005. С. 1078.  
<sup>9</sup> Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 311.  
<sup>10</sup> Католическая энциклопедия. Т. 2. М., 2005. С. 1079.  
<sup>11</sup> Там же. С. 319–320.  
<sup>12</sup> Там же. С. 320–321.  
<sup>13</sup> Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967. С. 428.  
<sup>14</sup> Гергей Е. История папства. М., 1996. С. 121.  
<sup>15</sup> Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 2. М., 1995. С. 92.  
<sup>16</sup> Греч Николай. Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии. Т. 3. СПб., 1843. С. 206.  
<sup>17</sup> Буркхардт Якоб. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996. С. 353.  
<sup>18</sup> Стендаль. Собр. соч. в 12 т. История живописи в Италии. Т. 6. М., 1959. С. 393.  
<sup>19</sup> Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 311.  
<sup>20</sup> Вяземский П. Записные книжки. М., 1992. С. 171.  
<sup>21</sup> Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 311–312.  
<sup>22</sup> Там же. С. 312.  
<sup>23</sup> Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 2. М., 2001. С. 319.  
<sup>24</sup> Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 313.

---

ПОШЛА ПИСАТЬ ГУБЕРНИЯ

---

**В. Чайковская. Тышлер: непослушный возраст. М.: Молодая гвардия, 2010. – 330 с.**

Книга вышла под эгидой малой серии ЖЗЛ, что — само по себе — рекомендация качества, существенно облегчающая задачу представления «Тышлера»: можно обойтись без рукопожаний. Книга, как следует из заглавия, посвящена художнику «удивительного таланта, до сих пор не занявшего подобающего места в отечественной и мировой культуре». А «подобающее место» художника Александра Тышлера, которого всю жизнь все звали просто Саша, по внятно аргументированному многими примерами мнению автора, — рядом с Марком Шагалом. В. Чайковская заканчивает книгу картиной виртуальной встречи двух российских художников-евреев словами, не лишенными гулкой патетики: «Тропинка вьется по тенистому саду, а они оживленно беседуют. О чем? О России, неприветливой и притягательной России, о живописи, о евреях, о революции, о Рембрандте и, конечно, о женщинах, о женщинах...» И тут надо сказать, что любовные истории Тышлера, поведенные автором книги с архаичным, почти диковинным для наших дней и потому весьма похвальным тактом, оставляют читателю богатое поле для выводов и мнений. И стало быть, мы можем выразить бесспорное суждение: хорошо написанная книга автора из далекой Москвы (глядя с берегов Мойки) не только интересна, ибо открывает почти забытое, а большинству наших сограждан и вовсе не известное имя, но и более чем не бесполезна.

**Д. Глазов. Медовый спас: стихи безумия страстей и жертвенной любви поэмы. Кипр; М.; Кемерово: Примула, 2011. — 654 с.**

Эта книга из тех, что заявляют о своей состоятельности не внутренним содержанием, но — сногшибательным антуражем. Ах, как зримо, круто и зело сильна она своим окружением — представлением, оформлением, но прежде всего — биографией автора! «С 1972 года стихи и прозу писал в стол <...>. После перестройки — президент и ген. директор горномашиностроительных и углеэкспортных компаний, в том числе с 1992 года за рубежом, где выполнял и др. работы». Очень милы эти «др. работы», да? Впрочем... Как ни впечатляют штрихи биографии, все ж таки не идут они ни в какое сравнение с обложкой, все четыре цветные страницы которой украшены совершенно замечательными, сочными, спелыми, чистыми-чистыми обнаженными женскими телами, позаимствованными для вящей наглядности «безумия страстей и жертвенной любви» из «Бани» известной художницы З. Серебряковой, в девичестве Лансере. Ну и, наконец, чтобы представление о книге обрело необратимый характер, посмотрите на число страниц. Впечатляет? Но и это — не все! В конце книги — жизнь автора в натуре: от пятиклассника Димы до пенсионера Дмитрия Глазова в дверном окне иномарки. Посмотришь этот фотоальбом и вкупе со всем вышеперечисленным таким добрым чувством проникнешься и к автору, и к его манускрипту, что почтительно положишь том туда, где взял его в руки, и станешь любоваться им на расстоянии, вспоминая есенинское: «большое...». И все.

**В. Фролов. Предательство. Любовь. Разведка. — М.: Спутник, 2011. — 126 с.**

«Вы будете залиvisto смеяться над историей нашего разведчика», — обещает автор. Тем самым он сразу дает понять читателю: я — смехач, книга моя — шутейная, и все, что в ней написано, — пародия, каприз ума и прихоть души. Далее перед нами предстает жизнь и судьба Патрика Донована — полковника российской разведки Евгения Патрикеева, творящего сногшибательные чудеса. Вот пример: «На шее Патрика мегатонным грузом повисла задача узнать о новой секретной разработке американских военных: истребителе Х-21». Потерпев при решении этой задачи серию неудач, зайдя однажды в «Бейби тойз», чтобы купить подарок сыну, «Патрик заинтересовался игрушками, посмотрел инструкции, уточнил пару моментов у продавца и... <...> На следующий день <...> доложил в центр о вооружении, оснащении и иных тактико-технических особенностях истребителя (ВВС) США Х-21». Очень смешно. Но куда веселее, что автор — профессор кафедры истории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России. Это воистину замечательно! Ведь если есть у нас такие профессора-пародисты, да еще в милицейских, пардон, полицейских вузах, можно жить спокойно — мир, порядок и, что всего дороже, благорасположение полиции нам обеспечены. Правда, есть некоторое беспокойство: если и Патрик, и все его геройства, любви и стихи (стихов у Патрикеева много, только лучше бы было без них) — плод живейшей фантазии В. В. Фролова, может, и профессорство — чистой воды мистификация. Чем черт не шутит?..

**О. Гришина. Пепельная среда. — СПб.: Любавич, 2010. — 52 с.**

Как много можно узнать о человеке, прочитав всего несколько слов: «Ольга Гришина — поэт и переводчик. Родилась *под* (здесь и далее курсив мой. — Б. Д.) Москвой, работала *под* Петербургом, живет *под* Брюсселем (Лёвен)». Есть что-то веское и емкое в словах «поэт и переводчик» и что-то глубоко провинциальное в трижды

произнесенном «под». Как бы — столицы столицами, а я — сама по себе. Вот и стихи — о том же: «В полужалке лиловом качается ночь над Невой. / Только разве уснешь, если горечь томится на небе, / А за крашеной дверью скребет и свистит половой, / Вождедеющий к телу, горящему в синем ознобе». Как густо! Как цветасто! И страстно-то как! А эпиграф к стиху, из которого взята цитата! — «Бедная Александрина...», Булат Окуджава, «Путешествие дилетантов». Хорошо, что не бедный Йорик: бедная Александрина — это сушая находка. И таких лапидарных, якобы без претензий эпиграфов в книге несколько, и по-русски, и — не, и цитировать их одно удовольствие: «Come away, Melinda», «Пернатым легче...», «...тень моего Сильвестра...» — два-три слова, а сколько смысла! И стихи, хоть и длиннее эпиграфов (иначе — что за стихи!?), а тоже — и кратки, и афористичны: «Уходя — уходи: золотые слова — / Так, не страсти — страстишки. / На дороге — луна, на пороге — сова / Да сосновые шишки». Стихотворение, из которого взята цитата, называется «ОТТИГНИЕС», и читателю для полного проникновения в суть остается лишь узнать, как это по-русски. Я не скажу.

**К. Раутиан. Как образовывался русский характер и как он повлиял на историю России. — СПб.: Нестор-История, 2011. — 52 с.**

Прочитав брошюру (а иначе — как втиснуть в 50 страниц такое громкое название), подумал: «Конец истории» Ф. Фукуямы (я имею в виду не содержание, а заглавие его книги) — совсем не про нас, живущих сегодня в России. Для нас, сегодняшних, она, российская История, вернее, Историография, только-только раскрывается. На ее российских историографических «долинах и взгорьях» лбы сшибаются, копья ломаются, снаряды рвутся, пулеметы трещат. Потому что в ней, нашей Истории, все мы зело сведущи, все до единого правы, трактуя ее. Равно как и неправы все до одного. И потому — что ценно! — История наша такая яркая и ядерная, что любого мертвеца мигом поставит на ноги, ибо не терпит она мирной, пространной о себе письменной или устной беседы, даже споры научные ей не к лицу — только бой, когда речь заходит о ней, нашей великой, только вечный бой и никакого покоя. Вот и брошюра К. Раутиан: «Настоящая работа написана не историком, но достаточно образованным человеком для таких же, как и он, любознательных лиц». «Неисторик» пишет: «Какими же главными поразительно прекрасными свойствами обладает русский человек? Свободолюбие, доброта и отзывчивость к любому человеку и народу, заботливость и терпение, патриотизм и душевность, смелость и мужество в борьбе за свободу, благородство, самоотверженность». Как здорово! Что ни слово — на стены кремлевские! Тут, и верно, ни убавить, ни прибавить!.. Почему же тогда, скажите на милость, мутнеет разум мой от этих лучезарных слов? И почему их «Святая Правда» так баламутит его, что ему даже ответ искать не хочется?.. Ох уж эта история государства Российского, отданная на откуп разномастным политологам- и публицистам-неисторикам.

**А. Рыжиков. Впереди — прошлое. — СПб.: Фонд русской поэзии; Реноме, 2011. — 280 с.**

«Впереди — прошлое» открывается шутивно-альбомным стишком широко известного ленинградско-московского барда А. Городницкого, школьного друга автора книги. Стишок написан в феврале 2009 года — к 75-летию А. Рыжикова. В нем, среди прочего, есть такой как бы толерантный совет: «Если годы позади, / И болезни

мучат, / Ты в писатели пойдя, — / Пусть тебя научат». Возможно, не будь столь мудрой директивы, не было бы и никакого «Впереди — прошлого», хотя, скорее всего, книга писалась задолго до юбилейного года и вовсе не по указке знаменитости. Свидетельством тому масса деталей «детства, отрочества и юности» мемуариста, которые не вспомнишь по принуждению, деталей, не оставляющих сомнения в их достоверности. Есть в этой книге одна диковинка: в отличие от сонма (за редчайшим исключением) мемуаров, издаваемых нынче, она отнюдь не памятник ее создателю; вовсе не автор — главный ее герой, но — люди и город, определившие его жизнь и судьбу. Есть в этой книге и потаенная печаль, которой проникнется каждый, умеющий чувствовать слово, — печаль разлуки: в 1994 году Анатолий Рыжиков покинул наш город, и еще одним живым Человеком в Ленинграде–Петербурге стало меньше.

**В. Гандельсман. Ладейный эндшпиль. Книга новых стихотворений. — СПб.: Пушкинский фонд, 2010. — 64 с.**

Писать о Владимире Гандельсмане легко и просто, потому что: во-первых, печатается много, и, стало быть, как поэт, достаточно известен; во-вторых, поэзия его, можно сказать, нетривиальна, о чем ниже; в-третьих, биография его под стать поэзии его, о чем — сейчас. Как поведал «Яндекс», поэт «работал инженером, сторожем, кофегаром, гидом, грузчиком в салоне красоты на Невском проспекте». Право, зеркало эпохи! Сугубо: «грузчиком в салоне красоты...». Еще штрих: «С 1989 года — в США. Преподавал в колледже, работал сторожем (опять!)». И еще черточка: «Печатается как поэт с 1991 года». Верно, надо было покинуть Ленинград, чтоб потом стать завсегдаемым московских журналов («Новый мир», «Знамя», «Октябрь») и петербургской «Звезды», покинуть его, чтобы в 1994 году во всеуслышание сказать о родном городе: «Этот город теней / во дворах нездоровых, / этот город готовых / к вымиранью людей». И ведь правду сказал; так оно тогда и было. Прочитав эти строки, мне вспомнилась А. А. Ахматова, написавшая в 1920-м: «В кругу кровавом день и ночь / Долит жестокая истома. / Никто нам не хотел помочь / За то, что мы остались дома...» А в «Ладейном эндшпиле» — внятная переключка с А. С. Пушкиным. В. Гандельсман: «Выйдешь к реке — небосвод воспален / где-то над Биржей, где длится ладейный / эндшпиль ростральных колонн. // Можно сказать, что на стогнах / тишь и чернехонько в окнах». А. С. Пушкин, «Воспоминание»: «Когда для смертного умолкнет шумный день / И на немые стогны града / Полупрозрачная наляжет ночи тень...» Благодаря таким ассоциациям писать о Гандельсмане действительно и просто, и легко.

**Е. Стеценко. Просчет барона Геккерна. — Краснодар: Советская Кубань, 2011. — 480 с.; Пушкинские красавицы. — Краснодар: Советская Кубань, 2011. — 400 с.**

Две вышеназванные книги пришли в «Неву» в одном конверте. Каждая — с одним и тем же автографом: «Редакции журнала «Нева» от автора. Е. Стеценко. 12. 07. 2011». Обе книги, как видно из заглавий, — достойная всяческого почтения попытка внести свою лепту в отечественную пушкиниану. К тому: подзаголовок первой книги — «Анализ известных фактов, связанных с гибелью А. С. Пушкина»; второй — «Современная авторская версия расшифровки донжуанского списка Пушкина». Не откликнуться на такой подарок было бы, честно говоря, не по-петербургски, а не объединить отклик в одной рецензии — неплодотворно и как-то неоперативно. Чтобы не



утруждать читателя пересказом этих объемных трудов — без малого 900 страниц вкуче! — приведу цитату, завершающую первую книгу, «Просчет...», цитату, которая, будь она «Советской Кубанью» чуть-чуть отредактированной, вполне сгодилась бы и для второй. Шикарная цитата! Истинно — перл! Вот она: «И в итоге: если поднять для экспертного анализа все творчество традиционных пушкинистов, изданное десятилетиями для массового читателя, в сравнении получится: Дантес такой благородный, сенатор, преуспевающий дипломат, а Пушкин... Алчный, искусственный развратник, словом, мстительный негодяй, посмевший вызвать на дуэль любимца всего Петербурга...» Когда-то М. В. Ломоносов сказал провидчески, на века, хрестоматийную фразу: «Могущество России будет прирастать Сибирью». Действительно, где бы мы были сегодня без тамошних нефти и газа? Да и были бы где-нибудь вообще?.. Почитав Стеценко, подумал: неужели российская культура будет прирастать творцами и экспертами, подобными автору «Советской Кубани»? Упаси нас бог от таких, как он, нетрадиционных пушкинистов, ибо, если они возобладают над традиционными, никакая Сибирь Россию уже не спасет.

**В. И. Гусев, Ж. А. Голенко. Проблемы стиля современной русской литературы. Монография. — Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 2011. — 230 с.**

Чтобы понять, сколь значительна, глубока и серьезна эта монография, следует во весь рост представить ее авторов. В. И. Гусев (из Интернета): «Председатель Правления Московской (ныне городской) организации Союза писателей России (с 1990 г. по настоящее время), главный редактор журнала «Московский вестник» (с 1990 г.). Академик академий качества, литературы, Всемирной академии наук комплексной безопасности, член многих редсоветов и редколлегий, ученых советов ИМЛИ и Литинститута, секретарь Правления Союза писателей России, секретарь Исполкома Международного сообщества писательских союзов, член экспертного совета ВАК России, генерал-майор Великого братства казачьих войск России и зарубежья. Кавалер орденов «Знак Почета» (1986) и Почета (2007), многочисленных орденов и медалей ведомственных и общественных организаций. Лауреат премий: Москвы (2001), им. Тютчева, им. Шолохова, им. Симонова, им. Кедрина, «Золотое перо Московии», им. Суворова и многих других. Автор более 50 книг и около 1500 публикаций в периодике». Ж. А. Голенко (ученица В. Гусева): «Литературный критик, публицист. Исследователь современной «молодежной» литературы. Член СП. Лауреат премии журнала «Московский вестник» (2003). Лауреат Седьмой Артеады народов России (2004) за оригинальные статьи о литературе и искусстве, опубликованные в журналах «Новый мир» и «Литературная учеба». Лауреат премии «Эврика» (2006) за сборник статей о литературе и искусстве «Умиравший лебедь». Безусловно, генерал-майор Великого братства казачьих войск абы что не напишет и своей ученице сие не позволит. Так оно, безусловно, и случилось.

**Д. Бука. Карманный гарем. — Минск: И. П. Логинов, 2011. — 192 с.**

Об авторе этой книги стихов — ни полслова из биографии: ни кто, ни что, ни где, ни когда. Зато сказано, что «автор исследует глубины человеческой души, обнажая самые страстные и сокровенные ее влечения». Какой другой критик от столь громких признаний впал бы в раж язвительного сарказма, и — что уж там! — не без основания. Мы же заглянем за зеленый переплет с золотым теснением и большеглазой

красавицей в чалме и обнаружим, что честен автор и искренен в этой самоподаче, что действительно — исследует! «Три центра управляют человеком — / Проверен мой расчет, держу пари! / Французом, эфиопом и узбеком / Три центра управляют — раз, два, три... (далее мы узнаем, что «раз, два, три» — это сердце, мозг и желудок, у автора — бурдюк) // Но мне, видать, четвертый центр нужен — / В отсутствии тебя ни ем, ни сплю, / И только в безрассудстве съел на ужин / Цветную фотокарточку твою». Смелый эксперимент, не правда ли? Но! Сколь ни экстравагантен этот опыт, он оказывается естественным и небезобразным, ибо едва ли не весь сборник Д. Буки полон подобными. Вот, пожалуйста: «...куплю тебе за взятки / из золота руно. / И будут пятки падки / топтать, когда темно, / души моей остатки / и... заодно». Все верно: уж коли гарем, то гарем, хоть бы и карманный. И вообще, к чести автора, надо сказать: он верен Ближнему и Среднему Востоку, в каждом стихе то тише, то громче звучат персидские напевы. Различимы они и в акrostихах, составивших едва ли не треть его нарядно сделанной (опять же — Восток обязывает) книги. Скажем: «И кто тебе сказал, что я спиваюсь, / Гашиш курю, морально разлагаюсь? / Ругаешь зря. Ты — мой наркотик с детства! / А нет тебя — ищу другие средства». Что тут за **ИГРА** — неважно, а важно — ну, чем ни Амир Хосров Дехлеви?!»

**М. Шамсутдинова. Дань за 12 лет (книга выпущена на средства автора). — 114 с.**

В отличие от автора «... Гарема», из аннотации к книге «Дань...» о Марине Шамсутдиновой мы узнаем все, что нам надо: она — поэт, окончила Литинститут (мастерская С. Куняева; он здесь еще проявит себя), она — член СП России, член Московской организации СП, член Русского литературного клуба. Настоящий сборник ее стихов состоит из пяти разделов, каждый из которых достоин цитаты. Первый раздел называется «Город бессмертных», и зычным эхом веет в нем (не приведи господь!) далеким Октябрем: «Труп страны заровняли суглинком, / А приказчик и ключник при деле. / Собирали добро по крупинкам — / Разбазарили за три недели». Второй раздел — «Верните женщину в любовь...» — под стать названию, пронзителен и горек: «Я не люблю мужчин, которых я люблю. / Они чуть-чуть подлей, чем остальные. / Мне врут, а я их, в сущности, терплю — / На грошик дела, да слова пустые». Зато в третьем разделе, в стихотворении, давшем ему название — «Евразийка», есть утешительные строчки — героиня М. Шамсутдиновой все сдюжит и нигде не пропадет: «Я — Евразийка, всем гожусь в невесты. / В скелете тонком моим генам тесно. / Меня прабабки круто замесили. / На пересылках кочевой России». А вот и еще один раздел, четвертый, и имя ему — «Курицы принцессы». Кто ж они такие, эти «принцессы курицы»? А вот: «Как хорошо! Я гражданин страны, / Что может многого еще добиться! / Здесь пьяницы снимают так штаны, / Что видно — там у них другие лица!» Возможно, представив, какие «там у них другие лица», С. Куняев сказал о своей ученице: «В XIV веке ее бы сожгли на костре, да и сейчас не поздно». Эва как!.. Наверное, учитель отпустил шуточку, но до чего ж дерзновенно. Наконец, пятый раздел... Нет, после такой коннотации С. Куняева цитировать что-либо еще — смикшировать с явью неутоленную тоску Торквемады.

**И. Знаменская. Портрет куста: Стихотворения. СПб.: Геликон Плюс, СПб.: 2011. — 144 с.**

На с. 110–111 есть стихотворение «Пустыня», состоящее из двух частей. В первой части — такие строки: «Пустыня, Господи... Пустынен парк и сад, / Твой дивный сад, не понятый как надо! / Душа пустынна и глядит назад, / Ища опору для пустого взгляда: // Нет никого. / Есть только Божий мир...» А во второй: «Сад пуст и полон.

Пуст и полон мир. / Семья почти полна, но — так пуста... / Вся эта новь зачитана до дыр, / От розы до тернового листа: // Живем, как можем, не умея жить, / Поем погромче, не умея петь, / Душа болит — считаем: просит пить, / А ей по жизни суждено болеть!» Не знаю, какую сентенцию произнести после таких слов, ничего не хочу придумывать, все слова, кажется, неуместны. Но будучи якобы Зоилом, спрашиваю себя: не много ли пустоты, вернее, пустынности в этих пронзительных строчках? И тотчас порываюсь вырезать эту свою реплику, ибо знаю: любая цитата, даже самая яркая и сочная, даже такая — душе «по жизни суждено болеть» — не полна. Эта книга Ирины Знаменской — не для лапидарной рецензии: каким высоким эпитетом «Портрет куста» ни обзови, все мало. Стихи из этого сборника можно цитировать и цитировать, можно только лишь из одних цитат, без каких-либо комментариев, составить захватывающую дух рецензию, но — вот беда! — этот прием не по правилам «губернской» нашей игры. Зато по правилам — кроме автора, можно давать слово сторонним. На четвертой странице обложки — послесловие М. Кудимовой, поэтессы и публицистки, живущей в Москве. Так вот, она говорит, что Ирина Знаменская — «один из лучших поэтов поколения». Как ни корежит меня от столь «московских» слов, а крыть нечем. Быть может, быть может...

**И. Панин. Мертвая вода: Стихи. — М.: Вест-Консалтинг, 2011. — 96 с.**

«Панин — настоящий поэт. Так мне кажется. А кому так не кажется, тот мало что понимает в литературе». Эти слова принадлежат Дмитрию Быкову, много пишущему и много говорящему, притом, как ни странно, безусловно талантливому поэту-прозаику-журналисту. Пойди поспорь с таким! А и не будем. И вовсе не из страха попасть в «ничего не понимающие», а токмо истины для. Глянем, каков он — настоящий поэт, тем паче что тот же необъятный (в метафорическом смысле) Д. Быков в своем предисловии называет И. Панина: а) интересным, б) увлекательным, в) формулирующим четко и остроумно, г) не слишком довольным собой, что «в нашей сегодняшней поэзии большая редкость, почти экзотика». Что ж, стало быть, нас ждет чудесный променад по ум и душу захватывающей книге. Вперед! «Метким оком промчат по разрухе — / всюду предков ненужные духи; / и не чаю за грани прорваться я... / Шум, возня. Интернет-резервация». Все верно, Д. Быков: сказано и четко, и остроумно, особенно, по поводу духов предков; литературно сказано, не поспоришь. Идем-гуляем дальше: «Обдолбавшись, лежит дурак, / наблюдая стереосон... Победит когда-то «Спартак», — / Но пока «Зенит» — чемпион». И тут сермяга: футбол — наше все, а не Пушкин и кто там еще, иже с ним. Едем дальше: «Едем дальше, вон березки пошли, / за стакан держусь, унылый сатир. / Я не буду ни грустить, ни пошлить, / просто жду, когда откроют сортир». А и то правда: когда поэт, обладающий экзотическим чувством неудовлетворенности самим собой, без пошлости и грусти ждет открытия сортира, он, безусловно, и интересен, и увлекателен. На том бы и поставить точку, однако: «И вроде отменно здоров, / не время хандрить. / Без сахара — чистая — кровь, / не вяжет артрит. / Но, словно преступник, иду / на смерть поглазеть / и выbleвать чью-то беду, / забившись в клозет». Вот ведь как: хоть «сортир» и «клозет» — что два сапога пара, но как по-разному звучат.

**Публикация подготовлена  
Борисом ДАВЫДОВЫМ**

**Марина Друбечкая, Ольга Шумяцкая. Продавцы теней: Роман. М.: КоЛибри, Азбука-Агтикус, 2011. — 512 с.**

Революция, о которой так долго говорили большевики, не свершилась. И государь в феврале не отрекся от престола, и войну выиграли, а большевистскую свору уничтожили еще в 17 году, Ленина и Троцкого расстреляли. Но это в недалеком прошлом, а ныне, в 20-е годы, монархическая Россия процветает: думское правительство активно строит дороги на глухом российском континенте, принят грандиозный план электрификации страны, активно развивается новая отрасль — киноиндустрия. И конкурируют владельцы крупных кинофабрик, в крымском урочище Артек частный предприниматель строит русский Холливуд, «Новый Парадиз», известный булочник Филиппов инвестирует средства в развитие провинциальной кинохроники, к пятилетию «со дня избежания большевистской катастрофы» государство финансирует крупный проект — фильму «Защита Зимнего», профилактическая государственная мера, чтобы напугать сочувствующих большевикам. «Народишко-то может прийти в себя и опять взяться за бунт. Ну так ему надо показать, чем бы кончилось дело тогда, в октябре 17-го, — снять на пленку этакую молотьбу средневековую. А то и с Босхом. Чтоб прямо на улицах головы отрывали и ели.... А то у нас, знаете, много увлекающихся среди интеллигенции». А аполитичная творческая интеллигенция одержима грандиозными замыслами. Еще пользуются популярностью мелодрамы с завлекательными названиями: «Печальные грезы любви» «Белая шахиня — убийца мавра», «Поцелуй тигра». Но уже рождается большое киноискусство: световые эффекты, ракурсы, монтаж, массовые сцены, совмещение кадров, музыкальные дуэты с фильмой, натурные съемки, игра с масштабами, мультипликация... Авторы, киноисторики и киносценаристы, работают с хорошо знакомым им материалом, и изобразительные опыты, страстные творческие искания их героев превращаются в увлекательнейшее повествование. И трансформируется реальность, и создаются новые миры — нелогичных связей и причудливых соединений, жестокие и мрачные, жизнерадостные и искрящиеся. И материализуются — порой страшно и неожиданно — заложенные в фильмы идеи. Авторы, киноисторики, киносценаристы затеяли с читателем лукавую игру в угадку. Реальные разработки крупнейших отечественных кинематографистов осуществляют вымышленные персонажи. Вымышленные ли? Предстоит догадаться, кто из известнейших режиссеров скрывается за образами злого и циничного гения Сергея Эйсбара, добросердечного создателя Александра Ожогина, юной темпераментной футурессы Ленни Оффеншталь, способной видеть в обычном необычное. Порой аллюзии весьма прозрачны, как,

например, образ вдовы Великого Драматурга, стареющей актрисы Нины Зарецкой или выразительная фигура мадам Мирилиз, преподающей в своей московской студии основы античного танца девочкам-босоножкам. В этом многонаселенном романе в эпизодах блеснут то Маяковский, то Хлебников — под своей фамилией, но с другой судьбой, не той, что была уготована им в реальности. То, неназванными, но явно обозначенными промелькнут Есенин, Волошин или странный тихий человек, что пишет сказки о блистающем мире людей, преодолевающих земное притяжение или бегущих по волнам. Насыщенность персонажами придает объемность суматошному, кипучему миру богемы 20-х годов в стране, избежавшей социальных катаклизмов. Затейливо переплетаются жизнь и киноистории, любовные страсти и творческие искания, преступления и предательства, самоубийства и покушения, киношные интриги, художественные провокации и новейшие политические технологии. В причудливом симбиозе сосуществуют известные нам исторические реалии и вымышленный, альтернативный вариант развития России. По стилистике книга выполнена вполне в духе авантурных романов 20-х годов: динамичное, напряженное действие, неизбежная лукавинка. А чтобы уж соблюсти законы времени и места, авторы щедро добавляют элементы мелодрамы: и вот уж в финале зло повержено, а добро вознаграждено. Впрочем, проблема гения и злодея за рамки мелодрамы выходит, оставаясь вечной во все времена. Роман яркий и необычный на «поле современной русской словесности»: за внешней легкостью, игривостью, изяществом — глубокое, профессиональное знание Истории Кино, только такое свободное владение материалом и позволяет вовлекать читателя в умные игры, в том числе напомнить ему, что же это такое — настоящее киноискусство.

**Жан Кокто. Портреты-воспоминания: 1900–1914. Пер. с фр. Л. В. Дмитренко, коммент. Д. Я. Калугина. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. — 248 с., ил.**

Французский писатель, художник, театральный деятель Жан Кокто (1889–1963) вспоминает о детстве и юности. О доме деда, двухэтажном особняке на улице Лабрюйер, полном дивных предметов: дед собирал автографы министров, флорентийские медали, греческие бюсты, кипрские вазы, маски Антиноя, рисунки Энгра, скрипки Страдивари и картины Делакруа. И если мать Кокто хорошо помнила соседей по дому Россини, приведивших ее, маленькую девочку, в трепет, то маленький Жан с неизменным любопытством и удовольствием наблюдал за Сарасате, постоянном участнике музыкальных вечеров, проводившихся в доме деда. В памяти Кокто сохранились исключительные места и исключительные люди, люди «большого формата». За внешней беззаботностью этих людей пряталась драма, за легкомыслием — великое чудо, талант. Он рано увлекся театром — дети ставили спектакли во дворе дедовского особняка, он вспоминает театры и театрики Парижа, которые потеряли французы, вспоминает удивительную, будоражащую атмосферу парижского цирка и Ледового дворца. Дворца, где знаменитые парижские кокетки и полусодержанки демонстрировали свои достоинства на скользком льду, красовались за столиками ресторана, — спустя всего два десятилетия они останутся только воспоминанием, эта прослойка исчезнет из повседневной жизни Парижа. Жан Кокто с симпатией вспоминает изысканных женщин эпохи модерна, парижские моды, легкомысленные, но чуждые непристойностей аксессуары эпохи — эпохи, в которой он вырос. Кумирами

молодежи были гениальный трагик Эдуар де Макс и Сара Бернар, «эффектная, как празднично убранный венецианский дворец». Жан Кокто лично был знаком со многими корифеями парижской сцены, со многими знаменитыми французскими литераторами. Сара Бернар, Мистингетт, Муне-Сюлли, Эдуар де Макс, Айседора Дункан, Эдмон Ростан, Жюль Леметр, Анна де Ноай. Имена одних прочно вошли в историю мировой культуры XX века, имена других покрыты патиной времени. Очерки были написаны в 1935 году, первоначально опубликованы в газете «Фигаро» и в том же году изданы отдельной книгой с рисунками автора. «Рисую по памяти, я стараюсь, чтобы перо художника и перо писателя двигались в одном ритме. Непростая работа. Когда я в раздумье, когда от тех, о ком я пишу, остался только туман, тогда стараюсь передать образ линией, соответствующей воспоминанию. Слово бессильно, у рисунка чуть больше власти». Терзаясь сомнением — как пробиваться сквозь все искажающий туман к правде, разумно дозируя большое и малое, Жан Кокто воссоздает не только выразительные портреты знаменитостей и кумиров начала XX века, но и атмосферу Парижа, очарование Парижа эпохи, которую он сравнивал с «напряженным великолепным спектаклем», действующим лицом которого был он сам. Воссоздает в слове и в рисунке.

**Накамура Кэнноскэ. Словарь персонажей произведений Ф. М. Достоевского. Пер с яп. А. Н. Мещерякова. СПб.: Гиперион, 2011. — 400 с.**

Накамура Кэнноскэ — признанный во всем мире исследователь русской литературы и культуры. Ранее на русском языке выпущены были две его работы: «Чувство жизни и смерти у Достоевского» (СПб., 1997) и — под его редакцией — «Дневники святого Николая Японского» в 5-ти томах (СПб., 2004). Именно Накамура Кэнноскэ обнаружил в русском архиве считавшиеся утерянными дневники Николая Японского, прожившего в Японии с 1861 по 1912 год и за свои заслуги в деле распространения православия в Японии канонизированного православной церковью. И все таки в международном литературном сообществе Накамура Кэнноскэ известен прежде всего как автор многочисленных научных и научно-популярных работ, посвященных Ф. М. Достоевскому. Представляя настоящую книгу, переводчик А. Н. Мещеряков так объясняет притягательность произведений Ф. Достоевского для японского читателя: «Вероятно, его произведения оказались созвучны японской душе. Переживание Достоевским вечных экзистенциальных проблем находит глубокий отклик в японском сердце. Тончайшие и зачастую болезненные эмоции героев Достоевского хорошо понятны человеку, воспитанному в традициях японской культуры, которой свойственна повышенная интровертность». И так характеризует книгу, перевод которой осуществил: «...впервые в мировой науке подвергнуты анализу все основные персонажи *всех* без исключения художественных произведений писателя, что позволяет говорить о настоящей энциклопедичности этого труда. Но это не только добротный и подробный справочник, который помогает нам ориентироваться в литературном мире Достоевского. Автор разобрал «по косточкам» все художественные произведения Достоевского, дал характеристику всем основным персонажам. Мало того — в книге также обозначены свежие научные подходы к выявлению множества связей между личностно-жизненным опытом писателя и его литературой. Становится понятнее, что его творчество является вымыслом (*fiction*) лишь до определенной степени — герои Достоевского суть проекции тех комплексов и пережива-



ний, которые испытывал в *действительности* сам писатель... Кроме того, чрезвычайный интерес представляет собой и то, как японский исследователь читает русского писателя. ...В таком ракурсе давно знакомые персонажи обретают новые измерения, их речи звучат по-другому, а сам Достоевский выступает в качестве творца, над которым не властно время — оно лишь покрывает его книги благородной патиной». Сам Накамура Кэнносукэ считает, что, только рассматривая в совокупности все произведения Достоевского — зрелые и незрелые, шедевры и периферийные, популярные и непопулярные, можно понять, какие проблемы интересовали писателя, что двигало его пером. В соответствующих главах он дает краткое изложение сюжета, воедино собирает разбросанные по тексту фактические сведения относительно основных персонажей Достоевского: возраст, профессиональные занятия, семейные обстоятельства, психологические и физиологические особенности. Прописывает, в каких отношениях состоят между собой персонажи. Порядок глав обусловлен в основном хронологией произведений Достоевского (от «Бедных людей» — до «Братьев Карамазовых»), однако здесь есть и исключения. И дает свой анализ героям Достоевского, тем самым далеко выходя за рамки того, что обычно понимают под «словарем персонажей». В послесловии японский исследователь обозначает задачи, которые он ставил перед собой, подводит некоторые итоги своей работы. «С помощью анализа персонажей я попытался проникнуть во внутренний мир Достоевского, понять, как Достоевский видел человека. ...Давая свои интерпретации тем или иным героям, мне хотелось дать представление о творчестве Достоевского как в его целостности, так и в его вариативности. Касаясь каждого «дерева», я исследовал «почву» каждого из них. Мне хотелось уяснить, как и какой «лес» эти деревья образуют. ...Какими же предстанут жизненные проблемы писателя, иначе говоря — «человек по-Достоевскому» если мы посмотрим на его творчество в целом. ...Человек — существо чувствительное и тонкое, он испытывает несчастья и страдания. Жизнь — дело беспокойное и невеселое, в нем всегда есть место для беспричинной враждебности и злобы. Избавление от печалей и чувства одиночества, восстановление гармонии с миром, переход к радости, то есть преобразование того, что называл Достоевский «мертвой жизнью», к «жизни живой», составляет центральную проблематику писателя. ...Человек испытывает постоянное чувство беспокойства и страха, он раздражителен и недобр — и он же мечтает избавиться от этого. Вот это и есть основные темы Достоевского. ...Литература Достоевского — это не то, что называют «воспитательной» литературой. Это литература, которая самым непосредственным образом связана с существованием каждого отдельного человека, имеющая в основе своей повсеместную конкретику человеческого бытия — беспокойство и страдание. В этом и состоит «современность» Достоевского. ...Проблема страдания и умиротворения — центральная для всего творчества Достоевского. В начальный период она принимала, коротко говоря, форму психологического одиночества, временами реализуемую в лирических откровениях. Иными словами, эта проблема рассматривается как внутренняя проблема индивида. ...В средний и поздний период эта проблема приобретает многомерность, обусловленную как опытом ссылки, так и другим разнообразным жизненным опытом писателя. Во второй половине XIX века Россия столкнулась со множеством новых проблем. ...личный опыт Достоевского налагался на эти проблемы, что придавало его письму глубину и размах. Герои позднего периода несут на себе груз всех этих проблем. Поэтому им и посвящено больше половины этой книги». В конце книги помещены

«Хронология жизни Ф. М. Достоевского»; указатель имен и произведений; библиография работ Накамура Кэнноскэ.

**Николай Стариков. Хаос и революции — оружие доллара. СПб.: Питер, 2011. — 336 с.: ил.**

Даже далекий от политики человек понимает, что в мире происходит что-то неладное. Ну, хотя бы потому, что постсоветские «здравницы» Средиземноморья стали просто опасны: войны, революции, беспорядки. «Революционная волна» и хаос грозят поглотить целые континенты. А тут еще курсы валют колеблются, кризисы сотрясают экономику. Из хаотичной мозаики новостей цельная картина не складывается, вопросы остаются. Например, кому и зачем понадобилось «революции» в Алжире, Тунисе, Египте, Ливии? В странах, лояльных Западу, а порой и просто с проамериканскими режимами? Кто кого убивает в Сирии? И почему так неуловимы сомалийские пираты? В принципе те, кто хорошо учился в советской школе, прочно усвоили: за экономическими кризисами всегда следуют войны. Первая мировая, Вторая... Книга Н. Старикова хороша тем, что выявляет невидимые нити, связывающие в единое целое, казалось бы, разрозненные звенья международной политики. Казалось бы, какое отношение имеют межнациональные столкновения в далеком киргизском Оше к газовому скандалу в Белоруссии? Оказывается, имеют: газовый скандал — не более чем спектакль, в очередной раз разыгранный по просьбе Кремля Лукашенко, вернейшим другом России и патриотом Единой страны. Россия всегда начинает «ссориться» с Лукашенко, когда нужно устоять под давлением США и мирового закулисья. В мире вообще нет ничего случайного, а есть сигналы, которые дают друг другу страны. Политика — это знаки, иногда таким знаком является убийство, иногда слова, а иногда — террористические акты: подрыв «Невского экспресса», взрыв на станции метро «Лубянка», в Домодедове. Автор обозначает ряд сигналов, поданных российской властью за последние годы, а также — кем и почему они были поданы, как российская власть держит удар, как отвечает на него, где упреждает, а где терпит поражение. Но интерпретации отдельных эпизодов не вносили бы ясность в хаотичную картину современного мира, если бы автор, устанавливая связи между событиями, не обрисовал бы четко сегодняшнюю геополитическую ситуацию, которая строится на взаимодействии и столкновениях интересов четырех мировых центров силы: англосаксонский мир (США и Великобритания), Европа, Китай, Россия. Свои цели и интересы у каждого. Первая и Вторая мировые войны сделали доллар мировой валютой, и для удержания сегодняшнего статус-кво нужна новая война. Попытки США развязать войну для придания устойчивости своей финансовой системе — стравить между собой Южную и Северную Корею, Индию и Пакистан, Иран и Израиль — потерпели поражение: дураков нет, никто не хочет ради спасения доллара начинать новую мировую войну. Когда война не получается, дестабилизировать мировую экономику следует другим путем — путем хаоса и революций. Взорвать страны, переключить границы, привести к власти экстремистов и фанатиков, которые под лозунгами освобождения и справедливости втянут свои народы в войну ради чужих интересов. Местом приложения действий англосаксов становятся населенные мусульманами страны арабского мира. Есть и такой расчет: поток беженцев, помноженный на массу эмигрантов-мусульман, уже обосновавшихся в Европе, вынудит европейцев забыть о самостоятельной политике, и на фоне де-

стабилизации единственным твердым активом останется зеленый американский доллар; пострадают и экономические интересы Китая, активно укрепляющегося в Африке, под вопросом окажутся экономические интересы России. А Россия сегодня, в результате «реформ» 90-х годов — на геополитическом поле объективно самый слабый из игроков. Но у нее есть и свои преимущества, и даже золотые акции, в том числе та, что никакая из противоборствующих сторон не может добиться своих целей без помощи России. Но преимущества не вечны. Как противоядие от возможного хаоса в России (а его автор видит в попытках развязать в нашей стране межнациональную рознь, в целенаправленных убийствах правозащитников, в провоцировании мусульман, в формировании ненависти населения страны к ее руководству, — смотрите, кому выгодно), Н. Стариков предлагает заглянуть в нашу историю. Проводит параллели с днем сегодняшним и февралем 1917 года, с днем сегодняшним и событиями 90-х века XX. И даже дальше: предательство русской элиты — убийство Павла I — ввергло Россию в почти пятнадцать лет непрерывной войны с Наполеоном. И предостерегает элиту нынешнюю, больше интересующуюся маркой швейцарских часов на руке собеседника, чем историей своей страны: не будет суверенной России — и все сегодняшние олигархи станут не более чем удобрием для чужой финансовой системы. Возвращение «Русского медведя» в большую экономику и политику не всем по нраву, и в будущем миропорядке ей отводится роль страны с нерентабельным населением. Только суверенная Россия способна отстаивать интересы своих граждан. Всех — и миллионера, и простого гражданина. В «текущем моменте» книга разобраться помогает. И внушает оптимизм, хотя бы потому, что автор приводит немало примеров, как умело идет сегодня российский корабль между Сциллой и Харибдой международной политики. И предупреждает: осторожнее, «Викиликс», информационный удар будет нанесен по руководству нашей страны накануне выборов, подготовка осуществлена.

**Андрей Россомахин, Денис Хрусталёв. Вызов императора Павла, или Первый миф XIX столетия. Науч. ред. Б. А. Кац. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. — 266 с., ил.**

Вплоть до XX века официальной причиной смерти Павла считался апоплексический удар. До конца XIX века невозможны были не только публикации на тему заговора, даже сами материалы уничтожались. Вместе с цареубийством табу было наложено и на эту историю — историю с вызовом на поединок, который русский император в канун нового, XIX века бросил всем монархам Европы. «Император России, видя, что державы Европы не могут прийти к согласию, и желая прекратить войну, которая бушует уже 11 лет, намеревается предложить место, куда пригласить всех других властителей, чтобы сразиться с ними на турнире, имея при себе в качестве оруженосцев и герольдов самых просвещенных министров и самых искусных государей». Упоминания об этой истории изымались из мемуаров, из российских библиотек либо исчезали подшивки иностранных газет, либо из газет вырезались крамольные страницы, ибо именно в иностранной прессе развернулась шумиха по поводу скандального вызова. Этот уникальный сюжет двести с лишним лет оставался в истории нелепым анекдотом и еще не разу не становился предметом детального изучения, хотя развивался он буквально на открытой сцене публичных изданий. Так был ли

Павел безумцем? В этой книге впервые так полно, так детально рассматривается беспрецедентный демарш русского императора, впервые прослеживается вызванный этим демаршем резонанс в английской прессе, впервые собраны и воспроизведены английские антипавловские сатирические гравюры, дан подробный комментарий. В результате то, что воспринималось современниками и потомками как признак сумасшествия, неожиданно предстает как тонкая игра «русского Гамлета», игра, оборвавшаяся в ходе дворцового переворота. Надо отдать должное авторам, разбираясь в многослойном и многостороннем розыгрыше, затеянном Павлом I, они сумели превратить научное исследование в увлекательное, почти беллетристическое повествование с элементами хорошего детектива. В этом повествовании много составляющих. Например, международный фон, на котором раскручивалось действие: распад антинаполеоновской коалиции, сближение Павла с Наполеоном, новый континентальный альянс, Северная морская лига, куда, помимо России, вошли Швеция, Дания, Пруссия, блокирование английской торговли на севере Европы. Британский кабинет в бешенстве. Яблоко раздора для России и Англии — Мальта. Англия, отбив у Наполеона остров, отказалась возвращать его России, то есть Павлу, принявшему двумя годами ранее регалии Великого магистра. Есть и другая составляющая — литературная: образ русского Гамлета, активно навязываемый Павлу во время его заграничного турне в 1781–1782 годах, вновь стал актуальным, да и он сам разыгрывал шекспировский сюжет в жизни. «Некоторые думают, что Павел только притворяется безумным, как Гамлет...» — британская пресса изначально отмечала гамлетовские аллюзии в истории с вызовом. Гамлетовскую тему усиливало и то, что в этой мистификации со многими действующими лицами незavidной оказалась и роль датского посланника Розенкранца, высланного Павлом из России. Литературный контекст присутствует и в том, как, когда, при каких условиях идея о рыцарском поединке возникла у Павла. В водовороте странных событий оказался и один из самых востребованных авторов того времени, обладавший всеевропейской известностью, Август Коцебу, — это впоследствии историки будут пренебрежительно отзываться о его сочинениях, придумав производное от его имени для низкопробной драматургии — «коцебятина». Реконструируя события прошлого, авторы обнаружили и особые шифры и коды, которыми пользовался Павел I, в неожиданном свете представший на страницах этой книги. В информационной войне, развернувшейся между Англией и Россией на рубеже XVIII и XIX столетий, как и положено во всякой войне, у каждой из сторон были промежуточные победы и поражения. Предполагаемое безумие Павла сулило англичанам многое, и в первую очередь смену власти в России, другого самодержца, а с тем — и новый вектор российской политики. Эту карту следовало разыгрывать, что в Англии охотно и делали, невзирая на то, что собственный монарх Георг III уже долгое время был умственно недееспособен. (Этой картой воспользовались в свое время и российские заговорщики во главе с графом Паленом — международное общественное мнение было подготовлено к перевороту в России.) А английские карикатуристы активно разрабатывали сюжет дуэли с диким Северным Медведем, в образе медведя изображалась и Россия, в образе медведя предстал и сам Павел. С конца XVIII века, констатируют авторы, и на протяжении уже двух с лишним столетий «медвежья» метафора транслируется Западом на всех без исключения российских правителей: императоров, генсеков, президентов; главным идеологическим «зарядом» этой метафоры по сей день являются дикость, некультурность, коварство, неадекватность, агрессивность и милитаризм как России, так и персонифицирующего ее

лидера. Помимо захватывающего, временами драматического, временами комического повествования об одном из этапов многовековой международной информационной войны (часть 1 — «Русский Гамлет»), в этой книге есть и сугубо научные, сугубо искусствоведческие разработки (часть 2 — «Русский медведь»). В приложениях представлен анализ десяти вариантов публиковавшегося в европейской прессе «дуэльного вызова» императора Павла, дан хронологический указатель антипавловских карикатур, изображающих павловскую Россию в образе Русского Медведя. В книге впервые предложена сводка всех выявленных карикатур на Павла I, даны их репродукции, а английские офорты с «Русским Медведем» подробно аннотированы. Книга содержит 80 иллюстраций, часть из которых публикуется впервые.

**Вильям Урбан. Тевтонский орден. Пер с англ. П. Румянцева. М.: АСТ: Астрель, 2011. — 413 с. — (Коллекция исторических романов)**

В России Тевтонский орден, орден немцев, представлявший немецкую нацию Священной Римской империи, прежде всего ассоциируется с немецкими псами-рыцарями, германской экспансией на восток, Ледовым побоищем и нацистами, провозгласившими себя наследниками ордена. Негативные ассоциации у нас в значительной степени связаны с фильмом Сергея Эйзенштейна, пропагандистским по своей сути — 1938 год. Крестовые походы в Прибалтике — тема малоизученная, хотя, утверждает автор уникального исследования, почти сорок лет посвятивший изучению крестовых походов, именно в Пруссии и Литве происходили события, определившие на века судьбы стран и народов. Это первое изыскание по военной истории Тевтонского ордена и первый объемный труд созданный за последнее столетие во всем мире по этой теме. Автор устраняет фактические ошибки и неточности, накопленные за века, разрушает устойчивые стереотипы, что существуют и в научном мире, и среди далеких от науки обывателей, дает новые истолкования событий крестовых походов в Пруссии и Ливонии. На фоне истории континента представлена трехсотлетняя история ордена: от его основания до упадка. Война в Святой земле — и Трансильванский эксперимент (защита Венгрии от язычников), крестовые походы в Ливонии — и захват Пруссии, территориальные столкновения с Польшей — и крещение Литвы, битва при Танненберге (более известная у нас как битва при Грюнвальде) — и конец ордена в Прибалтике. Таковы вехи истории ордена, летопись его побед и поражений. Книга изобилует деталями, подробностями. Тщательно проанализированы все военные операции ордена, все политические, дипломатические хитросплетения той сложной эпохи, в которых принимал участие и орден, религиозные противостояния и этнические взаимоотношения. Автор проливает свет на длинные и запутанные истории, в которых современники разбирались еще с большим трудом, чем нынешние ученые историки. Бесконечные битвы, интриги, союзы и измены, в которых было замешано большое количество участников. В текст помещены географические карты, где обозначены земли, населенные в XII–XVI веках ныне забытыми племенами: Самландия, Погезания, Судавия, Помереллия, Самогития. Автор красочно живописует обычаи и нравы канувших в лету языческих народов. Пруссы, ливы, летты, эсты... И обозначает, какие военные, экономические, стратегические интересы были у каждой из противоборствующих сторон. Территориальные претензии к ордену существовали у Польши. Интриговали литовские великие князья, никак не желающие креститься. В рамках крестовых походов проходили стол-

кновения не только с язычниками, но и с православными русскими князьями, и с татарами-мусульманами. Автор дает яркие портреты тех, кто делал историю: короли, государи, князья — польские, чешские, богемские, литовские. И в одном ряду с ними великие магистры ордена. Наглядно показана роль личности в истории, способность одного человека изменить ход событий. В орден шли искатели земель и славы. Рыцари и их собратья не были святыми, но никто из них не был и воплощением дьявола. В них отражались все качества благородного сословия той эпохи. Люди, принимавшие крест, имели на то самые различные причины, и чаще всего мирские мотивы были смешаны с идеализмом и религиозным энтузиазмом. Они искренне верили, что защищают христианство, что их святая цель — покончить с набегами на христианские земли язычников, продававших пленников в рабство или приносивших их в жертву своим богам, и уничтожить язычество. Крестоносцы были жестоки, но не более чем их противники: в этих войнах никто не просил пощады, и никто ее не давал. Современному человеку трудно понять многое в Средневековье, считает автор. «Самое важное, пожалуй, что нужно понять прежде всего: далеко не всегда можно найти аналог современным этическим понятиям во внутреннем, духовном мире средневекового крестоносца. То есть, конечно, до известных пределов можно, но только учитывая контекст его существования». Воссоздавая контекст, в котором существовали и действовали крестоносцы, автор постоянно заглядывает за узкие пределы Прибалтики и рассматривает глобальные события, которые в то время потрясли Европу. «В первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы историки описывали крестовые походы не как проявление лишь эгоистического желания захватить земли невинных людей, но как выражение множества локальных и глобальных событий. Не следует упускать из виду взаимодействие различных религий, экспансию народов, династий и торговли, великих личностей, а также географию, прошлые отношения и взаимодействие народов, их желание славы, мести и добычи, случайности жизни и смерти для главных и кажущихся менее значимыми политических фигур». Тевтонский орден начинался как госпитальный в 1190 году в Святой земле. Тевтонские рыцари, обосновавшиеся с начала XIII века в отвоеванной ими Пруссии, в Центральной Европе были сильны и уважаемы. Но в XVI веке история поставила новые условия, и орден не смог адекватно ответить на них, в 1525 году он распался на три части. Две из них — в Пруссии и в Литве — исчезли в XVI веке. Третья выжила, в итоге найдя свою маленькую, но полезную нишу в обширном строении современной католической церкви. Что осталось от орденского наследия? Свидетельства их былой мощи — внушительные замки и крепости — в значительной мере превратились в руины. Восстановленные, они становятся притягательными туристическими объектами. А от орденского политического наследия остались яркие исторические символы. Литовцы и поляки помнят злодеяния, приписываемые крестоносцам, а немцы — свои славные победы. А что Россия? Ледовое побоище — лишь один из эпизодов долговременного конфликта Новгорода с западными соседями, и в битве сошлись православное войско и католическая армия, которую представляли отнюдь не только тевтонцы. «Момент опасный, но трудно представить себе крестоносцев, навсегда поработивших русскую культуру, православную церковь и русскую знать. Если это не оказалось не под силу Золотой Орде, способен ли был на это Запад?» Восстанавливая репутацию ордена, изрядно пострадавшую как в Средние века, так и в Но-



вое время, автор предлагает более беспристрастно изучать историю — это освобождает от призраков национализма и измышлений политики.

**Михаил Васильевич Ломоносов. Переписка. 1737–1745. Составление, подготовка текста и примечания Г. Г. Мартынова; под ред. Б. А. Градовой. М.: Ломоносовъ, 2010. — 512 с., ил.**

Полный свод переписки Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765) — первого русского ученого-естествоиспытателя мирового значения, поэта, заложившего основы современного русского литературного языка, филолога, историка и просветителя. Официальные, деловые и частные письма и записки Ломоносова и к Ломоносову собраны здесь с исключительно возможной на сегодняшний день полнотой. «Совсем не просто составить книгу, посвященную очень далекому от нас сейчас XVIII веку, причем сделать это так, чтобы она в равной степени была интересна и специалистам, и широкому кругу читателей», — признается в предисловии к книге ее составитель. Непросто потому, что архив Ломоносова дошел до нас с большими лакунами, особенно в части переписки. Непросто потому, что в случае Ломоносова было сложно отделить письма частного характера от того, что обычно принято называть служебными бумагами. И все-таки составитель выражает надежду, что при подготовке к печати собрания ученой корреспонденции Михаила Васильевича Ломоносова удалось соблюсти баланс частного и общезначимого. В книгу вошел 161 документ 1737–1765 годов на русском, латинском, немецком и французском языках. Они разделены на 4 отдела, согласно основным периодам биографии Ломоносова, и даются на языке оригинала в сопровождении заново отредактированных или вновь сделанных переводов. Ряд писем публикуется впервые, — новых собраний переписки Ломоносова не появлялось более 50 лет, в течение которых случались, разумеется, и новые находки. В конце каждого письма — необходимые комментарии, в которых подробно раскрыты обстоятельства появления писем, сообщается, о ком и о чем идет речь, даны сведения, необходимые для реального и историко-культурного понимания текста. Объяснены события истории, термины и понятия, редкие и устаревшие слова... В приложении среди прочих справочных материалов, помещен и краткий биографический словарь корреспондентов Ломоносова. А среди корреспондентов были и крупнейший математик XVIII века Леонард Эйлер, и государственный канцлер Михаил Воронцов, и всемогущий фаворит императрицы Елизаветы Петровны Иван Шувалов, на протяжении долгих лет покровительствующий Ломоносову, и историк Василий Татищев и многие другие. Корреспонденция первого русского ученого мирового значения представляет огромную научную, историческую и общекультурную ценность. Впервые часть переписки Ломоносова была опубликована в 1784 году. Серьезные попытки собрать корреспонденцию Ломоносова предпринимались с 1865 года. Однако к настоящему времени имеются всего два давних издания на эту тему — 1948 и 1957 годов, давно ставшие библиографической редкостью. Настоящее издание незаменимо для изучения истории науки и жизни русского и европейского общества XVIII века, оно позволяет и всесторонне осветить жизненный и творческий путь Ломоносова, воссоздать впечатляющую картину его масштабной деятельности. Книга, посвященная очень далекому от

нас сейчас XVIII веку, в равной степени интересна и специалистам, и широкому кругу читателей, перед которыми предстают эпоха со всеми ее противоречиями и яркая личность, этой эпохой порожденная: идеи и деяния, искания и свершения, препятствия и преодоления.

**Быт пушкинского Петербурга: опыт энциклопедического словаря. В 2-х т. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011. Т. 1 — 304 с., ил. Т. 2. — 416 с., ил.**

Замысел этой книги родился в ходе работы над «Пушкинской энциклопедией», которая с 2009 года ведется в Институте русской литературы РАН (Пушкинский Дом). При подготовке полного свода сведений о жизни Пушкина, обо всех без исключения его произведениях, о бытовом и литературном окружении поэта, о его предшественниках и современниках, обо всем, что так или иначе связано с поэтом, естественно, накапливался материал. В том числе об особенностях жизненного уклада людей пушкинского круга, о занятиях и увлечениях петербуржцев, моде, винах, карточных играх, почте, средствах передвижения, гостиницах и ресторанах. И постепенно вырисовывалась конфигурация книги, в которой был бы представлен быт Петербурга пушкинской эпохи — как фон, как контекст биографии поэта. Своего рода путеводитель по столице пушкинской поры. Помещенные в двухтомник статьи и заметки разнообразны по объему и по характеру: краткие справки и лаконичные обозрения, приближающиеся порой к статистическим таблицам, культурологические очерки, историко-литературные этюды, написанные в достаточно свободной манере. В конечном итоге жанр и стиль словарных статей диктовала сама тема. Одно дело — писать о чиновничьей иерархии, придворной администрации, другое — о литературных обществах и о великосветских салонах. Воссоздавая образ жизни петербуржцев (чиновников, военных, литераторов, врачей, светских дам), передавая атмосферу официальных торжеств и домашних праздников, великосветских балов и народных гуляний, авторы статей порой прибегают к чисто литературным приемам изложения. Широко используются мемуары, путевые записки, письма, дневники, часто привлекаются художественные произведения Пушкина и его современников, как знаменитых, так и полузабытых авторов. Редколлегия и не стремилась строго упорядочить материал — в данном случае она сочла более важным сохранить многоголосье прошлой жизни, представить читателям живые свидетельства далекой, но столь притягательной для нас эпохи. Книга не охватывает, разумеется, все сферы жизни Петербурга и его обитателей. Редколлегия объясняет это тем, что многие явления, интересующие нас сегодня, крайне трудно восстановить по имеющимся историческим и мемуарным сведениям. Не всегда удается правильно оценить и реальное значение тех или иных бытовых реалий в жизни поэта и его современников. Отбор диктовался как наличием реального исторического материала, так и репрезентативностью описываемых явлений, их местом в общей картине культурно-бытовой жизни столицы. Безусловное предпочтение отдавалось тем фактам, событиям и явлениям, которые так или иначе связаны с Пушкиным (Пушкина много не бывает) и его окружением. Соответственно, акцент делается на дворянском быте — быте той социальной среды, к которой принадлежал Пушкин. Статьи расположены в алфавитном порядке, и даже из перечисления расположенных рядом статей понятно, какой разнообразный, разновеликий материал собран в этой книге:

«Бал — Балет — Бани — Банки»; «Кладбища» и «Клубы»; «Иезуиты» и «Извозчики»; «Маскарад» и «Масоны». И если «Долги и кредит» — явления, хорошо понятные нашему современнику, то такие реалии прошлого, как врачебная управа, воспитательный дом, будочник, квартальный надзиратель, уже принадлежат истории. Предварительные тиражи этого энциклопедического словаря уже появлялись в 2003 и 2005 годах. И оказались востребованными. Все статьи в словаре именные. В конце каждой статьи — библиография. В редакционную коллегию вошли А. А. Конечный, Е. О. Ларионова, О. С. Муравьева, Д. И. Раскин, И. С. Чистова. Редактор О. Э. Карпеева.

**Публикация подготовлена  
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ**

*Редакция благодарит за предоставленные книги  
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)  
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28,  
т. 448-23-55, [www.spbdk.ru](http://www.spbdk.ru))*

Издатель: закрытое акционерное общество «Журнал „Нева“».  
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18.  
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9  
Телефон: (812) 314-50-52;  
e-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru; nevaredaction@gmail.com

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva/>  
Ресурс в сети Интернет: [www.nevajournal.spb.ru](http://www.nevajournal.spb.ru)

Проект «Литература — территория памяти» осуществляется на средства гранта Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Санкт-Петербурга.

Проект «Петербург на фоне эпохи» осуществляется на средства гранта Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Санкт-Петербурга.

**Подписку** на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276 и ИД «Экономическая газета» по объединенному каталогу «Пресса России», подписной индекс 42414.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

**в Санкт-Петербурге** — в магазине: «Книжный салон „Российская национальная библиотека”» (ул. Садовая, 20 (Дом Крылова), тел. 310-4487); «Книжный клуб на Австрийской» (Каменноостровский пр., 13/2 (Австрийская пл.), тел. 232-3307); Центр современной литературы (наб. Адмирала Макарова, 10, тел. 328-6708), также в редакции журнала «Нева»: наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-4923).

**В Москве:** в редакции журнала «Знамя» (ул. Большая Садовая, 2/46, тел. (495) 699-4264)

**За рубежом** подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-2117, 238-4634)

**Оптовая и мелкооптовая продажа:** Санкт-Петербург: ЗАО «Журнал „Нева”», e-mail: [office@nevajournal.spb.ru](mailto:office@nevajournal.spb.ru)

**Почтовую рассылку** отдельных номеров журнала на территории РФ осуществляет редакция журнала «Нева». Заказ можно оформить на сайте издательства [www.nevajournal.spb.ru](http://www.nevajournal.spb.ru)

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.  
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева”»

Подписано в печать 05.10.2011. Гарнитура «Octava».  
Формат 70x108 1/16. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.  
Тираж 3100 экз. Заказ № 0000.  
Издательство «Журнал „Нева”»  
Отпечатано по технологии СтР  
в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького  
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.